

Библиотека
журнала
ЗНАМЯ

**Фазиль
Искандер**
*Стоянка
человека*





Фазиль Искандер

*Стоянка
человека*

Повести и рассказы

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991

84 P 7
И 86

И $\frac{4702010200-2323}{080(02)-91} 2323$
ISBN 5-253-00229-4

© Издательство «Правда». 1991,
Составление.

Созвездие Козлотура

В один прекрасный день я был изгнан из редакции одной среднерусской молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В газету я попал по распределению после окончания института.

По какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что мой редактор пишет стихи. Мало того, что он писал стихи, он еще из уважения к местному руководству выступал под псевдонимом, хотя, как потом выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что местное руководство знало, что он пишет стихи, но считало эту слабость вполне простительной для редактора молодежной газеты.

Местное руководство знало, но я не знал. На первой же летучке я стал критиковать одно напечатанное у нас стихотворение. Я его критиковал без всякого издевательства, хотя, возможно, и с некоторым оттенком московского снобизма, что, в общем, простительно для парня, только-только окончившего столичный вуз.

Во время своего выступления я краем глаза заметил странное выражение лиц наших сотрудников, но не придал этому большого значения. Мне, честно говоря, показалось, что они поражены изяществом моей аргументации.

Возможно, мне все это и сошло бы с рук, если б не одна деталь. В стихах, написанных от имени сельского комсомольца, говорилось о преимуществах картофелекопалки перед ручным сбором картофеля.

По простоте душевной и даже литературной я решил, что это одно из тех стихотворений, которые приходят само-теком во все редакции мира, и в конце своего выступления, чтобы не совсем обижать автора, сказал, что все же для сельского комсомольца оно написано довольно грамотно.

Впоследствии я никогда не критиковал стихи нашего редактора, но, кажется, он мне не верил и считал, что я эту критику перенес в кулуары.

В конце концов, я думаю, он правильно решил, что для провинциальной молодежной газеты вполне достаточ-

но одного стихотворца. Какого именно, в этом у него не было сомнений, как, впрочем, и у меня.

Весной началась кампания по сокращению штатов, и я попал под нее. Весна вполне подходящее время для сокращения штатов, но мало приспособленное для расставания с любимой девушкой.

Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей в бухгалтерии одного военного учреждения, а вечером училась в вечерней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать свидания, и, к сожалению, не только мне. Она разбрасывала эти свидания, как цветы.

Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огромным букетом цветов, небрежно разбрасывая их направо и налево. Каждый, получивший такой цветок, считал себя будущим хозяином всего букета, и на этом основании возникало множество недоразумений.

Однажды мы встретились в парке и некоторое время гуляли по аллеям, обсаженным могучими старыми липами. Был чудесный вечер с далекой музыкой, с листьями, шуршащими под ногами, с расплывающимся в сумерках ее живым, смеющимся лицом.

Когда мы вышли из аллеи на освещенную фонарем площадку, я заметил группу ребят. Один из них, на вид наиболее сумрачный, отделился от своих дружков и направился к нам. Его сумрачное лицо сразу же мне не понравилось, я даже подумал, что лучше бы к нам подошел кто-нибудь из остальных, но подошел именно он.

Он приблизился к нам и молча, не говоря ни слова, влепил ей пощечину. Я бросился на него, мы сцепились, но потом подошли остальные и все испортили. Я был сбит с ног и порядочно помят. Так приостанавливают или предотвращают в наши дни дуэли.

Оказалось, что она в этом парке чуть ли не на это же время назначила ему свидание.

— Хорошо, но почему в этом же парке? — спросил я у нее, стараясь уловить какую-то логику в ее поведении.

— Не знаю, — ответила она, смеясь и нежно отряхивая мой пиджак, — но ведь и я тоже получила...

Я посмотрел на нее и горестно подумал, что ей все идет — от пощечины лицо ее сделалось еще более хорошеньким.

В последнее время ее преследовал один, как нам тогда казалось, пожилой майор. Она, смеясь, часто рассказывала о нем, и это меня тревожило. Я уже знал, что, если девушка слишком смеется над своим поклонником, а тот достаточно упорен, она может выйти за него замуж хотя бы под тем предлогом, что ей с ним весело. В упорстве майора я не сомневался.

Все это не слишком способствовало моему служебному рвеню и давало некоторые внешние поводы для осуществления тайного замысла моего редактора.

Чтобы замаскировать свою пристрастность ко мне, редактор сократил вместе со мной нашу редакционную уборщицу, хотя сократить следовало двух наших редакционных шоферов, которые все равно ничего не делали, потому что месяцем раньше началась кампания по экономии горючего и им перестали выдавать бензин. Они до того обленились, что отпустили бороды и целыми днями, не снимая пальто, играли в шашки, сидя на редакционном диване, с лицами, развратно перекошенными от непроходящей похмельной скуки.

Там, где можно было на машине проскочить за материалом в один день, мы ездили в командировку на несколько дней, потому что кампанию по сокращению командировочных расходов тогда еще не проводили.

Так или иначе, сокращение состоялось, и я решил, что мне надо ехать на родину. Редакция щедро со мной расплатилась. Я получил зарплату, какие-то непонятные отпускные и гонорар за свои последние корреспонденции. В ту пору я еще жил студенческими представлениями о финансовом могуществе и поэтому решил, что по крайней мере на два месяца мне обеспечена полная независимость.

Я в последний раз проводил свою девушку до вечерней школы.

— Обязательно пиши, — сказала она и, в последний раз бросив мне ослепительную улыбку, исчезла в темном проеме дверей вечерней школы.

Я считал, что такая любовь, конечно, не зависит ни от времени, ни от разлуки. Все же я был несколько уязвлен ее мужеством, мне хотелось более ощутимых признаков ее привязанности, чем эта улыбка.

Вечер я провел на скамье городского парка, обдумывая свою прошедшую жизнь и мечтая о новой. Я сидел на сырой скамье в уже расцветающем, голом, холодном парке. Неожиданно из репродуктора полилась песенка Сольвейг. И пока она звучала, мне ничего не стоило легким, незаметным, может быть, чуть-чуть шулерским движением вложить душу Сольвейг в мою девушку.

Нет, думал я, мир, в котором создана такая песня, несмотря на все свои погрешности, имеет право на счастье и будет счастлив.

И довольно легкомыслия, думал я, надо принять участие в преобразовании мира, пора стать взрослым человеком, пора устраиваться на работу в настоящую взрослую газету, где занимаются настоящими взрослыми делами.

Надо сказать, к этому времени, независимо от моего сокращения, мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрчество.

Мне надоели все эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глупинки вместо глубины. Черт его знает что!

Нет худа без добра, думал я, теперь я стану настоящим журналистом, и она многое поймет и оценит.

Что именно она поймет, я представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось мне бесспорным.

Ночью друзья проводили меня на московский поезд. Согретый их прощальной лаской, я уехал в Москву, чтобы оттуда ринуться вниз на родину, на благословенный юг.

В Москве мне удалось тогда проездом напечатать одно стихотворение, что по тогдашним временам было немалым успехом. С одной стороны, я наносил удар своему бывшему редактору, потому что он в Москве не печатался. С другой стороны, стихотворение шло на родину впереди меня и должно было сыграть роль визитной карточки в нашей газете «Красные субтропики», где я собирался устроиться.

— Да, да, уже читали, — сказал редактор газеты Автандил Автандилович, как только увидел в коридоре редакции. — Кстати, не собираешься ли ты вернуться в родные края?

Он, видимо, решил, что я приехал в отпуск.

— Собираюсь, — сказал я, и мы обо всем договорились. Мы договорились, что он меня возьмет, как только один старый сотрудник редакции уйдет на пенсию.

С месяц я гулял по берегу моря, ходил по пустынным пляжам, стараясь переложить на стихи свои не слишком веселые раздумья. Два моих письма, посланные ей, остались без ответа, и я самолюбиво замолчал. Правда, я еще написал письмо товарищу, с которым работал в молодежной газете. В письме я вскользь упомянул, что уже принят в настоящую взрослую газету, куда просил черкнуть о себе, если ему такое встретится на улице, можешь сообщить об этом, разумеется, если найдешь уместным. В конце я передавал привет всем без исключения сотрудникам редакции. Письмо, по-моему, было выдержано в спокойных тонах с легким налетом мудрого снисхождения.

Воздух родины, насыщенный резким запахом моря и мягким женственным запахом цветущих глициний, успокаивал меня. Возможно, йод, растворенный в морском воздухе, благотворно действует не только на телесные, но и на душевные раны. Целыми днями я валялся на пустынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими группами местные сердцееды. Они хозяйственно оглядывали пляж, они изучали его, как полководцы рельеф местности, где вскоре предстоят великие битвы.

Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла не-

большая кампания за то, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески бодрился, но тут ему пришлось согласиться. Его торжественно проводили, и даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома. Впоследствии он стал повсюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто не обещал. Ему обещали подарить резиновую лодку и подарили, а про спиннинг и речи не было.

Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось, как будто я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр и имеющий квартиру.

С работниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заинтересовать их своими литературными произведениями. Заинтересовать, как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках.

Во всяком случае я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автандилович стихов никогда не писал и писать не собирается. Более того, он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае на моей памяти, ничего не писал.

Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого профиля. Как и многие мои соотечественники, он обладал природным застольным талантом. Высокий рост, кучерявые волосы, мужественная внешность делали его одинаково желанным, более того — необходимым как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собраниях. Он свободно говорил на всех кавказских языках, и тосты, которые он произносил, не нуждались в переводах.

До своего редакторства он руководил местной промышленностью, разумеется, в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной республики. Вероятно, с делом своим он справлялся хорошо, может быть, даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость его выдвинуть, и, когда открылась возможность, его сделали редактором газеты.

Как природный руководитель широкого профиля, он быстро освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. В нашей газете довольно часто появлялись передовые наиважнейшие темы промышленности и сельского хозяйства одновременно с центральными газетами, а то и днем раньше.

Я, как и мечтал, был принят в отдел сельского хозяйства. В эти годы одна за другой в сельском хозяйстве проходили реформы. Мне хотелось разобраться во всем этом,

понять, что куда идет, и стать в конце концов настоящим знатоком своего дела.

Руководил отделом Платон Самсонович. Не следует удивляться его имени. У нас таких имен — хоть пруд пруди. Видимо, они у нас остались еще со времен греческой и римской колонизации Черноморского побережья.

Я знал его и раньше — это был тихий и мирный человек, мы часто с ним ловили рыбу. Более опытного и умелого рыбака на нашем побережье я не знал.

Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изменился: про рыбалку не вспоминал и даже продал свою лодку. Он ходил по редакции лихорадочно возбужденный, с каким-то сумрачным блеском в глазах, с многозначительно поджатыми губами. Он и всегда был человеком небольшого роста, правда, жилистым и крепким. Теперь он совсем усох, стал еще более жилистым и как бы наэлектризованным.

Дело в том, что в это время проходила кампания по разведению козлотуров, и он был первым пропагандистом этого дела.

Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку о селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба.

На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух:

— Интересное начинание, между прочим...

Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами к окружающим или просто так вымолвил вслух то, что ему подумалось, но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали:

— Поздравляем, Автандил Автандилович, он сказал, что это интересное начинание, между прочим.

Автандил Автандилович созвал сотрудников и в праздничной обстановке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он срочно командировал его вместе с нашим фотокором, с тем чтобы он теперь привез развернутый очерк о жизни козлотура.

— Не исключено, что в будущем козлотуры займут достойное место в нашем народном хозяйстве, — сказал Автандил Автандилович.

Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы и был снабжен двумя крупными

фотографиями козлотура — анфас и профиль. В профиль морда козлотура была похожа на лицо вырождающегося аристократа со скептически оттянутой нижней губой. Анфас морда козлотура с мощными, великолепно загнутыми рогами выражала как бы некоторое недоумение. Казалось, козлотур сам не может понять, кто он в конце концов, козел или тур, и что лучше: становиться козлом или оставаться туром.

В очерке подробно рассказывалось о его дневном рационе, о его трогательной привязанности к человеку. Особенно много говорилось о его преимуществах перед обычной козой.

Во-первых, он в среднем в два раза тяжелей обычной козы (решение мясной проблемы), во-вторых, он отличается исключительной крепостью конституции, что делает в будущем выпас козлотуров на самых крутых горных склонах практически безопасным. В этом месте, кстати, отмечалось, что благодаря мягкому, спокойному характеру животного выпас козлотуров не представляет большого труда и один пастух может справиться с двумя тысячами козлотуров.

О шерстистости козлотура Платон Самсонович писал в игривых тонах. Он писал, что густая шерсть белой и пепельной окраски — дополнительный подарок нашей легкой промышленности. Оказывается, жена селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядит эта кофточка, по мнению Платона Самсоновича, ничуть не хуже импортных. «Модницы будут довольны», — уверял он.

В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть своего знаменитого предка, а также красоту рогов, которые после определенной обработки могут служить украшением или прекрасным сувениром для туристов и доброжелательно настроенных иностранных гостей.

Я перечитал все материалы, посвященные козлотуру, и должен сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон Самсонович вложил в него всю свою душу.

Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому что вскоре в газете появились две новые рубрики: «По тропе козлотура» и «Посмеемся над маловерами». В первой рубрике печатались положительные отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались письма скептиков и тут же им давалась отповедь.

Под рубрикой «По тропе козлотура» было опубликовано письмо одного ученого, который писал, что лично его несколько не удивляет появление козлотура, потому что все это давно предвидели последователи его агробиологии, тогда как некоторые ученые, находящиеся в плену у сомнительных теорий, не предвидели и, естественно, не могли предвидеть ничего такого.

В заключение великий ученый сообщал, что козлотур подтверждает правильность и его собственных опытов.

Это был знаменитый наш ученый. В свое время он выдвинул гипотезу, что современный баран — это не что иное, как первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за существование. Гипотезу он доказал на основании, кажется, сравнительного анализа лобных пазух современного барана и черепа ископаемого ассирийского ящера.

Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк барана как видоизменившийся хвост ящера должен был сохранить некоторую способность восстанавливаться. Предстояло развить эту способность, с одной стороны, и приучить организм барана к безболезненному отрыву курдюка, с другой стороны. Этим он и был занят в последние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно.

Правда, находились и завистники, которые жаловались, что гениальные эксперименты великого человека никто не может повторить. Жалобщикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому-то и гениальные, что их никто не может повторить.

Одним словом, поддержка великим ученым нашего козлотура была своевременна и благотворна.

Под этой же рубрикой было опубликовано письмо какой-то женщины. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоновича или судила о ней понаслышке, потому что спрашивала, где можно купить кофточку из шерсти козлотура. Редакция вежливо разъяснила ей, что пока еще рано говорить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заставить призадуматься хозяйственные организации и уже сегодня начать подготовку к приему и обработке шерсти козлотура.

Здесь же было опубликовано письмо коллектива работников городской бойни, поздравлявшей тружеников сельского хозяйства с новым интересным начинанием. Работники бойни предлагали взять шефство над колхозом, который первым начнет выращивать козлотуров.

Под рубрикой «Посмеемся над маловеерами» были опубликованы выдержки из писем какого-то зоотехника и агронома.

Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст поколение, и, следовательно, вся затея с козлотурами не имеет будущего. По этому поводу редакция радостно сообщала, что козлотур уже покрыл восемь козематок и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. Покрытые козы чувствуют себя хорошо, а покрытие продолжается.

Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козлотура, вместе взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях. Интересно, писал он, как в сельском хозяйстве можно использовать высокую прыгучесть козлотура? Мы

не знаем, писал он, как избавиться от прыгучести наших коз, потому что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлотура. Кроме того, он пытался остерить насчет того, что не собирается ли редакция выставить на следующих олимпийских играх козлотура в качестве прыгуна.

Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах Платон Самсонович ему разъяснил, что высокая прыгучесть козлотура — очень ценное качество, потому что в будущем стада козлотуров будут пастись на альпийских лугах, на склонах, недоступных для обычных домашних коз. И там благодаря высокой прыгучести козлотур может сравнительно легко уходить от хищников, от которых все еще страдает общественный скот.

Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон Самсонович, то редакция никакой ответственности за нее не несет, а несут ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми днями спят или режутся в карты. Штрафовать надо таких пастухов, и не только пастухов, но и ответственных работников колхоза, начиная от председателя и кончая агрономом, который все еще путает альпийские луга с олимпийскими полями.

Желчный агроном после этого письма, видимо, больше не пытался спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос.

Имя его снова появилось под рубрикой «Посмеемся над маловерами».

Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если гибрид и сохранил способность покрывать коз, то это еще не значит, что он способен давать потомство. Кроме того, он считал, что в животноводстве надо делать упор на крупный рогатый скот, в частности на буйвол, тогда как козлотур, хотя и крупнее козы, все-таки остается мелким рогатым скотом.

Редакция ему отвечала, что, напротив, высокая способность к покрытию как раз и доказывает, что козлотур будет давать потомство. В ближайшие месяцы все выяснится, время работает на нас, писала редакция. Что касается направления нашего животноводства, то, во-первых, козлотура никак не назовешь мелким рогатым скотом, хотя он и меньше, чем крупный рогатый скот, а во-вторых, исключительное внимание к крупному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехник все еще страдает гигантоманией, характерной для невозвратных времен.

Через несколько месяцев газета целой полосой отметила праздничное событие — все козы, покрытые козлотуром, а их было тринадцать, дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза родила трех козлотурят.

На огромном снимке через всю полосу было изображено многочисленное семейство козлотура вместе с юными

козлотурятами. В центре стоял козлотур, и морда его теперь не выражала никакого недоумения. Казалось, он нашел себя — выглядел солидно и спокойно.

Ко времени моего появления в редакции «Красных субтропиков» Платон Самсонович стал первым газетчиком. Теперь он писал не только на сельскохозяйственные темы, но и на культурно-просветительные, а также передовые по отделу пропаганды. Его статья «Козлотур — оружие в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на доске лучших материалов.

Целыми днями Платон Самсонович сидел за своим редакционным столом, окруженный учебниками по агробиологии, письмами селекционеров и всяческими диаграммами. Иногда он делался задумчивым и неожиданно вздрагивал.

— Что с вами, Платон Самсонович? — спрашивал я у него.

— Ты, знаешь, — говорил Платон Самсонович, радостно приходя в себя и оживляясь, — я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь я тогда еще думал: давать эту информашку или нет? Чуть было не прошел мимо великого начинания.

— А что, если бы прошли? — говорил я.

— Не говори, — отвечал Платон Самсонович и снова вздрагивал.

Платон Самсонович отдавал газете все свое время. Он приходил в редакцию раньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже как-то бывало неудобно уходить домой после рабочего дня. Впрочем, он всегда радостно меня отпускал. Дома он не мог работать, потому что он жил в одной комнате, а семья у него была большая — жена и взрослые дети. Он уже много лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов уже при мне ему выдали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю роль сыграло возвышение его имени посредством козлотура.

В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, намекали на новоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти невинные намеки.

Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько дней, когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. Потом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда, а во-вторых, жена приходила жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обратно.

Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала:

— Верните мне моего изобретателя.

Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоновича к себе в кабинет и начал, как обычно, водворять его. Но тот наотрез отказался вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался.

— Теперь не те времена, — сказал ей Автандил Автандилович, — решайте сами свои семейные дела...

— Они смеются надо мной, — вставил, говорят, в этом месте Платон Самсонович.

— Как смеются? — удивился редактор. — Платон Самсонович занят большой государственной проблемой...

— Они мешают моей творческой мысли, — подсказал, говорят, Платон Самсонович.

— Верните мне моего изобретателя, — повторила жена.

— Она и сейчас смеется, — пожаловался Платон Самсонович.

— Он же не требует развода? — спросил у нее редактор.

— Еще этого не хватало, — сказала, говорят, она.

— Читайте, что он живет в отдельном кабинете, — заключил Автандил Автандилович.

— Перед людьми стыдно, — сказала, говорят, жена его, немного подумав.

На этом и решили. В сущности говоря, уходя от семьи, Платон Самсонович не собирался обзаводиться новой семьей или тем более любовницей. Он как бы удалялся от мирских сует, чтобы полностью отдаться любимому делу.

После его частичного ухода из семьи жена все-таки приходила менять ему белье и убирать квартиру. Платон Самсонович с удвоенной энергией продолжал заниматься своим детищем. Время от времени он выискивал новый угол зрения, под которым можно было рассматривать проблему разведения козлотуров.

Уже при мне, когда на берегу моря рядом с кофейней открыли павильон прохладительных напитков, он добился, чтоб его назвали «Водопой козлотура». Он любил посещать это заведение.

Иногда по вечерам, выходя из кофейни, я видел его в павильоне. Он пил нарзан, облокотившись о мраморную стойку с видом усталого, но довольного покровителя.

Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные формы пропаганды козлотура, никакого легкомыслия в этом отношении он не допускал.

Когда наш фельетонист сравнил одного многоженца, злостного неплательщика алиментов, с козлотуром, Платон Самсонович выступил на летучке и заявил, что такое сравнение дискредитирует в глазах колхозников всенародное начинание.

— Навряд ли здесь есть серьезная ошибка, но прислушаться к замечанию стоит, — примирительно заключил Автандил Автандилович.

Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время он открывал дорогу и личной инициативе кол-

хозников, советуя им прикармливать козлотуров сверх рациона другими продуктами и о результатах писать в газету.

— Первая ласточка, — как-то сказал Платон Самсонович, с нежностью показывая на обложку иллюстрированного журнала, который он держал в руках.

Я посмотрел и увидел снимок козлотура со всем его семейством, тот самый, который был у нас в газете, только этот был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично.

Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком «Интересное начинание, между прочим», где рассказывалось о нашем опыте по выращиванию козлотуров.

Газета рекомендовала колхозам центральных и черноземных областей нашей страны изучить этот опыт и без излишней паники, не забегая вперед и в то же время не теряя драгоценного времени, поддержать это новаторское начинание.

Предугадывая возражения насчет разницы климата, автор статьи напоминал, что козлотур не должен бояться холода, так как вырос по отцовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских лугов.

Платон Самсонович тихо торжествовал. На последней летучке он довольно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым мы соревновались по производству кукурузы, соревнование по разведению козлотуров.

— Но ведь они не разводят козлотуров? — сказал редактор не совсем уверенно.

— Пусть попробуют в условиях фермерского хозяйства, — ответил Платон Самсонович.

— Надо посоветоваться с товарищами, — сказал редактор и включил вентилятор в знак того, что летучка окончена.

Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович выключал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастями вентилятора, и он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал вентилятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении.

На следующий день он сказал Платону Самсоновичу, что со штатом Айова следует подождать.

— Между нами говоря, перестраховщик, — Платон Самсонович кивнул в сторону редакторского кабинета.

Однажды под рубрикой «По тропе козлотура» появилось письмо работников сельскохозяйственного научно-исследовательского института с Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим начинанием и сами уже скрестили северокавказского тура с козой.

Первый турокоз, писали они, чувствует себя превосходно и быстро растет.

Комментируя письмо, Платон Самсонович от имени закавказских энтузиастов поздравил северокавказских коллег с большим успехом. При этом он добавил, что успех будет еще значительней, если они и в дальнейшем будут придерживаться разработанного им рациона кормления нового животного. Платон Самсонович писал, что всегда был уверен, что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, первыми подхватят передовой опыт.

Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон Самсонович слово «турокоз» заменил на принятое у нас «козлотур».

Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и прислали на имя редактора опровержение, где писали, что они и не думали в кормлении своего тукоза придерживаться нашего рациона, а кормили и будут в дальнейшем кормить его, строго придерживаясь метода, разработанного собственным научным аппаратом института. Кроме того, они сочли необходимым заявить, что название «козлотур» антинаучно, ибо сам факт (а факты упрямая вещь!) скрещивания именно тура с козой, а не козла с турицей, говорит о гегемонии тура над козой, что и должно быть отражено в названии животного, если к вопросу подходить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с турицей, писали они, название «козлотур» можно будет считать оправданным, и то с некоторой натяжкой. Но в этом случае наши разногласия сами по себе отпадут, потому что речь будет идти о двух новых животных, полученных принципиально различными способами, что, естественно, будет отражено в двух различных названиях. Таким образом, вы будете продолжать свои эксперименты со своими козлотурами, а мы как стояли, так и будем стоять на своих тукокозах. Примерно так звучало письмо товарищей с Северного Кавказа.

— Придется поместить, все-таки научные работники, — сказал Автандил Автандилович, показывая письмо Платону Самсоновичу. Он сам его принес к нам в отдел, как срочный материал.

Платон Самсонович пробежал его глазами и отбросил на стол.

— Только под рубрикой «Посмеемся над маловерами», — сказал он.

— Не имеем права, — возразил Автандил Автандилович. — Научные работники выражают свое мнение. К тому же в первой заметке вы допустили отсебятину...

— Страна знает козлотура, — твердо возразил Платон Самсонович, — а тукокоза никто не знает.

— Это верно, — согласился Автандил Автандилович, — и в республиканской прессе принято наше название, но откуда вы взяли, что они пользовались нашим рационом?

— Каким же они могли пользоваться? — сказал Платон Самсонович и пожал плечами. — Пока что все пользуются нашим рационом...

— Ну хорошо, — согласился Автандил Автандилович, немного подумав, — приготовьте толковый ответ, и мы дадим оба материала в порядке дружеской дискуссии.

— Сегодня же подготовлю, — оживился Платон Самсонович и, достав красный карандаш, придвинул к себе письмо научных работников.

Автандил Автандилович вышел из кабинета.

— Яйцо курицу учит, — неопределенно кивнул головой Платон Самсонович, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактора, то ли своих неожиданных оппонентов.

Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платона Самсоновича назывался «Коллегам из-за хребта» и был выдержан в наступательном духе.

Он начал издалека. Подобно тому, писал Платон Самсонович, как Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста Америго Веспуччи, который, как известно, не открывал Америки, так и северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детенцу.

Когда в первом письме наших коллег мы исправили неблагозвучное и неточное название «турокоз» на благозвучное и общепринятое «козлотур», мы считали, что это просто описка, тем более само наивное и в известной мере незрелое содержание письма таило в себе возможность такого рода описки или даже ошибки. Все это мы видели с самого начала, но все-таки поместили письмо в газете, потому что считали своим долгом поддержать пусть еще робкое, слабое, но все-таки чистое в своей основе стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени.

Но что же оказалось? Оказалось, то, что мы принимали за описку или даже ошибку, было ложной, вредной, но все-таки системой взглядов, а с системой надо бороться, и мы поднимаем перчатку, брошенную из-за хребта.

Может быть, продолжал Платон Самсонович, название «турокоз», при всей своей бестактности, с научной точки зрения более точно отражает существо нового животного? Нет, и здесь промахнулись коллеги из-за хребта!

Именно в названии «козлотур» наиболее точно отражается существо нового животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность человека над дикой природой, ибо домашняя коза, прирученная еще древними греками, как более разумное начало, стоит в нашем варианте на первом месте, тем самым подтверждая, что именно человек

завоевывает природу, а не наоборот, что было бы чудовищно.

Но, может быть, название «турокюз» соответствует хорошим традициям нашей мичуринской агробиологии? Опять же не получается, коллеги из-за хребта! Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные Мичуриным, такие, как бельфлер-китайка и кандиль-китайка, названия их давно приняты и одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему второе место.

Что касается предложения скрестить турицу с козлом, то выглядит оно в устах научных работников довольно странно, писал дальше Платон Самсонович.

Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже пугающих козла размеров турицы вероятность покрытия приближается к нулю.

Но допустим, такое покрытие произойдет. Что мы и наше хозяйство будем от этого иметь? На этот вопрос легко ответить, если мы обратимся к международному, а также отечественному мулопроизводству.

Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от скрещивания жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещивания осла с лошадей получается мул. Лошак, как известно, животное недоразвитое, болезненное, слабое, к тому же проявляет склонность кусаться, тогда как мул отличается хозяйственно полезными свойствами и высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно в южных республиках. Вопрос о продвижении мула на север и выведении зимостойких пород сейчас нами не рассматривается. Хотя известный пробег мулов от Москвы до Ленинграда, запряженных в сани с полной кладью, сделанный ими за десять дней в условиях морозной зимы, о многом говорит каждому непредубежденному наблюдателю (см. БСЭ, том 11, стр. 206). Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур — это тот же лошак, если мы его будем выводить методом, предложенным северокавказскими коллегами, тогда как козлотура можно и нужно приравнять к мулу, если его выводить нашим уже неоднократно проверенным способом. Вот почему мы опровергаем предложение северокавказских коллег, как попытку — пусть невольную, но все-таки попытку — направить наше животноводство по ложному идеалистическому пути.

По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлотуры шагают не в ногу и только единственный северокавказский турокюз шагает в ногу. Но с кем?

Таинственный лаконизм последней фразы звучал как грозное предупреждение.

Недели две после этого мы ждали ответа северокавказцев, но они почему-то замолчали, и это сильно обеспокоило редактора.

— А может, у них козлотур умер и они теперь стыдятся продолжать дискуссию? — предположил однажды Платон Самсонович.

— А вы позвоните в институт и все выясните, — приказал Автандил Автандилович.

— А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним? — сказал Платон Самсонович.

— Наоборот, — возразил Автандил Автандилович, — это только подтвердит нашу уверенность в правоте.

Соединившись с институтом, Платон Самсонович узнал, что турокоз жив и здоров, а дискуссию они прекратили, решив делом доказать, чьи турокозы окажутся более жизненными.

— Чьи козлотуры, — поправил Платон Самсонович и положил трубку. — Проглотили, — подмигнул он мне и, потирая руки, сел на свое место.

Мне не терпелось наконец своими глазами увидеть настоящего живого козлотура, но Платон Самсонович, хотя и одобрял мой план, все же не спешил посылать меня в деревню. Наконец наступило время.

До этого только один раз я был в командировке, и то не совсем удачно.

На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой рыболовецкого колхоза, расположенного рядом с городом. Все было чудесно: и сиреневое море, и старый баркас, и ребята, ловкие, сильные, неустойчивые. Они выбрали рыбу из ставника, но на обратном пути вместо того, чтобы идти на рыбозавод, свернули в сторону небольшого мыска, мимо которого мы должны были пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись женщины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать.

— Ребята, может, не стоит, — сказал я, когда баркас уткнулся носом в песок. Возможно, я это сказал слишком поздно.

— Стоит, — радостно заверили они, и начался великий торг. Через пятнадцать минут всю рыбу выменяли на деньги и продукты натурального хозяйства. Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Рыбаки вежливо меня слушали, нарезаая хлеб и раскладывая закуски. Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказать было бы неслыханным пижонством.

Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким, безмятежным сном.

Потом они мне объяснили, что рыбы было слишком мало и рыбозавод такое количество все равно не берет, а план они все равно перевыполняют.

Я понял, что очерк писать нельзя, и мне ничего не оставалось, как написать «Балладу о рыбном промысле», где

я воспел труд рыбаков, не уточняя, как они воспользовались плодами своих трудов. Баллада была хорошо принята в редакции, она прошла как новая, столичная форма очерка.

Однако пора возвратиться к козлотурам.

Готовилось областное совещание по обмену опытом разведения козлотуров. К этому времени их распределили между наиболее зажиточными колхозами, с тем чтобы приступить к массовому размножению. Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под тем предлогом, что они и коз давно не держат, но их пристыдили и заставили купить соответствующее количество коз. Наконец козы были куплены, но потом стали поступать жалобы, что некоторые козлотуры проявляют хладнокровие по отношению к козам.

По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осеменении коз, но Платон Самсонович стал утверждать, что такой компромисс на руку нерадивым хозяйственникам. Он сказал, что хладнокровие козлотура есть отражение хладнокровия самих председателей ко всему новому.

Как раз в это время из села Ореховый Ключ пришло письмо, в котором безымянный колхозник жаловался, что их председатель нарочно травит козлотура собаками, держит под открытым небом и морит голодом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового животного, но сказать не могут, потому что боятся председателя. Заметка была подписана псевдонимом «Обиженный, но Справедливый».

— Конечно, возможны преувеличения, — сказал Платон Самсонович, показывая мне письмо, — но сигнал есть сигнал. Поезжай в Ореховый Ключ и все посмотри своими глазами. — Платон Самсонович на минуту задумался и добавил: — Я знаю этого председателя, зовут его Илларион Максимович. Хозяин неплохой, но консерватор, кроме своего чая, ничего не видит. В общем, — сказал Платон Самсонович и, вытянув руку, стал щупать воздух растопыренными пальцами, словно пытаюсь нащупать очертания моей будущей статьи, — примерно так должна выглядеть твоя статья: «Чай хорошо, но мясо и шерсть козлотура еще лучше».

— Хорошо, — сказал я.

— Помни, — остановил он меня в дверях, — от этой командировки многое зависит.

— Конечно, — сказал я.

Платон Самсонович задумался.

— Что-то я еще тебе хотел сказать... Да, не проспиртуй машину.

— Что вы! — воскликнул я и пошел оформлять командировку.

Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два карандаша на случай, если потеряю ручку, и перочинный ножик, чтобы точить карандаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случайностей.

Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозь зелень садов и белые домики прорывалось море, теплое даже на вид. Оно казалось насыщенным и успокоенным обилием летнего тепла и купальщиц.

Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые созревающей кукурузой и мандариновыми плантациями. Изредка открывались тунговые плантации с лопухими деревцами, усеянными гроздьями плодов.

Во время войны солдаты строительного батальона, стоявшего в этих местах, срывали тунговые плоды, немного похожие на недозрелые яблоки, но страшно ядовитые.

Пробовали, несмотря на строжайший запрет. Они, наверное, думали, что это им говорится так, для остратки, да и время было голодное. Обычно их откачивали, но бывали, говорят, и смертельные случаи.

Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, так он был неожидан, доносил далекий запах прелого папоротника, прокаленного солнцем навоза, молочный дух зреющей кукурузы, и все это сладко и грустно напоминало детство, деревню, родину...

Почему так сильна над нами власть запахов? Почему воспоминание не может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связанный с ним знакомый запах? Может, дело в его неповторимости, ведь запах нельзя вспоминать отдельно от него самого, так сказать, повторить воображением. И когда он повторяется натурально, он с первозданной свежестью выхлестывает наружу все, что было связано с ним. А зрительные и слуховые впечатления мы часто повторяем своими воспоминаниями, и, может быть, потому они в конце концов притупляются...

Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинящих сиденьях. Верх автобуса был застеклен каким-то необыкновенным голубым стеклом. Так что и без того голубое небо сквозь это стекло делалось неправдоподобно голубым. Стекло это как бы показывало небу, каким оно должно быть, а пассажирам — каким его надо видеть.

Этот автобус только недавно передали транспортной конторе. До этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе перед Ботаническим садом, или Старой крепостью, или еще где-нибудь.

Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращающимися домой. Каждая при себе держала туго набитую корзину или кошелку, из которой торчала неизменная связка бубликов. Некоторые колхозницы не без горделивости дер-

жали в руках китайские термосы, похожие на спортивный кубок и на снаряд одновременно.

Цепи гор медленно проплывали на горизонте. Самые дальние из них и самые высокие были покрыты первым снегом, который, наверное, выпал сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их вершины четко и чисто сверкали в небе.

Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов — там еще до снега далеко.

Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близкой линии гор гряду голых утесов, и что-то в груди у меня толкнулось радостно и испуганно.

Под этими утесами лежало наше село. С детства они мне казались страшно загадочными, и хотя до них было недалеко, правда, дорога труднопроходимая, но я так и не поднялся туда ни разу. Сейчас я вдруг пожалел, что в стольких местах бывал, а там не был ни разу.

Каждое лето с самого раннего детства я жил несколько месяцев в доме дедушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой. Даже не столько домой, сколько именно в город.

Как я скучал по нему, как сладко было вспоминать тот особый городской запах пыли, пропитанный запахом бензина и резины. Сейчас мне трудно это понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката: там за круглой и мягкой по своим очертаниям горой был наш город, и я подсчитывал дни, оставшиеся до конца каникул...

Потом, когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфальту, необыкновенную, радостную легкость в ногах, которую я приписывал удобствам гладкой городской дороги, а на самом деле, я думаю, этой легкостью я был обязан бесконечным хождениям по горным тропкам, чистому воздуху гор, простой и здоровой еде.

Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома.

Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет — старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильной располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе.

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы.

Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с еще нежной скорлупой, с еще не загустевшим ядрышком внутри!

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоящей у очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых складах в старых крепостях и о бесстрашных абреках. На этой скамье, бывало, дядя резал табак своим острым топориком, а потом, выхватив из очага горящий уголек, бросал его в горку нарезанного табака и медленно, с удовольствием копнил эту дымящуюся горку, чтобы она как следует просушилась и пропиталась ароматом древесного дыма.

Мне не хватает вечерней переключки женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!

И вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птицами. И вот они начинают беспокойно кудахтать и, оглядывая ветки инжирного дерева, неожиданно взлетают, промахиваются, снова взлетают и наконец усаживаются на ветках во главе с гневно клекочущим золотистым петухом.

Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке, пригнувшись, на ходу хватается какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять телят, и легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопросительно мычат коровы, детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром.

И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными на одну сторону. Самцы поигрывают, встают на дыбы, медленно падают друг на друга и сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют, — значит, хорошо выпаслись.

И вот уже выпустили козлят, и начинается дойка, и козлята бегут к матерям, а козы следят за ними с выражением глуповатой бдительности, потому что боятся спутать своих детенышей с чужими и все-таки путают, а детенышам все равно, тыкаются в первое попавшееся вымя. Я заметил, что козы по-настоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она или прогоняет его, или успокаивается, словно боль, которую козленок причиняет ей,

дергая за сосцы, бывает разная — от своего одна, от чужого совсем другая.

Почему-то с годами этих коз становилось все меньше, и коров становилось все меньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше летом они его не успевали обрабатывать, и было непонятно, куда все это делось.

Я вспоминаю горницу с домотканым ковром на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с женским лицом и печальными глазами.

Позади оленя маленький человек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, этот маленький человечек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разницы, да ему и невозможно простить этой разницы, как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя маленьким.

И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека, который, ссутулившись, целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и, он, олень, об этом знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда, ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь.

Я подолгу смотрел на этот домотканый ковер, и любил оленя, и ненавидел этого охотника, особенно мне была противна его ссутуленная в жестоком усердии спина.

Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде и теперь пахнущих чистотой, летним днем, солнцем.

Нас, детей, укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно сереющими на стенах портретами умерших родственников.

Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листами, плакатами, дешевыми картинками.

Среди газетных и журнальных страниц двадцатых и тридцатых годов попадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было читать их, лежа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома.

И чего только там не было!

Огромная олеография — Наполеон оставляет горящую Москву. Всадники в треуголках, кремлевская стена и вдали громадное зарево пожара.

Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом, с богом, рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и чем-то похожих на наши горские чуваки из сырмятной кожи.

Архангел Гавриил, джигитуя на коне, копьём пронзает отвратительного дракона, и рядом наши советские плакаты с антирелигиозными и кооперативными сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них помню хорошо. Мужичок, горестно всплеснувший руками перед неожиданно, словно от библейского проклятья, разверзшимся мостом, в который провалилась его лошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной картинкой была не менее поучительная подпись: «Поздно, братец, горевать, надо было страховать!»

Я не очень верю этому мужичку. Уж как-то слишком по-бабьи выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он уже всплеснул руками и больше ничего не делает.

То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадью, он до конца будет пытаться спасти ее, удержать если не за вожжи, то хотя бы за хвост.

Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться потому, что я чувствовал в нем какую-то фальшь.

Подпись под этой картинкой тоже вызывала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать — лошадь или мост. Мне казалось, что все-таки лошадь. Но тогда получалось, что мост так и должен остаться проваливающимся, потому что, если он перестанет проваливаться, тогда и лошадь незачем будет страховать.

Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства — бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, пронесившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших матерей делал нам добро и только добро, и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично. А как же иначе?

Я думаю, что настоящие люди — это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости.

Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебивали сотни разных людей, начиная от случайных пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на летние пастбища, и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками.

В хозяйстве дяди было несколько коров и с полсотни коз. Помню, почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь из родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях расцветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж, покупок.

Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали, что слегка омусульманенные абхазцы свинину не едят и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству.

Каких только ни делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, видно, сделать это было не просто или все эти труды себя не оправдывали, потому что с годами скотины становилось все меньше и меньше.

Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось пасти дядиных коз.

Странно, подумал я, с тех пор прошло столько лет, я окончил школу, потом институт, потом работа, а вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились в козлотуров.

И вдруг я отчетливо вспомнил то время, когда я дольше всего жил в доме дедушки, когда я еще был совсем мальчиком, а козы были еще козами, а не козлотурами, я вспомнил те далекие дни, а точнее — один день или, скорее, один вечер с его приключениями, которые мне тогда пришлось пережить.

Одним словом, шел сорок второй год. Я жил в горах в доме дедушки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии.

Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, не подпустили.

После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные беседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую мамалыгу, авторитет которой быстро подымался.

В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, и нам было куда ехать, поэтому мы уехали.

Наши деревенские родственники, посоветовавшись, распределили нас между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас.

Старший брат, как человек, уже отравленный городом, захотел остаться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию.

Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного, отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посередине — в доме своей старшей сестры.

К этому времени в доме дедушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться, что к чему, как оказался приставленным к ним.

Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания: «Хейт! Ийо!» Они имели множество оттенков и смыслов, в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда им это было выгодно, делали вид, что спутали оттенки.

Оттенков и в самом деле было много. Например, если произносить вразтяжку, вольно и широко: «Хейт! Хейт!» — это означало: паситесь спокойно, вам ничего не угрожает.

Эти же звуки можно было произносить с некоторым педагогическим укором, и тогда они означали: «Вижу, вижу, куда вы сворачиваете!» — или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко и быстро: «Ийо! Ийо!» — надо было понимать: «Опасность! Назад!».

Козы обычно, услышав мой голос подымали головы, как бы стараясь уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется.

Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня иногда раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листики с кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподнимались на задних ногах, и в это время в них было что-то бесстыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей. Гораздо позднее, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется Эль Греко, я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей.

Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах близости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливаются перекусить возле ручья или речки,

Мне кажется, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее, приятнее.

Овцы обычно шли позади коз, они паслись, низко наклонив голову, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые, по возможности ровные места. Зато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задкам, каждый шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до дури, они забивались в кусты и отдыхали, по-собачьи разинув рты и жарко дыша боками.

Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места. Укладывались где почище. Самый старый козел обычно на самой вершине. У него были устрашающие рога, ключья свалывшейся и желтой от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль: двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он даже не смотрел на него.

Однажды из стада исчезла коза. Я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду о колючки, крича до хрипоты. Так и не нашел. Возвращаясь, случайно поднял голову и вижу — она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы. Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились, она нагло смотрела на меня желтыми неузнаваемыми глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко прыгнула и побежала к своим.

Думаю, что козы — самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься, а их уж и след простыл, как будто растворились среди белых камней, ореховых зарослей, в папоротниках.

Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким растрескавшимся тропкам, через которые вспыхивали зеленые молнии ящериц. Случалось, что мелькнет у ног и змейка, взлетишь, как подброшенный, чувствуя подошвой ноги, которой чуть было не наступил на нее, упругий холод змеиного тела, и еще долго бежишь, ощущая ногами необоримую, почти радостную легкость страха.

А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кустов: не там ли? Прислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в могучей синеве пенью жаворонков, случайному голосу человека на невидной отсюда проселочной дороге, прислушиваясь к медленному тугим ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зелени — сладкое томление летней тишины.

В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску «кукурузников», летящих за перевал. Там шли бои.

Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел «кукурузник» и почти камнем стал падать вниз, в провал Кодорской долины, и потом, уже опустившись совсем низко, так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он перевалил через хребет, спасая себя, видимо, от немецкого истребителя. Тень его, не по-земному быстрая, пробежала по лугу совсем близко от меня, чиркнула табачную плантацию, а через мгновение летела далеко внизу рядом с дельтой Кодора.

Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет. Мы его узнавали по замирающему вою, чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно, когда он приближался к городу, начинали палить зенитки и видно было, как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывов, а он шел и шел сквозь них, как завороженный. Так за всю войну и не увидел, чтобы подбили самолет.

Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял продавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждет не дождется, когда к нему придет мама. Весть всех всполошила, надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что, кроме меня, послать было некого, и я стал собираться в дорогу.

Меня накормили сыром и мамалыгой, дед дал мне одну из своих палок, и я пустился в путь, хоть день шел на убыль и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева. Дорогу я помнил довольно плохо, вернее, расположение дома, где жила мама, но объяснения не стал слушать, чтобы не передумали меня посылать.

Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села.

Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто вошел в воду, и летний день остался позади.

Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле.

Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий кряжистых каштанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоящим между землей и небом, как мираж. Вечерело.

Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села, но теперь казались странными,

чем-то не похожими на себя. Разговаривали, опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голый ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу.

Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкрадчиво пошли дальше.

Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток; я обрадовался, что смогу идти по ровному месту, и стал быстро спускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона.

Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усиливалось от запаха бензина и теплой, усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской запах. Видно, я здорово соскучился по городу, по дому, и, хотя отсюда до нашего дома было еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная дорога казалась дорогой к нему.

Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса.

Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Видно, надо было с раннего детства видеть этого пастуха. Глядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и мне делалось грустно, может быть, оттого, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы.

Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!

Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей.

Я жадно прислушивался к смутным, а иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда.

— Выгони собаку, — услышал я чей-то мужской голос.

Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил

в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту.

Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов.

Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посредине, со скамейками вокруг ствола.

Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у правления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшно-ватым.

Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели.

Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дикого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника тогда не было. А может быть, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков: по извику ее, по канавке, отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и враждебная.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещанье цикад, глядя на заворуженно-неподвижные кусты, на луну — уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало.

Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня: боялась, не успеет. Собака отскачила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у кустов, внюхиваясь в какой-то след.

Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня.

— Чей ты, что здесь делаешь? — спросил он сердито оттого, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры.

— Зачем он тебе? — спросил он, теперь восторженно удивляясь.

Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все.

Пока я рассказывал ему, что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой, прицокивал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами.

— А Мексут живет совсем рядом, — сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти.

Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет и до чего просто к нему пройти. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке.

— Совсем близко, отсюда докричать можно, — сказал он уже на ходу, как бы думая вслух и радуясь, что мне так здорово повезло.

Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один.

Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной.

Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но тогда это было днем и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и, хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним.

Кладбище напоминало карликовый городок, с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди, после смерти сильно уменьшившись и поэтому став злее и опаснее, продолжают жить тихой, недоброй жизнью.

Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай — приносить на могилу еду и питье, но все равно сделалось еще страшнее.

Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробья, и от этого черные тени казались еще черней и лежали на земле, как тяжелые, неподвижные глыбы.

Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под

мышку, стало совсем тихо и еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилой.

Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают досками наподобие крыши.

Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал.

Поэтому я шел, не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное — не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму.

Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он или, вернее, оно где-то рядом и теперь я полностью в его власти. В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах.

Оно медлило и медлило, страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет.

Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось.

Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежескопанной нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть.

Я долго глядывался в него. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания, в какое-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла, и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что он при этом может пахнуть козлом.

Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться.

Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел край ямы, озаренный лунным светом, прозрачную полосу неба со светлой звездочкой посредине. Наверху прошелестело дерево, было странно снизу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она покачнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно.

Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы, и, так как оно продолжало жевать, бесплотно глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться.

Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что, даже подпрыгнув, не смог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла помочь.

Яма была довольно узкая, и я попробовал, упираясь руками и ногами в противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я шлепнулся снова.

Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарханулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забило в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами, тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой.

Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козлы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться.

Я сел с ним рядом на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплему животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он начал лизать мою руку, сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попасть на свежем месте.

Он долго лизал мою руку, а я почувствовал, что, даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом.

Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся рядом со мной и снова принялся за жвачку.

Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а звездочка передвинулась на край полоски неба. Стало еще прохладней.

Вдруг я услышал приближающийся топот коня, сердце бешено забилося.

Топот делался все отчетливей и отчетливей, иногда раздавалось металлическое пощелкиванье подков о камни. Я испугался, что всадник свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный, и я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:

— Эй! Эй! Я здесь!

Лошадь остановилась, в тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской голос:

— Кто там?

Я рванулся навстречу голосу и закричал:

— Это я! Мальчик!

Некоторое время человек молчал, потом я услышал:

— Что за мальчик?

Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки.

— Я мальчик, я из города, — сказал я, стараясь говорить не покойническим, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным.

— Зачем туда залез? — жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки.

— Я упал, я шел к дяде Мексуту, — быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет.

— К Мексуту? Так и сказал бы.

Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы.

— Держи! — услышал я, и веревка, прошуршав в воздухе, соскользнула в яму.

Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку округ его шеи, быстро затянул два узла и крикнул:

— Тяните!

Веревка натянулась, козел замотал головой и встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх — веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдал копытом мне ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что

я в конце концов испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за нею придет.

Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать.

— Это был козел, — сказал я громко и спокойно. Молчание.

— Дядя, это был козел, — повторил я, стараясь не менять голоса.

Я почувствовал, что он остановился и слушает.

— Чей козел? — спросил он подозрительно.

— Не знаю, он сюда упал раньше меня, — ответил я, понимая, что слова мои не убеждают.

— Что-то ты ничего не знаешь, — сказал он, а потом спросил: — А Мексуту кем ты приходишься?

Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии все родственники). Я почувствовал, что он начинает мне верить, и старался не упускать это потепление. Сразу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я почувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме.

В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать.

Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки эта история ему не нравилась.

— Богом проклятая тварь, — сказал он, и я услышал, как он пнул ногой козла. Козел екнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой и грузный мужчина. Кисть руки, которую он держал, побаливала.

Он молча посмотрел на меня и, вдруг неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове:

— Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человека тащу, а тут рогатый вылезает...

Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоявшей у ограды. Козел на веревке шел за ним.

От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверно, он оставил на мельнице кукурузу, подумал я и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он под-

садил меня, вернее, почти вбросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула головой, чтобы уку-сить меня за ногу. Я успел ее подобрать.

Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уз-дечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно уселся на седле. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тро-нулись.

Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскоря-чиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел.

Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на сед-ле я задремал.

Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута.

— Эгей, хозяин!—крикнул мой спутник и стал заку-ривать. Веревку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее.

Дверь в доме открылась, и мы услышали:

— Кто там?

Голос был мужественный и резкий: так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече.

Дядя Мексут—это был он, я сразу узнал его широко-плечую, низкорослую фигуру—спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядыв-ваясь в темноту.

Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня.

— Еще не то узнаешь,—сказал мой спаситель, сса-живая меня и стараясь передать через изгородь прямо в ру-ки дяде Мексуту. Но я не дался ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам.

Спутник мой стал откручивать веревку с козлом.

— Козел откуда?—еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут.

— Чудеса, чудеса!—весело и загадочно сказал всад-ник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного.

— Зайди в дом, спешись!—сказал дядя Мексут, схватив коня за уздечку.

— Спасибо, Мексут, никак не могу,—ответил всад-ник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился.

По абхазскому обычаю, дядя Мексут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрашивая, то издеваясь над его якобы важными делами, из-за которых он не может остаться. Все это время он поглядывал то на

козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливал ее.

Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак.

В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отсветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запричитали.

Одна из моих городских теток, узнав о цели моего прихода, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Мексут был большой хлебосол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали виноград, и сезон длинных тостов только начинался.

Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости.

Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили стакан вина. Мама покачала головой, но дядя Мексут сказал, что маچارка еще не вино, а я уже не ребенок.

Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино маچارка. Я уснул за столом.

Дней через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидаться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами.

Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ.

Автобус запыхал дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого, неподвижного сидения. Становилось жарко.

Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской пронизательности. Рядом с правлением под могучим шатром орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два старика абхазца. Один из них держал в руке палку, другой — посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рогатульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был

с прямым носом и держал палку без всяких ответвлений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее, почтительно кивнул им, на что они ответили вежливым движением, как бы приподымаясь навстречу.

— Сдается мне, что это новый доктор, — сказал один из них, когда я прошел.

— А по-моему, армянин, — сказал другой.

Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху служебные помещения. Из открытых дверей магазина доносился женский смех.

У самого крыльца стоял потрепанный «газик», и я понял, что председатель на месте.

К стене правления было приклеено объявление, написанное подтекающими буквами:

«Козлотур — это наша гордость».

Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член Общества по распространению научных и политических знаний Вахтанг Бочуа. После лекции кино «Железная маска».

Так, значит, Вахтанг здесь или должен приехать! Я обрадовался, предвдушая встречу с нашим прославленным балагуром и чангалистом. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про козлотуров.

Кстати, слово чангалист, кажется, употребляется только у нас в Абхазии и означает — любитель выпить на чужой счет. Производное от него — зачангалить, то есть подцепить кого-нибудь, взять на абордаж, и не обязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком смысле.

Впрочем, Вахтанга, как правило, любили угощать, потому что в любую компанию он вносил шумливое, безудержное веселье. Сама внешность его полна комических противоречий. Тучная и мрачная голова Нерона — и добродушный, незлобивый характер, пронырливость и пробивная сила снабженца — и задумчивая профессия археолога, так сказать, листающего пласты веков.

После окончания историко-архивного института Вахтанг несколько лет работал экскурсоводом, а потом написал книжку «Цветущие развалины». Она стала любимой книгой туристов. «И интуристов», — неизменно добавлял Вахтанг, когда разговор о ней заходил при нем. А разговор заходил почти всегда, потому что он сам же его и заводил.

Мы, земляки, в студенческие времена часто собирались вместе, и ни одна дружеская пирушка не обходилась без Вахтанга. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, он обладал необычайным чутьем, и если кто получал посылку, его не надо было звать. Он являлся в

общежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или оборвать шпагат, которым был перевязан ящик.

— Приостановить процедуру,—говорил он, открывая дверь и обрушивая на голову обладателя посылки водопад великолепного пустозвонства.

В нем и тогда чувствовался плут, но плут веселый, дерзкий, артистичный и, главное, безвредный для друзей, разве что впадал в меланхолию, когда приходило время расплачиваться с официанткой.

Вспоминая Вахтанга, я поднялся по деревянной лесенке на второй этаж и вошел в правление колхоза.

Это была длинная прохладная комната, перегороженная справа и слева деревянными перилами. Слева от меня, сидя за столом, дремал толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он приоткрыл один глаз и некоторое время осознал мое появление и, очевидно осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, приоткрывает глаз, но, поняв, что этот звон не имеет отношения к началу трапезы, продолжает дремать.

Справа несколько счетных работников усердно щелкали костяшками счетов, и иногда, когда костяшка стучала слишком сильно, дремлющий человек приоткрывал все тот же глаз и снова благодушно закрывал его. Один из счетных работников встал, подошел к несгораемому шкафу и вынул оттуда какую-то папку, и вдруг я понял, что это девушка, одетая в мужской костюм. Меня поразило выражение ее лица, печального, как высохший колодец.

В конце комнаты над большим столом возвышалась председательская фигура самого председателя. Он говорил по телефону. Он оглядел меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к трубке.

— Здравствуйте,—сказал я по-русски, не обращаясь ни к кому определенно.

— Здравствуйте,—ответила девушка тихо и приподняла свое печальное лицо.

Я не знал, с чего начать, потому что председателя прервать было неудобно, но и стоять так без дела тоже было неудобно.

— Лектор еще не приехал? — зачем-то спросил я у девушки, словно явился на лекцию.

— Товарищ Бочуа уже приехал,—сказала она тихим голосом, вскинув на меня свои большие глаза,—он поехал рассматривать старую крепость.

— Дорогой, за кукурузу не бойся, как львы стоят! — загремел председатель по-абхазски.— Как львы, говорю, только напоминаю насчет удобрения... Давали, но не хватает... Если комиссия-чамиссия, есть что показать, ведите прямо к нам... Чтоб я кости отца откопал, если не выпол-

ним план, но, дорогой Андрей Шалвович, больше у нас земли нет. Какие залежные земли — бурку расстелить негде. Здесь агроном сидит, он скажет, если проснется, — добавил председатель игриво и посмотрел на дремлющего человека.

Не успел он договорить, как тот что-то сердито заклокотал в ответ, и, по-моему, заклокотал раньше, чем открыл глаза. Из того, что он сказал, я понял, что он не собирается ради каких-то сумасшедших выкорчевывать чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и закрыл глаза раньше, чем кончил говорить.

Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив, что я смотрю на него, он нахмурился и бросил по-абхазски в сторону девушки:

— Узнай у этого лоботряса, откуда он и что ему надо.

Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного хозяина:

— Совсем к нам дорогу забыли, Андрей Шалвович. Нехорошо получается, Андрей Шалвович. Не я прошу, народ просит, Андрей Шалвович.

Я несколько опешил, услышав про лоботряса. Очевидно, он решил, что я не абхазец, и мне ничего не оставалось, как согласиться с этим.

Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму кругу.

... — Тони сто суперфосфат-муперфосфат прошу, как родного брата, Андрей Шалвович.

Я смотрел, как работает девушка. Она что-то подсчитывала, изредка перекидывая костяшки на счетах, словно задумчиво перебирала большие деревянные бусы.

Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему.

— Здравствуйтесь, товарищ, вы из леспромхоза, — сказал он уверенно и протянул мне руку.

— Я из газеты, — ответил я.

— Добро пожаловать, — оживился он и, кажется, пожал мне руку сильнее, чем собирался.

— Вот командировка, — сказал я и полез в карман.

— Даже не хочу смотреть, — ответил он, делая рукой отстраняющий жест. — Человека видно, — добавил он с наглой серьезностью, глядя мне в глаза.

— Я насчет козлотура, — сказал я, внезапно почувствовав, что здесь слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из счетоводов хихикнул.

— Чтоб я похоронил твой смех, — проурчал председатель по-абхазски и добавил по-русски: — С козлотуром мы провели большую работу.

— А что именно? — спросил я.

— Во-первых, широкая пропаганда среди населения, — председатель загнул мизинец на левой руке и вдобавок

пристукнул его правой ладонью. — Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг Бочуа. Зоотехника командировали к селекционеру, — он загнул безымянный палец и опять прищлепнул его ладонью. — А что, жалобы есть? — неожиданно прервал он себя и посмотрел на меня черными настороженными глазами.

— Нет, — сказал я, выдержав его взгляд.

— А то у нас есть один, бывший председатель прикннувшего колхоза.

— Нет-нет, — сказал я, — дело не в жалобе.

— Но он свою фамилию не пишет, — добавил он, словно раскрывая всю глубину его коварства, — другими словами подписывает, но мы знаем эти слова.

— Можно посмотреть на козлотура? — перебил я его, давая знать, что жалобщик меня не интересуется.

— Конечно, — сказал он, — пройдемте.

Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое, сильное тело свободно двигается под просторной одеждой.

Спящий агроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами на веранду.

— Сколько раз я этому болвану говорил, чтоб почистил загон, — сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по лестнице.

— Валико! — крикнул председатель, обернувшись к дверям магазина. — Выйди на минуту, если тебя еще там не женили.

Из магазина раздался смех девушки и дерзкий голос парня:

— А что там случилось?

— Не случилось, а случится, если я запру этот магазин и позову сюда твою тещу.

Снова раздался женский смех, и на пороге появился парень среднего роста с огромными девственно-голубыми глазами на смуглом лице.

— Поезжай к тете Нуце и привези огурцы для козлотура, — сказал председатель, — товарищ приехал из города, можем осрамиться.

— Не поеду, — сказал парень, — люди смеются.

— Плюнь на людей, — сказал председатель строго, — подъезжай прямо туда, мы будем там.

Я теперь понял, что это его шофер. Валико сел на газик и, сердито развернувшись, выехал на улицу.

Было жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и тот, что был с посохом, что-то рассказывал другому, время от времени постукивая своим посохом по земле, так что он уже продолбил порядочную лунку. Было похоже, что он собирается поставить здесь небольшую изгородь, чтоб отгородить свое место в тени орешника от летнего солнца и колхозной суеты.

Председатель поздоровался с ними, когда мы с ними поравнялись, и старики в знак приветствия сделали вид, что приподымаются.

— Сынок, — спросил тот, что был с посохом, — этот, что с тобой, новый доктор?

— Это козлотурский доктор, — сказал председатель.

— А я посмотрел и думаю: армянин, — вставил тот, что был с палкой.

— Чудеса, — сказал тот, что был с посохом, — я этих козлотуров в горах сотнями убивал, а теперь за одним доктором прислали.

— Большой чужак этот старик, — сказал председатель, когда мы вышли на улицу.

— Почему? — спросил я.

— Приезжал как-то секретарь райкома, остановился тут, а старик вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор, как раньше жили, как теперь. Старик ему говорит: «Раньше землю пахали деревянной сохой, а теперь железным плугом». — «Что это означает?» — спросил секретарь. «От сохи земля падает в обе стороны одинаково, а железный плуг выворачивает в одну, — значит, и урожай себе». — «Правильно», — сказал секретарь райкома и уехал.

Мне захотелось в двух словах записать эту присказку, чтобы потом не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал мне записать ее.

— Это не надо, — сказал он решительно.

— Почему? — удивился я.

— Не стоит, — сказал он, — это фантазия, я вам скажу, что надо записывать.

«Ничего, я и так запомню», — подумал я и спрятал блокнот.

Мы шли по горячей пыльной улице. Пыль так раскалилась, что даже сквозь подошвы туфель пекло.

По обе стороны деревенской улицы время от времени мелькали крестьянские дома с приусадебной кукурузой, с зелеными ковриками дворов, с лозами «изабеллы», вьющейся по веткам фруктовых деревьев. Сквозь курчавую виноградную листву проглядывали плотные, незрелые виноградные кисти.

— Много вина будет в этом году, — сказал я.

— Да, виноград хороший, — сказал председатель задумчиво. — А на кукурузу обратили внимание?

Я посмотрел на кукурузу, но ничего особенного не заметил.

— А что? — спросил я.

— Как следует посмотрите, — сказал председатель, загадочно усмехнувшись.

Я присмотрелся и заметил, что с одной стороны приусадебного участка у каждого дома кукуруза была более рослая, с более мясистыми листьями, с цветными косич-

ками завязи, с другой стороны зелень более бледная, кукуруза ниже ростом.

— Что, не одновременно сеяли? — спросил я у председателя, продолжавшего загадочно улыбаться.

— В один день, в один час сеяли, — сказал председатель, еще более загадочно улыбаясь.

— А в чем дело? — спросил я.

— В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нужное мероприятие, но не для нашего колхоза. У меня чай — я не могу на приусадебных клочках плантации разводить.

Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в будущем.

— Крестьянское дело — очень хитрое дело, между прочим, — сказал председатель, продолжая загадочно улыбаться. Казалось, он своей улыбкой намекал на то, что эту хитрость из городских еще никто не понял, да и навряд ли когда-нибудь поймет.

— В чем же хитрость? — спросил я.

— В чем хитрость? А ну скажи ты, — председатель неожиданно обернулся к агроному.

— Хитрость в том, что, если крестьянин увидит коровью лепешку на этой улице, — он ее перебросит на свой участок, — засопел агроном. — И так во всем.

— Психология, — произнес важно председатель.

Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но председатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в карман.

— В чем дело? — спросил я.

— Это так, разговор туда-сюда, об этом писать нельзя, — добавил он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем можно писать, о чем нельзя.

— А разве это не правда? — удивился я.

— А разве всякую правду можно писать? — удивился он.

Тут мы оба удивились нашему удивлению и рассмеялись. Агроном сердито хмыкнул.

— Если я ему скажу, — председатель кивнул на приусадебный участок, мимо которого мы теперь проходили, — половина урожая тебе — совсем по-другому обработает землю и хороший урожай возьмет.

Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, только не слишком гласно.

— А почему бы вам не сказать? — спросил я.

— Это проходит как нарушение устава, — строго заметил он и неопределенно добавил: — Иногда кое в чем позволяем сверх плана.

Густой аромат распаренного солнцем чайного листа ударил в ноздри раньше, чем открылась плантация. Темно-зеленые ряды кустов уходили справа от дороги и разливались до самой опушки леса. Они мягко огибали опушку, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. Посреди плантации стоял огромный дуб, наверное, в жару под ним отдыхали сборщицы.

Так тихо, что кажется — на плантации пусто. Но вот у самой дороги мелькнула широкополая шляпа сборщицы, а там белый платок, а там еще кто-то в красном.

— Как дела, Гогола? — окликнул агроном широкополю шляпу.

Она обернулась в нашу сторону.

— Двадцать кило с утра, — сказала девушка, на миг приподняв худенькое миловидное лицо.

— Ай, молодец Гогола! — крикнул председатель радостно.

Агроном с удовольствием засопел.

Девушка гибко склоняется над чайным кустом. Пальцы рук легкими, как бы ласкающими движениями скользят по поверхности чайного куста. Цок! Цок! Цок! — слышится в тишине беспрерывный сочный звук. Молодые побеги, кажется, сами выпрыгивают в ладони юной сборщицы.

Она медленно продвигается вдоль ряда. К поясу, слегка оттягивая его, привязана корзина. Движения рук от куста к корзине, от куста к корзине. Иногда она наклоняется и выдергивает из кустов стебель сорняка. На руках перчатки с прорезями для пальцев, вроде тех, что носят зимой кондукторши в Москве.

Зной, марево и упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. Вид чайных плантаций оживляет председателя.

— Ай, молодец Гогола, Гогола, — напевает он с удовольствием.

Рядом, посапывая, шагает агроном.

— Вот про Гоголу запишите, все скажу, — говорит председатель. — За лето тысяча восемьсот килограммов собрала, почти две тонны.

Но теперь мне не хочется записывать, да и задание у меня совсем другое.

— Другой раз, — говорю я. — А вас давно объединили?

— Не говори, дорогой, нищих примкнули, — говорит он брезгливо и добавляет: — Конечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза: у них табак, у нас чай. Я готов десять козлотуров воспитать, чем иметь дело с ними.

— Ай, молодец Гогола, Гогола, — напевает он, пытаясь вернуть хорошее настроение, но, видно, не получается. — Нищие! — сплевывает он с отвращением и замолкает.

Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему примыкал загон поменьше, там и сидел козлотур.

Мы подошли к загону. Я с любопытством стал оглядывать знаменитое животное. Козлотур сидел под легким брезентовым навесом. Увидев нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми немигающими глазами. Потом он встал и потянулся, выпятив мощную грудь. Это было действительно довольно крупное животное с непомерно тяжелыми рогами, по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы.

— Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит, — сказал председатель.

— Как не любит?

— Не гуляет, — пояснил председатель, — у нас климат влажный. Он привык к горам.

— А вы что, его огурцами кормите? — спросил я и испугался, вспомнив, что про огурцы он говорил по-абхазски.

Но председатель, слава богу, ничего не заметил.

— Что вы, — сказал он, — мы ему даем полный рацион. Огурцы — это проходит как местная инициатива.

Председатель просунул руку в загон и поманил козлотура. Козлотур теперь уставился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние.

Подъехал шофер. Он вышел из машины с плотно оттопыренными карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задремал в ее короткой тени. Председатель взял у шофера огурец и вытянул руку над забором. Козлотур встрепенулся и уставился на огурец. Потом он медленно, как загипнотизированный, двинулся на него. Когда он вплотную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, чтобы козлотур не смог достать огурец с той стороны. Козлотур привстал на задние ноги и, упершись передними в изгородь, вытянул шею, но председатель еще выше поднял огурец. Тогда козлотур одним легким звериным рывком перебросился через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал.

— Исключительная прыгучесть, — важно сказал председатель и отдал огурец козлотуру.

Тот завозился над ним, выскалив большие желтые резцы. Он возился с ним с таким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с пузырьком из-под валерьянки.

— Зайди теперь с той стороны, — сказал председатель шоферу.

Валико, крихтя, стал перелезать через изгородь. Из карманов у него посыпались огурцы. Козлотур ринулся было к ним, но председатель отогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил козлотура огурцом. Председатель подал мне один огурец и надкусил другой, слегка обтерев его о рукав.

— Весь скот у нас на альпийских лугах, — сказал председатель, чмокая огурцом, — для него оставили десять лучших коз, но ничего не получается.

Козлотур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянувшись до огурца, еще более великолепно прыжком перебрался в загон. Шофер поднял над головой огурец. Козлотур замер перед ним, глядя на огурец розовыми дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдернув из руки шофера огурец, рухнул на землю.

— Чуть пальцы не отгрыз, — сказал шофер и, вынув из кармана еще один огурец, надкусил его.

Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, прислонившись к изгороди.

— Эй, — крикнул председатель, — может, очнешься, — и бросил ему огурец.

Агроном открыл глаза и взял огурец. Лениво очистил его о свой полотняный китель, но, не дотянув до рта, почему-то передумал есть и вложил огурец в карман кителя. Снова задремал.

К загону подошли девочка и мальчик лет по восьми. Девочка, как ребенка, держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеленой кожуре, с еще не высохшей косичкой.

— Сейчас козлотур будет драться, — сказал мальчик.

— Пойдем домой, — сказала девочка.

— Посмотрим, как будет драться, а потом пойдем, — сказал мальчик рассудительно.

— Попробуй впусти коз, — сказал председатель.

Шофер пересек загон и, открыв дверцу-плетенку, вошел в большой загон. Я только теперь заметил, что в углу загона, сбившись в кучу, дремали козы.

— Хейт, хейт! — прикрикнул на них Валико и стал сгонять с места.

Козы неохотно поднялись. Козлотур тревожно вздернул голову и стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне.

— Понимает, — сказал председатель восхищенно.

— Хейт, хейт! — сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по всему загону. Он их пытался подогнать к открытой дверце, но они пробежали мимо.

— Боятся, — сказал председатель радостно.

Козлотур замер и не отрываясь смотрел в сторону большого загона. Он смотрел, вытянув шею, и принюхивался.

Время от времени у него вздрагивала верхняя губа, и тогда казалось, что он скалит зубы.

— Нэнавидит, — сказал председатель почти восторженно.

— Пойдем, — сказала девочка, — я боюсь.

— Не бойся, — сказал мальчик, — он сейчас будет драться.

— Я боюсь, он дикий, — сказала девочка рассудительно и прижимала початок к груди.

— Он один сильнее всех, — сказал мальчик.

Агроном неожиданно тихо засмеялся и вынул из кармана огурец. Он сломал его пополам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно-осторожно, бочком подошел и взял обе половинки.

— Пойдем, — сказала девочка и посмотрела на початок, — кукла тоже боится.

Видимо, она напоминала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новой.

— Это не кукла, это кукуруза, — сказал мальчик поспешно, разрушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он чмокал огурцом. Девочка от своей половины отказалась.

Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. Козлотур в бешенстве ринулся на них. Козы рассыпались по загону. Козлотур догнал одну из коз и ударом рогов опрокинул ее. Она перевернулась через голову, крикнула, но тут же вскочила и пустилась наутек. Козы бежали вдоль плетня, то рассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу. Козлотур гнался за ними, ударами рогов разбрызгивая их по всему загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а козлотур внезапно резко тормозил и, некоторое время следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол для атаки.

— Нэнавидит! — снова воскликнул председатель, восторженно цокая.

— Ему царицу Тамару подавай! — крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене.

— Хорошее начинание, но не для нашего климата! — крикнул председатель, стараясь перекричать топотню и голоса блеющих коз.

Козлотур свирепел все больше и больше, козы метались по загону, то сливаясь, то рассыпаясь в стороны. Наконец одна коза прыгнула через плетень и свалилась в большой загон. Другие сейчас же ринулись за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падали назад и снова бежали по кругу.

— Хватит! — крикнул председатель по-абхазски. — А то эта сволочь перекалечит наших коз.

— Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал! — крикнул шофер по-абхазски и ударом ноги распахнул дверцу загона.

Козы сейчас же ринулись туда и запрудили узкий проход, блея от страха и налезая друг на друга. Козлотур несколько раз с разгону налетел на это сцепившееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо и ударами рогов вколачивал их в большой загон.

Шофер с трудом отогнал его. Козлотур долго не мог успокоиться и бегал по загону, как разгоряченный лев.

— Ну, теперь пойдём, — сказала девочка мальчику.

— Он один всех победил, — объяснил ей мальчик, и они пошли по дороге, бесшумно перебирая пыльными загорелыми ногами.

— Нэнавидит, — повторил председатель, как бы восторгаясь надёжным упорством козлотура.

Мы сели в машину и поехали назад, к правлению колхоза. Машина остановилась в тени грецкого ореха. Агроном остался в машине, а мы вылезли. Старики сидели на своем месте.

Вахтанг Бочуа, сияя белоснежным костюмом и розовым добродушным лицом, стоял возле новенького «газика».

Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, словно собираясь принять меня в свои объятия.

— Блудный сын вернулся, — воскликнул он, — в тени столетнего ореха его встречает Вахтанг Бочуа и сопровождающие его старейшины села Ореховый Ключ. Целуй край черкески, негодяй! — добавил он, сияя солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и восхищенно смотрел на него.

Вдруг я вспомнил, что он может со мной заговорить по-абхазски, и, схватив его за руку, отвел в сторону.

— Что такое, мой друг, интриги? — спросил он, радостно загораясь.

— Делай вид, что я не понимаю по-абхазски, — сказал я тихо, — так получилось.

— Понятно, — сказал Вахтанг, — ты приехал изучать тайные козни против козлотура. Но учти: после моей лекции в селе Ореховый Ключ будет обеспечена сплошная козлотуризация, — завелся он, как обычно. — Кстати, это неплохо сказано — козлотуризация. Не вздумай употреблять раньше меня.

— Не бойся, — сказал я, — только молчи.

— Вахтанг умеет молчать, хотя это ему не дешево обходится, — заверил он меня, и мы подошли к председателю.

— Я надеюсь своей лекцией разбудить творческие силы вашего колхоза, если даже не удастся разбудить вашего агронома, — обратился Вахтанг к председателю, подмигивая мне и похохатывая.

— Конечно, это интересное начинание, товарищ Вахтанг, — сказал председатель уважительно.

— Что я и собираюсь доказать, — сказал Вахтанг.

— Какое ты имеешь к этому отношение, ты же историк, — сказал я.

— Вот именно, — воскликнул Вахтанг, — я рассматриваю проблему в ее историческом разрезе.

— Не понимаю, — сказал я.

— Пожалуйста, — он сделал широкий жест, — чем был горный тур на протяжении веков? Он был жертвой феодальных охотников и барствующей молодежи. Они истребляли его, но гордое животное не покорялось и уходило все дальше и дальше на недоступные вершины Кавказа, хотя сердцем оно всегда тянулось к нашим плодородным долинам.

— Заткнись, — сказал я.

— Я продолжаю, — Вахтанг похлопал себя ладонями по животу и, любуясь своей неистощимостью, продолжал: — А чем была наша скромная, незаметная абхазская коза? Она была кормилицей беднейшего крестьянства.

Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не понимали. Тот, что был с посохом, даже забыл про свою лунку и важно слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы речь удобней вливалась в ушную раковину.

— С ума сойти, как говорит, — сказал тот, что был с палкой.

— Наверное, из тех, что в радио говорят, — сказал тот, что был с посохом.

— ...Но она, наша скромная коза, — продолжал Вахтанг, — мечтала о лучшей доле, скажем прямо: она мечтала встретиться с туром... И вот усилиями наших народных умельцев, — а талантами земля наша богата, — горный тур встречается с нашей скромной домовитой и в то же время прелестной в самой своей скромности абхазской козой.

Я заткнул уши.

— Видно, что-то неприятное напомнил, ишь как закрыл уши, — сказал старик с палкой.

— Наверное, ругает, что плохо лечит козлотура, — добавил старик с посохом, — я этих козлотуров в горах убивал сотнями, а теперь за одного ругают...

— У них тоже какие-то свои дела, — заключил старик с палкой.

— ...Интимным подробностям этой встречи и посвящена моя лекция, — закончил Вахтанг и, вынув платок, промокнул им повлажневшее лицо.

В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят сюда электричество. Они вступили с председателем в долгий, нескончаемый спор. Оказывается, какие-то виды работ не учтены в смете, и ребята отка-

зывались работать до того, как правильно составят смету. Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу.

Нельзя было не залюбоваться мастерством, с каким он вел спор. Разговор шел на трех языках, причем с наиболее задиристым он говорил по-русски, на языке законов. Тихого кахетинца, который почти ничего не говорил, он сразу же отсек от остальных и говорил, отчасти как бы ссылаясь на него.

Иногда он оборачивался в нашу сторону, может быть призывая нас в свидетели. Во всяком случае, Вахтанг солидно кивал головой и бормотал что-то вроде: безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню в министерстве...

— Много ты лекций прочел? — спросил я у Вахтанга.

— Заказы сыплются, за последние два месяца восемьдесят лекций, из них десять шефских, остальные платные, — доложил он.

— Ну и что говорят люди?

— Народ слушает, народ осознает, — сказал Вахтанг туманно.

— А что ты сам об этом думаешь?

— Лично меня привлекает его шерстистость.

— Кроме шуток?

— Козлотура надо стричь, — сказал Вахтанг серьезно и, внезапно расплываясь, добавил: — Что я и делаю.

— Ну ладно, — остановил я его, — мне пора ехать.

— Не будь дураком, оставайся, — сказал Вахтанг вполголоса, — после лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего козлотура...

— С чего это они тебя так любят? — спросил я.

— А я обещал председателю устроить с удобрением, — сказал Вахтанг серьезно, — и я это действительно сделаю.

— Какое ты имеешь отношение к этому?

— Мой мальчик, — улыбнулся Вахтанг покровительственно, — в природе все связано. У Андрея Шалвовича племянник поступает в этом году в институт, а твой покорный слуга член приемной комиссии. Почему бы председателю райисполкома не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не обратить внимание на юного абитуриента? Все бескорыстно, для людей.

Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграммой из города инженера и установить истину.

Они понуро поплелись, видимо, не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподымаясь проводить меня.

— Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер доведет вас до шоссе, — сказал председатель.

— Мой тоже не откажется, — вставил Вахтанг.

Председатель позвонил своему шоферу. Мы сели в машину.

— Боюсь, как бы он против нас не написал какую-нибудь чушь, — сказал председатель Вахтангу по-абхазски.

— Не беспокойся, — ответил Вахтанг, — я ему уже дал указания, что писать и как писать.

— Спасибо, дорогой Вахтанг, — сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу: — Там на шоссе зайди и напои его как следует, а то журналисты, я знаю, без этого не могут.

— Хорошо, — ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхохотался.

— Вы не одобряете, товарищ Вахтанг? — встревожился председатель.

— Всемерно одобряю, мой друг, — воскликнул Вахтанг, обнимая одной рукой председателя, и, обернувшись, крикнул мне через шум мотора: — Передай моему другу Автандилу Автандиловичу, что пропаганда козлотура в надежных руках.

Машина запыхала по дороге. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала.

«Против нас какую-нибудь чушь...» — вспоминал я слова председателя. Получалось так, что я могу написать за или против, но в обоих случаях для него не было сомнений в том, что это будет чушь. Потом я с горечью убеждался много раз, что он, в общем, не слишком далек от истины.

Кстати, насчет травли козлотура шофер мне сообщил любопытную деталь. Оказывается, козлотур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа и временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бегал по всему селу, и за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился.

Машина выскочила на шоссе и остановилась возле голубой закусочной. «Посмотрим, как ты меня заманишь туда», — подумал я и решил стойко защищать свою репутацию.

Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказал:

— Перекусим, что ли?

— Спасибо, в городе пообедаю.

— Туда еще ехать и ехать.

— Я все же поеду, — возразил я, стараясь быть помягче. Чем-то он мне понравился, этот парень с голубыми глазами всевозможных оттенков.

— Ничего такого не собираюсь, — сказал он и открыл дверцу. — Перекусим каждый за себя по русскому счету.

Чего я боюсь, подумал я, у меня преимущество в том, что я знаю о том, что он собирается меня напоить, а он не знает, что я знаю об этом.

— Хорошо, — сказал я, — быстренько перекусим, и я поеду.

— О чем говорить — зелень-мелень, лобиа-мобиа.

Валико закрыл машину, и мы вошли в закусочную.

Помещение было почти пустое. Только в углу сидела компания, плотно облепив два сдвинутых стола. Видно, они уже порядочно поддали, потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстрелянные гильзы. Среди пирующих сидела одна белокурая женщина северного типа. На ней был сарафан с широким вырезом, и она то и дело оглядывала свой загар. Было похоже, что он ей помогает самоутверждаться.

Валико занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. Две официантки, тихо переговариваясь, сидели за столиком у окна.

Валико, осторожно обходя столы, подошел к официанткам. Я понял, что он старается быть не замеченным компанией. Увидев его, официантки приветливо улыбнулись, особенно тепло улыбнулась одна из них, та, что была помоложе. Валико поздоровался с ними и стал что-то заказывать, пригнувшись к той, что была помоложе. Она слушала его, не переставая улыбаться, и лицо ее постепенно оживлялось.

«Ну тебя, ну тебя», — казалось, говорила она, слабо отмахиваясь ладонью и с удовольствием слушая его.

У таких ребят, подумал я, всегда есть, что рассказать официантке. Потом по выражению ее лица я понял, что он стал ей заказывать. Я забеспокоился. Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул:

— Не вздумай заказать вино!

— Как можно, — сказал Валико, обернувшись, и развел руками.

Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда:

— Валико, иди к нам!

— Никак не могу, дорогой, — сказал Валико и приложил руку к сердцу.

— На минуту, да?

— Извиняюсь перед всей компанией и перед прекрасной женщиной, но не могу, — проговорил Валико и, уважительно попятившись, отошел к нашему столику.

Через несколько минут на столе появилась огромная тарелка со свежим луком и пунцовыми редисками, проглядывавшими сквозь зеленый лук, как красные зверята. Ря-

дом с зеленью официантка поставила две порции лобио и хлеб.

— Боржом не забудь, Лидочка,— сказал Валико, и я окончательно успокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы налегли на лобио, холодное и невероятно наперченное.

Захрустели редиской и луком. Каждый раз, когда я перекусывал стрелчатый стебель лука, он, словно сопротивляясь, выбрызгивал из себя острую пахучую струйку сока.

Неожиданно подошла официантка и поставила на стол бутылку вина и бутылку боржома.

— Ни за что,— сказал я решительно и снова поставил бутылку с вином на поднос.

— Не дай бог,— прошептал Валико и посмотрел на меня своими ясными и теперь уже испуганными глазами.

— В чем дело?— спросил я.

— Прислали,— сказала официантка и глазами показала в сторону компании.

Мы посмотрели туда и встретились глазами с парнем, который здоровался с Валико. Он смотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. Валико кивком поблагодарил его и укоризненно покачал головой. Парень горделиво и скромно опустил глаза. Официантка отошла с пустым подносом.

— Я не буду пить,— сказал я.

— Не обязательно пить— пусть стоит,— ответил Валико.

Мы принялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то мешает.

Валико взял бутылку с боржомом и кротко спросил:

— Боржом можно налить?

— Боржом можно,— сказал я, чувствуя себя педантом.

Выпив по стакану боржома, мы снова приступили к лобио.

— Очень острое,— заметил Валико, шумно втягивая воздух.

— Да,— согласился я. Лобио и в самом деле было как огонь.

— Интересно, почему в России перец не так любят?— отвлеченно заметил Валико и, потянувшись к бутылке с вином, добавил:— Наверно, от климата зависит?

— Наверно,— сказал я и посмотрел на него.

— Не обязательно пить— пусть стоит,— сказал Валико и разлил вино в стаканы.

Мягкий, душистый запах подымался из стаканов. Это была «изабелла», густо-пунцовая, как гранатовый сок. Валико вытер руки салфеткой и, дожевывая редиску, медленно потянулся к своему стакану.

— Не обязательно пить — попробуй, — сказал он и посмотрел на меня своими ясными глазами.

— Я не хочу, — сказал я, чувствуя себя последним дураком.

— Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным, зловонным собакам, если не подынешь! — воскликнул он неожиданно и замолк. В его огромных голубых глазах застыл ужас неслыханного святотатства. Я слегка обалдел от этого внезапного взрыва родовой клятвы.

— Старые кости отца — грязным собакам! — конспективно напомнил он и безропотно склонился над столом. Мне стало страшно.

Ничего, подумал я, от этой бутылки мы не опьянеем. Тем более что у меня преимущество: я знал, что он меня хочет напоить, а он не знает, что я знаю.

Мы допивали по последнему стакану. Я чувствовал, что хорошо контролирую себя и обмануть меня невозможно, да и, в сущности, Валико приятный парень, и все получается, как надо.

Подошла официантка с двумя шипящими шашлыками на вертеле.

— Пошли им от нашего имени бутылку вина и плитку шоколада для женщины, — сказал Валико, с медлительностью районного гурмана освобождая от шампура все еще шипящее, всосавшееся в железо мясо.

«Братский обычай», — подумал я и вдруг сказал:

— Две бутылки и две плитки пошлите...

— Гость сказал: две бутылки, — торжественно подтвердил Валико, и она отошла.

Через несколько минут парень из-за того стола укоризненно качал головой, а Валико горделиво и скромно опускал глаза. А потом он нам прислал две бутылки вина, а Валико укоризненно покачал головой и даже пригрозил ему пальцем, на что парень еще скромней и горделивей опустил голову.

Потом мы несколько раз подымались и важно пили за наших новых друзей, и за их старых родителей, и за прекрасную представительницу великого народа. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечивались в ее волосах, а навстречу солнечным лучам лился поток комплиментов, обдавая ее лицо, шею и особенно открытые плечи.

— Выпьем за козлотура, — как-то интимно предложил Валико после того, как, взаимоистоцившись, замолкли наши коллективные тосты.

— Выпьем, — сказал я, и мы выпили.

— Между прочим, хорошее начинание, — сказал Валико, и на губах у него появилась загадочная полуулыбка, значение которой я понял не сразу.

— Дай бог, чтоб получилось, — сказал я.

— Говорят, в других районах тоже начинают. — Загадочная полуулыбка не сходила с его губ.

— Понемногу начинают, — сказал я.

— Имеет очень большое значение, — заметил Валико. Теперь глаза его блестели голубым загадочным блеском.

— Имеет, — подтвердил я.

— Интересно, что про козлотура говорят враги? — неожиданно спросил он.

— Пока, кажется, молчат, — сказал я.

— Пока, — многозначительно протянул он. — Козлотур — это не просто, — добавил он, немного подумав.

— Сначала все не просто, — сказал я, стараясь уловить, к чему он клонит.

— В другом смысле, — заметил он и, вдруг обдав меня голубым огнем своих глаз, быстро прибавил: — За рога выпьем отдельно?

— Выпьем, — сказал я, и мы выпили.

Валико почему-то погрузился и стал закусывать шашлыкком.

— Дочка есть, — сказал он, подняв на меня свои погрузневшие глаза, — три года.

— Прекрасный возраст, — поддержал я, как мог, семейную тему.

— Все понимает, несмотря что девочка, — с обидой заметил он.

— Это большая редкость, — сказал я, — тебе просто повезло, Валико.

— Да, — согласился он, — для нее мучаюсь. Но не думай, что жалуясь, с удовольствием мучаюсь, — добавил он.

— Понимаю, — сказал я, хотя уже ничего не понимал.

— Не понимаешь, — догадался Валико.

— Почему? — спросил я и вдруг заметил, что ясные голубые глаза Валико стекленеют.

— Чтоб я этого невинного ребенка сварил в котле для мамалыги...

— Не надо! — воскликнул я.

— Сварил в котле для мамалыги, — безжалостно продолжал он, — и съел ее детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлотуры, хотя я и сам знаю! — произнес он с ужасающей страстью долго молчавшего правдоискателя.

— Как для чего? Мясо, шерсть, — пролепетал я.

— Сказки! Атом добывают из рогов, — уверенно произнес Валико.

— Атом!

— Точно знаю, что добывают атом, но как добывают, пока еще не знаю, — сказал он убежденно. Теперь на губах его снова играла загадочная полуулыбка человека, который знает больше, чем говорит.

Я посмотрел в его добрые, голубые, ничего не понимающие глаза и понял, что переубедить его мне не под силу.

— Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю! — воскликнул я.

— Значит, вам тоже не говорят, — удивился Валико, но удивился не тому, что нам тоже не говорят, а тому, что загадка оказалась еще глубже, чем он ожидал.

Мы вышли из закуской. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался и то приближался, то отходил, но и когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Большие незнакомые звезды вспыхивали и мерцали. Странные, незнакомые мысли вспыхивали и мерцали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приблизились к небу после такой дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой. И вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое. Голова козлотура, радостно подумал, только один глаз совсем маленький, подслеповатый, а другой большой и все время подмигивает.

— Созвездие Козлотура, — сказал я.

— Где? — спросил Валико.

— Вон, — сказал я и, обняв его одной рукой, показал на созвездие.

— Значит, уже переименовали? — спросил Валико, глядя на небо.

— Да, — подтвердил я, продолжая глядеть на небо. Это была настоящая голова козлотура, только один глаз его все время подмигивал, и я никак не мог понять, что означает его подмигивание.

— Если что не так, прости, — сказал Валико.

— Это ты меня прости, — сказал я.

— Если хочешь посмотреть, как спит козлотур, поедем, — сказал Валико.

— Нет, — сказал я, — у меня срочное задание.

— Если ты меня простишь, я уеду, — сказал он, — потому что еще успею в кино.

Мы обнялись, как братья по козлотуру. Валико влез в машину.

— Никуда не уходи и жди зугдидскую машину, — сказал он.

Я почему-то надеялся, что у него не сразу заведется мотор. Но он сразу его завел и еще раз крикнул мне:

— На другую не садись, жди зугдидскую!

Шум мотора несколько минут доносился из темноты, а потом смолк. Звезды, одиночество и теплая летняя ночь.

По ту сторону шоссе темнел парк, а за ним было море, оттуда раздавался приглушенный зеленью парка шум прибоя.

Мне захотелось к морю. Я встал и пошел через шоссе. Я помнил, что мне надо дожидаться автобуса, но почему-то казалось, что автобуса можно подождать и у моря.

Я пошел по парковой дорожке, окруженной черными силуэтами кипарисов и светлыми призраками эвкалиптов. С моря потягивало прохладой, листья эвкалиптов издавали еле слышный звон. Время от времени я поглядывал на небо. Созвездие Козлотура прочно стояло на месте.

Я был не настолько пьян, чтобы ничего не соображать, но все же настолько пьян, что думал: все соображаю.

На скамейке у самого моря сидели двое. Я немедленно подошел к ним. Они молча устали на меня голубоватые лица.

— Подвиньтесь, — сказал я парню и, не дожидаясь приглашения, уселся между ними.

Девушка кротко засмеялась.

— Не бойтесь, — сказал я мирно, — я вам что-то покажу.

— А мы и не боимся, — сказал парень, по-моему, не слишком уверенно. Я оставил его слова без внимания.

— Посмотрите на небо, — сказал я девушке нормальным голосом. — Что вы там видите?

Девушка посмотрела на небо, потом на меня, пытаюсь определить, пьяный я или сумасшедший.

— Звезды, — сказала она преувеличенно естественным голосом.

— Нет, вы сюда посмотрите, — терпеливо возразил я и, пытаюсь точнее направить ее взгляд на созвездие Козлотура, слегка придержал ее за плечо.

— Пойдем, а то закроют, — угрюмо напомнил парень, стараясь избежать катастрофы.

— Что закроют? — вежливо повернулся я к нему. Мне приятно было чувствовать, что он боится меня, и в то же время сознавать, что я предельно корректен.

— Турбазу закроют, — сказал он.

Я почувствовал, что между созвездием Козлотура и турбазой есть какое-то таинственное созвучие, как бы опасная связь.

— Интересно, почему вы вспомнили турбазу? — спросил я у парня, кажется, строже, чем надо.

Парень молчал. Я посмотрел на девушку. Она зябко закуталась в шерстяную кофту, накинутую на плечи, словно от меня исходил космический холод.

Я посмотрел на небо: морда козлотура, очерченная светящимися точками, покачивалась, то приближаясь, то удаляясь. Большой глаз время от времени подмигивал. Я понимал, что подмигивание что-то означает, но никак не мог догадаться, что именно.

— Козлотуризм — лучший отдых, — сказал я.

— Можно мы пойдем? — тихо сказала девушка.

— Идите,— ответил я спокойно, но все-таки давая знать, что я в них разочарован.

Через мгновение они куда-то провалились. Я закрыл глаза и стал обдумывать, что означает подмигиванье козлотура. Равномерные удары волн обдавали меня свежей прохладой и на миг заволакивали сознание, а потом оно высывалось из забытья, как обломок скалы из пены прибоя.

Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров.

— Документы,— сказал один из них.

Я автоматически вынул из кармана паспорт, протянул его и снова закрыл глаза. Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. Мне показалось, что прошло много времени.

— Здесь спать нельзя,— сказал один из них и вернул мне паспорт.

— Жду зугдидскую машину,— сказал я и снова закрыл глаза, вернее, прекратил усилия удержать их открытыми.

Милиционеры тихо рассмеялись.

— А вы знаете, который час?— сказал один из них.

Я почувствовал неприятную ненормальность в левой руке, вскинул ее и увидел, что на ней нет часов.

— Часы!— воскликнул я и вскочил.— Украли часы!

Я окончательно проснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из ущелья со стороны гор дул сырой ветер, в море работал сильный накат. На берегу напротив нас стоял отдыхающий старик и делал физзарядку. Он медленно, страшно медленно присел на длинных тонких ногах. Он так трудно присел, что сделалось тревожно— сможет ли встать. Но старик, передохнув на корточках, пошатываясь, медленно поднялся и, вытянув руки, застыл, не то устанавливая равновесие, не то прислушиваясь к тому, что произошло внутри него после упражнения.

Милиционеры, так же как и я, следили за стариком. Теперь, успокоившись за него, один из них спросил:

— Какие часы— «Победа»?

— «Докса»,— ответил я с горечью и в то же время гордясь ценностью потери— швейцарские часы.

— С кем были?— спросил другой милиционер.

— Сам был,— сказал я на всякий случай.

— Пройдем в отделение, составим акт,— сказал тот, что брал паспорт,— если найдутся— известим.

— Пойдемте,— сказал я, и мы пошли.

Мне было очень жалко своих часов, я к ним привык, как к живому существу. Мне их подарил дядя после окончания школы, и я их носил столько лет, и с ними ничего не случилось. Водонепроницаемые, антимагнитные, небьющиеся, с черным светящимся циферблатом, похожим на маленькое ночное небо. В общежитии института я их иног-

да забывал в умывалке, и мне их приносила уборщица или кто-нибудь из ребят, и я как-то поверил про себя, что они ко всем своим достоинствам еще и нетеряющиеся.

— Паспорт есть на часы? — спросил один из милиционеров.

— Откуда, — сказал я, — они трофейные, дядя привез с войны.

— Номер помните? — спросил он снова.

— Нет, — сказал я, — я их и так узнаю, если увижу.

Мы наискосок пересекли парк и вышли на тихую незнакомую улицу. На этой улице, как и во всем этом городке, стояли одноэтажные дома на длинных рахитичных сваях. Жители этого городка только тем и заняты, что строят вот такие дома. Построив, тут же начинают продавать или менять с приплатой в ту или другую сторону за какие-то никому не понятные преимущества, — ведь все они похожи друг на друга, как курятники. Причем сами они в этих домах почти не живут, потому что на полгода отдают их курортникам, чтобы накопить деньги и яростно приняться за строительство нового дома с еще более длинными и более рахитичными ножками. Достоинство человека здесь определяется одной фразой: «Строит дом».

Строит дом, — значит, порядочный человек, приличный человек, достойный человек. Строит дом — значит, человек при деле, независимо от службы, значит, человек пустил корень, то есть в случае чего никуда не убежит, а стало быть, пользуется доверием, а раз уж пользуется доверием, можно его приглашать на свадьбы, на поминки, выдать за него дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с ним дело.

Я об этом говорю не потому, что у меня здесь украли часы, я и до этого так думал. Причем тут даже нет какой-то особой личной корысти, потому что дом — это только символ, и даже не сам дом, а процесс его строительства. И если бы, скажем, условиться, что отныне достоинство человека будет измеряться количеством павлинов, которых он у себя развел, они бы все бросились разводить павлинов, менять их, щупать хвосты и хвастаться величиной павлиньих яиц. Страсть к самоутверждению принимает любые, самые неожиданные символы, лишь бы они были достаточно наглядны и за ними стоял золотой запас истраченной энергии.

Скрипнула калитка, и мы вошли в зеленый дворик милиции. Траву, видно, здесь тщательно выращивали, она была густая, курчавая и высокая. Посреди двора стояла развесистая шелковица, под которой уютно расположились скамейки и столик для нардов или домино, намертво вбитый в землю. Вдоль штакетника в ряд росли юные яблони. Они были густо усеяны плодами. Это был самый гостеприимный дворик милиции из всех, которые я когда-либо

видел. Легко было представить, что в таком дворе осенью начальник милиции варит варенье, окруженный смирившимися преступниками.

К помещению милиции вела хорошо утоптанная тропа.

В комнате, куда мы вошли, за барьером сидел милиционер, а у входа на длинной скамье парень и девушка. Девушка мне показалась похожей на вчерашнюю, но на этой не было кофточки. Я пытливо посмотрел ей в глаза.

Один из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на скамью и сказал мне:

— Пишите заявление.

Потом он оглядел парня и девушку и посмотрел на того, кто сидел за барьером.

— Гуляющие без документов, — скучно пояснил тот.

Девушка отвернулась и теперь смотрела в открытую дверь. Мне она опять показалась похожей на вчерашнюю.

— А где ваша кофточка? — спросил я у нее неожиданно, почувствовав в себе трепет детективного безумия.

— Какая еще кофта? — сказала она, окинув меня высокомерным взглядом, и снова отвернулась к дверям.

Парень тревожно посмотрел на меня.

— Извините, — пробормотал я, — я спутал с одной знакомой.

По голосу я понял, что это не она. На лица-то у меня плохая память, но голоса я помню хорошо. Я вынул блокнот, подошел к барьеру и стал обдумывать, как писать заявление.

— На этой нельзя, — сказал сидевший за барьером и подал мне чистый лист.

Я смирился, окончательно поняв, что мне все равно не дадут использовать свой блокнот.

— Отпустите, товарищ милиционер, — невнятно закапачил парень, — большое дело, что ли...

— Придет товарищ капитан и разберется, — сказал тот, кто сидел за барьером, ясным миротворческим голосом.

Парень замолчал. В открытые окна милиции доносились далекое шарканье дворничьей метлы и чириканье птиц.

— Сколько можно ждать, — сказала девушка сердито, — мы уже здесь полтора часа.

— Не грубите, девушка, — сказал милиционер, не повышая голоса и не меняя позы. Он сидел за столиком, подперев щеку рукой и сонно пригорюнившись. — Товарищ капитан делает обход. Имеются факты изнасилования, — добавил он, немного подумав, — а вы гуляете без документов.

— Не говорите глупости, — строго сказала девушка.

— Чересчур ученая, а скромности не хватает, — не

повышая голоса, грустно сказал милиционер. Он сидел все так же, не меняя позы, сонно пригорюнившись.

Я написал заявление, и он глазами показал, чтоб я положил его на стол.

В это время за барьером открылась дверь и оттуда вышел, поеживаясь и поглаживая красивое полное лицо, высокий плотный человек.

— А вот и товарищ капитан! — радостно воскликнул сидевший за барьером и, бодро вскочив, уступил место капитану.

— Что-то я не слышала машины, — сказала девушка дерзко и снова отвернулась к дверям.

— В чем дело? — спросил капитан, усаживаясь и хмуро оглядывая девушку.

— Гуляющие без документов, — доложил звонким голосом тот, что был за барьером. — Около четырех часов обнаружены в прибрежной полосе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку, а кавалер на том конце города живет.

— Товарищ капитан... — начал было парень.

— Сбегаешь за паспортом, а она останется под залог, — перебил его капитан.

— Но ведь сейчас машины не ходят, — начал было парень.

— Ничего, молодой, сбегаешь, — сказал капитан и просительно посмотрел на меня.

— Вот заявление, товарищ капитан, — показал на стол тот, что стоял за барьером.

Капитан склонился над моим заявлением. Милиционер, тот, что пришел со мной, теперь стоял в бодрой позе, готовый внести нужные дополнения.

— Ты не волнуйся, я мигом, — шепнул парень девушке и быстро вышел.

Девушка ничего не ответила.

Из открытых окон доносилось равномерно приближающееся шарканье метлы и неистовое пенье птиц. Губы капитана слегка шевелились.

— Паспорт есть? — спросил он, подняв голову.

— Они трофейные, — ответил я, — мне дядя подарил.

— При чем дядя? — поморщился капитан. — Ваш паспорт покажите.

— А, — сказал я и подал ему паспорт.

— Спал на берегу моря, — вставил тот, что привел меня, — когда мы его разбудили, сказал, что украли часы.

— Интересно получается, — сказал капитан, с любопытством оглядывая меня, — вы пишете, что ждали зугдидскую машину, а разбудили вас на берегу. Вы что, с моря ее ждали?

Оба милиционера сдержанно засмеялись.

— Зугдидская машина проходит в одиннадцать вечера, а мы его разбудили в шесть утра, — заметил тот, что

привел меня, как бы раскрывая новые грани пронизательности капитана.

— Может, вы ждали ее обратным рейсом? — высказал капитан неожиданную догадку. Чувствовалось, что он страдает, стараясь извлечь из меня смысл.

— Да, обратным рейсом в Зугдиди, — неизвестно за чем сказал я, может быть, чтобы успокоить капитана.

— Тогда другое дело, — сказал капитан и, протягивая мне паспорт, спросил: — А где вы работаете?

— В газете «Красные субтропики», — сказал я и протянул руку за паспортом.

— Тогда почему не взяли номер в гостинице? — снова удивился капитан и опять раскрыл мой паспорт. — Нехорошо получается, — сказал капитан и зацокал. — Что я теперь скажу Автандилу Автандиловичу...

Господи, подумал я, здесь все друг друга знают.

— А зачем вам ему что-то говорить? — спросил я. Этого еще не хватало, чтобы редактор узнал о моей потере. Начнутся расспросы, да и вообще неудачников не любят.

— Нехорошо получается, — задумчиво проговорил капитан, — приехали к нам в город, потеряли часы... Что подумает Автандил Автандилович...

— Вы знаете, — сказал я, — мне кажется, я их оставил в Ореховом Ключе...

— Ореховый Ключ? — встрепенулся капитан.

— Да, я был там в командировке по вопросу о козлотурах...

— Знаю, интересное начинание, — заметил капитан, внимательно слушая меня.

— Мне кажется, я там оставил часы.

— Так мы сейчас позвоним туда, — обрадовался капитан и схватил трубку.

— Не надо! — закричал я и шагнул к нему.

— А-а, — капитан хлопнул в лошади, и лицо его озарилось лукавой догадкой, — теперь все понимаю, вам устроили хлеб-соль...

— Да, да, хлеб-соль, — подтвердил я.

— Между прочим, туда проехал Вахтанг Бочуа, — вставил тот, что пришел со мной.

— Вам устроили хлеб-соль, — продолжал свою лукавую догадку капитан, — и вы подарили кому-то часы, а вам подарили портсигар, — закончил он радостно и победно оглядел меня.

— Какой портсигар? — не сразу уловил я ход его мысли.

— Серебряный, — добродушно пояснил капитан.

— Нет, я так подарил, — сказал я.

— Так не бывает, — добродушно опроверг капитан, — значит, вам что-то обещали подарить. Почему стоите,

садитесь, — добавил он и вынул из кармана пачку «Казбека». — Курите?

— Да, — сказал я и взял папиросу. Капитан дал мне прикурить и закурил сам.

Милиционер, тот, что был за барьером, вышел во внутреннюю дверь, как только капитан закурил. Тот, что привел меня, стоял, незаметно прислонившись к подоконнику.

— В прошлом году был в Сванетии, — сказал капитан, пуская в потолок струю дыма, — местный начальник отделения устроил хлеб-соль. Ели-пили, а потом дарят мне оленя. Хотя зачем мне олень? Не взять — смертельно обидятся. Я принял подарок и в свою очередь обещал местному отделению два ящика патронов. Как только приехал — отослал.

— А оленя взяли? — спросил я.

— Конечно, — сказал он. — Недельку жил дома, а потом сын отвел его в школу. Мы, говорит, из него козлотура сделаем. Пожалуйста, говорю, делайте, все равно в городских условиях оленя негде держать.

Капитан крепко затыкнулся. На его круглом лице было написано спокойствие и благодушие. Я был рад, что он забыл про часы. Все-таки было бы неприятно, если б об этом узнал мой редактор.

— У сванов отличный стол, — продолжал вспоминать капитан, — но все портит арака. — Он посмотрел на меня и сморщился. — Неприятный напиток, хотя, — примириительно добавил он, — дело в привычке...

— Конечно, — сказал я.

— Но в Ореховом Ключе «изабелла», как орлиная кровь...

«У вас тоже неплохая», — подумал я.

Капитан тихо рассмеялся и вдруг спросил:

— А этого спящего агронома видели?

— Видел, — сказал я. — Отчего это он спит?

— Чудак человек, — снова рассмеялся капитан, — у него болезнь такая. Несмотря на то, что спит, первый специалист по чаю. В районе такого нет.

— Да, плантации у них чудесные, — сказал я и вспомнил девушку Гоголу над зелеными курчавыми кустами.

— В прошлом году у них в колхозе «чепе» произошло. Кто-то несгораемый шкаф украл.

— Несгораемый шкаф?

— Да, несгораемый шкаф, — сказал капитан. — Я выезжал сам. Украсть украли, но открыть не смогли. Спящий агроном помог нам найти. Очень умный человек... Но, между прочим, «изабелла» коварное вино, — продолжал капитан, не давая далеко уходить от главной темы. — Пьешь, как лимонад, и только потом дает знать.

Он посмотрел на меня, потом на девушку и сказал ей:
— Идите, девушка, только больше так поздно не гуляйте.

— Я подожду его,— сказала она и сурово отвернулась к выходу.

— Во дворе подождите, там птички поют.— И строго добавил: — Избегайте случайных знакомств, а теперь идите.

Девушка молча вышла. Капитан кивнул в ее сторону и сказал:

— Обижаются за профилактику, а потом сами прибегают и жалуются: «Изнасиловал! Ограбил!» Кто — не знает, где прописан — никакого представления. Как с ним оказалась? Молчит.— Капитан посмотрел на меня обиженными глазами.

— Молодо-зелено,— сказал я.

— В том-то и дело,— согласился капитан.

Птицы во дворе милиции заливались на все голоса. Метла дворника теперь шаркала у самых ворот.

— Костя,— обратился капитан к милиционеру,— полей тротуар и двор, пока не жарко.

— Хорошо, товарищ капитан,— сказал милиционер.

— Завтра пойдешь в цирк,— остановил он его в дверях.

— Хорошо, товарищ капитан,— радостно повторил милиционер и вышел.

— Что за цирк?— спросил я и тут же подумал, что задаю бестактный вопрос, если это какой-то условный знак.

— Цирк приехал,— просто сказал капитан,— отличников службы для поощрения посылаем дежурить в цирк.

— А-а,— понял я.

— Исполнительный и толковый работник.— Капитан кивнул на дверь и прибавил: — Двадцать три года, уже дом строит.

— Пожалуй, я тоже пойду,— сказал я.

— Куда спешите,— остановил меня капитан и посмотрел на часы,— до зугдидской машины еще ровно час и сорок три минуты...

Я снова сел.

— Но лучшая закуска для «изабеллы» знаете какая?— Он посмотрел на меня с добродушным коварством.

— Шашлык,— сказал я.

— Извините, дорогой товарищ,— с удовольствием возразил капитан и даже вышел из-за барьера, словно почувствовал во мне дилетанта, с которым надо работать и работать.— «Изабелла» любит вареное мясо с аджикой. Особенно со спины— филейная часть называется,— пояснил он, притронувшись к затылку.— Но ляжка тоже неплохо,— добавил он, немного помедлив, как человек, который прежде всего озабочен справедливостью или, во вся-

ком случае, не собирается проявлять узость взгляда. — Мясо с аджикой вызывает жажду, — сказал капитан и остановился передо мной. — Ты уже не хочешь пить, но организм сам требует! — Капитан радостно развел руками в том смысле, что ничего не поделаешь — раз уж организм сам требует. Он снова зашагал по комнате. — Но белое вино мясо не любит, — неожиданно предостерег он меня и, остановившись, тревожно посмотрел на меня.

— А что любит белое вино? — спросил я озабоченно.

— Белое вино любит рыбу, — сказал он просто. — Ставрида, — капитан загнул палец, — барабулька, кефаль или горная рыба — форель. Иф, иф, иф, — присвистнул от удовольствия капитан. — А к рыбе, кроме алычовой подливки и зелени, ничего не надо! — И, как бы оглядев с гримасой отвращения остальные закуски, энергичным движением руки отбросил их в сторону.

Так мы поговорили с дежурным капитаном некоторое время, и наконец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих часов, я попрощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня.

— Заявление возьмите, — сказал он и подал мне его. — Не беспокойтесь, — добавил он, заметив, видимо, что возвращаться к этой теме мне неприятно, — добровольный подарок проходит как местный национальный обычай.

После этой небольшой юридической консультации я окончательно попрощался с ним и вышел.

Мокрый дворик милиции сверкал на еще не жарком утреннем солнце. Милиционер деловито поливал из шланга молодую яблоню. Когда струя попадала в листья, раздавался глухой шелест, и по листве пробегал мощный, благодарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой, упруго вздрагивающей листы.

Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции, ждала своего возлюбленного.

На улице я изорвал свое заявление и бросил его в урну. Я едва успел на свой автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о козлотуре из Орехового Ключа. Мне казалось, что горечь потери часов внесет в мою статью тайный лиризм, и это в какой-то мере меня утешало.

Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице. Дядя, который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем городе как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда он прикатил к нам прямо с клиентами и стал расспрашивать, что и как.

— Мне дали номер с одним человеком, утром встаю, — ни человека, ни часов, — сказал я горестно.

— А как он выглядел? — спросил дядя, загораясь мстительным азартом.

— Когда я вошел, он спал, — сказал я.

— Дуралей, — сказал дядя, — во-первых, не спал, а притворялся, что спит. Ну а дальше?

— Утром встаю — ни человека, ни часов.,.

— Заладил, — перебил он меня нетерпеливо, — неужели не заметил, какой он был с виду?

— Он был укрыт одеялом, — сказал я твердо. Я боялся говорить ему что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере он начнет мне привозить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в редакцию.

— В такую жару укрылся с головой! — воскликнул дядя. — Умного человека уже одно это должно было насторожить. А часы где были?

— Часы лежали под подушкой, — сказал я твердо.

— Зачем? — сморщился он. — Не надо было снимать, они же небьющиеся.

А я и не снимал, чуть было не сказал я, но вовремя спохватился.

— А что сказала администрация? — не унимался дядя.

— Они сказали, что надо было отдать им на хранение, — ответил я, вспомнив инструкцию общественной бани.

Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами, если бы пассажиры не подняли шум под нашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, а потом стали стучать в окно.

— С попутным рейсом заеду и устройю им веселую жизнь! — пообещал он на ходу, выскакивая на улицу.

Он был так огорчен потерей, что я сначала подумал: не собирался ли он отобрать их у меня по истечении какого-то срока? Но потом я догадался, что потеря подарка вообще воспринимается подарившими как проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, в нас делают вклад, как в сберкассу, чтобы получать маленький (как и в сберкассе), но вечный процент благодарности. А тут тебе сразу две неприятности: и вклад потерян, и благодарность иссякла.

К счастью, попутного рейса в ближайшее время не оказалось, и дядя постепенно успокоился. Но я заскочил вперед, а мне надо вернуться ко дню моего приезда из командировки. По правде говоря, мне неохота возвращаться к нему, потому что приятного в нем мало, но это необходимо для ясности изложения.

Ровно в девять часов (по городским башенным часам) я вошел в редакцию. Платон Самсонович уже сидел за

своим столом. Увидев меня, он встрепенулся, и его свеженакрахмаленная сорочка издала треск, словно она наэлектризовывалась от соприкосновения с его ссохшимся телом энтузиаста.

Я понял, что у него появилась новая идея, потому что он каждый свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки зрения гигиены он их менял не так уж часто, то с точки зрения развития новых идей он находился в состоянии непрерывного творческого горения. Так оно и оказалось.

— Можешь меня поздравить, — воскликнул он, — у меня оригинальная идея.

— Какая? — спросил я.

— Слушай, — сказал он, сдержанно сияя, — сейчас все поймешь. — Он придвинул к себе листок бумаги и стал писать какую-то формулу, одновременно поясняя ее: — Я предлагаю козлотура скрестить с таджикской шерстяной козой, и мы получаем:

Коза \times Тур = Козлотур.

Козлотур \times Коза (тадж.) = Козлотур?

Козлотур в квадрате будет несколько проигрывать в прыгучести, зато в два раза выигрывать в шерстистости. Здорово? — спросил он и, отбросив карандаш, посмотрел на меня блестящими глазами.

— А где вы возьмете таджикскую козу? — спросил я, стараясь подавить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаза.

— Иду в сельхозуправление, — сказал он и встал, — нас должны поддержать. Ну как ты съездил?

— Ничего, — ответил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня и спрашивает просто так, из вежливости.

Он ринулся к двери, но потом вернулся и вложил листок с новой формулой в ящик стола. Закрыв ящик ключом, подергал его для проверки и вложил ключ в карман.

— Пока про это молчи, — сказал он на прощанье, — а ты пиши очерк, сегодня сдадим.

В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инженера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, подоdvинул пачку чистых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего начать. Вынул блокнот, зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что он так и остался незаполненным.

Если судить по нашей газете, было похоже, что колхозники, за исключением самых несознательных, только и заняты козлотурами. Но в селе Ореховый Ключ все выглядело гораздо скромней. Я понимал, что прямо посягнуть на козлотура было бы наивностью, и решил действовать методом Иллариона Максимовича — то есть поддерживать идею

в целом с некоторой отрицательной поправкой на местные условия. Пока я раздумывал, как начать, открылась дверь, и вошла девушка из отдела писем.

— Вам письмо, — сказала она и странно посмотрела на меня.

Я взял письмо и вскрыл его. Девушка продолжала стоять в дверях. Я посмотрел на нее. Она неохотно повернулась и медленно закрыла дверь.

Это было письмо оттуда, от моего товарища. Он писал, что до них дошли известия о нашем интересном начинании с козлотурами и редактор просит меня написать очерк, потому что хотя я и ушел от них, но они по-прежнему считают меня своим товарищем по перу, которого они выпестовали. Товарищ мой иронически цитировал его слова. Кстати сказать, письма — это единственный вид корреспонденции, где он позволял себе иронизировать.

Выходит, сначала меня выпестовали, а потом я сам ушел.

Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понравилась. В ней сообщалось, что он ее видит иногда в обществе майора. Поговаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точно, добавлял он в конце.

Конечно, точно, подумал я и отоложил письмо. Я заметил, что иногда люди смягчают неприятные известия не из жалости к нам, а скорее, из жалости к себе, чтобы не говорить приличные по такому поводу слова сочувствия, призывая к суровому мужеству или тем более бежать за водой.

Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь и не открылась старая рана. Скорее, я почувствовал некоторую тупую боль, какая бывает у ревматиков перед плохой погодой. Я решил ее тоже каким-то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогла мне вместе с потерянными часами. У меня такая теория, что всякая неудача способствует удаче, только надо умело пользоваться своими неудачами. У меня есть опыт по части неудач, так что я научился ими хорошо пользоваться.

Только нельзя использование неудач понимать примитивно. Например, если у вас украли часы, то это не значит, что вы тут же научитесь определять время по солнечным часам. Или немедленно сделаетесь счастливым, и вам, согласно пословице, будет просто незачем наблюдать часы.

Но главное даже не это. Главное — та праведная, но бесплодная ярость, которая вас охватывает при неудаче. Ярость эта предстает в чистом виде, ее как бы исторгает сама неудача, и, пока она бурлит в вашей крови, спешите ее использовать в нужном направлении.

Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бывает со многими.

Иной в состоянии благородной ярости, скажем, решил позвонить и хотя бы по телефону-автомату сделать самый смелый, самый значительный поступок в своей жизни — и вдруг автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монету. Неожиданно человек начинает биться в судорогах, он конвульсивно дергает рычаг трубки, словно это кольцо никак не раскрывающегося парашюта. А потом, что еще более нелогично, старается просунуть лицо в выем для монет, который обычно не больше спичечной коробки, и, следовательно, просунуть голову туда никак невозможно. Ну хорошо, положим, он просунет голову в этот несчастный выем, что он там увидит? И даже если увидит свою монету, ведь не слизнет же он ее оттуда языком?

В конце концов, опустошив свою ярость в этих бессмысленных ковыряниях, он выходит из телефонной будки и неожиданно, может быть, даже для себя садится в кресло чистильщика обуви, словно и не было никакой благородной ярости, а так, вышел на прогулку и решил попутно навести блеск на свои туфли, а уже заодно и купить у чистильщика пару запасных шнурков. И вот он сидит в кресле чистильщика и, что особенно возмутительно, бесконечно возится с этими шнурками, то проверяя наконечники, то сравнивая их длину, сидит, слегка оттопырив губы, как бы издавая бесшумный свист, и при этом на лице его деловитая безмятежность рыбака, распутывающего сети, или крестьянина, собирающегося на мельницу и прощупывающего старый мешок.

Где ты, благородная ярость?

А иной, находясь в этом высоком состоянии, неожиданно бросается за мальчишкой, который случайно попал в него снежком. Ну ладно, пусть не случайно, но зачем взрослому человеку сворачивать со своей благородной стези и гнаться за мальчишкой, тем более что гнаться за ним бесполезно, потому что он знает все эти проходные дворы, как собственный пенал и даже лучше, он и бежит от него нарочно не слишком быстро, чтобы ему было интересней. А человек в этой непредвиденной пробежке растряс всю свою ярость и внезапно останавливается перед продуктовым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с грузовика, словно именно для этого он и бежал сюда целый квартал. Отдышавшись, он даже начинает давать им советы, хотя советов его никто не слушает, однако никто и не пресекает их, так что издали, со стороны, можно подумать, что грузчики работали под его руководством и, не успей он прибежать сюда вовремя, неизвестно, чего бы натворили эти грузчики со своими бочками. В конце концов бочки вкатывают в подвал, и он умиротворенно уходит, словно все, что он делал, было предусмотрено еще утром. Где ты, благородная ярость?

Пока я так думал, открылась дверь, и снова вошла девушка из отдела писем.

— Я вам бумаги принесла, — сказала она и положила стопку бумаги на стол Платона Самсоновича.

— Хорошо, — сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости.

— Ну, что пишут? — спросила она как бы между прочим.

— Простят статью о козлотуре, — ответил я как бы между прочим.

Она пытливо посмотрела мне в глаза и вышла.

Я снова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ линовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных коз. Я уже кончил очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсонович.

— Послушай, — сказал он, — не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?

— В каком смысле? — спросил я.

— В том смысле, что они довольны козлотуром, но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают...

— Но это же ваша личная идея? — сказал я.

— Ничего. — Платон Самсонович вздохнул в трубку. — Сочтемся славою... Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет...

— Я подумаю, — сказал я и положил трубку.

Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся. Чтобы отвоевать эти места, я решил подержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вахтанга Бочуа, но он не подходил для этой цели. В конце концов я решил этот намек поставить в конце очерка, как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время, — писал я, — когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологии».

Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я чувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы: и козлотуры сыты, и председатель цел.

Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым

небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но пожившим дипломатом.

Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирное щелканье четок старожилков... Постепенно козлотуры уходили куда-то далеко-далеко, я погружался в блаженное оцепенение.

За одним из соседних столиков, окруженный старожилками, витийствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то, еще до войны, его бросила и оклеветала жена. С тех пор он запил. Его здесь любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам библейские притчи, перемежая их примерами из своей жизни.

— ...И они мне говорят: «Соломон Маркович, мы тебя посадим на бутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду прямо на пол».

Увидев меня, он неизменно говорит:

— Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе расскажу свою жизнь от рожденья до смерти.

После этого обычно ничего не остается, как поставить ему коньяк и чашку кофе по-турецки, но иногда это надоедает, особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести.

Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очерком. Машинистка сказала, что его забрал редактор.

— Что, сам взял? — спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуясь ненужными подробностями.

— Прислал секретаршу, — ответила она, не отрываясь от клавиш.

Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать. Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович.

Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ждет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора сообщала испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно.

Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсонович.

Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выключившего мотор, но все еще находящегося в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее всего, ядовитого.

Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места моей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.

Рядом с его крупной, породистой фигурой сухощавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае как дежурный механик. Сейчас он выглядел как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел.

Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался страхнуть с себя унижительное оцепенение, но ничего не получилось, может быть, потому, что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показалось, что я везде Иллариона Максимовича назвал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно неприятно.

Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку:

— Вы написали вредную для нас статью.

Я посмотрел на Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвернулся к стене.

— Причем вы замаскировали ее вред, — добавил Автандил Автандилович, любясь моим замерзанием. — Сначала она меня даже подкупила, — добавил он, — есть удачные сравнения... Но все-таки это ревизия нашей основной линии.

— Почему ревизия? — сказал я. Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство.

— И потом, что вы за чепуху пишете насчет микроклимата? Козлотур — и микроклимат. Что это — апельсин, грейпфрут?

— Но ведь он не хочет жить с местными козами, — сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Максимович назван именно Илларионом Максимовичем.

— Значит, не сумели настроить его, не мобилизовали всех возможностей, а вы пошли на поводу...

— Это председатель его запутал, — вставил Платон Самсонович. — Я же предупреждал: основная идея твоего

очерка—это «чай хорошо, но мясо и шерсть—еще лучше».

— Да вы знаете,—перебил его редактор,—если мы сейчас дадим лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий... и это теперь, когда нашим начинанием заинтересовались повсюду?

— А разве мы и они—не одно и то же?—сорвалось у меня с губ, хотя я этого и не собирался говорить. Ну, теперь все, подумал я.

— Вот это и есть в плену отсталых настроений,—неожиданно спокойно ответил Автандил Автандилович и добавил:—Кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли?

Я заметил, что он сразу успокоился,—мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой.

Платон Самсонович поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платона Самсоновича, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено, и в то же время я подумал, что если он меня решил изгонять, то должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился.

— Переработать в духе полной козлотуризации,—сказал он значительно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу.

Откуда он знает это слово, подумал я и стал ждать.

— Вас я перевожу в отдел культуры,—сказал он голосом человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко.—Писать можете, но знания жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хорошем столичном уровне... У меня все.

Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало постепенно каменеть. Пока мы с Платоном Самсоновичем выходили из кабинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь, и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета.

— Сорвалось,—сказал Платон Самсонович, когда мы вышли в коридор.

— Что сорвалось?—спросил я.

— С таджикской козой,—проговорил он, выходя из глубокой задумчивости,—ты не совсем так написал, надо было от имени колхозника...

— Да ладно,—сказал я. Мне как-то все это надоело.

— Козлотуризация... бросается словами,—кивнул он в сторону кабинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел.

Я стал собирать бумаги из ящика своего стола.

— Не унывай, я тебя потом возьму снова в свой отдел, — пообещал Платон Самсонович. — Кстати, правда, что тебе заказали статью из газеты, где ты работал?

— Правда, — сказал я.

— Если у тебя нет настроения, я могу им написать, — оживился он.

— Конечно, пишите, — сказал я.

— Сегодня же вечером напишу. — Он окончательно стряхнул с себя уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета: — Козлотуризация... Одни бросаются словами, другие дело делают.

Когда я проходил по нашей главной улице, со мной случилась жуткая вещь. На той стороне тротуара возле витрины универсального магазина стоял человек, одетый в новенький костюм и в шляпе. Он смотрел в витрину, в которой стояло несколько манекенов, точно так же одетых, как и он. Увидев его, я подумал: до чего они похожи друг на друга, то есть он и манекены. Не успел я додумать эту мыслишку, как один из манекенов, стоявших в витрине, зашевелился. Я как-то похолодел, но у меня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен не может шевелиться, до этого еще не додумались.

Только я так подумал, как манекен, который до этого зашевелился, теперь в какой-то злобной насмешке над моим здравым смыслом спокойно повернулся и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как через мгновение зашевелились и остальные манекены, именно зашевелились сначала и только потом двинулись вслед за первым. И только когда все они вышли на улицу, я понял: этот разговор манекенов — просто какая-то ошибка зрения, помноженная на усталость, волнение и еще что-то. То, что я принял за витрину универсального магазина, было стеклянной перегородкой, и люди, которых я принял за манекенов, просто стояли по ту сторону стеклянной стены.

Надо дохнуть свежим воздухом, иначе так с ума сойдешь, подумал я и поскорей повернул в сторону моря.

Я с детства ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно разрешить. Манекен — это совсем не то, что чучело. Чучело человечно. Это игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время птиц, потому что они еще более дети. На манекен я не могу смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сходство с человеком.

Вы думаете, он, манекен, демонстрирует вам костюм новейшего покроя? Черта с два! Он хочет доказать, что можно быть человеком и без души. Он призывает нас брать с него пример. И в том, что он всегда представляет

новой моды, есть дьявольский намек на то, что он из будущего.

Но мы не принимаем его завтрашний день, потому что мы хотим свой, человеческий завтрашний день.

Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с человеческим взглядом, и я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, которые нас разделяют, и вижу, что, несмотря на миллионы лет, которые нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечностью, чувствует ее, как след, и идет за ней.

Собака талантлива. Меня трогает ее стремление к человеческому, и рука моя бессознательно тянется поглядеть ее, она рождает во мне отзывчивость. Значит, она не только стремится к человеческому, но и во мне усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается человеческая сущность — в духовной отзывчивости, которая порождает в людях ответную отзывчивость. Радостный визг собаки при виде человека — это проявление ее духовности.

Я удивляюсь способностям попугая, его голосовых связей и механической памяти, но до собаки попугая далеко. Попугай — это любопытно. Собака — это прекрасно.

Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным словом. Но даже если мы ее точно обозначим — сущность меняется, а ее обозначение, слово, еще долго остается, сохраняя форму сущности, как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпавших горошин. Любая из этих ошибок, а чаще всего двойная, в конце концов приводит к путанице понятий. Путаница в понятиях в конечном итоге отражает наше равнодушие, или недостаточную заинтересованность, или недостаточную любовь к сущности понятия, ибо любовь — это высшая форма заинтересованности.

И за это приходится рано или поздно расплачиваться. И только тогда, щупая синяки, мы начинаем подбирать к сущности точное обозначение. А до этого мы путаем попугая с пророком, потому что мало или недостаточно задумывались над тем, в чем заключается величие человека. Мало задумывались, потому что мало уважали себя, и своих товарищей, и свою жизнь.

Дня через три в обеденный перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел Вахтанг Бочуа — в белоснежном костюме, сияющий апофеоз белых и розовых тонов. Он был в обществе старого человека и женщины, одетой с элегантно-неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился.

— Ну как лекция? — спросил я.

— Колхозники рыдали, — ответил Вахтанг, улыбаясь, — а с тебя бутылка шампанского.

— За что? — спросил я.

— Разве ты не знаешь?—удивился Вахтанг.—Я же тебя спас из-под колеса истории. Автандил Автандилович хотел с тобой расстаться, но я ему сказал: только через мой труп.

— А он что?—спросил я.

— Понял, что даже колесо истории увязнет здесь.—Вахтанг любовно похлопал по своему мощному животу.—Экзекуция отменена.

Он стоял передо мной розовый, дородный, улыбающийся, неуязвимый, как бы сам удивленный беспредельностью своих возможностей и одновременно обдумывающий, чем бы меня еще удивить.

— А ты знаешь, кто это такие?—Он слегка кивнул в сторону своих спутников. Спутники уже заняли столики и оттуда любовно поглядывали на Вахтанга.

— Нет,—сказал я.

— Мой друг, профессор (он назвал его фамилию), известнейший в мире минералог, и его любимая ученица. Между прочим, подарил мне коллекцию кавказских минералов.

— За что?—спросил я.

— Сам не знает.—Вахтанг радостно развел руками.—Просто полюбил меня. Я его вожу по разным историческим местам.

— Вахта-а-анг, мы скучаем,—капризно протянула любимая ученица.

Сам профессор, ласково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под столика высовывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брюками и лениво вдетые в сандалии. Такие ноги бывают у долговязых рассеянных подростков.

— И это еще не все,—сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и пожимая плечами в том смысле, что чудачествам в этом мире нет предела,—завещал мне свою библиотеку.

— Смотри не отрави его,—сказал я.

— Что ты,—улыбнулся Вахтанг,—я его, как родного отца...

— Приветствую нашу замечательную молодежь.—Откуда-то появился Соломон Маркович. Он стоял маленький, морщинистый, навек заспиртованный, во всяком случае изнутри, в своей тихой, но упорной скорби.

— Уважаемый Вахтанг,—обратился Соломон Маркович к нему,—я старый человек, мне не нужно ста грамм, мне нужно только пятьдесят.

— И вы их получите,—сказал Вахтанг и, вельможно взяв его под руку, направился к своему столику.

— Еще одна местная археологическая достопримечательность,—представил его Вахтанг своим друзьям и по-

додвинул стул. — Прошу любить: мудрый Соломон Маркович.

Соломон Маркович сел. Он держался спокойно и с достоинством.

— Я вчера прочел одну книжку, называется «Библия», — начал он. Он всегда так начинал. Я подумал, что он опять, согласно моей теории, из большой неудачи своей жизни извлекает маленькие удачи ежедневных выпивок.

С месяц я спокойно работал в отделе культуры. Шум кампании не смолкал, но теперь он мне не мешал. Я к нему привык, как привыкаешь к шуму прибора. Областное совещание по козлотуризации колхозов нашей республики прошло на высоком уровне. Хотя и раздавались некоторые критические голоса, но они потонули в общем победном хоре.

В конкурсе на лучшее произведение о козлотуре победил бухгалтер Лыхнинского колхоза. Он написал песню о козлотуре. Вот ее текст:

Жил гордый тур в горах Кавказа.
По нем турицы сохли все,
Но он мечтал о желтоглазой,
О милой маленькой козе.

Но отвергали злые люди,
Пролить пытаясь его кровь,
Его теснили феодалы,
Высокогорную любовь.

Тур уходил за перевалы,
Колючки жесткие грызя,
Его теснили феодалы,
Мелкопоместные князья.

Паленой шерстью дело пахло,
А также пахло шашлыком...
А козочка в долине чахла
В разлуке с гордым женихом.

И только в наши дни впервые
Нашелся добрый чародей,
Что снял преграды видовые
Рукой мичуринской своей.

И с туром козочка любовно
Сплела рога под звон чонгур.
От этой ласки безусловно
Родился первый козлотур.

В нем навсегда, как говорится,
Соединились две черты:
Прыгучесть славного альпийца
И домовитый нрав козы.

Назло любому самодуру
Теперь мы славим на века
Не только мясо козлотура,
Но и прекрасные рога.

Чтобы понять ядовитый смысл последней строфы, надо знать предысторию всего стихотворения. В основу ее был положен реальный случай.

В одном колхозе козлотур чуть не забодал маленького сына председателя, который, как потом выяснилось (я имею в виду, конечно, сына), часто дразнил и даже, как утверждал Платон Самсонович, издевался над беззащитным животным, пользуясь служебным положением своего отца.

Ребенок сильно испугался, но, как выяснилось, никаких серьезных увечий козлотур ему не нанес. Тем не менее председатель под влиянием своей разъяренной жены приказал местному кузнецу спилить рога козлотуру. Об этом написал секретарь сельсовета. Платон Самсонович пришел в неистовство. Он поехал в колхоз, чтобы лично убедиться во всем. Все оказалось правдой. Платон Самсонович даже привез один рог козлотура, другой рог, как смущенно сообщил ему председатель колхоза, утащила собака. Все работники редакции приходили смотреть рог козлотура, даже невозмутимый метранпаж специально пришел из типографии посмотреть на рог. Платон Самсонович охотно показывал его, обращая внимание на следы варварской пилы кузнеца. Рог был тяжелый и коричневый, как бивень допотопного носорога. Заведующий отделом информации, он же председатель месткома, предложил отдать мастеру отделать его, чтобы потом ввести в употребление для коллективных редакционных пикников.

— Литра три войдет свободно, — сказал он, рассматривая его со всех сторон.

Платон Самсонович с негодованием отверг это предложение.

По этому поводу он написал фельетон под названием «Козлотур и самодур», где сурово и беспощадно карал председателя. Он даже предлагал поместить в газете снимок обезчещенного животного, но Автандил Автандилович после некоторых раздумий решил ограничиться фельетоном.

— Это могут не так понять, — сказал он по поводу снимка. Кто именно может не так понять, он не стал объяснять.

Вот почему, когда на конкурс пришло стихотворение лыхнинского бухгалтера под тем же названием, Платон Самсонович стал за него горой как самый влиятельный член жюри и его единственный технический эксперт. Редактор не имел ничего против, он только заметил, что на-

до немного изменить две последние строчки так, чтобы автор славил не только мясо и рога, но и шерсть козлотура.

— Еще неизвестно, что важнее, — сказал он и неожиданно сам исправил последние строчки. Теперь стихотворение кончалось так:

Назло любому самодуру
Я буду славить на века
И шерсть и мясо козлотура,
А также пышные рога.

— Может, пышные не совсем точно? — сказал я.

— Пышные, то есть красивые, очень даже точно, — твердо возразил Автандил Автандилович.

В нем проснулось извечное упорство поэта, отстаивающего оригинал. Автор был доволен. Вскоре на это стихотворение была написана музыка, и притом довольно удачная. Во всяком случае, ее неоднократно исполняли по радио и со сцены. Со сцены ее исполнял хор самодеятельности табачной фабрики под руководством ныне реабилитированного, известного в тридцатых годах исполнителя кавказских танцев Пата Патарая.

Рог так и остался в кабинете Платона Самсоновича. Он возлежал на кипе старых подшивок как напоминание о бдительности.

Основное время в отделе культуры у меня уходило на обработку читательских писем — обычно жалобы на плохую работу сельских клубов — и стихи — творчество трудящихся.

После окончания конкурса на лучшее произведение о козлотуре стихи на эту тему посыпались с удвоенной силой. Причем многие из них были помечены грифом: «К следующему конкурсу», хотя редакция нигде не объявляла, что будет еще один конкурс.

Интересно, что многие авторы, в основном пенсионеры, в сопроводительном письме упоминали, что государство их хорошо обеспечило и они не нуждаются в гонораре, и если какой-нибудь молодой сотрудник редакции кое-что подправит в их стихах для напечатания, то его скромный труд не останется без вознаграждения, ибо всякий труд и т. д. Сначала меня возмущало, почему именно молодой сотрудник, но потом я к этому привык и не обращал внимания.

Первое время я вежливо намекал авторам, что сочинительство требует некоторых природных способностей и даже грамотности. Но однажды Автандил Автандилович вы-

звал меня и, подчеркнув красным карандашом наиболее откровенные строчки моего ответа, посоветовал быть доброжелательней.

— Нельзя говорить, что у человека нет таланта. Мы обязаны воспитывать таланты, тем более когда речь идет о творчестве трудящихся, — заметил он.

К этому времени я окончательно уяснил слабость Автандила Автандиловича. Этот мощный человек цепенел, как кролик, под гипнозом формулы. Если он выдвигал какую-нибудь формулу, переспорить его было невозможно. Зато можно было перезарядить его другой формулой, более свежей. Когда он заговорил насчет творчества трудящихся и воспитания талантов, мне пришла в голову формула относительно заигрывания с массами, но я ее не решился высказать. Все-таки сюда она не слишком подходила.

Вот почему, сжав зубы, я отвечал на письма стихотворцев, злорадно советуя им учиться у классиков, в особенности у Маяковского.

Несколько раз за это время я выезжал в командировки и, когда готовил материал к печати, уже заранее знал те места, которые редактору не понравятся и будут обязательно вычеркнуты.

Для мест, подлежащих уничтожению, я делал единственное, что мог: старался их писать как можно лучше.

Одним словом, все шло нормально, но тут случилось событие, которое в какой-то мере повлияло на мою жизнь, хотя и не имело отношения к теме моего повествования, то есть к козлотурам.

В тот вечер мы сидели с ребятами на приморском парапете и поглядывали на улицу, по которой все время двигались навстречу друг другу два потока. Толпа нарядных, возбужденных своим процеживающим движением людей.

Белоснежная рубашка, черные брюки, узконосые туфли, пачка «Казбека», заложенная за пояс на манер ковбойского пистолета, — летняя боевая форма южного щеголя.

Вечер не предвещал ничего особенного. Да мы ничего особенного и не ожидали. Просто отдыхали, сидя на парапете, лениво поглядывая на гуляющих, и говорили о том, о чем говорят все мужчины в таких случаях. А говорят они в таких случаях всякую ерунду.

Тогда-то она и появилась. Девушка была в обществе двух пожилых женщин. Они прошли по тротуару мимо нас. Я успел заметить нежный профиль и пышные золотистые волосы. Это была очень приятная девушка, только талия ее мне показалась слишком узкой. Что-то старинное, от корсетных времен.

Она покорно и прилично слушала то, что говорила одна из женщин. Но я не очень поверил в эту покорность. Мне подумалось, что девушка с такими пухлыми губами может быть и не такой уж покорной.

Я следил за ней, пока она со своими спутницами не скрылась из глаз. Слава богу, ребята ничего не заметили. Они держали под прицелом улицу, а девушка как бы прошла над ними. Я посидел еще немного и почувствовал, что разговоры товарищей как-то до меня не доходят. Я уже нырнул куда-то и слышал их через толщу воды.

Девушка не выходила у меня из головы. Мне захотелось ее снова увидеть. Не то чтобы я боялся, что ее увлекут щеголи в белых рубашках, с томной походкой. Нет, я был уверен, что их дурацкие патронташи с полупустыми гильзами казбечин не представляют для нее опасности. Слишком мелкая дробь. К тому же я понимал: вынуть ее из такой плотной шершавой обертки, как две пожилые женщины, задача дай бог.

Как бы там ни было, я распрощался с ребятами и ушел. Найти ее в такой толчее казалось невероятным. Но она мне уже мерещилась. Чуть-чуть, но все-таки. А раз человек мерещится, можно быть спокойным — сам найдется. Раз так, подумал я, значит, я излечился от старой болезни. Майор оказался неплохим врачом. Я почувствовал в себе вернейший признак выздоровления, желанье снова заболеть. Я стал ее искать.

Я знал, что ее увижу, а что дальше будет — понятия не имел. Просто надо было убедиться — в самом деле она мерещится или только показалось?

И вот я вижу — она стоит на маленьком причале для местных катеров. Наклонилась над барьером и смотрит в воду. На ней какая-то детская рубашонка и широченная юбка на недоразвитой талии. Про таких девушек у нас говорят: ножницами можно перерезать.

Рядом с девушкой на скамейке сидели обе женщины, с которыми она так покорно проходила по набережной.

Надо сказать, что о наших краях болтают всякую чепуху. Вроде того, что девушек воруют, увозят в горы и тому подобную чушь. В основном все это бред, но многие верят.

Во всяком случае, спутницы девушки сейчас сидели от нее так близко, что в случае неожиданного умыкания могли бы, не вставая со скамейки, удержать ее хотя бы за юбку. Юбка эта сейчас плескалась вокруг ее ног широко и свободно, как флаг независимой, хотя и вполне миролюбивой державы.

Раздумывая, как быть дальше, я прошел до конца причала и, возвращаясь, решил во что бы то ни стало остановиться возле нее. Я решил использовать единствен-

ную ошибку, допущенную охраной, — фланг, обращенный к морю, был открыт.

Море было на моей стороне. И вот я подхожу, а легкий ветерок дует мне в спину, как дружеская рука, подталкивающая на преступление. Неожиданно порыв так раздул ее юбку, что мне показалось — она вот-вот взлетит, прежде чем я успею подойти. Я даже немного ускорил шаги. Но девушка, не глядя на юбку, прихлоснула ее рукой. Так прикрывают окно, чтобы устранить сквознячок. А может быть, так гасят парашют. Хотя я сам с парашютом не прыгал и, разумеется, не собираюсь, но почему-то образ парашюта, особенно нераскрывающегося, меня преследует...

Но как к ней все-таки подойти? И вдруг меня осенило. Надо притвориться приезжим. Обычно они друг другу почему-то больше доверяют. То, что она не из наших краев, было видно сразу.

И вот я подошел и стал рядом с ней. Стою себе солидно и скромно. Вроде человек гулял, а потом решил: дай я посмотрю на это Черное море, с чего оно плещется тут без всякой пользы для отдыхающих. Чтобы не было никаких подозрений, я даже не смотрел в ее сторону.

Внизу, прямо под нами, у железной лесенки, болталась шлюпка с рыбацкого баркаса. Сам баркас стоял на рейде. На эту шлюпку она и смотрела. Теперь-то можно сказать, что она смотрела прямо в глаза судьбе. Но тогда я этого не понимал. Я только заметил, что она как-то задумчиво смотрела на нее. Может быть, она решила удрать на этой шлюпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в качестве гребца.

Я стоял рядом с ней, медленно чугуня и чувствуя: чем дальше буду молчать, тем труднее мне будет заговорить.

— Интересно, что это за лодка? — наконец пробубнил я, обращаясь к ней, но не прямо, а так под углом в сорок пять градусов.

Более глупый вопрос трудно было придумать. Девушка слегка пожала плечами.

— Странно, — сказал я, продолжая гнуть ту же дурацкую линию, как будто увидеть шлюпку у причала бог весть какое чудо. — Ведь говорят, здесь граница близко, — нервно проговорил я, мысленно колотя себя головой о поручни.

— А что, может, контрабандисты? — обрадовалась она.

— У нас в санатории рассказывали, — начал я бодро, еще сам не зная о чем.

Как раз в это время, грохоча сапогами, по железной лесенке спустились два человека. Первый нес большую

плетеную корзину, прикрытую полотенцем, у второго за плечами лежал мешок.

Я замолк и приложил палец к губам.

— Как интересно, — прошептала девушка. — Что они будут делать?

Я слегка покачал головой, давая знать, что ничего хорошего от них ожидать не следует. Девушка закусила губу и еще ниже наклонилась над поручнями.

Тот, что шел с корзиной, вскочил на пляшущую лодку и, пробежав по банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и, улыбаясь, кивнул мне. Это был один из тех рыбаков, с которыми я когда-то выходил в море. Звали его Спиро.

— Приветствую работников печати! — закричал он, сверкнув зубами.

Я почувствовал, что неудержимо краснею, и незаметно кивнул ему головой. Но ему дай только рот раскрыть.

— Закусываете рыбкой, а пишете про козлотуров, — крикнул он и добавил, оглядев меня и девушку: — Интересное начинание, между прочим...

— Как дела? — вяло спросил я, понимая, что маскироваться дальше было бы еще глупей.

— Видишь, везу премиальные.

Он сдернул с корзины полотенце. В ней стояли винные бутылки.

— План перевыполняем, но золотая рыбка пока еще не попала, — добавил он, глядя на девушку своими прозрачными, бесстыжими глазами. — Калон карица (хорошая девушка)! — вдруг закричал он, откидываясь и хохоча. Видно было, что, прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал. — Девушка, пусть он вам споет песню козлотура, — вдруг вспомнил он и снова завелся: — Он хорошо поет песню про козлотура, они все там поют песню про козлотура, они чокнулись на этой песне...

Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла. Спиро еще долго дурачился, делая вид, что хочет утопиться на глазах у некоторых глупых людей, не понимающих, с каким сокровищем рядом они стоят.

— Подписчики волнуются! — закричал он издали, и лодка растворилась в колеблющейся темноте моря.

Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улыбалась, и я постепенно успокоился.

— Что это за козлотуры? — спросила она, как только мы остались одни.

— Да так, новое животное, — сказал я небрежно.

— Странно, почему же я о нем не слыхала?

— Скоро услышите, — сказал я.

— И вы поете песню о новом животном?

— Скорее подпеваю.

— А в Москве ее уже поют?

— Кажется, еще нет, — сказал я.

— Нам пора, — неожиданно раздалось за спиной. Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно враждебно оглядывая меня. Девушка мягко отошла к ним.

— Мы целыми днями на пляже, — сказала она, как бы договаривая фразу, и взяла под руку своих спутниц.

Я очень вежливо попрощался со всеми и отошел. Я пересек приморскую улицу и отправился домой малоллюдным переулком, чтобы не встречаться с друзьями и не расплескать того хорошего, что осталось от встречи с этой девушкой. По дороге домой я с удовольствием обдумывал ее последние слова. Мне ничего не мешало истолковать их как намеки на встречу.

Весь следующий день в редакции меня рапирала радость предстоящего свидания. Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, чтобы не слишком оттопыривались от нее карманы, я решил все свое рабочее время посвятить читательским письмам.

Ровно в пять часов я запер дверь нашего отдела, сел в потный, битком набитый автобус и поехал на пляж.

И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая, тихая музыка. Она помогала раздеваться. Она была как плавный переход от земли к морю.

Немного волнуясь, я стал обходить пляж, заглядывая под тенты и зонты. Разноцветные купальные костюмы, загары всех оттенков, ярмарка летнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодушия.

Я вдруг почувствовал, что не спешу ее увидеть. Поиски ее давали право быть внимательным ко всем.

Мне показалось, что я не слишком связан вчерашними впечатлениями. Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал, что слишком сильное чувство мешает самому себе, и был рад, что этого сейчас как будто нет.

У меня была глуповатая привычка при первом же удобном случае обрушивать на понравившуюся девушку лавину своих самых высоких чувств. Обычно это пугало их или даже оскорбляло. Возможно, им казалось, что раз человек так волнуется, значит, они сами недооценивали своих чар, не заметили, так сказать, золотоносной жилы на своем участке и надо его первым делом переоценить, тщательно огородить, во всяком случае не допускать первооткрывателя.

Так или иначе, как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, я немедленно переводился в запасные игроки. В конце концов мне это надоело, а потом нравилась какая-нибудь другая девушка, и хоть я понимал, что надо быть посдержанней, лавина как-то сама по себе обру-

шивалась, и девушка каждый раз выскакивала из-под пса, в лучшем случае для меня слегка помяв прическу.

Думая об этом и радуясь своему спокойствию, я обошел пляж, но нигде ее не заметил. Настроение начинало портиться. Я прошел вдоль кромки прибоя, вглядываясь в тех, кто купался. Но и здесь ее не было.

Я почувствовал, как все вокруг потускнело почти на глазах. Я медленно разделся. Раз уж пришел на пляж — надо купаться. Возле меня остановился фотограф в коротких белых штанах, с мощными бронзовыми ногами пилигрима. Он снимал женщину, вытягивавшую голову из пены прибоя.

— Еще один снимок, мадам.

Отходящая волна обнажила тело пенорожденной и руки, крепко упершиеся в песок растопыренными ладонями.

— Фотографирую...

Он так тщательно, с видом старого петербуржца, програссировал, что компания молодых туристов, расположившаяся рядом, дружно засмеялась.

Пилигрим снова навел свой фотоаппарат, а компания приготовилась смеяться. Женщина попыталась изобразить блаженство, но выражение тусклой озабоченности не сходило с ее лица. Пена прибоя вокруг нее казалась будничной, как мыльная.

— Снимаю, — неожиданно сказал фотограф и посмотрел на ребят.

Но они все равно засмеялись. Фотограф сам теперь улыбался. Он улыбался долгой, выжженной солнцем улыбкой. Улыбка его означала, что он понимает, какие эти ребята еще глупые и молодые, и что в жизни вообще много не менее смешного, чем его профессия, только надо иметь терпение пожить, чтобы понять кое-что.

Я выкупался, но море меня не освежило. Я только почувствовал голод и раздражение. Я вспомнил, что забыл пообедать, что вообще-то со мной редко случалось.

Пляж начинал меня злить. Все эти дряблые преферансисты с тонкими, подагрическими ногами, спортсмены, туго набитые никому не нужными мышцами, местные сердееды с выражением дурацкой, ничем не оправданной горделивости на лице, и женщины, нагло выставившие якобы на солнце свои якобы бесспорные прелести.

Я быстро оделся и вышел. Доехал до города и пошел домой — голодный, усталый, злой. Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что потерял ключ. Перерыл все карманы, но ключа нигде не было. Я понял, что попал в полосу невезения. У меня всегда так. Или все идет хорошо, или все валится из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кармана, когда я одевался на пляже. Скорее всего я так

решил потому, что это было единственное место, где его можно было хотя бы поискать.

Проклиная все на свете, я дошел до автобусной остановки и снова поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое время на пляж уже почти никто не ездит.

На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять возвратился с целым кулком горячих пирожков, просвечивающих через промасленный кулек. Пожевывая пирожки, он не спеша проехал две остановки и снова вышел из автобуса. Напротив остановки был пивной ларек. Теперь он свои пирожки запивал пивом. Пассажиры покорно ворчали. Рядом с пивным ларьком высилось дощатое здание — филиал народного суда. Я испугался, как бы он туда не вошел послушать какое-нибудь дело. Я думаю, у него хватило бы нахальства войти туда, не выпуская из рук пивной кружки. Но пока он спокойно пил пиво.

Я сидел напротив дверей, машинально скатывая на пальцах свой билетик. Наконец, когда терпение дошло до предела, я его выщелкнул в дверь. В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал проверять билеты. Мне надо было выйти из машины и найти свой билет, но сделать это теперь было неудобно — люди могли подумать, что я удираю.

Когда контролер подошел ко мне, я стал объяснять, как потерял билет, сам чувствуя глупость своего объяснения. По лицу контролера было видно, что он озабочен только одной мыслью: как бы я не подумал, что он мне верит.

Тогда я вышел из автобуса и стал искать билет под поощрительный хохоток ближайших пассажиров. Билет не находился. Я взял себя в руки и пытался осмыслить возможную траекторию его полета. Но там, где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снесло ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его печально-умудренный (терпеть не могу этот печально-умудренный взгляд) выражал, что нельзя найти того, чего не терял.

Наконец пассажиры, видимо решив, что я свое отработал, дружно вступились за меня и стали уверять, что видели, как я бросил билет. Перед общественным мнением контролеру пришлось отступить, и он вышел из машины, сделав мне небольшое внушение.

Наконец шофер допил свое пиво, и, когда он хлопнул дверцей и бодро включил мотор, все почувствовали к нему прилив благодарности, которого, конечно, не было бы, если б он ехал, как положено.

Я утешал себя мыслью, что раз попал в полосу невезения — ничего не поделаешь. Главное — проскочить эту полосу с наименьшими потерями.

И вот я выхожу из автобуса, подхожу к пляжной кассе и обнаруживаю, что у меня нет десяти копеек. Всего семь копеек. Еще утром забыл захватить деньги из дому.

Мне всегда не нравилось, что за вход на пляж нужно платить, как будто море соорудил наш местный муниципалитет.

— Проходите, вы же выходили, — сказала билетерша, заметив, что я мнусь у кассы.

Я посмотрел на нее. Доброе, улыбающееся лицо пожилой женщины. Удивительно, что она меня запомнила.

Я прошел на пляж. Эта небольшая удача так меня взбудрила, что я почувствовал, как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой ключ: ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходят сотни людей, — теперь я был уверен — найду.

Я его не только нашел — я его издали заметил. Да, маленький, почти чемоданный ключик лежал, поблескивая, на песке, на том самом месте, где я раздевался. Никто его не заметил, не подобрал или просто не втоптал в песок. Я поднял ключ, и, когда, разогнувшись, посмотрел на море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я увидел теплую синеву моря, озаренного заходящим солнцем, смеющееся лицо девушки, которая, оглядываясь, входила в воду, парня на спасательной лодке с сильными загорелыми руками, отдыхающими на веслах, берег, усеянный людьми, и все это было так мягко и четко освещено и столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья.

Это было не то счастье, которое мы осознаем, вспоминая, а другое, высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем, что оно сейчас струится в крови, и мы ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить это почти невозможно.

Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было трудно, и шли они к нему издали, с незапамятных времен, всю жизнь, и теперь хорошо морю со своими людьми и людям со своим морем.

Странное чудное состояние длилось несколько минут, а потом оно постепенно прошло, вернее, острота прошла, но остался привкус того, что оно было, как остается легкое головокружение после первой утренней затяжки.

Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переживал много раз, хотя если вспомнить всю жизнь, то бывало оно не так уж часто. Чаще всего оно приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в лесу или на море. Может быть, это предчувствие жизни, которая могла быть или будет? Думая обо всем этом, я сел в автобус и приехал домой, кстати говоря, забыв взять билет.

Вечером я шатался по городу, надеясь случайно встретить ее где-нибудь. Мне очень хотелось увидеть ее, хотя я и начинал страшиться этой встречи. Несколько раз я замечал, что во мне что-то неприятно обрывается, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму, но потом оказывалось, что это не она, что я ошибся.

...Я вышел на причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее здесь мне почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же месте. Как только я увидел ее, мне захотелось удрать, но я взял себя в руки и не сделал этого.

Я шел по хорошо освещенному причалу, но она меня не заметила. Было похоже, что она о чем-то задумалась, но потом мне показалось, что она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже было повернул назад, но наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Верней, лицо ее озарилось вспышкой радости.

Эта улыбка, словно порыв ветра, сдунула с меня усталость и напряжение этого дня.

Люди не так часто нам радуются, во всяком случае не так часто, как нам хотелось бы. А если и случается, что радуются при виде нас, все же чаще скрывают свою радость, чтобы не показаться сентиментальными или чтобы не обидеть других, при виде которых они не могут радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад...

...Подошел прогулочный катер, и мы, словно сговорившись, вошли в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о поручни, и смотрели в море. Как тогда над барьером причала. Но теперь, казалось, этот причал отделился от берега и мчался в открытое море. Я смотрел на ее лицо, и нежность его странно проступала сквозь крепкий загар.

Потом ей захотелось пить, и мы прошли на корму в буфет по узкому и темному проходу.

Лимонад оказался холодным и тугим, как шампанское. Я вспомнил, что давно не пил лимонада, и подумал, что никогда шампанское не бывало таким вкусным, как этот лимонад.

Позже, когда мне приходилось пить шампанское и оно не казалось безвкусным, как выдохшийся лимонад, я вспоминал этот вечер и думал о великой и в то же время немного скупердяйской мудрости природы, стремящейся к равновесию, ибо за все надо платить по цене. И если ты пьешь лимонад, который тебе кажется шампанским, значит, рано или поздно ты будешь пить шампанское, похожее на лимонад.

Такова грустная, но, по-видимому, необходимая логика жизни. И то, что она необходима, пожалуй, грустней, чем сама грустная логика жизни.

Говорят, капля камень точит. Тем более Платон Самсонович. И уже в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение таджикских коз, и уже Платон Самсонович, не дожидаясь официального хода событий, написал таджикским товарищам об этом, и уже они ответили, что слышали о нашем интересном начинании и сами собираются приобрести козлотуров, и уже они договорились обменяться животными и произвести опыты одновременно, и уже Платон Самсонович уехал к селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстяных коз, но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда Платон Самсонович должен был возвратиться.

В этот день в одной из центральных газет появилась статья, высмеивающая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Особенно досталось нам за бездумную проповедь козлотура, как писал автор. Кстати, в этой же статье делался смутный намек на то, что опыты знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне удачными, во всяком случае гениальность их ставилась под сомнение.

О статье мы узнали утром, хотя газету никто не видел. К нам центральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие вещи узнаются очень быстро.

Автандил Автандилович был взволнован, как никогда. Он несколько раз в этот день ходил в обком партии, потом позвонил в райком того района, куда уехал Платон Самсонович. Оттуда ему ответили, что Платон Самсонович уже выехал с рейсовой машиной в город. Машина должна была подойти к трем часам. На это время редактор назначил общее собрание работников редакции.

В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус останавливался напротив редакции, поэтому сотрудники старались занять места у окон. Почему-то всем было интересно посмотреть, как он будет выходить из автобуса.

Все испытывали почти радостное нервное возбуждение. По-настоящему за козлотура болел только Платон Самсонович, и все понимали, что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта, собственной безопасности.

Автандил Автандилович сидел, отрешенный от всех, глядя куда-то вперед, в пространство. Перед ним лежал машинописный текст статьи, кажется, полученный им по телетайпу.

Он впервые забыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи под струей воздуха, казалось, вздрагивали и закипали от нетерпения.

Фельетонист два раза заходил за спину редактора — якобы для того, чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редакторским столом. И хотя на вскипающей поверхности бумаги навряд ли что-нибудь можно было прочесть, особенно из-за спины Автандила Автандиловича, и все это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у фельетониста: мол, что там? В ответ он гримасой же отвечал, что, мол, такого разгрома еще не бывало.

Автандил Автандилович, не глядя, кивком головы во-ворил его на место.

Наконец машина подъехала, и все столпились у окон посмотреть, как он будет выходить. Почему-то нам показалось, что он первый выйдет из машины, но из дверцы неожиданно выскочила охотничья собака, а за ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел, как бы отягощенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему и даже к его собаке.

Пожилая крестьянка с корзиной, наполненной грецкими орехами, вышла из машины и тут же стала переходить улицу в непопозволенном месте. Постовой свистнул, и она побежала, рассыпая орехи. Все-таки побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить.

Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду он постоял возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от редакции сторону.

— Он уходит, — очнулся кто-то первый.

— Как уходит? — грозно переспросил Автандил Автандилович.

— Я его верну! — крикнул фельетонист и ринулся к дверям.

— Только ничего не говорите! — бросил ему вслед редактор.

Мы стояли у окон и следили за Платоном Самсоновичем. Он медленно перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный за спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газированной водой.

— Воду пьет, — удивился кто-то, и все рассмеялись.

Фельетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдитительно стал глядеть по сторонам, заслоняясь ладонью от солнца. Он не замечал Платона Самсоновича, потому что к киоску подошел человек и заслонил его. Фельетонист, беспокойно озираясь, стоял несколько мгновений, а потом с панической быстротой перебежал улицу и отправился в сторону моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не заметил Платона Самсоновича. Он прошел киоск, и снова все рас-

смеялись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками, — видно, Платон Самсонович его окликнул сам.

Фельетонист что-то сказал и, махнув рукой в сторону редакции, быстро удалился. Чувствовалось, что он знал, что за ним наблюдают из окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Самсоновичем только по вынужденному поводу.

...Когда пассажиры разошлись, шофер рейсовой машины неожиданно выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрал все до одного, он влез в машину и уехал.

Наконец Платон Самсонович открыл дверь кабинета и вошел. Он кивком поздоровался со всеми и присел на стул. Вид у него был сумрачно-сосредоточенный. Мне кажется, уже по тому, как он сел на краешек стула, было видно, что он все знает. Впрочем, возможно, я это уже потом так подумал.

— Ну как, договорились с селекционером? — спросил Автандил Автандилович безмятежным голосом.

Плотно сомкнутые губы Платона Самсоновича слегка задергались.

— Автандил Автандилович, — сказал он глухим голосом и, как-то не вполне разогнувшись, встал со стула. — Я все знаю...

— Интересно, кто вам сказал? — спросил тот и посмотрел на фельетониста.

Фельетонист ударил ладонью в грудь и застыл, как бы покоряясь судьбе.

— Утром по радио передавали, — сказал Платон Самсонович, продолжая стоять в той же позе, не вполне разогнувшись.

— И тут первый, — мрачно пошутил редактор, стараясь скрыть разочарование.

Автандил Автандилович несколько мгновений смотрел на Платона Самсоновича холодеющим взглядом, словно расстояние между ними увеличивалось и он его переставал узнавать. Мне показалось, что под этим взглядом Платон Самсонович еще больше согнулся.

— Садитесь, — сказал Автандил Автандилович тоном, каким говорят со случайным посетителем редакции.

И вот он прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным голосом. Он читал, постепенно загораюсь и иногда посматривая в сторону Платона Самсоновича.

Сначала казалось, что он, читая статью, нам всем и себе раскрывает допущенные нами ошибки и перегибы. Но пафос в его голосе все время нарастал, и вдруг стало казаться, что он лично вместе с другими товарищами обнаружил эту ошибку. К концу статьи он так слился с ее стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что

стало казаться—именно он, и притом без всяких товарищей, первым заметил и смело вскрыл все наши ошибки.

Началось обсуждение статьи. Тут надо сказать, что Автандил Автандилович держался самокритично. Он заявил, что, хотя и пытался приостановить бездумную проповедь козлотура, именно с этой целью он и печатал, хотя и под рубрикой «Посмеемся над маловерами», критические заметки зоотехника, но делал это недостаточно энергично и в этом смысле берет часть вины на себя.

Фельетонист, который все это время нетерпеливо ерзал, выступил сразу же после редактора и напомнил, что и он в фельетоне о неплательщике алиментов в замаскированной форме пытался критиковать бездумную проповедь козлотура, но Платон Самсонович не только не внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык.

— Ярлык?—неожиданно выдавил Платон Самсонович и сумрачно посмотрел на фельетониста.

— Да, ярлык!—повторил тот решительно и посмотрел на Платона Самсоновича взглядом человека, навсегда разорвавшего цепи рабства.

— Вы преувеличиваете, — примирительно сказал Автандил Автандилович. Он не любил слишком широких обобщений, если эти обобщения делал не он сам.

В связи с бездумной проповедью козлотура Автандил Автандилович поднял вопрос о семейных делах Платона Самсоновича.

— Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел к отрыву от семьи, — подытожил он свое выступление, — и это закономерно, ибо человек потерял критерий истины и зазнался.

После того как критика Автандила Автандиловича была поддержана сотрудниками, он выступил еще раз и сказал, что все-таки нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон Самсонович старый, опытный газетчик и, несмотря на ошибки, до последней капли крови предан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит.

Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил, что загибы вообще характеры для работы Платона Самсоновича. Он напомнил, что Платон Самсонович несколько лет назад пытался установить новый метод рыбной ловли, пропуская через воду токи высоких частот. В результате рыба якобы должна была собираться в одном месте, тогда как на самом деле она ушла из бухты и могла совсем не приходиться, если бы опыты продолжались.

— Не в этом дело, вы не так поняли, — вставил было Платон Самсонович, но к этому времени все устали и никому неохота было выслушивать технологию старого опыта.

Заведующим отделом сельского хозяйства был назначен заведующий отделом пропаганды, как человек, имеющий наиболее острое чутье к новому. Платона Самсоновича оставили при нем литсотрудником, с тем чтобы он, как старший опытный работник, помогал освоиться новому заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Редактор решил пока ограничиться этим при условии, что он вернется в семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У Платона Самсоновича не было высшего образования.

— Кстати, заберите этот самый рог козлотура, — сказал Автандил Автандилович, когда мы уже расходились.

— Рог? — как эхо, повторил Платон Самсонович, и я заметил, как на его худой шее судорожно задвигался кадык.

— Да, рог, — повторил Автандил Автандилович, — чтобы его духу здесь не было.

Когда Платон Самсонович уходил из редакции с рогом, небрежно завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом (все, что осталось от его великого замысла). Мне стало совсем не по себе. Но что было делать, утешить я его не мог, да и навряд ли это было возможно.

Статья из центральной газеты была перепечатана в нашей, причем то место, где говорилось о бездумной проповеди козлотура, было набрано жирным шрифтом с замечанием в скобках: «Курсив наш». В том же номере была помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь козлотура», где давалась критическая оценка всей работе газеты и в особенности отдела сельского хозяйства.

В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули к пропаганде малоизученного опыта.

Одним словом, имелся в виду Вахтанг Бочуа. Но прямо писать о нем не решились, потому что неделей раньше он подарил местному краеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов.

Он, разумеется, позаботился, чтобы это мероприятие не осталось безгласным. Он сам позвонил в редакцию и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. Прислали фотокобра, который и запечатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося пирата вручал свои сокровища застенчивому директору музея.

Так что теперь, через неделю после триумфа бескорыстия, упоминать его в газете было как-то неловко.

В следующих номерах печатались организованные отклики на критику козлотура. Кстати, к упрямому зоотех-

нику поехал один из наших сотрудников, с тем чтобы он теперь выступил с большой статьей против козлотуризации животноводства. Но упрямый зоотехник остался верен себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь ему это неинтересно.

После появления статьи в редакцию много звонили. Так, например, из торгова позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием павильона прохладительных напитков «Водопой козлотура». Кстати, к нам стали поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах начали забивать козлотуров. По этому поводу мы давали разъяснение в том смысле, что не нужно шарахаться из стороны в сторону, а нужно вести козлотуров в колхозное стадо на общих основаниях.

С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами, предложил товарищам из торгова не уничтожать вывеску целиком, но незаметно ликвидировать в слове «козлотур» первые два слога. Так что теперь получалось «Водопой тура», что звучит, как мне кажется, еще романтичнее. Вывеску на самом павильоне быстро привели в порядок, но над павильоном еще целый месяц по ночам светилось, нагломерно подмигивая электрическими лампочками, старое название «Водопой козлотура».

Получалось так, что днем на водопой приходят туры, по ночам все еще упорствуют козлотуры.

Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по вечерам на эту электрическую вывеску: они в ней находили как бы противоборствующий чему-то либеральный намек и одновременно злобное упорство догматиков.

Как-то, проходя в кафе, я сам видел небольшую группу подобных вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив павильона.

— Это неспроста, — произнес один из них, слегка кивнув на вывеску.

— Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится, — добавил другой.

— Друзья мои, — прервал их благоразумный голос, — все это верно, но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел — и проходи. Посмотрел — и дальше.

— А что тут такого! — возразил первый. — Вот захотел и буду смотреть. Не те времена.

— Да, но могут не так понять, — сказал благоразумный, озираясь. Заметив меня, он мгновенно осекся и добавил: — Вот я и говорю, что критика прозвучала своевременно.

Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего компания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя.

В один из этих дней лично мне позвонил директор филармонии и спросил, как быть с песней о козлотуре, которую исполняет хор табачников, а также некоторые солисты.

— Понимаете, — сказал он извиняющимся голосом, — у меня ведь финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне здоровым, как я теперь понимаю, но все же...

Я решил, что по такому вопросу не мешает посоветоваться с Автандилом Автандиловичем.

— Подождите, — сказал я директору филармонии и отправился к редактору.

Автандил Автандилович выслушал меня и сказал, что о хоровом выступлении с песней о козлотуре не может быть и речи.

— Да и хор у них липоватый, — неожиданно добавил он. — Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам придать правильный смысл. Одним словом, — заключил он, нажимая кнопку вентилятора, — главное сейчас — не шарахаться из стороны в сторону. Так и передай.

Я передал суть нашего разговора попечителю филармонии, после чего он задумчиво, как мне показалось, повесил трубку.

В этот день Платон Самсонович не пришел на работу, а на следующий явилась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через несколько минут редактор вызвал к себе председателя профкома. Потом тот рассказал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел — не то нервное расстройство на почве переутомления, не то переутомление на почве нервного расстройства. Жена его, как только узнала о судьбе козлотуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и застала его в постели. Они, кажется, окончательно примирились и, оставив новую квартиру детям, будут жить в старой.

— Вот видите, — сказал Автандил Автандилович, — здоровая критика укрепляет семью.

— Критика-то здоровая, да он у меня совсем расхворался, — ответила она.

— А это мы поможем, — заверил Автандил Автандилович и велел председателю профкома сейчас же достать ему путевку.

По иронии судьбы или даже самого председателя профкома Платон Самсонович был отправлен в горный санаторий имени бывшего Козлотура. Впрочем, это одна из лучших здравниц в нашей республике, и попасть туда не так-то просто.

Недели через две, когда замолкли последние залпы контрпропаганды и нашествие козлотуров было полностью подавлено, а их рассеянные, одиночные экземпляры, сми-

рившись, вошли в колхозные стада, в нашем городе проводилось областное совещание передовиков сельского хозяйства. Дело в том, что наша республика перевыполнила план заготовки чая — основной сельскохозяйственной культуры нашего края. Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших.

В перерыве, после официальной части, я увидел в буфете самого Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом и девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное, оглядывая посетительниц буфета. Председатель и агроном пили пиво.

Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза «Ореховый Ключ». Поэтому я смело подошел к ним. Мы поздоровались, и я присел за столик.

Агроном выглядел как обычно. У председателя выражение лица было иронически-торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда они из вежливости выслушивают рассуждения городских людей о сельском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него появлялось что-то живое.

— Еще одно пирожное, Гогола?

— Не хочу, — рассеянно отвечала она, рассматривая наряды женщин, входящих и выходящих из буфета.

— Давай, да? Еще одно, — продолжал уговаривать председатель.

— Пирожное не хочу, луманад хочу, — наконец согласилась она.

— Бутылку луманада, — заказал Илларион Максимович официантке.

— Рады, что козлотура отменили? — спросил я его, когда он разлил пиво по стаканам.

— Очень хорошее начинание, — согласился Илларион Максимович, — только за одно боюсь...

— Чего боитесь? — спросил я и взглянул на него.

Он выпил свое пиво и ответил только после того, как поставил стакан.

— Если козлотура отменили, — проговорил он задумчиво, как бы вглядываясь в будущее, — значит, что-то новое будет, но в условиях нашего климата...

— Знаю, — перебил я его, — в условиях вашего климата это вам не подойдет.

— Вот именно! — подтвердил Илларион Максимович и серьезно посмотрел на меня.

— По-моему, напрасно боитесь, — сказал я, стараясь придать голосу уверенность.

— Дай бог! — протянул Илларион Максимович. — Но если козлотура отменили, что-то, наверное, будет, но что — пока не знаю.

— А где ваш козлотур? — спросил я.

— В стаде, на общих основаниях, — сказал председатель, как о чем-то далеком, уже не представляющем опасности.

Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я распрощался с ними, а сам остался у дверей. Мне надо было прослушать концерт и быстро вернуться, с тем чтобы написать отчет.

Первым номером выступали танцоры Пата Патарая. Как всегда, ловкие, легкие, исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением.

Их несколько раз вызывали на «бис», и вместе с ними выходил сам Пата Патарая — тонкий, с пружинистой походкой пожилой человек. Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на коленях».

После сильного разгона он вылетел на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновение, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч.

Зрители приходили в неистовство.

— Трио чонгуристок исполняет песню без слов, — объявила ведущая.

На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг на друга. Потом по знаку одной из них они ударили по струнам — и полилась мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели на манер старинных горских песен без слов.

Мелодия мне показалась чем-то знакомой, и вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлотуре, только совсем в другом, замедленном ритме. По залу пробежал шелест узнавания. Я наклонился и посмотрел в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оставалось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал я, он в город приезжает с таким выражением и оно у него остается до самого отъезда. Гогола, вытянув свою аккуратную головку, заворожено глядела на сцену. Спящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как Кутузов на военном совете.

Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пата Патарая. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в ней сладость запретного плода.

И хотя сам плод был горек и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость даже его запрётности было приятно, — видимо, такова природа человека, и с этим ничего не поделаешь.

Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсонович вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним на рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я, разумеется, с радостью согласился.

Я уже говорил, что Платон Самсонович — один из самых опытных рыбаков на нашем побережье. Если рыба не ловится в одном месте, он говорит:

— Я знаю другое место...

И я гребу к другому месту. А если и там не ловится рыба, он говорит:

— Я знаю совсем другое место...

И я гребу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и там, он ложится на корму и говорит:

— Греби к берегу, рыба ушла на глубину...

И я гребу к берегу, потому что в море слово Платона Самсоновича закон.

Но так бывает редко. И на этот раз у нас был хороший улов, особенно у Платона Самсоновича, потому что он первый рыбак и сразу забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. Прутья торчат над бортом лодки, и он по ним следит за клевом, ухитряясь не перепутать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподымая и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством.

Когда мы загнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кроме обычной рыбы, в его сачке трепыхался черноморский красавец — морской петух, которого я так и не поймал ни разу.

— Мало того что вы мастер, вам еще везет, — сказал я.

— Между прочим, через рыбалку я сделал в горах интересное открытие, — ответил он, немного помолчав.

Мы шли по берегу моря вдоль парапета. Он со своим тяжелым сачком, набитым мокрой рыбой, и я со своим скромным уловом в сетке.

— Какое открытие? — спросил я без особого интереса.

— Понимаешь, искал форельные места в верховьях Кодора и набрел на удивительную пещеру...

Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметно взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск.

— Таких пещер в горах тысячи, — жестко прервал я его.

— Ничего подобного, — быстро и горячо ответил он, при этом глаза его так и полыхнули сухим неприятным блеском, — в этой пещере оригинальная расцветка сталактитов и сталагмитов... Я привез целый чемодан образцов...

— Ну и что? — спросил я, на всякий случай отчуждаясь.

— Надо заинтересовать вышестоящих товарищей... Это не пещера, а подземный дворец, сказка Шехерезады...

Я посмотрел на его посвежевшее лицо и понял, что теперь накопленные им в горах силы уйдут на эту пещеру.

— Таких пещер у нас в горах тысячи, — тупо повторил я.

— Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо с теплохода перелетать в подземный дворец, по дороге любуясь дельтой Кудора и окрестными горами...

— Туда километров сто будет, — сказал я, — кто же вам даст такие деньги?

— Окупится! Тут же окупится! — радостно перебил он меня и, бросив сачок на парашют, продолжал: — Туристы будут тысячами валить со всего мира. Прямо с корабля в пещеру...

— Не говоря уже о том, что один пастух справится с двумя тысячами козлотуров, — попытался я сострить.

— При чем тут козлотуры? — удивился Платон Самсонович. — Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет туристов?

— Ну ладно, — сказал я, — я пошел пить кофе, а вы как хотите.

— Постой, — окликнул он меня, как только я стал отходить. Я почувствовал, что он увлекает меня, и решил не поддаваться.

— Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хранения, — сказал он застенчиво.

— Не понимаю, — ответил я безразличным голосом.

— Ну, сам знаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты и сталагмиты, начнет пилить...

— Что я должен сделать? — спросил я, начиная догадываться об истинном смысле его приглашения на рыбалку.

— Мы пойдем с тобой и получим чемодан. Я у тебя его оставлю на время...

Сейчас после моря и рыбалки тащиться через весь город на вокзал...

— Хорошо, — сказал я, — только завтра. Надеюсь, до завтра ваши сталактиты не испортятся?

— Что ты! — воскликнул он. — Они держатся тысячелетия, а эти редкой оригинальной окраски. Ты завтра сам увидишь.

— Ну ладно, до завтра, — сказал я.

— До свидания, — пробормотал он задумчиво и небрежно приподнял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы.

Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня. Я оглянулся.

— Про пещеру пока молчи, — сказал он и приложил палец к губам.

— Хорошо, — ответил я и быстро пошел в сторону кофейни.

Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале осени. Солнце медленно погружалось в воду и бухта со стороны заката золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она становилась сначала сиреновой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже окунались в сизую дымку.

Я думал о Платоне Самсоновиче. Я думал о том, что наше время создало странный тип новатора, или изобретателя, или предпринимателя, как там его ни называй, все равно, который может много раз прогорать, но не может до конца разориться, ибо финансируется государством. Поэтому энтузиазм его практически неисчерпаем.

Кофейня была заполнена обычными посетителями — старожилками, которые пили кофе бережными глотками, тихо смакуя свои воспоминания. В углу за сдвинутыми столами юнцы скучно шумели порожняком своей молодости.

Я присел за столик и повесил сетку на спинку стула.

— Сладкий или средний? — спросил кофевар, наклоня свою выжженную солнцем и кофе голову восточного миротворца. Он некоторое время с удовольствием рассматривал мой улов.

— Средний, — сказал я привычно.

После моря и гребли приятно пошатывало, и я думал о том, что сейчас в мире нет ничего прекрасней чашечки горячего турецкого кофе с коричневой пенкой на поверхности.

На этом мне хочется закончить правдивую историю козлотура, и я намеренно ничего не говорю о девушке, с которой познакомился на причале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, потому что у нее окончились летние каникулы и она уехала учиться,

а во-вторых, это совсем другая история, которая к козлотурам, как я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения.

Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаясь угадать то созвездие, которое когда-то напомнило мне голову козлотура, но, как я с тех пор ни смотрел, никак не мог уловить ничего подобного. Созвездия Козлотура не было видно, хотя на небе было много других созвездий.

Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки. И каждый раз, когда я ее подносил ко рту и втягивал губами густой горячий глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки с рыбой.

Это было похоже, как если б за мной сидела моя собака и, тычась мокрым, холодным носом мне в локоть, сдержанно напоминала о себе. Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь кофе.

Стоянка человека

Знакомство с героем

Здесь, в горах, на альпийских высотах в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота.

Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш и пошел по цветущему лугу к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых, рыжих, мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот—глаза вроде добрые, а душа поганая.

С одушевленной человеческой осторожностью Дунай заглянул в обрыв, мотнул головой, скорее всего в знак неодобрения увиденного, и, повернувшись к обрыву спиной, брякнулся у моих ног.

Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушили золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелел темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху на Рицу.

Меня ударило в грудь воспоминание о Викторе Максимовиче. Он тоже всю жизнь занимался летательным аппаратом, движущимся на мускульной силе пилота. Аппарат его назывался махолетом, то есть он после разбега набирал высоту взмахами крыльев. Виктор Максимович шесть раз ненадолго взлетал на своем махолете, четыре раза падал, но отделялся сравнительно легкими ранениями.

Сейчас, узнав об англичанине, перелетевшем Ла-Манш, мне стало горько за Виктора Максимовича и стыдно за себя. Англичанин, вероятно, получит премию в сто тысяч фунтов, назначенную за такой перелет неким любознательным богачом. Об этой премии Виктор Максимович неоднократно говорил, и он был так близок к последней,

самой легкой конструкции махолета. Зная Виктора Максимова, невозможно было усомниться, что эта премия его интересовала как мощная возможность окончательного усовершенствования своего любимого детища.

Мне стало стыдно за себя, потому что ни разу в жизни я не проявил настоящего интереса к тому, что он делал. Как и все мы, поглощенный своими заботами, я не придавал должного значения жизненной цели этого огненного мечтателя. Ну, получится, ну, полетит, думал я, что тут особенного в век космоса?

Но я любил этого человека за многое другое. Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом человеке такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес некоторых местных интеллектуалов.

Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею насладиться.

— Культура, — говорил он, — это не количество прочитанных книг, а количество понятых.

Жил он за городом у моря. Изредка он появлялся в городе, одетый в штормовку защитного цвета и такого же цвета спортивные брюки. Он был чуть выше среднего роста, худ, загорел, крепкого сложения. На хорошо вылепленном лице кротко и неукротимо светились маленькие синие глаза. И иногда трудно было понять — то ли свет его глаз неукротим от уверенности во всепобеждающей силе кротости, то ли сама кротость в его глазах — следствие неукротимой внутренней силы, которая только и может позволить себе эту кротость.

На шее у него всегда был повязан платок, что придавало ему сходство с художником или артистом. Кстати, из-за этого шейного платка однажды тень разочарования омрачила мое отношение к нему. И раз я вспомнил об этом — договору, чтобы больше к этому не возвращаться.

Так вот, обычно у него шея была повязана голубым платком. Но однажды он явился в кофейню с красным платком на шее. Я шутливо спросил у него, мол, не означает ли этот новый платок некие сдвиги в его мировоззрении.

— Нет, — сказал он без всякой улыбки, глядя на меня своим кротким и неукротимым взглядом, — неделю назад я услышал какие-то жалобные крики, доносящиеся с моря. Я подошел к берегу и увидел дельфина, кричащего и бьющегося у самой кромки прибоя. Я подошел к воде, наклонился и заметил на спине дельфина глубокую рану возле хвоста. Не знаю, то ли в драке с дельфинами он ее получил, то ли напоролся на сваю возле каких-то ставников.

Я стоял некоторое время над ним. Дельфин никуда не уплывал и продолжал издавать звуки, подобные стону. Я понял, что он ищет человеческой помощи. Я вернулся домой, взял в аптечке у себя несколько пачек пенициллинового порошка, подошел к берегу, разделся, вошел в воду и высыпал ему в рану весь пенициллин. После этого я перевязал ему спину своим платком. Дельфин продолжал биться мордой о берег и барахтаться в прибое. Тогда я приподнял его, отошел на несколько метров в глубь воды, повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл.

Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно опарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал: он спятил! У него пропал шейный платок, а остальное — галлюцинация!

— Ну и как, дельфин этот больше не приплывал? — осторожно спросил я, делая вид, что поверил ему.

— Нет, — сказал он просто. Мне показалось, чересчур просто.

Я любил этого человека, и меня некоторое время мучил его рассказ. Он меня настолько мучил, что я придумал сказать ему: мол, местные рыбаки поймали в сети дельфина, обвязанного голубым платком. Мне хотелось посмотреть, опустит он свои глаза или нет. Однако сказать не решился и никак не мог понять, был этот дельфин в конце концов или нет.

Все же через некоторое время я как-то успокоился на мысли, что в жизни всякое бывает. Тем более, об этих чертовых дельфинах чего только не рассказывают. Да и мало ли в жизни случается неправдоподобного. Я, например, однажды бросил окурок с балкона восьмого этажа и попал им в урну, стоящую на тротуаре. Неправдоподобность этого случая усиливается тем, что я именно целился в эту урну и попал. Если б не целился, было бы более правдоподобно. Так и дельфин этот, если бы плавал в море не в этом голубом платке, а как-то поскромнее, скажем, обвязанный бинтом, было бы более похоже на правду. Во всяком случае, более терпимо.

Обычно, придя в город, Виктор Максимович останавливался возле одной из открытых кофеен и пил кофе.

Я знал, что чашечка турецкого кофе—это единственное баловство, которое он может себе позволить на собственные деньги. Я знал, что последние десять по крайней мере лет он питается только кефиром и хлебом, не считая фруктов, которые растут на его прибрежном участке. Все, что он зарабатывал, уходило на сооружение очередного махолета.

Сам он об этом говорил просто, считая, что невольная диета помогает ему сохранить форму, ибо каждый лишний килограмм веса—это трагедия для свободного воздухоплавания. Впрочем, для полной точности должен сказать, что его охотно угощали и он с царственной неприужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц.

Обычно, приходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами, вороватыми рабочими, которые доставали необходимые ему краски, смолы, полиамидные пленки, пластмассу, одним словом, все, чего нельзя было купить ни в одном магазине.

Думаю, что пора рассказать все то, что я знаю о прошлом Виктора Максимовича Карташова. Отец его, дворянин по происхождению, приехал в Абхазию вместе с семьей в 1920 году.

В те времена довольно много представителей русского дворянства, я говорю, довольно много, учитывая масштабы маленькой Абхазии, бежало сюда. Это было своеобразной полуэмиграцией из России. По имеющимся у меня достаточно надежным сведениям, их здесь почти не преследовали, как почти не преследовали и местных представителей этого сословия. Я думаю, тут сказались и закон дальности от места взрыва и более патриархальная традиция близости всех сословий, которой невольно в силу всосанности этих традиций с молоком матери в достаточно большой мере подчинялась и новая власть.

Настоящее озверение пришло в 1937 году, но тогда оно коснулось всех одинаково.

Отец Виктора Максимовича, по образованию агроном, устроился работать в деревне недалеко от Мухуса. Мать маленького Виктора, когда он чуть подрос и его уже можно было оставлять на попечение бабушки, тоже пошла работать в районную больницу. В те годы отец Виктора чуть ли не первым построил дом на диком загородном берегу моря, впоследствии ставшем крупным курортным поселком.

Перед войной Виктор Максимович окончил летную школу и на фронт попал военным летчиком. Судя по все-

му, он хорошо воевал, был трижды ранен и однажды дотянул до аэродрома горящий самолет. После войны он демобилизовался, вернулся в Абхазию, устроился на местном аэродроме и стал летать на По-2 по маршруту Мухус — Псху.

Однажды из-за нелетной погоды самолет его на несколько суток застрял в горах на Псху. В это время на Псху жил немецкий коммунист. Они встретились на какой-то вечеринке, и Виктор Максимович, вероятно, находясь в состоянии легкого подпития, рассказал анекдот о Сталине.

Услужливый немец написал донос. Не исключено, что донос полетел вместе с почтой, загруженной в самолет Виктора Максимовича, потому что другого цивилизованного пути из Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на вьючной лошади.

Так или иначе Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший стенгазету, рассказывал, что комиссия подняла номера стенгазет за многие годы в поисках подрывных материалов.

После смерти Сталина постепенно стало ясно, что рассказанный анекдот потерял свою актуальность, и Виктора Максимовича отпустили домой. Он приехал в Абхазию, но дома его ждало печальное запустение: отец и мать умерли. Бабушка умерла еще раньше, перед самой войной.

Отец его, страстно любивший своего единственного сына, в сущности, умер от горя, и мать вскоре последовала за ним. В те времена политические заключенные, даже если отсиживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто обоготворял его, как бы слились в согласии, что он никогда не умрет.

Виктор Максимович вернулся домой, но к своей старой профессии не вернулся или, вернее сказать, теперь решил вернуться к ней более сложным путем. Он решил сам создать воздухоплавательный аппарат и сам полететь на нем.

На жизнь он зарабатывал, починяя окрестным жителям все, что можно было починить, от моторов автомашин до электроутюгов. Он хорошо зарабатывал, но приходилось на всем экономить, потому что только через спекулянтов удавалось доставать материалы, необходимые для его дела.

Виктор Максимович когда-то был женат, и притом, говорят, на красавице, но я ее никогда не видел. Ко време-

ни нашего знакомства он был один. Много лет назад они разъехались или разошлись, и она отправилась к себе в Москву.

Возможно, однажды, показав ему рукой на очередной махолет, она сказала: «Или он, или я», — и, не дожидаясь ответа, потому что ответ и так был ясен, навсегда уехала в Москву.

Виктор Максимович и сам почти каждую зиму, разобрав и сложив свой летательный аппарат, на два-три месяца уезжал в Москву. Там у него были друзья, поклонники его дела, которые, кстати, присылали ему лучшие русские книги — почтой советские издания, с оказией — заграничные.

Встречался ли он там со своей бывшей женой, не знаю. Скорее всего нет. За все время нашего знакомства, которое длилось лет десять, он только однажды упомянул о ней во время застолья.

— А правда ли, — спросил один из застольцев у него, — что ваша жена была необыкновенной красавицей?

— Это была гремучая змея, — ответил Виктор Максимович и после небольшой паузы добавил: — но с глушителем, что делало ее особенно опасной.

Он об этом сказал совершенно спокойно, как о давно установленном зоологическом факте. Однако в этом спокойствии было нечто такое, что исключало, для меня, во всяком случае, задавать вопросы на эту тему.

В городе он всегда появлялся один или в редких случаях со своим махолетом. В таких случаях махолет был прицеплен к старенькому «Москвичу», принадлежащему одному из друзей Виктора Максимовича. Машина осторожно проезжала по центральной улице, и серо-голубой махолет покорно следовал за ней, покачивая дрябловатыми крыльями, кончавшимися разрезами наподобие крыльев парящего коршуна.

Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные люди давно к этому привыкли. Машина направлялась в сторону Гумисты. Там, в зеленой плоской пойме реки, Виктор Максимович испытывал свой аппарат. Обычно эту процессию сопровождал милицкий мотоцикл. Я сначала думал, что милиция в данном случае следит, чтобы махолет не нарушал правила уличного движения, и только позже узнал, что испытания его проходят под неизменным надзором милиции.

Мне кажется, что мечта о таком воздухоплавательном аппарате, который действовал бы за счет собственных сил летуна, у Виктора Максимовича впервые возникла в лагере. Так мне кажется, хотя сам он об этом никогда не рассказывал.

Как я уже говорил, мы с Виктором Максимовичем встречались в основном в кофейнях. Может создаться

ложное впечатление, что он очень часто там бывал. Нет, Он вообще в город приезжал очень редко, но, приехав и посетив кофейню, никуда не спешил и призывал собеседника помедлить.

— Куда торопиться, — говорил он с некоторым наивным эгоизмом, — раз я в город приехал, все равно день потеряю.

Я, слава богу, никогда его не торопил. В рассказах о жизни он любил вспоминать необычайные случаи, иногда взрывные выходы в новое сознание. Как я потом понял, эта его склонность была мистически связана с делом его жизни. Само собой разумеется, что я ни разу не усомнился в подлинности его воспоминаний.

Ничего похожего на дельфина с голубой повязкой никогда не повторялось. Да и дельфин этот в конце концов, если подумать, только моя придирка. Как будто Виктор Максимович, помогая дельфину, обязан был проявить хороший вкус и правдоподобию и не отпускать его в море таким уж нарядным.

Разумеется, с Виктором Максимовичем мы не раз выпивали. Он любил это дело, но должен сказать, что никогда в отличие от меня по-настоящему не хмелел. Казалось, никакое вино не может дохлестнуть до той высоты опьянения, до которой опьянила его пожизненная мечта о свободном парении.

Пожалуй, хмель сказывался только в том, что он начал читать стихи. И всегда он читал одного и того же лагерного поэта, с кем свела его судьба, а потом наглухо раскидала по разным лагерям. Несмотря на косноязычие некоторых строк, стихи этого поэта казались мне удивительными. Несколько раз я пытался их записать, но он всегда отмахивался.

— Успеешь, — говорил он, да и кофейня не слишком располагала к переписыванию стихов. Только одна первая строфа из стихотворения, пронизанного свежей тоской по далекой усадебной жизни, и осталась в памяти.

Не выбегут борзые с первым снегом
Лизать наследнику и руки и лицо.
А отчим мой, поигрывая стеклом,
С улыбкою не выйдет на крыльцо...

Зана

Когда мир залихорадило поисками снежного человека, Виктор Максимович нередко приходил в кофейню с журналами или газетными вырезками, в которых говорилось об этом. Он с явным волнением ждал, что снежного человека

вот-вот поймут или в крайнем случае сфотографируют. Истати, я тоже разделял его волнение и любопытство.

— Поиски снежного человека, — говорил он, — это, может быть, тоска человека по своему началу в предчувствии своего конца. Люди хотят увидеть своего далекого пращура, чтобы попытаться понять, когда и где именно они свихнулись.

И вдруг эти поиски обрушились на Абхазию. Оказывается, в абхазском селе Тхина в прошлом веке поймали дикую, или лесную, как говорят абхазцы, женщину. Нарекли ее Заной.

Истати, крестьянин, поймавший ее, сначала подарил Зану местному князю. Князь как будто принял подарок, и она некоторое время жила, привязанная на цепи к огромному грецкому ореху, росшему во дворе князя. И он охотно показывал ее своим высокогородным гостям. Но потом князь по каким-то непонятным причинам вернул Зану поймавшему ее крестьянину. Не исключено, что в его решении отказаться от Заны сыграли роль соображения сословной гордости. Возможно, кто-нибудь из гостей ему на что-то намекнул или он сам испугался, как бы кто не подумал, что Зана спрыгнула с его личного генеалогического древа.

Привязанная на цепи, Зана жила под открытым навесом возле дома своего хозяина, время от времени неизвестно от кого рожая детей.

По рассказам очевидцев, рычанием и визгливыми выкриками она выражала злобу или неудовольствие. Иногда издавала каркающие звуки, которые надо было понимать как хохот. Очевидцы отмечают, что никто никогда не видел ее улыбки. И это очень интересно. Это лишнее нам подтверждает, что улыбка — следствие более тонкого психического состояния, чем смех.

По прошествии нескольких лет она немного привыкла к людям, и ее больше не держали на цепи. Любимым ее развлечением было разбивать камни о камни. Не исключено, что Зана была на пороге открытия каменного топора.

Вскоре она научилась выполнять несложную хозяйственную работу: молотить колотушкой кукурузу, таскать на мельницу мешки, приносить из лесу дрова. Под открытым навесом, где она жила, Зана вырыла яму, обложила ее папоротником и, таким образом, устроила себе довольно уютную спальню, куда по ночам явно спрыгивали так и не опознанные любвеобильные тхинцы, потому что Зана беспрерывно продолжала рожать. Многие дети ее тут же погибали, скорее всего ввиду ее крайне неумелого обращения с ребенком, но некоторых тхинцов успевали у нее отобрать и воспитывали их у себя дома, как обычных детей.

Холод Зана переносила хорошо, а жару плохо. Стоило ее ввести в дом, как она начинала сильно потеть и выка-

зывать признаки неудовольствия. Кстати, два-три раза под угрозой палки хозяину удавалось ее приодеть, но как только угроза палки отдалялась, Зана с яростью разрывала на себе платки, топтала его и даже зарывала в землю. В конце концов хозяин махнул на нее рукой, видимо, решив, что на эти опыты не напасешься одежды. Слухи о набедренной повязке, которую в качестве компромисса Зана якобы в более зрелые годы приняла, мне кажутся выдумкой позднейших сельских моралистов.

В летнюю жару она вместе с местными буйволами погружалась в реку Мокву и подолгу наслаждалась прохладой. Так и вижу ее первобытную голову, вероятно, не лишнюю с точки зрения некоторых тхинцев своеобразной привлекательности, торчащую из воды рядом с буйволиными головами, только разве что жвачку не жует. Впрочем, голову современной женщины, жующей жвачку даже в воде, гораздо легче представить.

Умерла Зана в восьмидесятых или девяностых годах прошлого века, так что долгожители села ее еще хорошо помнят.

Так вот, из Москвы в Тхину была снаряжена экспедиция с конкурирующими между собой учеными и журналистами. Ученые и журналисты просили старейшин села показать им место, где расположена могила Заны.

Но старейшины села заупрямились, потому что по абхазским понятиям, что отчасти совпадает с понятиями других народов, раскапывать могилу — святотатство. Однако старейшины села Тхина в этом вопросе пошли еще дальше, они решили, что раскапывать могилу дикой женщины, раз уж ее приручили, тоже святотатство.

Все же им не хотелось прямо отказывать почетным гостям, и они, как мне кажется, устроили небольшой спектакль, главным героем которого оказалось дерево карагач. Они признавали, что Зану похоронили под карагачем, но по вопросу, где именно рос этот карагач, высохший и порубленный на дрова еще в начале нашего века, у стариков возникли непримиримые разногласия.

Они называли самые разные места, достаточно далеко отстоящие друг от друга. При этом старики всеми силами пытались утешить журналистов и ученых тем неоспоримым фактом, что Зана была, без всякого сомнения, зарыта под карагачем, даже если так и не удастся вспомнить, где именно стоял этот карагач.

— Так и пишите и не ошибетесь, — говорили они, — мы ее, как настоящего человека, зарыли под карагачем.

Но журналистов и ученых никак не мог утешить сам факт погребения Заны под карагачем. Судя по всему, они этому карагачу вообще не придавали значения. Судя по всему, им было все равно, что возвышалось над могилой Заны — могучий карагач или куст бузины.

Они даже заподозрили стариков в проявлении патриархальной хитрости. И тогда конкурирующие журналисты и ученые объединились между собой и сами пошли на военную хитрость. Они сказали, что у них, в сущности, не научная экспедиция, а правительственное задание найти кости Заны и немедленно на самолете доставить их в Москву. Они сказали, что раз старики не могут вспомнить, где рос карагач, что само по себе выглядит странно, ибо обычно старики хорошо помнят, где, когда росло какое дерево, а уж где рос карагач, и подавно должен помнить любой старик, — но раз уж, сказали ученые и журналисты, в селе Тхина развелись такие слабопамятные старики, что они не помнят, где рос столь важный для науки карагач, придется завезти в Тхину бульдозер, который в ходе выполнения правительственного задания вполне может коснуться и некоторых семейных кладбищ.

Тут память стариков вроде бы прояснилась, и они, вспомнив, где в начале века рос карагач, ткнули теперь своими согласными посохами в одно место и сказали: «Ройте! Если это надо правительству...»

Экспедиция раскопала могилу, вынула оттуда все кости и приехала в мухусскую гостиницу, чтобы на следующий день отбыть в Москву. Но тут временный союз журналистов и ученых распался. Журналисты, естественно, стремясь к мировой славе, собирались устроить большую пресс-конференцию, и кости Заны им нужны были позарез для наглядного доказательства своего открытия. Ученые же, стремившиеся к более кропотливой работе с костями, боялись, что журналисты, показывая кости Заны и давая их щупать всяким развязным иностранным коллегам, многое попортят.

Из-за этого непримиримого противоречия ночью в гостинице, говорят, произошло не вполне пристойное событие. Не то журналисты выкрали часть костей у ученых, не то ученые лишили журналистов причитающихся им костей. Одним словом, там произошла какая-то чушь, и я не знаю, чем это все кончилось. Вернее, не знаю, в чьих именно чемоданах кости Заны, если это вообще были кости Заны, отбыли в Москву.

Оказывается, битва вокруг костей Заны на этом не кончилась. Оказывается, часть ученых в Академии наук, которая не принимала участия в экспедиции, не признала кости Заны за кости первобытного человека. Они сказали, что исследования черепной коробки по методу профессора Герасимова доказывают негроидное происхождение скелета. При этом они почему-то сильно обиделись и даже жаловались начальству, что ученые, добывшие кости пресловутой Заны, пытаются при помощи этих костей сделать себе карьеру, что недопустимо. Они настаивали на праве

женщины иметь очень крупный скелет, при этом обладать негроидным черепом и все-таки не быть неандерталкой.

Судя по всему, начальство на этот раз не реагировало на их вопли, боясь повторения ошибок времен Лысенко. Начальство предложило решить вопрос с костями Заны в дискуссионном порядке. Мне рассказывали об этой дискуссии, и там каждый говорил, что хотел. И это было удивительно. И было решительно непонятно, на чьей стороне правда.

Виктор Максимович сам съездил в село Тхина, и вот что он рассказал, приехав оттуда:

— Я говорил со стариками этого села. Видел снимки правнуков Заны. Они сейчас там не живут, разъехались по всему Кавказу. Между нами говоря, лица их отнюдь не отмечены печатью мудрости. У меня сложилась такая версия ее происхождения.

Видимо, Зана была необыкновенно рослой, здоровой и слабоумной от рождения деревенской девушкой. Настолько слабоумной, что не могла освоить человеческую речь.

Однажды она ушла или сбежала в лес и заблудилась в нем, что могло случиться и с нормальным человеком. В условиях абхазского леса она могла несколько лет жить там, питаясь ягодами, дикими фруктами, орехами, каштанами. Зима в Абхазии мягкая, и выжить можно было вполне. Живя в лесу, она все дальше и дальше забредала от своего села, одежда на ней, естественно, изорвалась, истлела, и она ходила голая.

В таком виде ее обнаружил и поймал житель села Тхина. Так как она за несколько лет пребывания в лесу окончательно одичала, от рождения не умела говорить, в окрестных селах никто о ней не слышал, он ее и принял за лесную женщину. А то, что она рожала от смельчаков, которые овладевали ею, или от ротозеев, которыми овладевала она, когда они слишком близко к ней подходили, только и доказывает, что она биологически была вполне нормальной бабой.

По-моему, Виктор Максимович, несмотря на веру в существование снежного человека, дал довольно трезвое объяснение истории Заны. Правда, в его толковании происхождения Заны остается неясным вопрос о ее шерстистости.

По уверению ученых, Зана была покрыта шерстью, как и все описанные в мировой литературе снежные люди. Но и тут не исключено, что старики, рассказывавшие ученым о Зане, могли пойти на хитрость. Заметив страстное желание ученых, чтобы Зана оказалась покрытой шерстью, как и положено снежному человеку, и опасаясь, что в противном случае они перевернут обещанным бульдозером все семейные кладбища, они могли заверить ученых, что

Зана была покрыта отличной шерстью, не хуже хорошей овцы.

Одним словом, вопрос о происхождении Заны остается не до конца ясным, и мы надеемся, что пытливый ум ученых в конце концов разрешит эту проблему в чисто теоретическом плане.

При этом я хочу предупредить, что было бы крайне неэтично привлекать к исследованию этой темы живых правнуков Заны, все еще сохранивших ниточку связи с родным селом и даже имевших трогательную неосторожность присылать туда свои фотокарточки.

Я уже не говорю об объявлении всесоюзного розыска тех правнуков Заны, которые решили добровольно затеряться на необъятных просторах нашей родины. Я уверен, что среди них немало честных тружеников и даже хороших административных работников. Конечно, психологически они вполне наши люди, в этом нет никакого сомнения; но, возможно, некоторое, даже малозаметное своеобразие их физиологической организации могло бы оказать помощь науке. Соблазн, конечно, велик, но мы всегда твердо стояли и стоим на том, что наука у нас должна быть нравственной. И мы не можем травмировать человека назойливыми поисками гоминидного сходства со своей прабабкой, если сам он по каким-либо причинам не желает признаваться в своих родственных связях. У нас человек имеет полное право скрывать от окружающих свое происхождение, если это его происхождение в классовом смысле не представляет для общества ни малейшего интереса.

Две женщины

(Рассказ Виктора Максимовича)

— Удивительные встречи бывают в жизни, — как-то начал он и на минуту замолк, глядя через дугу залива туда, где сквозь легкий туманец виднелся его поселок. Мы сидели за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра», слегка закусывая и выпивая.

— Когда в разгар коллективизации начался страшный голод на Украине, в Абхазию повалили люди, которым удалось выбраться из родных мест. К нам в поселок попала девушка по имени Клава. Мама накормила ее, дала кое-что из одежды, и Клавушка стала приходить к нам почти каждый день. Она возилась у нас в саду, стирала, ходила на базар, готовила обед. Отец, работавший агрономом, на целый день уходил в деревню, мать — в районную больницу, где работала медсестрой, и помощь Клавушки по дому была как нельзя кстати.

Клавушка с каждым днем расцветала, веселела, и я помню это детское ощущение бесконечного счастья оттого, что мы, наша семья, вернули девушку к жизни. Конечно, тут она и без нас не пропала бы. Но у меня было это счастливое чувство, которым я и сейчас дорожу. Я ведь помнил страшный в своей простоте ее рассказ о том, как вся их деревня вымерла от голода и только двум девушкам удалось чудом добраться, доползти до поезда, который увез их в Новороссийск.

Я уже знал, что и наша семья во время революции перенесла много горя, и мне казалось, что это роднит нас и связывает чуть ли не навеки. Одним словом, вся наша семья, кроме бабки, полюбила Клавушку.

Бабка моя, казавшаяся мне тогда очень старой, хотя она была не такой уж старой, недолюбливала Клаву, считала ее неисправимой неряхой. Впрочем, она не жаловала и весь победивший пролетариат и почти не скрывала этого.

Нелюдимая, суровая бабушка моя, вероятно, на соседей производила впечатление какой-то дикой барыни. Обычно она почти целыми днями сидела на кухне, повесив на спинку стула палку с загнутой ручкой, раскладывала пасьянс или читала книгу, разглядывая строчки через лупу.

Иногда в хорошую погоду она, опираясь на свою палку, гуляла по нашему участку. Рядом с нами тогда строил дом один человек. Однажды он в еще не застекленное окно своего дома, обращенное на наш участок, приклеил газету, на которой была напечатана большая фотография Ленина. Разумеется, сделал он это совершенно случайно.

Оказывается, бабуку это вывело из себя, но нам она ничего не говорила. Я заметил какую-то странность в ее поведении, но причины не мог понять. Обычно, гуляя, она обходила весь наш участок по кругу. Теперь она гуляла только с одной стороны, откуда не было видно окна с газетой.

Иногда она, правда, ходила и на ту сторону, но не как обычно — по кругу, а прямо, то есть ходила посмотреть, висит там все еще газета или нет. Но нам она ничего не говорила, и я это все только позже осознал.

Потом она совсем перестала выходить во двор, но я все еще ничего не понимал. И вдруг, сидя на кухне, она послала меня в сад, чтобы я посмотрел, висит на окне соседа газетный лист или его уже застеклили. Про фотографию она мне ничего не сказала, и просьба ее показалась мне странной. Но когда я подошел к дому соседа и увидел фотографию Ленина, я понял, что она имела в виду. Я вошел на кухню и сказал бабушке, что газета по-прежнему висит на окне. Она, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс и ничего мне не ответила.

Вскоре я об этом забыл, но дня через два бабушка опять послала меня посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Я посмотрел и сказал, что газета по-прежнему висит. Она опять ничего мне не ответила. На этот раз она читала книгу, и я теперь повнимательней присмотрелся к ней и заметил, что лупа, которую она держала над книгой, так и ходит ходуном. Обычно рука ее, сжимавшая лупу, никогда не дрожала.

На следующий день она меня опять попросила посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Про фотографию она мне и теперь ничего не говорила, хотя я, конечно, знал, что она имела в виду, и она, конечно, знала, что я это знаю. Безусловно, у родителей был с ней тайный уговор ни о чем подобном со мной не говорить, и она придерживалась его. Но когда я и на этот раз ей сказал, что окно не застеклили, она не выдержала.

— Господи! — воскликнула она, с размаху захлопнув книгу, лежавшую перед ней, — за что такое наказание?! Ни молиться, ни читать не могу!

В тот же вечер сосед наш подозвал отца к забору между нашими участками и, смеясь, рассказал, что наша бабушка попросила его сменить газету на окне, что он и сделал. Мама была в ужасе, но сосед оказался порядочным человеком, и просьба бабушки никаких последствий не имела.

К бабушке у нас в семье было особое отношение. Хотя от меня многое скрывали, но я знал, что двое сыновей бабушки, братья отца, погибли в гражданскую войну. Бабушка не то чтобы тяжело переживала гибель своих сыновей, она, надев вечный траур, добровольно превратила себя в живую могилу своих детей. Мама не смела ей ни в чем возразить, а отец всегда относился к ней с подчеркнутым вниманием.

Меня всегда забавляло, что Клавушка ничего этого не замечала, и, хотя бабушка часто поварчивала на нее, она к ней относилась точно так же, как и к моим родителям. Никакой повышенной почтительности. И мне это нравилось. Я это интуитивно воспринимал, как здоровый народный демократизм, хотя, разумеется, думал не этими словами.

Мне тогда было лет двенадцать, я бегал у моря, купался, ловил крабов и рыб, запускал змея, но вместе с тем временами очень болезненно задумывался над какой-то особостью нашей судьбы.

Я верил, что власть теперь у народа, и считал это вполне справедливым. И в то же время меня коробила грубость, с которой учителя всех бывших помещиков (с капиталистами я легко смирялся) называли трусами, негодяями, паразитами. Я твердо знал, что мои родители не такие и многие приятели моих родителей не такие, и мне обидно было за них. С другой стороны, в школе меня

никто не угнетал, не интересовался моим происхождением, ко мне относились, как ко всем остальным детям, и я это ценил. Хотя рана уже была в том, что я это ценил.

Разумеется, родители от меня старались скрыть все, что можно было скрыть, но сам страх перед властью они, конечно, скрыть не могли. И этот страх мне всегда казался комически преувеличенным, и в то же время сам я, с детства склонный к беспредельной искренности, все-таки твердо знал, что никому нельзя говорить о том, на чьей стороне погибли братья отца. И вопреки тому, что мне говорили в школе, и вопреки грустным воспоминаниям родителей о старой жизни я носил в душе тайную мечту, что две эти жизни можно склеить, старую и новую, что родители мои будут счастливы в этой жизни и сами по себе. Было тоскливо думать, что они живут для меня. Мне все казалось, что обе стороны чего-то недопонимают, но пройдет немного времени, и все будет хорошо.

И вот появилась у нас в доме Клавушка, девушка из народа, и оттого, что она говорила полуукраинским языком, она казалась мне особенно подлинной в свой народности.

Конечно, я привязался к веселой, ребячливой Клавушке и сам по себе. Этому, наверное, способствовало и то, что у меня не было ни братьев, ни сестер. Но и та заветная мысль была, что все склеится и вот уже все склеивается через Клавушку, девушку из народа, которому принадлежит власть. Почему девушка из народа, которому принадлежит власть, чуть не умерла с голоду при своей власти и почему здесь не мы кормимся при ней, а она кормится при нас, мне как-то не приходило в голову. Вернее, мне это казалось случайными частностями.

Как ребенок, никогда не знавший родного отца, привязывается к новому мужу матери, разумеется, если он не изверг, так и я, сиротски лишенный своего народа, и, видимо, неосознанно тосковавший по нему, вдруг приобрел его в Клавушке.

Я как бы весь народ получил в свое личное пользование, и мне с ним было хорошо, и народу — Клавушке — было с нами весело. А говорили — они нас ненавидят. Вот уж глупость!

Конечно, Клавушка была старательной, но довольно бестолковой хозяйкой. Так, однажды она полдня мыла котел для варки мамалыги, пытаясь соскрести с его наружной стороны толстый слой нагара, который никто не соскребает. Соседи, узнав об этом, долго смеялись ее наивности.

Первый раз услышав рожок керосинчика и заметив, что соседи с бидонами побежали за керосином, Клавушка схватила ведро для питьевой воды и побежала в очередь. К счастью, соседка, узнав ведро, отослала ее домой за

надлежащей посудой. В другой раз она забыла, где расположена сапожная мастерская, куда она сдала всю нашу обувь, и мы с ней полдня прорыскали по городу, пока ее не нашли. Впрочем, в те годы было столько сапожных мастерских, что запутаться было нетрудно. В те годы люди в основном не покупали обувь, а чинили ее, потому что покупать было негде.

Одним словом, несмотря на эти неловкости, мы все любили Клавушку за простодушие, преданность и веселый нрав. А я даже и за все эти ее неловкости любил. Вскоре она устроилась работать уборщицей в нашей школе, но и теперь после работы она частенько забегала к нам помочь по хозяйству, сходить на базар, сготовить обед.

К этому времени на нашем участке уже плодоносили деревья. Отец держал пчел, так что у нас всегда был свой мед. И хотя с хлебом тогда и в Абхазии было трудновато, отец получал в деревне, где он работал, кукурузу. Мы научились готовить мамалыгу и даже полюбили ее. Одним словом, жили по тем временам вполне прилично.

Милая Клава считала нас богачами и не могла радоваться на наше богатство. Однажды она привела к нам какую-то землячку, видно, только приехавшую с Украины. Бабушка и я в это время были на кухне. Я читал книгу, а бабушка, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс.

Желая похвастаться нашим богатством, Клавушка влетела на кухню, таща за руку робеющую землячку, одетую, как побирушка.

Клавушка отмахнула крышку ларя, где у нас была насыпана кукуруза, вынула пригоршню и, ссыпая ее назад, воскликнула:

— Подывись, Любо, це кукурудза!

Бабка, искоса следившая за ней, буркнула Клаве: «Прочь!»

Но бедная Клавушка, восторгаясь нашим богатством, не обратила на это внимания. Теперь она распахнула ящик поменьше, где у нас хранилась фасоль, и опять, набрав пригоршню зерен, стала ссыпать ее назад, приговаривая:

— А це фасоль. Абхазы дуже люблять.

— Прочь, говорю! — повторила бабка.

Но Клавушка, все еще переливаясь восторгом, пошла к кувшину с медом, открыла крышку и сказала:

— А це мед!

Не останавливаясь на этом, она сунула руку в кувшин, мазнула палец медом и протянула его своей землячке. Не успела та дотянуться бледными губами до меда, как в воздухе мелькнула бабкина палка и ударила Клаву по кисти руки. Мне кажется, нет, я услышал, как хрустнула кость!

Клавушка вскрикнула и побежала из кухни, завывая и тряся рукой, как собака перебитой лапой. Землячка ее затрусила вслед. На крики из комнаты выскочила мама и, поняв, что произошло что-то страшное, побежала за Клавой, догнала ее у калитки и с трудом вернула домой.

Я оцепенел от возмущения, душившего мое детское горло. Возмущение это было особенно мучительно, потому что я не мог его выплеснуть, не мог ничего сказать бабушке. Смутно вспоминая все, что писалось в школьных учебниках о дореволюционном отношении помещиков к простым людям, чему я раньше не очень верил, я сейчас отчаянно повторял про себя: «Правильно! Правильно! Все правильно с вами сделали!»

Мама перевязала Клаве руку. Постепенно она кое-как успокоила ее, и потом, когда она уходила вместе со своей землячкой, мать дала им литровую банку меда и мешочек кукурузной муки килограммов на пять.

Мама всегда была милосердной женщиной да и Клавушку любила, но на этот раз она еще испугалась, что Клавушка пожалуется на нас. Страх за наше происхождение всегда незримо витал над родителями. Именно по этой причине меня не обучили ни одному языку, хотя отец в совершенстве знал французский и немецкий, а мать говорила по-французски. Они не хотели, чтобы я в этом отношении отличался от остальных школьников, хотя отец придирчиво следил за моими остальными занятиями. Так, он замучил меня, заставляя делать бесконечные гербарии флоры Кавказа.

То, что я тогда увидел на кухне, навсегда потрясло мою детскую душу. И сейчас перед глазами у меня стоит эта картина: Клавушка в пестром ситцевом платье, подаренном ей мамой, выбегает из кухни, завывая от боли и тряся рукой, как собака перебитой лапой. И позже я тысячи раз перебирал в памяти детали этой картины, находя в ней все новые и новые оттенки жестокости. И мамино платье на Клаве казалось особенно невыносимым, как будто ее, Клавушку, нарочно приманивали, кормили, дарили одежду, чтобы добиться ее полной доверчивости; а потом вот так неожиданно стукнуть по руке, чтобы хрустнула косточка. И в том, что Клавушка, не жалуясь, не защищаясь, а только завывая, побежала из нашего дома в сторону калитки, было разрывающее сердце простодушие животного, которое бежит оттуда, где ему делают больно, туда, где, оно надеется, боли не будет.

Не правда ли, странно мы устроены? Человек, которому причиняют слишком большую боль, делается похожим на животное, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость. И точно так же животное, которому причиняют слишком большую боль, начинает напоминать нам человека, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость.

Мать ничего не могла сказать бабушке, но, конечно, вечером все рассказала отцу. Между отцом и бабушкой был крупный разговор. Чтобы я ничего не понимал, говорили по-французски.

— Оставь, пожалуйста, — вдруг перешла бабушка на русский, — они изгадили Россию, а теперь сюда понаехали, голодранцы!

Отец опять что-то терпеливо говорил ей по-французски, и вдруг бабка стукнула палкой об пол и крикнула по-русски:

— Если б вы были настоящими мужчинами, с Россией не случилось бы то, что случилось!

Стало ужасно тихо. Мама, прижав ладони к щекам, умоляюще смотрела на отца широко распахнутыми глазами. Отец неподвижно стоял перед бабушкой. Смуглота его загорелого лица вдруг стала особенно заметной.

— Мама, — тихо сказал он по-русски, — ты забыла, где твои сыновья...

— Мои мальчики, — гордо начала бабушка и вдруг перхнулась, затряслась, заикала и все-таки с каким-то жутким упорством продолжала пытаться что-то выговорить и даже махнула рукой, как бы досадуя на мгновенную слабость и давая знать, что она сейчас справится с собой и договорит то, что хотела сказать, но, так и не справившись с душащими ее спазмами, уронила палку и запрокинулась на спинку стула.

— Валерьянку! — крикнул отец, хотя мать уже бежала за ней. Отец, приподняв голову бабушки и случайно взглянув на меня, молча, взглядом вытолкнул меня за дверь. Я вышел.

Первый раз в жизни суровую, гордую бабушку я видел такой. И я был второй раз за этот день потрясен жалостью, на этот раз к бабушке, которую днем так возненавидел, и сейчас хорошо помнил, что днем я ее возненавидел за Клаву, и не понимал, куда теперь делась эта ненависть, и с какой-то неизбывной тоской догадался, что то далекое, а для меня непомерно далекое, случившееся с ее сыновьями, все время при ней и никогда никуда от нее не уходило и никогда не уйдет.

Больше Клавушка у нас не появлялась ни разу. С месяц я ее иногда видел в школе, сначала с повязкой на руке, а потом уже без повязки. Нам обоим было стыдно встречаться, и мы оба делали вид, что не замечаем друг друга. Но при этом, когда мы встречались, я смотрел перед собой, а она всегда куда-то отворачивалась, и я уже тогда понимал, что это она делает от большей душевной тонкости, что ей стыдней, чем мне. Но я все надеялся на какой-то случай, который вдруг нас примирит, и она поймет, что я ее по-прежнему люблю и мама ее любит и папа ее любит... Но случай так и не представился, а Клавушка

куда-то исчезла из школы, и я ее никогда больше не видел.

Может, именно потому, что Клавушка исчезла навсегда, а бабушка продолжала быть рядом, она умерла перед самой войной, я снова привык к ее замкнутому, суровому облику. А Клава, бегущая, завывая от боли и трясая рукой, как собачонка перебитой лапой, навсегда осталась в моей душе.

И осталась долгая на всю школу мальчишеская мечта встретить ее однажды и сделать для нее что-нибудь необыкновенное, прекрасное: может, спасти ее от смертельного ножа какого-нибудь хулигана, может, вытащить из моря тонущего ребенка, который вдруг окажется ее сыном, словом, сделать что-нибудь такое, чтобы она после этого всегда помнила о нас и нашем доме только хорошее.

И вот прошло с тех пор больше десяти лет. Война. Наш аэродром был расположен в ста километрах от Новороссийска. В свободное от боевых вылетов время я ходил охотиться в одичавшие хлеба, где развелось за время войны множество зайцев. Свежая зайчатина хорошо скрашивала наш казенный солдатский стол.

В тот день я убил четырех зайцев. Поблизости от нашей базы уютилось в землянке несколько семей, которым мы помогали чем придется. На обратном пути после охоты я завернул в одну землянку, где жила женщина с двумя детьми. С этой женщиной я договорился, что она сошьет мне и двум моим друзьям плавки. Материал для шитья я ей принес в предыдущий приход и тогда же договорился, что сегодня зайду к ней.

Когда я вошел в землянку, рядом с хозяйкой сидела какая-то женщина. Я на нее не обратил внимания. Вынув из сумки одного из убитых зайцев, я положил его на стол. Хозяйка ужасно обрадовалась моему гостинцу и попросила немного подождать, она кончала работу.

Я присел и разговорился с ее гостьей. Оказывается, она жила в трех километрах отсюда. Там тоже несколько семей погорельцев уютилось в землянках. Узнав, что я из Абхазии, она сказала, что и она долгое время там жила.

— Где же вы жили? — спросил я.

— Я по вербовке работала пять лет в шахтах Ткварчели, — сказала она, — а до этого жила под Мухусом в поселке...

Она назвала наш поселок.

— Карташовых не знали? — спросил я без особого интереса.

— Как же не знала! — воскликнула она, взглядываясь в меня. — Я докторше помогала по хозяйству...

— Клавушка? — спросил я, взглядываясь в ее когда-то цветущее, а теперь изможденное лицо и уже с трудом узнавая его и только никак не понимая, куда делся ее

украинский акцент. Ах да, она ведь столько лет провела с шахтерами!

— Витько... Виктор Максимович, — проговорила она и заплакала.

Она поплакала немного и постепенно успокоилась. Я подумал, сколько раз за всю свою юность я вспоминал тот случай с бабушкой, сколько раз я мечтал встретиться с Клавой, сделать для нее что-нибудь прекрасное и выпросить у нее прощение.

Не то чтобы этого чувства совсем не было, но куда делась его прежняя острота? Тогда я этого не мог понять, но все было просто: война. Я уже потерял нескольких друзей-фронтовиков, видел столько крови, что тот далекий случай, мучивший меня, школьника, теперь казался мне не таким уж значительным.

Но до войны я так часто об этом думал, так часто мечтал о встрече с Клавой, что и теперь по инерции заговорил об этом.

— Клавушка, — сказал я, — прости бабку за ее выходку. Тем более, она уже умерла.

— Что вы, что вы! — вскинулась Клавушка. — Я же сама была виноватая! Глупая была! Надо же, мед руками цапаты!

Мы поговорили о жите-бытье. Клавушка в Ткварчели вышла замуж за шахтера, а потом через пять лет они переехали сюда на родину к мужу. Сейчас муж у нее на фронте, деревня сгорела, и она с тремя детьми живет в такой же землянке, как эта.

Господи, думал я, сколько лет прошло, и опять голод, опять запустенье! Я отдал Клавушке трех оставшихся зайцев, взял плавки и, попрощавшись с женщинами, ушел.

Когда-то в юности я мечтал сделать для Клавушки что-нибудь прекрасное и вот отделался тремя зайцами. Впрочем, может, для ее голодных детей это и было тогда самым прекрасным...

Вот какие встречи бывают иногда в жизни...

Вскоре мы перебазировались на другой аэродром, и я ее больше никогда не видел.

Сердце

В верхнем ярусе ресторана «Амра» сейчас не только пьют кофе, закусывают, потягивают вино, но и довольно много играют в шахматы. Блестящие успехи Ноны Гаприндашвили, а за ней и целого созвездия грузинских шахматисток, вызвали у мужчин, жителей Грузии и Абхазии, обостренный интерес к этой древней игре.

Во всяком случае, добрая часть времени, которую они раньше тратили на застолья и нарды, теперь перепадает шахматам. Возможно, это некоторым образом попытка, впрочем, достаточно обреченная, догнать женщин и поставить их на место. Если не на место вообще, то хотя бы на прежнее место. Тем не менее догнать женщин в этом деле мужчинам пока не удастся и, судя по всему, навряд ли удастся. Я не хочу сказать, что слишком много выпито за прошедшие века, я просто хочу напомнить, что нет обнадеживающих фактов. Однако мужчины стараются. В шахматы сейчас играют много и шумно, в том числе и в верхнем ярусе ресторана «Амра».

Здесь и мы с Виктором Максимовичем иногда усаживались за столик с освобожденной шахматной доской. Играли мы примерно на одном уровне. Виктор Максимович в отличие от некоторых любителей и даже, к сожалению, великих гроссмейстеров (вот тема трагикомического разрыва между изоэтрностью интеллекта и вандализмом этического состояния человека), так вот, Виктор Максимович в отличие от них был в игре абсолютно корректен. Это тем более надо ценить, потому что он ужасно, просто по-мальчишески, не любил проигрывать.

Однажды во время игры над его королем нависла матовая сеть. Я уютно задумался, чтобы в этих условиях не поспешить, не сделать глупого хода и не дать ему выскокить из этой сети. Но Виктор Максимович до того не любил проигрывать, что во время моей затянувшейся паузы нервы у него не выдержали, он схватил мою фигуру и, сделав несколько взаимных ходов, провозгласил:

— Мат!

Таким образом, поставив мат самому себе, но сделав это своими руками, он как бы отчасти поставил его мне. Вот до чего он не любил проигрывать!

Но на этот раз дело шло к его выигрышу. Был жаркий солнечный день, мы сидели за столиком под тентом, с моря навевал легкий бриз, и предстоящий проигрыш не казался мне катастрофой.

Рядом за соседним столиком столпились наиболее злые шахматисты. Играли на высадку, и те, что дожидались своей очереди, иронизировали над ходами тех, что играли, давали советы, острили, смеялись. Среди них выделялся самый азартный игрок с нехитрым прозвищем Турок, потому что он и на самом деле был турком.

Виктор Максимович довел партию до победного конца, я не настаивал на возобновлении игры, и он, откинувшись на стуле, вознаграждал меня таким рассказом:

— Мне в жизни нередко приходилось попадать в условия, когда страх смерти заполнял мое существо, и мне всегда или почти всегда удавалось его преодолеть, потому что я был подготовлен к нему. С самой юности я закалял

себя в этом, я заставлял себя привыкать к мысли, что в известных обстоятельствах необходимо принимать вариант смерти, и это многое определяло. Великой максимой моей юности было: не дать себя унизить ни перед кем и не дать никого унизить в моем присутствии.

И все-таки настоящий, всепоглощающий страх я испытал не на фронте, не в тюрьме, а здесь, в мирной жизни. Лет десять назад я, как и многие, увлекся подводной охотой. Я сделал себе ружье с таким мощным боем, какого я не видел не только у ружей нашего отечественного, но и иностранного производства. У меня было отличное дыхание, что неудивительно: я вырос у моря, с детства много нырял, позже занимался боксом, легкой атлетикой. Три-четыре минуты я свободно мог провести под водой. Было большой редкостью, чтобы я вернулся с охоты без рыбы.

Однажды, нырнув возле подводной скалы, я заметил великолепного лобана. Пошевеливая плавниками, он стоял в нескольких сантиметрах от нее. Я осторожно подплыл поближе, прицелился и нажал на спусковой крючок.

Обычно после выстрела ныряльщик выплывает на поверхность воды, и, если стрела пронзила рыбу, он подтягивает ее за шнур, на котором она висит, сдергивает ее, подвешивает к поясу и перезаряжает ружье. Если ныряльщик не попал в рыбу или она каким-то образом сошла со стрелы, он снова заряжает ружье и ныряет. Стрела на крепком капроновом шнуре привязана к поясу.

На этот раз я не попал в лобана и стал выныривать. До поверхности воды оставалось примерно полметра, когда я вдруг почувствовал, что шнур, к которому была привязана стрела, натянулся и не пускает меня дальше. Я понял, что стрела плотно вклинилась в расщелину скалы и не выходит оттуда. Я попытался нащупать на поясе нож и вспомнил, что забыл его дома. Страх стал овладевать мной. Я попытался оторвать шнур от пояса, но он не поддавался. Шнур был очень крепким, и в воде без точки опоры его невозможно было разорвать.

И тут я почувствовал ужас. Через несколько секунд я потеряю сознание, а еще через несколько минут мой труп будет колыхаться в полуметре от поверхности воды. И, разумеется, никто не узнает, куда я делся. Я взглянул наверх и увидел сквозь небольшую толщину воды ослепительно расплывающееся золото солнечного диска. Инстинктивно вытянул руку над водой, словно пытаюсь ею зацепиться за воздух и вытащить себя. Но это было невозможно.

И тут, уже почти теряя сознание, я попытался использовать последний шанс. Надо донырнуть до скалы, упереться в нее ногами и изо всех сил дернуть шнур. Если он оборвется, я спасен, если нет — каюк. Легко сказать! Я уже почти задыхаюсь и все-таки ныряю с единственной

мыслью не потерять сознание, пока не упрусь ногами в скалу. Только держась на этой мысли и только на ней, я, перебирая в руках шнур, дошел до скалы, уперся в нее ногами, изо всех сил дернул шнур и потерял сознание.

Не знаю, через сколько секунд или минут я пришел в себя на поверхности воды. Состояние было такое, какое бывает, когда просыпаешься утром после тяжелого приступа малярии: тело раздавлено. До берега было метров пятьсот. Кое-как доплыл. И впервые в жизни, пlying к берегу, я боялся утонуть от слабости, и море, любимое с детства море, впервые внушало мне отвращение, словно я плыл в теплом, грязном болоте.

На берегу я выкашлял из легких воду и вытравил ее из желудка. Отлежался и поплелся домой. Охотился я у себя в заливе напротив дома.

Дней десять я чувствовал себя все еще плохо, а потом оклемался. Однажды вхожу в море и плыву. Отплыл от берега метров на пятнадцать — двадцать, вдруг чувствую: сердце делает какой-то сдвоенный удар и останавливается. Может, на две-три секунды — не знаю. Но ощущение очень неприятное.

Тут я вспомнил, что накануне выпил, и решил, что дело в этом. Никогда раньше я не знал никаких сердечных явлений, это было впервые. Я снова поплыл. И вдруг опять сдвоенный удар и ощущение, что сердце остановилось и я сейчас захлебнусь. Боясь потревожить его, я осторожно поплыл к берегу.

Утром на следующий день лезу в воду, прислушиваясь к работе своего сердца. Вроде все в порядке. Да, думаю, возраст дает о себе знать, и уже сердце после выпивки начинает барахлить. Только я это подумал — и снова повторение вчерашнего. Я страшно разозлился на свое сердце и решил, ни на что не обращая внимания, плыть и плыть. И снова то же самое. Я плыву. И опять то же самое! И тут я не выдержал. Главное, ощущение такое, что сердце только случайно остановилось на эти две-три секунды, а может остановиться и на больший срок. И тогда конец.

И все-таки я не так быстро сдался. Я обратил внимание, что эти перебои в сердце настигают меня, когда я отплыву от берега уже метров на двадцать — тридцать. Может, это какой-то неосознанный страх глубины? Я нарочно выхожу в море на лодке, прыгаю за борт, плаваю, чтобы преодолеть страх глубины, если это именно он. Но и там меня каждый раз настигает это странное явление. Последний раз я с трудом влез в лодку, так меня напугали эти перебои и остановки сердца.

Одним словом, иду к врачу. Therapist выслушивает меня, отправляет на электрокардиограмму и в конце концов говорит мне:

— Сердце у вас, как у двадцатилетнего юноши. Я ничего не понимаю, вам надо обратиться к психиатру.

Меня знакомят с самым модным в Мухусе психиатром. Во время беседы он выслушивает меня, наклонив голову сердитым петушком, и, что я ни скажу, все ему не так.

Перебивая меня, сыплет какими-то непонятными терминами, а что со мной случилось, объяснить не может. Выслушав все, что я рассказал про подводную охоту и про плавание, он, словно разоблачив меня в сокрытии самого главного, переводит разговор на мой махолет.

Кто-то ему, видимо, сказал, что я занимаюсь сооружением летательного аппарата, движущегося на мускульной силе пилота. Спрашивает, сколько времени я им занимаюсь, рекомендует вспомнить, не явился ли мне образ махолета после фронтовой контузии, какие сверхцели я себе ставлю, какие травмы получал во время падения и так далее. Я спокойно пытаюсь ему объяснить, что махолетом я занимаюсь давно и никакого отношения он не имеет к тому, что случилось со мной в море.

— Мне лучше знать, — обрывает он меня, — что к чему имеет отношение.

И опять, петушком наклонив голову, как-то очень лично сердится на меня и предупреждает, что если я не перестану заниматься махолетом, во мне будет неуклонно возрастать ощущение дискомфорта сначала в море (уже начинается), потом на суше, а потом, видимо, окончательно рехнувшись, я провозглашу воздух единственной средой обитания.

Я, может, слегка утрирую, но, честное слово, передо мной был полный псих. Когда же я, отвечая на его полувопрос-полуутверждение, сказал, что у меня в родне не было ненормальных людей, он просто взвился.

— Да вы что, лечиться ко мне пришли или все отрицать! — воскликнул он.

Одним словом, я еле унес ноги от этого поврежденно-го то ли наукой, то ли пациентами человека. Но что делать? Я еще несколько раз пытался плавать, но все повторялось. И тогда я пришел к печальному выводу, что придется отказаться от плавания и подводной охоты. Это шаги старости, пытался я себя утешить, к разным людям она приходит по-разному.

С морем меня еще все-таки связывала лодка. Я мог в свободное время рыбачить с лодки, что я и делал. Прошло с тех пор около года. В море я больше не купался, ружье для подводной охоты подарил одному любителю.

Однажды в апреле, примерно за километр от берега, рыбачу с одним соседским мальчишкой. Это был очаровательный десятилетний мальчуган с хитренькими черными глазками, до смешного похожий на своего деда, дружившего с моим отцом. Он жил с дедом и с матерью, без отца.

Отец ушел из семьи. Отчасти, может, поэтому мальчик хаживал ко мне, часами любясь, как я вожусь со своим махолетом, иногда я его брал на рыбалку.

Мы ловим на самодуры ставриду. Рыба хорошо идет, но работает течение, и то и дело нас относит от стаи. Приходится время от времени подгрести. Вдруг раздаются тарахтенье моторной лодки все ближе и ближе, и вот совсем рядом с нами она пронесется, обдав нас брызгами и раскачав лодку крупной волной. Я посмотрел вслед и увидел хохочущее лицо рыбака, рулившего на корме. На средней банке сидел второй. Ясно было, что они под газом. Они резко развернулись, и я подумал, что их может перевернуть. На лодке был очень сильный мотор.

Рыба хорошо шла. Мы опять увлеклись ловлей, и я забыл об этих пьяных рыбаках. Примерно через полчаса опять завывание мотора, но на этот раз они, может быть, не соразмерив расстояния, так близко прошли, что наша лодка от обдавшей ее большой волны перевернулась.

Все произошло в одно мгновение. Трудно представить, чтобы мерзавцы, перевернувшие лодку, не заметили того, что случилось. Видимо, заметив, что наша лодка перевернулась и, боясь некоторой ответственности за случившееся, они рванули в сторону города, и вскоре мотор затих.

Очутившись в воде, я испугался, не ушибся ли мальчик, когда лодка перевернулась.

— Ты не ударился? — спросил я у него.

— Нет, — ответил он достаточно безмятежно.

Я знал, что он плавает, как рыба, но апрель — вода ледяная. Пока мы очухались и я подплывал к нему, нашу лодку отнесло метров на пятнадцать. Что делать? Я ее, конечно, мог догнать. Но, с одной стороны, мне было опасно мальчика оставлять одного, а с другой стороны, какая от нее польза? Перевернуть и поставить ее на киль мы все равно не смогли бы. Вцепиться в нее и ждать, пока нас найдут и снимут с нее, — опасно. Я принял решение плыть к берегу с некоторой надеждой, что эти сволочи хотя бы кому-нибудь скажут, что перевернули лодку, и за нами подойдут. Разумеется, скажут своим друзьям, которые их не выдадут.

И тут я вспомнил о своем сердце. Но как-то мимоходом. Мысль о том, что со мной мальчишка, которого во что бы то ни стало надо довести до берега, целиком поглотила меня. Вспомнив о сердце, я почти сразу услышал тот сдвоенный стук и мгновенную остановку в груди. Все было как раньше, но в несколько раз слабей. Как будто то, что случилось с моим сердцем, мне теперь говорило: «Я все еще здесь, но сейчас ты намного сильнее меня».

И я это прекрасно почувствовал. Страх за мальчика вышиб из меня все на свете. Я подплыл к нему, расстег-

нул на нем рубашку и, поддерживая его одной рукой, приказал:

— Снимай.

Он стянул рубашку вместе с майкой. Я нащупал в воде ступни его ног, скинул с них башмаки. Потом нашарил ремень его брюк, расстегнул его, слегка откинул мальчика на спину и стащил с него брюки. То же самое я сделал со своей одеждой и отбросил ее. Подхваченная течением, она еще некоторое время плыла в стороне от нас. Мы остались в одних трусах.

— Ты ничего не бойся, — сказал я мальчику как можно спокойней, — мы обязательно доплывем до берега.

— А я и не боюсь, — ответил он, — только я не пойму, за что они опрокинули нашу лодку?

Он внимательно смотрел на меня своими черными глазами, пытаясь осознать смысл случившегося.

— Пьяные болваны, — сказал я, — но ты ничего не бойся. Мы доплывем до берега.

Сейчас мальчик выглядел хорошо, но я знал, что холод скажется минут через пятнадцать. Далекий зеленый берег нашего поселка отсюда казался приплюснутым к воде. Я оглядел пустынное море, но нигде поблизости не было видно ни одной лодки. В это время года здесь редко рыбачат.

— Дядя Витя, — спросил мальчик через некоторое время, — а ваша лодка теперь пропала?

— Нет, — сказал я, — ее прибьет к берегу где-нибудь в Гульрипшах.

Минут через пятнадцать, как я и ожидал, смуглое лицо его побледнело. Но плыл он пока хорошо. Я только боялся, как бы его судорога не скрутила. От боли он мог потерять самообладание, и тогда навряд ли я сумел бы дотащить его до берега. Еще минут через десять я заметил, что лицо его подернулось синевой.

— Ты замерз?

— Нет.

А у самого уже зубы клацнули. Мальчик держался замечательно.

— Подожди, я тебя разотру, — говорю.

Я подплыл к нему и, балансируя в воде одной рукой, другой изо всех сил стал растирать ему спину, живот, ноги.

— Мне больно, — вдруг сказал он.

— Потерпи, — ответил я, продолжая изо всех сил растирать его тело, — так надо.

— Если надо, буду терпеть, — сказал он и закусил губу.

Я столько энергии вложил в растирание его худенького ребристого тельца, что у меня рука занемела. Но с лица его сошел землистый оттенок. Мы снова поплыли.

— Ты не устал?—спросил я у него минут через десять.

— Нет,—сказал он и, подумав, добавил:—Все равно надо плыть.

Мы продолжали плыть. Я ему с самого начала сказал, чтобы он плыл не саженками, а брассом, как я его учил. От плавания саженками руки гораздо быстрее устают.

— Дядя Витя,—спросил он, взглянув на меня погрузившимися черными глазенками,—а пьяные становятся как сумасшедшие?

Видно, он напряженно думал о тех, кто нас перевернул.

— Эти люди негодяи,—сказал я ему,—а когда человек пьяный, его негодяйство, если он негодяй, выходит наружу.

Он кивнул и продолжал плыть. Было заметно по его лицу, что он напряженно о чем-то думает.

— Это все равно, как жадные,—сказал он через некоторое время, взглянув на меня,—пока Жорик не имел велосипеда, я не знал, что он жадный, а теперь знаю.

— Точно,—согласился я.

Через некоторое время я почувствовал, что сам замерзаю. Я посмотрел на мальчика. Лицо его опять подернулось синевой.

— Подожди,—сказал я ему и подплыл.

И опять, балансируя одной рукой в воде, другой я растер ему тело. Я растирал его из всех сил, но он терпел и не стонал. Потом, когда рука у меня онемела, я сменил ее и растер его тело другой рукой.

Лицо его снова ожило. Мы поплыли. Хотя я видел, что он устает, я не останавливался, боясь, что так он быстрее замерзнет. Краем сознания я иногда прислушивался к своему сердцу, но оно никак себя не проявляло, и я почему-то знал, что оно не может и не должно себя проявить.

До берега оставалось метров четыреста, и уже хорошо были видны зеленые купы деревьев на прибрежных участках. И вдруг я почувствовал, что правую ногу мою скрутила судорога. И вместе с костяной болью судороги я ощутил опережающий эту боль страх за мальчика.

Стараясь гримасой не выдавать боль, я подплыл к нему и снова стал растирать его тело. Теперь одна нога моя совсем не действовала и балансировать в воде было гораздо трудней. Надо было сделать все, чтобы не дать ему переохладиться. Теперь, если б его тело свело судорогой, я бы явно не смог дотащить его до берега.

Меня еще смутно тревожила мысль, что, если судорога сведет мою левую ногу, я вообще не смогу больше растирать его тело. Поэтому я сейчас старался выложиться. Я дотягивался до самых его щиколоток, щипал и выкручивал его худенькие бедра и икры, растирал спину и разми-

нал ему живот. Видимо, чувствуя серьезность положения, он терпеливо, только иногда покряхтывая, все переносил.

Наконец лицо его порозовело, а я выдохся. Только я подумал, что не мешало бы промассировать свою левую ногу, чтобы уберечь ее от судороги, как чуть не вскрикнул: костяная боль перекрутила и левую ногу.

Я слишком хорошо плавал, чтобы утонуть, но я не знал, что будет дальше. Я слышал, что, если судорога добирается до мышц живота, человек не может ни двинуться, ни разогнуться. Я стал изо всех сил разглаживать, щипать и расцарапывать себе живот.

До берега оставалось метров двести, и я теперь, гребя одними руками, едва поспевал за мальчиком. Берег был пуст, море было пусто и ждать помощи было неоткуда. Я плыл на одних руках, сердце стучало у самого горла. Господи, думал я, дай продержаться еще метров сто, а там, даже если со мной что-нибудь и случится, мальчик сам доплывет. Потом я, видимо, на некоторое время впал в забытие. Очнувшись, я заметил, что мальчик позади, хотя я никак не мог прибавить скорости, скорее, я ее сбавлял. Я остановился, дожидаясь его. Он подплыл. Лицо его было серым.

— Маму жалко, — вдруг сказал он и осекся, стыдясь договорить свою мысль.

— Что ты говоришь! — прикрикнул я на него. — Посмотри, мы совсем у берега.

Он ничего мне не ответил. Это был замечательный мальчик, и он прекрасно держался до конца. Последние метры я плыл в каком-то полусне. У берега я попробовал стать на дно и упал, не сразу поняв, почему меня не держат ноги. Мальчик вылез из воды и шлепнулся на теплый песок. Я выполз на руках, как животное. Теперь мне незачем было скрывать, что у меня ноги свело судорогой.

Течение нас отнесло метров за пятьсот от нашего поселка. Как отходчиво детство! Через полчаса мальчик уже играл в песке, а я только часа через два смог встать на ноги. День был очень теплый, и, глядя на ласковое море, трудно было поверить, что мы чуть не замерзли в нем.

Мы пошли берегом к своему поселку. Мне казалось, что мальчику не следует говорить дома всю правду. Стоит ли расстраивать маму? Можно сказать, что все это случилось близко от берега. Но потом я передумал. Пусть говорит все, как было! Не надо комкать праздник его первой, настоящей победы.

В тот же день пограничники пригнали мою лодку.

Но я это дело не собирался так оставлять. Дня через три, к счастью, ни мальчик, ни я не простудились, я отправился в город. Я знал, что рано или поздно найду того, кто рулил, сидя на корме, и хохотал, глядя на нас.

Они все, как куры на насесте, собираются на лодочном причале, даже когда не выходят в море.

Я зашел на причал и увидел его за столом играющим в домино. Некоторые из рыбаков знали меня как чудака-интеллигента, но никто из них не знал, что я старый лагерник.

Я подошел к столу. Он поднял свою рожу, не столько узнавая меня, сколько догадываясь, что я связан с его преступлением.

— Пойдем в милицию или так поговорим? — спросил я у него.

Я знал, что он предпочтет. Я тоже это предпочитал.

— Ну, чо, чо, поговорим, — пробормотал он, видимо, соображая, во сколько бутылок обойдется ему этот разговор.

— Тогда иди туда, — сказал я ему, показывая на одну из будочек, где рыбаки держат свои моторы и снасти. Он молча встал и отошел туда.

Я вкратце рассказал рыбакам о его делах, и они в ответ возмущенно поохали. Я знал, что грош цена их возмущению. Повозмущавшись, один из них шутливо заметил:

— Тут, Максимыч, без пол-литра не разберешься...

Другой, менее миролюбиво, добавил:

— Подумаешь, делов... Ребята слегка подзарулили и раздухарились...

Я подошел к будке, где стоял этот амбал, и завел его за будку. Даже мальчишкой никогда я первым не подымал руку. В лагере приходилось, как правило, защищая других. Я ударил его с ходу. Голова его закинулась, но он не упал. Неужто оскудела рука, подумал я, и ударил его второй раз. Теперь он, как бык, рухнул на колени.

— Чо, я один был?.. — бормотал он, мотая головой и пытаясь утереть кровь, стекающую из угла рта.

Я вдруг представил, что могло случиться с мальчиком, и настоящая ярость сотрясла меня: нет мне, падло, до того дела, что и свою-то жизнь ты не очень ценишь!

— Ты сидел на руле, — сказал я ему, как можно внятней, и, приподняв его тяжело обвисающее тело двумя руками, дал ему в морду третий раз. Он завалился основательно.

Примерно через месяц я случайно оказался на этом лодочном причале, и, когда проходил мимо стола с доминошниками, они почти все вскочили, радостно приветствуя меня. И было не совсем ясно, что они приветствуют: щедрость, с которой я отказался от причитающейся мне выпивки, или быстроту расправы с этим кретином. Скорее всего они восторгались и тем, и другим.

Вот так, расставшись с морем на год и оказавшись в роли хранителя жизни мальчугана, я навсегда избавился от этих таинственных сердечных явлений. Больше они ни

разу не повторялись. Интересно, что бы сказал мой безумный психиатр, узнав об этом? Толстой это, кажется, называл—забывать себя? В народе еще лучше говорится: клин клином вышибают...

Кстати, будь я энциклопедически образованным человеком, я бы посвятил свою жизнь раскрытию мировых идей, заложенных, как я абсолютно уверен, в сжатом виде в народных пословицах и поговорках! Какая увлекательная работа! По-русски, по-моему, такой книги нет, но есть ли она у других народов? Я не слыхал.

...На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ, и мы еще некоторое время сидели за столиком, рассеянно глядя на кейфующих любителей кофе и шумных шахматистов.

Там сейчас Турок играл со своим партнером, а вокруг толпились болельщики, насмешничая над игроками и обсуждая возможности упущенных комбинаций.

Мороженщица со своим лотком и до этого несколько раз подходившая к ним и безуспешно предлагавшая им купить мороженое, сейчас снова подошла, по-видимому, надеясь на новых, более сговорчивых покупателей. Но тут Турок не выдержал.

— Сколько стоит полный лоток мороженого?—спросил он у продавщицы.

— Двадцать рублей,—ответила она охотно.

— А сколько стоит лоток?—продолжал любопытствовать он.

— Пять рублей,—с той же готовностью ответила она.

Турок вытащил из кармана бумажник, вынул оттуда три десятки и протянул ей.

— Зачем?—спросила мороженщица, но протянутые деньги почему-то взяла.

— Сейчас увидишь,—сказал Турок и, выхватив у нее голубой лоток с мороженым, выкинул его в море.

Такой остроумный комбинации никто не ожидал. Под хохот шахматистов и крики мороженщицы мы покинули гостеприимную палубу «Амры». Конечно, навряд ли в подобных условиях рождаются великие шахматные композиции, но мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам, по чертежу этого жеста, постепенно восстановлен во всей его полноте. Терпения и мужества, друзья.

Время большого везенья

(Рассказ Виктора Максимовича)

Никогда, ни до, ни после войны, я не чувствовал себя на таком подъеме, как во время войны. Я не чувствовал себя в таком полном соответствии внутреннего состояния и

окружающей жизни. Все проклятые вопросы были отброшены реальной общенародной бедой; реальным участием в борьбе с этой бедой. И ни разу за всю войну не было ощущения скрежещущей дисгармонии, отравившей столько дней моей юности.

Именно поэтому, несмотря на потери друзей, ежедневный риск, годы войны оставили в душе мощную и даже веселую музыку бесконечного внутреннего подъема.

Только первая смерть, которой я был свидетелем, потрясла все мое существо и больше с такой силой я не переживал ее, хотя к смерти невозможно привыкнуть. Это случилось еще во время учебы в летной школе. Мы были в одной части, отпрыгались и, веселые, возбужденные, ввалились в столовую обедать.

Летчик, подымавший нас в воздух, и инструктор-парашютист обедали за столом рядом с нами. И вот я вижу: к ним подходит повар и упрощает инструктора разрешить ему прыгнуть с парашютом.

— А ты когда-нибудь прыгал? — спросил у него инструктор, потягивая компот из стакана.

— Конечно, — кивнул повар, — я до армии ходил в аэроклуб и много раз прыгал.

Безусловно, инструктор не имел права разрешать ему прыжок. Но я, как сейчас, помню благодушное выражение его лица, то ли вызванное отличным обедом, которым угостил их повар, то ли еще какими-то причинами. Он взглянул на летчика и сказал:

— Ну, что, страхнем его разок?

— Пожалуй, — засмеялся летчик, кивнув на повара, — если он снимет колпак хотя бы перед тем, как выйти на крыло.

Как потом выяснилось, повар этот никогда не прыгал с парашютом. Ему было на вид лет двадцать пять. Вероятно, он и раньше мечтал прыгнуть с парашютом, а тут вдруг видит — вваливаются в столовую девятнадцатилетние салажата, вваливаются после прыжков, сияющие, шумные, счастливые! И он решил: что тут особенного, если эти пацаны прыгают и в ус не дуют. Но он не понимал, что каждое дело требует подготовки, и мы, хоть и салажата, но уже хорошо обучены прыжкам.

Когда мы отобедали, все высыпали наружу, а вместе с нами официантки и работники кухни вышли посмотреть, как их повар будет прыгать.

Все произошло на наших глазах. Самолет поднялся в воздух. Сделал круг над аэродромом. Мы увидели, как повар вышел на крыло, а дальше произошло вот что. Повар еще стоит на крыле и вдруг парашют его выстреливается вдоль корпуса самолета, белый шелк, как молоко, обтекает фюзеляж и обматывает хвост. Самолет мгновенно теряет управление, несколько секунд идет со снижением;

входит в штопор и врубается в землю в конце аэродромного поля. Когда мы подбежали к обломкам, все было кончено: все трое были мертвы.

Только что люди обедали, смеялись, шутили и вдруг — смерть. Ясно, почему все так произошло. Когда повар вышел на крыло и посмотрел на землю, он, конечно, испугался и со страху, еще стоя на крыле, дернул за кольцо.

Обычно начинающих парашютистов учат после прыжка отсчитывать три секунды и только потом дергать за кольцо. И хотя начинающий парашютист от волнения, как правило, считает быстрее, чем положено, все равно время дается с большим запасом. И одной секунды достаточно, чтобы парашют не задел самолет.

Да, вот эта первая смерть меня потрясла больше всего, и хотя, конечно, к смерти привыкнуть невозможно, но я уже такой силы потрясения не испытывал при виде погибших людей. А ведь приходилось видеть все, приходилось по частям собирать разбившихся летчиков, чтобы предать их земле.

И все-таки главное чувство того времени — это веселая, могучая музыка подъема. Уверенность, что все или почти все будет так, как мы хотим.

Однажды я получаю приказ командира полка лететь в один пункт, где расположены авиамастерские. Там меня должен был встретить инженер-капитан для установки радиооборудования к штурманскому сиденью. В те времена на По-2 никакой связи с землей не было, и летчик, взлетев, был полностью предоставлен самому себе.

Более того, на По-2 обычно не было никакой огневой точки. Иногда устанавливался пулемет, чтобы защищать машину с хвоста. Но чаще всего ни черта не было, кроме пистолета «ТТ» на поясе у летчика. По-2 в основном использовались как ночные бомбардировщики, каковым в то время я и был.

И вот, значит, лечу в расположение авиаремонтных мастерских. Лечу на бреющем, чтобы не повстречаться с «мессершмиттом». «Мессера» в те времена, как хотели, издевались над По-2.

Как правило, встретившись с этим самолетом, они не сразу их расстреливали, а сначала вдоволь наиздеваются над летчиком, облетая его и показывая, что его ждет смерть, а потом уже пулеметная очередь, и самолет вспыхивает, как спичка, — фанера, перкаль, кроме мотора, на них почти не было никакого металла.

Именно из-за этого пруссаческого издевательства они сами иногда увлекались, забывая о близости земли, и врезались в нее.

С одним нашим летчиком, развозившим почту на По-2, произошел курьезнейший случай, едва ли не единст-

венный за всю войну. Дело происходило на Кубани. Так вот этого летчика, развозившего почту, настиг «мессер».

Прежде чем расстрелять его из пулемета, он, как обычно, стал изгаляться над ним. Снижает скорость до предела, пролетая возле него, хохочет, показывая на горло, и что-то кричит нашему летчику, скорее всего: «Рус капут!»

Раз пролетел, два пролетел и, главное, все ближе и ближе притирается к нему. Наконец нашему летчику надоело это. Он решил: и так и так погибать, дай попробую убить его из пистолета! Он берет ручку управления в левую руку, выгаскивает пистолет, но не высовывает его над бортом, а ждет, когда «мессер» пролетит рядом с ним.

И в самом деле немец снова летит рядом, хохочет, кричит, а наш летчик успевает пару раз выстрелить из пистолета и попадает в него. «Мессер», потеряв управление, врубился в землю. Об этом случае много говорили в те времена. Но обычно встреча По-2 с «мессершмиттом» кончалась гибелью нашего самолета.

И вот, значит, прилетаю на бреющем в назначенный пункт и встречаю там инженер-капитана. Это такой крупный, грузноватый мужчина лет тридцати пяти, и по лицу видно — выпивоха. Только я об этом подумал, как он хлопнул себя по боку, там у него фляжка висела, и сказал:

— Литр чистейшего медицинского спирта. Может, поговорим о душе?

— Нет, — отвечаю, — выполним задание, тогда с удовольствием.

Он устанавливает свое радиооборудование возле штурманского сиденья, и мы летим назад к себе в полк. Прилетели — новое задание: лететь в расположение штаба фронта, дальнейшие указания получим там.

Заправляемся горючим и летим. Он сидит на штурманском месте. У нас допотопная шланговая связь.

— Не пора ли поговорить о душе? — слышу голос инженер-капитана.

— Нет, — говорю в переговорный трастуб, — выполним задание — тогда с удовольствием.

— Напрасно, — отвечает он, — вы избегаете разговоров о душе. В боевых условиях опасно откладывать такие разговоры.

Своеобразный юмор этого инженер-капитана заключался в том, что он самые забавные вещи говорил серьезным голосом без малейшей улыбки. И при этом, несмотря на большую разность наших возрастов, обращался ко мне вежливо, называя по имени-отчеству.

Прилетаем в расположение штаба фронта. А для нас, фронтовиков, штаб фронта был тогда все равно что столица — прекрасная столовая, парикмахерская, кино, приличный поселок.

Дежурный офицер встречает меня и говорит, мол, никуда не уходите, дождитесь приказа. Проходит час, два, уже вечереет, никакого приказа. А тут еще инженер-капитан мрачно ходит за мной и зудит насчет необходимости поговорить о душе. При этом уверяет, что мы сегодня никуда не улетим. Нет, говорю, потерпим, будем ждать отбоя.

Заходим в парикмахерскую постричься и встречаем там моего приятеля летчика-туркмена. Мы раньше служили с ним в одном полку. Это был опытный летчик, хороший парень, только по-русски, мягко выражаясь, говорил с большим акцентом. Он, оказывается, прилетел сюда с заданием из своей части и застрял здесь на двое суток. Мы обрадовались неожиданной встрече, он сказал, что у него припасено пол-литра водки и надо отметить это событие, потому что и мы, скорее всего, застрянем здесь, как и он.

Мы постриглись, побрились, подеколонились и выходим из парикмахерской. Теперь инженер-капитан, получив подкрепление в лице моего приятеля, кстати, звали его Руфет, стал еще больше настаивать на необходимости поговорить о душе, попутно выяснив, что о ней думает мусульманин. Но я крепко держался, и они меня не смогли уговорить.

Но вот проходит еще примерно час, мы встречаем дежурного офицера, и он говорит:

— Отбой! Можете идти ужинать и располагаться на отдых.

Мы пошли в столовую и надолго засели там. Официантка принесла прекрасный бифштекс с жареной картошкой, такой бифштекс можно было получить только в столовой штаба фронта. К тому же у нас в запасе были еще две банки тушенки, мы отправили их на кухню разогреть. Одним словом, пируем. Водку выпили почти сразу и теперь потихоньку посасываем спирт.

Слегка подвыпив, мы с Руфетом начинаем ухаживать за нашей официанткой. Должен тебе сказать, что после первой моей любви я больше двух лет не мог видеть в женщине женщину. Для меня женщиной оставалась только она. Потом, постепенно, природа взяла верх, и я не то чтобы впал в обратную крайность, но от других фронтовых летчиков не слишком отставал.

И вот мы наперебой ухаживаем за официанткой, и чем больше пьем, тем неотразимей она нам кажется. А между прочим, она так забавно приглядывается к нам обоим, так напряженно соображает своей глупенькой головкой, кого из нас выбрать, что я никак не могу удержаться от смеха. И именно оттого, что я все это воспринимаю более легко и более весело, чаша весов постепенно склоняется на мою сторону.

— Состязание за право первой ночи, — говорит инженер-капитан, поглядывая на нас, — при любом исходе опоздало лет на десять!

Руфет, чувствуя мой перевес, грустнее и наконец выкладывает свой главный козырь. После войны он обещает увезти ее в Ашхабад, о существовании которого она, как выясняется к ужасу Руфета, не имела представления.

— Овсянка штаб фронт — Ашхабад не знает! — воскликнул Руфет и так горестно задумался, подперев ладонью щеку, словно усомнился: а можно ли в условиях такого невежества даже внутри штаба фронта вообще выиграть войну?

Помрачение Руфета окончательно проясняет расстановку сил. И вот, когда мы выпили уже весь спирт, я подхожу к официантке и потихоньку договариваюсь с ней. Она сначала немного ломается, но потом, бросив последний взгляд на Руфета («а вдруг я чего-то недоглядела»), назначает мне свидание.

Она называет дом рядом со штабом фронта, где она живет, номер комнаты и говорит, что ключ лежит под ковриком перед дверью. Я должен тихо-тихо войти в дом, открыть дверь, ложиться и ждать, пока она придет, закончив свои дела в столовой.

Я подхожу к нашему столу, говорю, что у меня все в порядке, остается пристроить на ночлег инженер-капитана. Только я это сказал, как в столовую вбегает вестовой и кричит:

— Летчика Карташова к телефону!

Я иду к телефону. Стараюсь изо всех сил держать себя в руках, но чувствую — дело плохо. Беру трубку и слышу сердитый начальственный голос: вылетать на Оскол, оттуда инженер-капитан свяжется с приемопередаточной станцией штаба фронта.

Я настолько пьян, что боюсь дышать в трубку. Мне кажется, что на том конце почувствуют мое дыхание. И в то же время я хоть и пьян, но знаю, что посадочная площадка не готова для ночного взлета. И я говорю ему об этом.

— Что я вам, базовый аэродром рожу? — кричит он в ответ. — Выполняйте приказ!

Что делать? Я возвращаюсь в столовую и говорю инженер-капитану, что нам надо готовиться к немедленному вылету. А Руфет сидит рядом и все слышит, но я о нем теперь забыл. Но он, разумеется, о себе не забыл. Услышав мои слова, он начинает неудержимо хохотать, а официантка издали тревожно смотрит на нас, не понимая, почему веселье переместилось в сторону Ашхабада и не стоит ли ей самой последовать за ним.

Но мне уже не до них. Чувство ужасной ответственности пробивается сквозь хмель. С одной стороны, конечно,

был объявлен отбой, но, с другой стороны, в этих условиях никто нам не разрешал напиваться.

Я связываюсь с аэродромной службой, домогаюсь, чтобы они пригнали и поставили два «виллиса» в конце взлетной полосы, осветив ее фарами, чтобы я мог держать направление взлета.

Самое трудное в авиации посадка, а не взлет. Но я сейчас по пьянке об этом не думаю, думаю только, как бы взлететь. «Виллисы» пригнали, и я взлетел.

Летим на город Оскол. Прилетели. Инженер-капитан связывается с приемным пунктом радиопередаточной станции, и мы делаем над городом круги, а точнее, четырехугольники. Проверяем радиосвязь на разных высотах. Работаем. И вдруг я выглядываю за борт и ничего не понимаю. Город, который был погружен в темноту, почему-то во многих местах озарен огнями. Я встряхиваю головой, думаю, не мерещится ли мне это спяну.

Нет! Внизу пожары. Что за черт, думаю, неужели город бомбят? И вдруг слышу в кабине характерный запах тротила. Кабина у По-2 открытая, только впереди козырек, как у мотоцикла. Запах тротила можно почувствовать только тогда, когда поблизости разрываются зенитные снаряды. Прислушиваюсь и слышу сквозь гул мотора слабые звуки разрывов: тук! тук! тук! тук!

И по запаху слышно, что очень много разрывов поблизости. Прямо скажу — я от страха наполовину отрезвел. Сверху бомбят немцы, того и гляди угодят бомбой в самолет, а снизу поливают наши же зенитки.

И вдруг я слышу спокойный голос инженер-капитана:

— Слушайте, Виктор Максимович, — говорит он, — у меня такое впечатление, что ваш дружок именно сейчас спикировал!

— К черту официантку! — кричу ему в раструб. — Немедленно запросите штаб фронта, что нам делать! Город бомбят немцы!

Он запрашивает радиостанцию, и ему оттуда отвечают: да, город бомбят «юнкеры», выходите из зоны огня и ждите конца бомбежки.

Мы, слава богу, целыми выходим из зоны огня и ждем. А «юнкеры» идут на город волнами.

Примерно через полчаса из штаба фронта сообщают, что «юнкеры» отбомбили, и мы можем продолжать выполнение задания. Мы снова над городом. Теперь внизу сплошные пожары. Наконец выполняем задание и получаем приказ лететь, но не в расположение штаба фронта, как мы ожидали, а называется некий новый пункт.

Запрашиваю через инженер-капитана:

— Оборудован там аэродром для приема самолета?

— Да, — отвечают, — оборудован.

Я смотрю на карту и никак не могу найти этот пункт. На По-2 нет никакого специального освещения, только бортовой фонарик да приборы фосфоресцируют. И в этом слабом свете, а главное, конечно, спьяну, я никак не могу найти этот проклятый пункт. И уже начинаю нервничать.

И именно в эту минуту раздается спокойный голос инженера-капитана:

— Вы поняли, почему нас не приняли?

— Нет, — говорю в раструб, — не понял.

— Штаб фронта, — говорит, — пришел к мудрому решению: не ослаблять наши воздушные силы братоубийственной борьбой двух летчиков за обладание сердцем одной официантки.

Вот черт, думаю, нашел время шутить! Но тут я догадываюсь запросить у радиостанции штаба фронта (а ведь он напомнил мне про него!) направление в градусах и расстояние до этого пункта. Они отвечают. Я засекаю время и ставлю самолет по курсу.

Но теперь, когда я наполовину отрезвел, я по-настоящему почувствовал, как трудна будет посадка. Готов ли аэродром для приема? Господи, думаю, помощи на этот раз, и я никогда в жизни не приму рюмки в подобных условиях! Но, разумеется, вместе с тем напрягаю сознание, чтобы держать голову в полной ясности. И это не легко...

Точно вовремя вышли на аэродром. Сжал в кулак всю свою волю и пошел на посадку. Но что за черт! Посадка не получается! Самолет проносится и выскакивает за полосу освещения прожектора! Я понял, что сажусь по направлению ветра, а не против ветра, как положено. Что они там, у прожектора, уснули, что ли?!

Захожу против ветра, начинаю планировать, показываю, чтобы они перенесли прожектор, потому что он меня слепит, вместо того, чтобы помогать. Нет, ничего не получается! Делаю пять-шесть попыток — никто меня не понимает. Человек у прожектора или уснул, или там вообще никого нет. Если бы прожектора совсем не было, я бы рискнул сесть по фонарикам посадочного знака. А так невозможно — прожектор слепит.

Тогда я принимаю решение садиться по ветру. Отлетаю как можно дальше, снижаюсь и, рискуя врезаться во что-нибудь, ведь я не знаю ландшафта, лечу, прощупывая землю слабым светом плоскостной фары. Перед самой посадочной полосой, уже на скорости парашютирования, выключаю мотор, чтобы быстрее снижаться и не загореться в случае аварии.

Даже несмотря на все эти принятые меры, нас пронесло через полосу освещения и мы остановились в двух мет-

рах от стоянки штурмовиков ИЛ-2. Еще бы чуть-чуть и врубилась!

Вот так мы прилетели. Но что там случилось с прожектором? Обычное наше российское разгильдяйство. Возле прожектора был поставлен не работник аэродромной службы, а обычный солдат, ни черта не понимающий в этом деле. Когда его поставили, ветер был встречным, а потом ветер переменял направление, но ему никто не подсказал, что прожектор надо перенести.

Переночевали мы в общежитии. Утром просыпаюсь, и после всего пережитого и перепитого мне ужасно захотелось вымыться в бане. Бужу инженер-капитана.

— Слушайте, — говорю, — давайте сходим в баньку?

— А у вас есть выпивка? — спрашивает он у меня, зевая.

— Нет, — говорю, — по-моему, мы вчера выпили все, что можно было выпить.

— Какой же русский человек, — отвечает он, — ходит в баню, не запасаясь водкой? Вы, наверное, турок, Виктор Максимович. Недаром вы откуда-то с Кавказа.

— Ну, ладно, — говорю, — как хотите, а я пойду.

Встаю, одеваюсь, выхожу в коридор. Вижу, там поживает какой-то старичок, вроде комендант общежития.

— Скажите, — говорю, — у вас тут баня есть?

— А как же, — охотно отвечает он и показывает в окно, — вон там, на пригорке. Как раз сегодня работает.

Поселок, где мы устроились, находился примерно в километре от аэродрома. И хотя пригорок, на который показал мне комендант, был в стороне от него, я все-таки подумал: как здорово, что вчера ночью я не шараялся в него.

— А мыло с полотенцем, — говорю, — у вас найдется?

— Конечно, — кивает он, — у нас порядок. Хорошему человеку мы все можем достать.

Чувствовалось по его голосу и взгляду, что он так и жаждет, чтобы я попросил у него чего-нибудь существенней. И вот он приносит мне мыло, мочалку, полотенце. Я спускаюсь вниз. Пригорок, на котором была расположена баня и несколько других строений, находился примерно в трехстах метрах от поселка.

Я поднялся на него, вошел в баню, вымылся от души, оделся и выхожу. Сверху хорошо виден и аэродром и поселок. Не успел я сделать и десяти шагов, как вижу, откуда-то выскакивает «мессер» и идет со снижением в сторону пригорка. Только подумал: чего ему здесь надо? И вдруг догадка — он идет на меня! На несколько мгновений я почувствовал тот ужас, который, вероятно, чувствует цыпленок, заметивший, что на него пикирует ястреб. У «мессершмитта» оружие неподвижное, поэтому он на

цель идет всем корпусом. И я по зловещей направленности его корпуса понял, что он целится в меня.

Только я об этом подумал, как вжик! вжик! — вздымая столбики пыли, вокруг меня полосула пулеметная очередь. Я шмякнулся на землю! «Мессершмитт» с грохотом пролетел надо мной и пошел дальше, набирая высоту. Смотрю, сволочь, разворачивается. Быстро оглядываю пригорок. Вижу — чуть пониже, метрах в пятнадцати, куст сирени. Больше никакого прикрытия. Я бегом туда и падаю за куст. Но он успел заметить, куда я бегу. И дал очередь по этому кусту. Несколько веток как бритвой срезало.

Но, между прочим, расстрелять человека с самолета больших скоростей, каким в то время считался «мессершмитт», не так просто, если дело не происходит в чистом поле. Пока самолет далеко, попасть в человека трудно, цель слишком мелкая, а близко подойти к нему рискованно, потому что самолет летит со снижением и может, замешкавшись, врезаться в землю. Так что у него всего две-три секунды прицельного времени.

А между тем он опять разворачивается. Видно, решил во что бы то ни стало меня добить. Но и я не даюсь. Я приметил — ниже, метрах в десяти от меня торчит сосновый пенёк. Я бегу и ласточкой прыгаю под него. Снова нули ложатся вокруг, и «мессер» с грохотом проносится надо мной.

Когда он пролетел, я переполз на ту сторону пня. Но пенёк все-таки недостаточно широкий, и я хоть вжимаюсь в землю, а все-таки высовываюсь из-за него. Опять веером пули, и самолет с грохотом пролетает надо мной.

Я быстро оглядываюсь и вижу: уже далеко внизу, метрах в пятидесяти, довольно здоровый камень торчит из земли. Ну, думаю, была не была — добегу — спасен!

Я к нему со всех ног и слышу по нарастающему грохоту — «мессер» уже развернулся, приближается и вот-вот снесет мне голову! И все-таки я успеваю упасть под камень. Слышу — пули на этот раз чиркают и рикошетируют от камня. Ну, тут ты меня не возьмешь, думаю, стараясь отдышаться от быстрой перебежки. Когда он пролетал надо мной, я переполз на ту сторону камня.

Он опять развернулся. Грохот нарастает, а пуль, между прочим, не слышно. Только прорстел надо мной, вижу — машет крыльями и улетает. В авиации это знак прощания. Видно, расстрелял все патроны, помахал крыльями и улетел.

Спускаюсь в послок, а там возле общежития, где мы ночевали, столпились солдаты, офицеры, летчики. Оказывается, они все видели и наблюдали за всем, что происходит на пригорке. Поздравляют меня, обнимают, смеются.

— Главное, — хохочет один, — сколько ни прыгал, как заяц, а полотенце не выпустил из рук.

В самом деле, я как сжал в руке полотенце, свернутое жгутом с мочалкой внутри, так и не выпустил его из ладони. Конвульсивно, конечно.

Постояли, поговорили, посмеялись, и я наконец подымаюсь к себе в комнату. А там мой инженер-капитан уже за столом. На столе хлеб, консервы, четвертиночка. Старичок-комендант вертится рядом. Он, конечно, все это устроил ему за деньги и успел рассказать про меня.

— Слышал, — говорит инженер-капитан, — про ваши дела. А кто вас останавливал от этой глупой затеи? Все норовите тело ублажить... Кстати, именно теперь вам самое время идти в баню... Посмотрите, на что вы похожи.

Я посмотрел на себя и только заметил, что весь в пылище с головы до ног.

— Выпейте на дорогу рюмюлю, — говорит он, — и снова идите в баню... Если, конечно, немецким летчикам не дан секретный приказ подстергать вас у выхода из бани.

— Нет, — говорю, — я поклялся перед полетом больше никогда не пить. А нам сегодня лететь.

Я вышел в коридор, где долго отряхивался от пыли и приводил себя в порядок. В тот же день я доставил инженер-капитана туда, где он служил, и вернулся в свой полк. Но ты думаешь, необычайное везенье этих суток на этом закончилось? Нет!

Через четыре месяца встречаюсь с Руфетом, мы с ним снова попали в один полк.

— Везунчик! — кричит он мне, здороваясь, — такой везунчик мир не знал!

— Да, — говорю, — повезло мне.

Я думал — он что-то прослышал про «мессершмитт», охотившийся за мной.

— Ты везунчик, — повторяет Руфет, — я подцепил от овсянка штаб фронта то, что ты должен был подцепить. Сипасибо, старший брат!

— Ну, теперь-то ты здоров? — спрашиваю серьезно, хотя самого распирает смех от всей этой перекрутки.

— Типер, конечно, — кивает Руфет, — но, оказывается, хуже нет, чем овсянка штаб фронта... Ашхабад не знает... Испорченный ченчин! Но я был пьяный — не догадался...

И смех и грех, как говорится. Конечно, такого сгустка везенья за всю войну больше не повторялось, я трижды был ранен, горел, но одни такие сутки были. Честно скажу — я практически сдержал свое слово и выпившим больше никогда не подымался в воздух. Это было в первый и последний раз.

Охотник-ясновидец

Однажды Виктор Максимович спросил у меня, не случилось ли в моей жизни что-нибудь такое, чего нельзя объяснить никаким разумом и логикой. Мы пили кофе у пристани, стоя за столиком под низко нависающей ветвью ливанского кедра.

Я ему рассказал такой случай. Много лет назад я сидел в своей комнате за письменным столом. Вдруг в приоткрытое окно кто-то с улицы постучал пальцем. Обычно так извещала о своем появлении почтальонша.

Жуткая волна необъяснимого страха при звоне стекла сковала все мое тело. Знал ли я в тот миг, что это обычный стук почтальонши? Не помню. И в то же время я разумом понимал, что для страха не может быть никакой причины, надо встать и подойти к окну. Увидев, что за окном, как обычно, стоит почтальонша и уже роется в сумке, чтобы передать мне письмо, я не только не успокоился, а почувствовал источник своего страха, я понял, что его источает именно то, что она мне сейчас передаст.

Почтальонша передала мне письмо с иностранными марками. Я сразу понял, что это письмо от отца, потому что заграничных писем я больше ни от кого не получал. Это было письмо из Персии.

Письма от отца приходили в полтора-два года раз. И, конечно, я с обычной почтой не привык ожидать писем оттуда. С ужасом, преодолевая какое-то предчувствие, я раскрыл конверт и увидел в нем собственное письмо, посланное ему год назад. Больше в конверте ничего не было.

Я начал успокаиваться, недоумевая, почему мое письмо пришло назад. Перевернул листок письма и увидел на обратной стороне моей недописанной страницы какую-то приписку, сделанную дрожащим, крупным, старческим почерком: «Ваш отец умер в 1957 году. Царство ему небесное!»

Приписка была сделана другом отца, который так же, как и он, был выслан туда из Абхазии и на адрес которого мы обычно посылали письма.

Виктор Максимович, отставив чашку с кофе, внимательно выслушал меня и, дослушав, кивнул головой.

— Со мной лично, — сказал он, — ничего такого не бывало. Но я близко видел человека, который был одарен настоящим сверхчувственным опытом.

В молодости я любил походы в горы. Да и сейчас люблю, хотя приходится экономить время. А тогда я вдоль и поперек исходил всю горную Абхазию и Сванетию.

Красоту гор описать еще никому не удалось. Когда стоишь на какой-нибудь вершине и видишь плавно уходящий от тебя изумрудный склон, обильное высокотравье,

в котором мерцают голубые горечавки, белые, ярко-желтые, синие крокусы, бледные анемоны, золотые лапчатки, а дальше ледниковое озеро ангельской синевы, а над ним стройные, темно-зеленые пихты и все это погружено в прозрачный родниковый воздух, озарено солнцем и видится весь этот божий мир с утоляющей душу четкостью, ты вдруг чувствуешь, хотя бы на несколько минут, что достиг истинного человеческого состояния и это состояние — предощущение полета или счастья.

Однажды мне рассказали про абхазского пастуха, который ни разу не приходил с охоты без добычи. Абхазский бог Ажвейпшаа подает ему знак, говорили мне пастухи. Я, конечно, ни в какой знак не поверил, но, решив, что это очень опытный охотник, захотел с ним встретиться.

В то лето он жил с пастухами своего села в горах Башкапсары. Дорогу туда я знал хорошо. И вот поднимаюсь на альпийские луга Башкапсары, встречаю какого-то пастуха и спрашиваю у него, где тут располагается охотник Щаадат. Так звали его. Пастух показывает мне дорогу к его шалашу, и я через полчаса там.

В шалаше жили четыре пастуха. Трое из них кое-как говорили по-русски, а четвертый, самый молодой, говорил прилично. Узнав о цели моего визита, они закивали головой на Щаадата, и тот, застенчиво улыбнувшись, обещал взять меня на охоту.

И вот я живу с ними, присматриваюсь к своему охотнику и ничего в нем особенного не вижу. Сухощавый, пожилой крестьянин-пастух, молчаливый, услужливый, однако никогда не теряющий чувства собственного достоинства, о котором он сам явно не задумывается. Это приржденное.

Погода стоит отличная, но почему-то на охоту он меня не берет. Утром доит коз и гонит их на зеленые склоны, в полдень приходит обедать, вечером пригоняет коз, снова доит, а потом, подвесив на огонь большой котел с молоком, закатывает рукава и, по локоть погрузив руки в молоко, начинает выколдовывать оттуда сыр.

— Когда пойдём? — показываю я ему на горы дня через три.

Он смеется.

— Сичас коза нет, — говорит, — когда будет, пойдём на гора.

— Откуда знаешь, — спрашиваю, — когда будет?

Он опять смеется и что-то говорит своим товарищам по-абхазски. Они тоже смеются.

— Моя знай, — кивает Щаадат мне, — когда будет, пойдём на гора.

Проходит еще несколько дней, и вдруг однажды просыпаюсь на рассвете. Оказывается, меня осторожно будит Щаадат. Прижимает палец к губам, чтобы я шумом не бу-

дил остальных пастухов. Я быстро одеваюсь, винтовку через плечо, в руки посох, и мы начинаем подыматься в горы.

Подымаемся час, два, три, а конца пути не видно. И хотя я был тогда замечательный ходок, но подъем крут, чувствую, устаю.

— Долго еще? — киваю ему вверх.

— Скоря, скоря, — успокаивает он меня.

Однако мы еще часа два карабкаемся по скалам, а он только идет впереди мерным шагом, и большая толстая палка торчит у него через плечо. Он ее вырезал в леске, когда мы только вышли на дорогу. Я знал, что к такой палке подвешивается крупная добыча.

Наконец он оборачивается ко мне и, приложив палец к губам, показывает, чтобы я молчал, хотя я и так молчу. Знаками показывает, чтобы я как можно осторожней, не потревожив камушки, переставлял ноги. Метрах в пятидесяти впереди нас скалистая вершина. За несколько метров до вершины он лег и стал ползти, показывая, чтобы я делал то же самое. Доползли до вершины. Осторожно выглядываем.

Перед глазами распаивается слепящая белизна огромного ледника, над которым торчит зубчатая скала. Глазам больно от непривычного сверкания льда. Щаадат тихонько толкает меня и кивает наверх, туда, где начинается ледник. Я смотрю и ничего не вижу. Он опять толкает. Я старательно вытираю слезящиеся глаза, присматриваюсь и вдруг вижу на крошечной лужайке, над самым ледником у скальной стены неподвижно стоит тур. Я вглядываюсь и вдруг вижу, что еще три тура рядом с ним, но они не стоят, а сидят на лужайке. Все они так удивительно сливались с цветом скал, что я их не сразу различил.

Я снимаю с плеча винтовку. Щаадат кивает, мол, давай. Азарт торопит меня, а он знаками показывает, мол, спешить не надо, они никуда не уйдут. Я прилег, тщательно прицелился в стоящего тура и выстрелил. Тур упал. Я думал, остальные разбегутся, но они не разбежались. То ли не услышали выстрела, то ли приняли за грохот камнепада, не знаю. Только один из сидевших туров встал, подошел к упавшему и понюхал его. Увидев, как удобно в него сейчас стрелять, я снова почувствовал охотничий азарт, вскинул винтовку, но вдруг Щаадат яростно вырвал ее у меня из рук.

— Бог сердчай! — крикнул он мне так сердито, что я опешил.

Я тогда не знал, что по древней абхазской охотничьей этике травоядного зверя больше одного нельзя убивать. Я-то встречал охотников, которые, если им удавалось, убивали не одного тура и не одну косулю, но, видно, бы-

вали еще и охотники, которые придерживались древних правил.

Мы спустились к леднику, осторожно ступили на него и, вонзая в него посохи, наискосок поднялись до самой лужайки, где лежал мой тур.

Щаадат знаками показал, что я могу отдохнуть. Чувствуя смертельную усталость, я растянулся на траве. Щаадат скинул с плеча бурдючок с кислым молоком, снял с пояса кружку, встряхнул бурдючок, вынул затычку и налил мне. Я выпил три кружки густого, утоляющего голод и жажду кислого молока и почувствовал себя посвежевшим. Щаадат тоже выпил пару кружек, но в отличие от меня сделал это не спеша, стараясь, как это принято у горцев, не оскорблять взор спутника слишком явным проявлением телесной жажды.

После этого он вынул из чехла свой пастушеский нож, вспорол брюхо тура, выволок оттуда ненужные внутренности, а потом за ноги подвязал тушу к своей палке. Я обратил внимание, что тушу тура он подвязал не к середине палки, а поближе к одному концу.

Мы посидели еще с час, а потом Щаадат показал рукой на солнце, давая знать, что нам пора в дорогу. Мы приподняли с обоих концов палку с подвешенным туром и подставили под нее плечи. Он встал впереди и, конечно, взялся за тот конец, ближе к которому был подвешен тур. Опираясь на посохи, мы медленно стали спускаться к леднику. В самых опасных местах Щаадат продавливал посохом лед, чтобы мне удобней было ставить ногу.

Вечером у пастушеского костра, поверчивая на деревянном вертеле шашлык из турьего мяса, Щаадат раскрыл свою тайну. Оказывается, абхазский бог охоты Ажвейпшаа ночью во сне указывает ему на место, где ждет его добыча.

Прошло с неделю. Я живу с пастухами и больше уже не тормошу Щаадата, а жду, когда ему бог охоты подскажет время и место нашей следующей вылазки.

И опять слышу, на рассвете меня осторожно будит Щаадат. Я тихо встаю, одеваюсь, беру винтовку и выхожу из шалаша. Теперь мы идем совсем в другую сторону, на юг. Мы вышли к подножию небольшого обрывистого плато, поросшего кустарником. Щаадат кивнул головой на вершину. Я всмотрелся в заросли и увидел головку косули. Словно почуяв нас, головка косули с минуту оставалась неподвижной, явно к чему-то прислушиваясь, а потом дотянулась до куста и стала срывать с него листья. Мы долго всматривались в заросли, и я видел время от времени то тут, то там шевелящиеся кусты. Мы набрали на стадо.

Щаадат знаком показал, что надо ползти вверх, и мы поползли. Время от времени останавливались, всматрива-

лись в кусты на вершине плато, а Щаадат, мазнув палец о язык, пробовал ветер. Ветер нам благоприятствовал, он дул со стороны косуль.

Как мы ни прятались, чем ближе мы подползали к вершине, тем беспокойнее вели себя косули. И если теперь головка косули показывалась в кустах, она все дольше и дольше замирала, прислушиваясь к чему-то.

Мы подползли к ним метров на пятьдесят. Щаадат велел остановиться. В шевелящихся кустах их почти не было видно. Наконец высунулась голова одной косули, замерла, и Щаадат кивнул мне. Я тщательно прицелился и выстрелил.

Косуля, как подброшенная, выпрыгнула из кустов и побежала в противоположную от нас сторону. И сразу же кусты ожили, и грациозно прыгающие косули, то появляясь над кустами, то ныряя в них, побежали за первой.

У меня была шестизарядная боевая винтовка, и я стрелял и стрелял вслед выныривающим из кустов и словно бултыхающимся в кусты косулям. И все они бежали вслед за первой, спрыгивая с края плато на каменистый склон, мелькая в воздухе желто-золотистой шкуркой, и ни одна из моих пуль не достигла цели. Когда последняя косуля подбежала к краю плато и отделилась от него, Щаадат вскинул ружье и выстрелил. Но и он промахнулся. Косули исчезли.

— Чужой судьба! — сказал Щаадат, махнув рукой в сторону ускакавших косуль, и мы не солоно хлебавши вернулись в свой шалаш.

На следующее утро снова просыпаюсь оттого, что меня будит Щаадат. Видно, бог охоты, подумал я, жалея нас за вчерашнюю неудачу, показал ему новое место.

Я быстро оделся, взял винтовку и вышел из шалаша. Щаадат с посохом в руке дожидался меня. Посмотрев на меня, он знаками показал, чтобы я винтовку оставил. Тут только я заметил, что у него за плечами нет ружья.

Ничего не понимая, я снял с плеча винтовку и внес ее в шалаш.

— А куда мы идем? — спросил я у него, выходя наружу.

— Моя знай, — сказал он и пошел вперед.

Я беру свой посох и отправляюсь за ним. Вскоре я понял, что мы идем туда, где были вчера. Зачем? Сам я никак не мог догадаться, а спрашивать не хотелось. У таких людей, я уже по опыту знал, ни о чем спрашивать нельзя. То, что нужно сказать, они скажут сами, а то, что, по их разумению, нельзя говорить, они никогда не скажут. И все-таки я со жгучим любопытством раздумывал, зачем он меня туда ведет? Если б мы шли туда с оружием, я бы

подумал, что бог охоты дал ему во сне еще один шанс попытаться счастья на том же месте. А так было ничего не понятно.

Вскоре перед нами показалось вчерашнее плато. Мы стали подниматься к нему. Сколько я ни всматривался в кусты, никаких косуль сегодня не было.

Мы выбрались на плато и вошли в кустарники. Щаадат стал показывать на обломанные ветки держи-дерева, смятые кусты кличачки, раздвинутые папоротники. Здесь пробегало стадо. Двигаясь по следу, мы подошли к краю плато и заглянули вниз. В этом месте оно круто обрывалось, переходя в каменистый склон, в глубине своей покрытый буковым лесом.

Мы стояли минут десять — пятнадцать над краем плато, и Щаадат, как я заметил, внимательно всматривался в усеянный крупными камнями склон. И вдруг, вытянув руку в сторону одного из камней, он стал на что-то показывать мне.

— Коза! Коза! — закричал он. Так он называл косулю. Я посмотрел в направлении его руки, но ничего не увидел, кроме камня, обросшего с противоположной стороны кустами чубушника.

Он спрыгнул с края плато и побежал по склону, притормаживая посохом. Я спрыгнул за ним. Когда мы подошли к камню, на который он показывал, я увидел в кустах чубушника навзничь лежащую косулю с вытянутыми, растопыренными, одеревеневшими ногами. Задние ноги высовывались над камнем, но я их принял за высохшие сучки.

И тут я, наконец, ему поверил. Понять, что это ноги косули торчат из-за камня, мог только человек, твердо знавший, узнавший в эту ночь, что где-то здесь на склоне должна лежать убитая косуля.

— Твоя судьба, — сказал Щаадат, показывая на косулю, но я сильно подозревал, что косуля убита его единственным последним выстрелом.

Вечером у костра, поджаривая мясо, молодой пастух, кивнув на Щаадата, сказал:

— Он видит во сне не только место, где ждет его хорошая охота. Он видит и то, что он должен встретить: коза, тур, олень, медведь.

Пожалуй, охотник Щаадат был единственным носителем необъяснимого сверхопытного знания, которого я встречал в своей жизни. Конечно, можно говорить о телепатической связи старого охотника с животными, на которых он охотится. Можно говорить о каком-то почти неприметном для глаза изменении в полете смертельно раненной косули и только позже расшифрованном им во сне, но так можно развенчать любое чудо.

Тайга и море

Море пахло так, как пахнет здоровое тело после купания в море. Был чудесный день начала октября. Ничего в мире нет слаще этой прощальной щедрости осеннего солнца.

Мы рыбачили в море. Оно было спокойно. Его миражирующая даль сливалась с горизонтом. Казалось, дыхание могучего и доброго животного то слегка приподымало лодку, то опускало. Дремотный шлепок волны вдруг откачет ее, и снова спокойное, ровное дыхание.

В светящемся, струящемся воздухе—без преувеличения—стояла температура рая. Да и пейзаж с берега с легкими строениями и купами деревьев, с холмами, прохладно лиловеющими вдали и зелеными вблизи, на которых сквозь зелень уютно высывались пятна домов (вон в том хотелось бы жить или лучше вон в том: дымчатая эйфория бездомности), в немалой степени приближался к ландшафтам рая.

Однако ржавый остов разбомбленного во время войны танкера «Эмба», торчавший из моря недалеко от нас, напоминал о реальности нашей грешной земли и о шалостях народов, еще не попавших в рай. Даже по скудным сведениям, время от времени поступающим оттуда, ясно, что такие вещи там абсолютно невозможны.

Мы с Виктором Максимовичем рыбачили на моей лодке, которой я дал название «Чегем», еще сам того не ведая, что во мне уже зреет тема моей будущей книги.

Справа от нас, ближе к берегу, сгруппировалось около пятнадцати лодок. Рыбаки время от времени ревниво поглядывали на соседние лодки, чтобы узнать, как у кого идет рыба. Иногда происходила таинственная перегруппировка всей флотилии.

Какой-нибудь рыбак замечал, что на другой лодке несколько раз подряд тащили хорошую рыбу. Зрелище вообще невыносимое. Если же это наблюдение совпадало с промежутком, когда у него самого рыба не клевала, он потихоньку снимался с места и устраивался поближе к той лодке, где рыба брала. Его переход на новое место не оставался незамеченным и другими временными неудачниками, и они снимались с места и устраивались поближе к нему.

Перемещение нескольких лодок не могло не растрожить остальных рыбаков, и, даже если у них рыба неплохо клевала, они, решив, что стая отошла и на новом месте рыба будет клевать еще лучше, тоже снимались с места и пристраивались к переместившимся.

А тот первый рыбак, не зная, что он сам и есть источник всех перемещений, вдруг спохватывался, что все перешли на новое место, а он один, как дурак, рыбачит на

старом. Он заводил мотор или садился на весла и, так как поблизости все места были уже заняты, да он и не стремился к близости, ибо не знал, к какой близости надо пристраиваться к последнему в перегруппировке, при этом, как и все, молча делая вид, что сам прекрасно знает о причине всех перемещений. Такова технология мировой глупости.

Слева от нас далеко в море мелькали белые и цветные паруса яхт. Позади лежал город. Мы ловили ставриду на самодуры. Виктор Максимович, время от времени подергивая шнур и как бы прислушиваясь к тому, что делается в глубине моря вокруг его ставки, рассказывал о тайге. Возможно, воспоминание это всплыло в его памяти по контрасту с тем, что он видел вокруг. Вот его рассказ.

— В ту зиму я попал в тайгу на геологоразведочную работу. Мы забуривали шурфы в поисках золотоносной породы. Шурф — это колодец, иногда глубиной до тридцати метров. После каждой проходки вынимается порода и подвергается промывке на предмет проверки — есть золото или нет.

Постепенно колодец углубляется, и шурфовщик опускается на дно при помощи бадьи, которую на тросе опускают два человека, работающие на воротке.

Шурфовщик, опускаясь на дно колодца, выдалбливает кайлом несколько лунок, так называемых бурок, закладывает туда аммонит, втыкает бикфордов шнур и запаливает его. После этого дает команду наверх, чтобы его подымали. А наверху два человека, так называемых воротовщика. Они крутят ворот и подымают его. После взрыва шурфовщик снова опускается на дно колодца и вынимает в бадье очередную порцию породы, которую тут же промывают.

Зима на Колыме начинается с того, что запоздалые гуси и лебеди ходят с растопыренными крыльями по берегам озер и рек. Крылья растопырены потому, что обмерзли. Бедняги взлететь не могут и становятся жертвами зверья и людей, если таковые оказываются поблизости.

Самые сильные морозы иногда доходят до шестидесяти градусов. При большом морозе долины и распадки ручьев окутаны колючим, приземистым туманом. Идешь — словно плывешь по разлившейся реке. В пяти метрах ничего не видно.

В это же время на вершинах гор совсем другая картина. Там ослепительное солнце, и, когда сверху смотришь в долины рек и распадки ручьев, пронизывает жуть — мрак, адская мгла. Кстати, температура воздуха на вершинах на десять — пятнадцать градусов выше, чем внизу.

При сильном морозе в тайге космическая тишина. Не слышно ни птиц, ни зверей. И только время от времени далеко разносится треск лопающихся стволов.

Итак, в ту зиму впервые бесконвойно мы жили в тайге. Нас было шестеро в одной палатке. В ней было тепло, потому что обыкновенную брезентовую палатку обкладывают снегом, потом обливают водой, и снег, притертый коркой льда, хорошо держит тепло. Внутри железная печка.

Это была первая зима, когда постоянный лагерный голод остался позади. К обычной своей пайке мы глушили рыбу: взрыв — и рыба вместе с кусками льда разлетается в разные стороны. Кроме того, мы научились ловить полярных куропаток. Бутылкой продавливаешь в снегу лунку и насыпаешь туда брусники или голубики. Куропатка пасется на снегу, заглядывает в лунку, пытается дотянуться до ягод, шлепается туда и замерзает, потому что не может вылететь.

Все было бы хорошо, если б не одно обстоятельство. Я замечаю, что один из заключенных заставляет другого на себя ишачить. То ему чефирь завари, то ему консервы открой, то ему портянки постирай, то ему валенки просуши.

Они были из одного лагеря, и, конечно, эти отношения у них возникли давно. Вероятно, в лагере тот, что пользовался услугами своей шестерки, защищал его от уголовников. Но здесь он в такой защите не нуждался, и видеть вблизи в одной палатке это постоянное холуйство было мучительно.

Звали этого барина Тихон Савельев. Здоровенный верзила с неподвижным взглядом зеленых, почти не мигающих глаз. Он вроде видит тебя и не видит. Взгляд из какого-то другого измерения, очень неприятный взгляд. Кто он был в прошлом, не знаю. Он уже восьмой год сидел за убийство в драке.

А человек, которого он сделал своей шестеркой, звали его Алексей Иванович, в прошлом был директором завода одного из подмосковных городков. Он был лет на двадцать старше Тихона, и потому особенно неприятно было это холуйство.

Если б не бушлат, ватные брюки и валенки, его можно было бы назвать вполне импозантным мужчиной. Он был выше среднего роста, имел красивые правильные черты лица, и только в его больших, голубых, как бы теоретически плачущих глазах застыл тоскливый идиотизм ожидания справедливости.

Он сидел уже по второму сроку с тридцать седьмого года. Какая-то чушь там получилась с его заводской стенгазетой, что-то там не то напечатали. И вот он уже пятнадцать лет писал прошения и горестно недоумевал, почему в его деле не разобрались.

Он престоудшно и охотно о себе рассказывал. Вот несколько случаев из его жизни, которые мне запомнились.

В тридцатые годы молодые рабфаковские инженеры все время что-то изобретали. Он тоже изобретал. Судя по

тому, что он имел несколько патентов, был он инженером не без изобретательской жилки.

Но однажды ему в голову пришла гениальная идея. Он решил изобрести такое магнитное поле, которое во время войны будет отклонять вражеские пули от наших окопов.

Несколько месяцев он не спал по ночам в своей коммуналке, изучая степень отклонения железных предметов, падающих возле магнитной подковы. Он настолько увлекся своим открытием, что жена его стала роптать на то, что он из-за своего магнита совершенно перестал ощущать магнетизм ее собственных чар. Но он мужественно не обращал внимания на ропот жены, потому что хотел сделать нашу армию неуязвимой для вражеских пуль.

О своем открытии он написал в наркомат обороны, и его вызвали туда. И он там заседал с какими-то военными чинами и учеными. Среди ученых был академик, а среди военных присутствовал сам маршал Буденный.

Можно представить, что это было за время, если академик не посмел ему сказать, что он чушью занимается. Доклад его одобрили и рекомендовали продолжать опыты. Он продолжал.

Но однажды в трамвае он оказался рядом с военным, и его осенило спросить, из какого металла делаются пули. Услышав, что из свинца, он похолодел от ужаса. Он знал, что свинец равнодушен к чарам магнита.

Ни жив ни мертв он пришел домой. Он решил, что его вот-вот заберут за обман армии и доверчивого маршала Буденного. Несколько ночей он не спал, а его все не брали. Видя, что его не берут, он пришел в полное отчаяние и написал покаянное письмо в тот же наркомат, указывая, что причина ошибки в его крестьянском малограмотном происхождении, а не во вредительском желании оголеть нашу армию под пулями противника. Как это ни странно — пронесло. Его больше по этому поводу не вызывали.

А вот еще случай из его жизни. Однажды, будучи в Москве в командировке, он влюбился (опять магнетизм) в одну женщину. Тогда он еще не был директором завода. Женщина эта предложила ему перебраться к ней, и он покинул жену, сказав, что по секретному заданию партии на три года отправляется за границу. Почему он был уверен, что будет любить эту женщину ровно три года, аллах его знает.

Через полгода он приехал в деревню навеститься к своим родителям. Входит в дом, а там жена его сидит в горнице. Она, бедняга, соскучившись по нему, решила немного пожить с его родителями. Вот тебе и тайное задание партии! Не помню, что он ей там соврал, но на этот раз жена оторвала его от московской магнитки.

А вот самый удивительный его рассказ. Однажды утром по дороге на завод, проходя мимо какой-то церквушки, Алексей Иванович увидел такое зрелище. Он увидел монаха, который, прикрепив веревку к колокольне и сделав на другом конце петлю, стоял возле табуретки, явно готовясь взобраться на нее.

Что же предпринял представитель самой гуманной идеологии в мире? Он тут же пошел в милицию и сообщил об увиденном. Когда он вместе с милицией приехал на место происшествия, монах мертвый висел в петле.

— Что же вы, Алексей Иванович, — говорю, — сразу же не подошли к нему и не остановили его?

Он подумал, подумал, уставившись на меня своими теоретически плачущими глазами, и сказал:

— Город у нас маленький, Виктор Максимович, а я директор завода. Люди могли неправильно понять, почему я, член партии, общаюсь с монахом.

— А почему вы пошли в милицию?

Он опять подумал, уставившись на меня замороженными глазами, и сказал:

— Надо же было прореагировать.

Значит, какое-то смутное представление об общественном долге у него было: то ли своевольный поступок монаха должен быть наказан, то ли беспорядок в виде трупа, висящего в общественном месте, должен быть устранен.

Я, конечно, вспоминаю с определенным выбором. Он и вполне невинные вещи говорил... Кстати, вот еще один случай из его золотых студенческих лет.

Однажды все студенты его курса ушли с лекции. Деканат начал дознаваться, кто был заводилой. Когда к нему сильно пристали, он назвал студента, который явно не был заводилой, и он об этом знал. Кстати, заводилы вообще могло и не быть.

— Почему же вы его назвали?

— Но они, Виктор Максимович, пристали ко мне: назви да назви. Я понял, что не останут, и назвал.

— А что же он?

— А он — ничего. Только перестал со мной разговаривать до конца института.

Поразительней всего в его рассказах — простодушная откровенность. Идеология — страшная вещь, и мы ее недооцениваем. Обычно мы считаем, что она навалилась и заставила. Правильно — навалилась. Но идеология, разделив людей на исторически полноценных и неполноценных, разрушила в человеке универсальность и цельность нравственного чувства. Его заменяет ничтожный рационалистический расчет, по которому своих следует любить и жалеть, а чужих надо ненавидеть и держать в страхе.

Образно говоря, по идеологии получается, что если рабоче-крестьянская старушка переходит улицу, ей надо

помочь. А если буржуазная старушка переходит улицу, ей нельзя помогать. Но идеологизированный человек, то есть человек с разрушенным нравственным чувством, вообще никакой старушке не будет помогать. И если б его поймали на том, что он не помог перейти дорогу пролетарской старушке, он бы сказал: «Я ей не помог, потому что в тот момент она мне показалась буржуазной старушкой».

Он это мог сказать искренне и неискренне. Неискренний, конечно, циник, он уже понял, что все это игра и эта игра ему выгодна. Искренний страшней, ибо, не понимая, что внутри него разрушено нравственное чувство, и в этом вся суть, он, рационалистически сожалея, что не помог близкой по классу старушке, будет стремиться ввести во все сферы жизни многочисленные знаки, по которым можно отличить своих от чужих. Что и случилось. Отсюда грандиозность бюрократической машины, которая окончательно запутывает вопрос и дает новые многочисленные преимущества циникам и мошенникам.

Думать, как некоторые, что наша идеология, разрушив старую нравственность, создала новую, хотя бы зачаточную, хотя бы частичную, хотя бы для правящей элиты, абсолютно неверно. Нравственное чувство или универсально, или его нет. Простейшее доказательство — безумная жестокость, с которой идеологи расправлялись со своими же соратниками. Сейчас жестокость снизилась, но ровно настолько, насколько снизилась идеологичность. Но я слишком далеко отошел от моего Алексея Ивановича. Я просто хотел понять, почему он в истории с этим монахом поступил столь странно и почему он даже в позднем рассказе не испытывал никакого покаяния.

Так вот, значит, этого самого Алексея Ивановича, командовавшего заводом, пусть небольшим, приспособил к себе этот Тихон. И Алексей Иванович теперь обслуживал его с той же степенью добросовестности, как, вероятно, раньше обслуживал свою идеологию.

И вот хотя я знаю все про него, а все-таки мне его жалко. И видеть его униженным для меня мучительно, и я ничего с собой сделать не могу. А ведь я уже не раз получал за это.

Однажды нас этапом пригнали в один из лагерей. У вахты встречал нас комендант с помощниками. У некоторых в руках дрыны. Все, что поправится из вещей заключенных; тут же отбирают.

Рядом со мной стоял парень лет восемнадцати. Оказывается, у него под бушлатом был надет шерстяной спортивный костюм, который дала ему мать во время свидания. Бушлат у этого парнишки был плохо застегнут; и один из людей коменданта увидел новую шерстяную фуфайку. Хотя заключенным формально и не положено ниче-

го носить, кроме казенной одежды, но тот, конечно, хотел взять ее для себя.

— А ну, сымай! — дернул он его за бушлат.

— Не отдам, это мамин подарок! Это мамина па-
мать! — завопил парнишка.

Что-то во мне перевернулось.

— Оставь парня! — крикнул я и оттолкнул этого мер-
завца.

Как они на меня навалились! Минут пять я еще дер-
жался в глухой защите, а потом рухнул. Оказывается, мне
дрыном проломили череп, и я шесть суток без сознания
пролежал в больнице. Прихожу в себя: злой, как змея.
На весь мир и собственную глупость. На что, на что я на-
деялся, когда пытался его защитить?! Но, слава богу, свет
не без добрых людей. В больнице оказалась чудесная
врачиха. Она не только выходила меня, но я и душой по-
степенно оттаял за месяц выздоровления.

И вот опять чувствую, назревает бешенство, но оста-
новить себя не могу. Однажды утром Алексей Иванович
подает Тихону, который возлежит на нарах напротив меня,
кружку с чефирем. Потом подает ему завтрак. И тут Ти-
хон, поварчивая, что Алексей Иванович сам не может ни
о чем догадаться, велит ему высушить над печкой валенки.

И когда этот бывший директор завода, стоя у печки,
стал сушить ему валенки, я не выдержал. Сидя на нарах,
я ударом ноги выбил у него из рук валенки.

— Если кому надо подсушить валенки, пусть он сам
их и сушит, — сказал я, взглянув на Тихона. Он возле-
жал напротив меня. Тихон, не меняя позы, взглянул на
меня своими зелеными, невидящими глазами.

— А ты, летун, с душком, — сказал он наконец, а че-
рез мгновение добавил, — жалко, что такие в тайге долго
не живут.

— Давай выйдем, — сказал я, — посмотрим, кто дол-
ше проживет.

Я был сейчас готов на все и знал, что таких людей на-
до переламывать сразу. Он снова посмотрел на меня сво-
ими длинноресничными, сонными глазами.

— Нам спешить некуда, — сказал он и, привстав
с нар, стал надевать валенок, упавший возле него. Второй
валенок отлетел ко входу в палатку, и Алексей Иванович
несколько раз посмотрел на меня, потом на Тихона, как
бы не зная, что теперь ему делать. Потом он поднял вто-
рой валенок и поставил его возле Тихона. Тот, не говоря
ни слова, надел его...

...Завывание приближающегося на большой скорости
глиссера прервало рассказ Виктора Максимовича. Метрах
в десяти от нас на глиссере выключили мотор, и он по
инерции прошел рядом с нами. Портовый милиционер
сидел на средней банке.

— Быстро сматывайте удочки, — крикнул он, — греческий пароход идет!

Я вопросительно посмотрел на него, но он взглядом дал знать, что разговоры излишни.

— Быстро! Быстро! — повторил он. Моторист дернул за шнур, и мотор снова взвыл. Наша лодка сильно качнулась от большой волны. Развернувшись на бешеной скорости, глиссер пошел в сторону рыбаков. В открытом море другой глиссер мчался к далеким яхтам. На горизонте висел белый призрак приближающегося судна.

— Пошли к берегу, — сказал Виктор Максимович и стал сматывать леску, — сейчас они море очистят.

Редкие заходы иностранных судов в наш порт всегда сопровождались освобождением поверхности моря от любых плавсредств. Считалось, что таким образом они лишают потенциальных злоумышленников возможности контрабандой перейти на судно или что-то принять от него. Но это абсолютно исключено, потому что и в порту, и поблизости от порта иностранное судно всегда находится под неусыпным дозором пограничников.

Я смотал свою снасть и, сев на весла, стал грести в сторону города. Виктор Максимович, наклонившись, собирал рыбу в целлофановый пакет. Мы поймали килограмма два ставриды. Рыбаки, ловившие рыбу бережнее нас, постепенно расползлись. Одни, как и мы, в сторону города, другие, жившие на Маяке, удалялись в противоположную сторону. Почихивая, глохли и взывали моторы. Те, что были на веслах, взяли за них. Виктор Максимович полулежал на корме, вытянув ноги и упираясь босыми ступнями в банку. Он продолжил свой рассказ:

— ...И вот, значит, с тех пор наступила для меня странная жизнь. Ощущение такое, что рядом с тобой хищник и ты не знаешь, когда и как он на тебя накинется. Иногда мы работаем на одном шурфе, и я стараюсь следить, чтобы он не оказался за моей спиной, особенно если у него в руках кайло.

Иногда мы работаем в разных местах, и тогда я, проходя под обрывистой сопкой, поглядываю, не свалится ли мне на голову обломок скалы. Однажды ночью просыпаюсь и вижу: он, приподнявшись на нарах, смотрит на меня из полутьмы. Что задумал? Что у него под подушкой? Нож? Скоба?

Ладно, думаю, посмотрим, чем это все кончится. Алексей Иванович продолжает подавать ему завтрак в постель и по малейшему знаку заваривает ему чефирь. Но валенки, между прочим, тот уже не просит просушить. Что это означает? Не знаю.

Однажды нам, как обычно, привезли на нартах продукты и ящики с аммонитом. Кстати, мы перевыполняли норму по сдаче золота, и поэтому у нас вдоволь было чаю,

курева, да и спирту перепало. Так вот, выгружаем продукты и ящики с аммонитом. И вдруг Тихон мне говорит:

— А ну, летун, посмотрим, у кого гайка крепче. Давай, кто больше выжмет ящик!

— Хорошо, — говорю, — только ты первый.

Все остановились и смотрят на нас. Все понимали тайный смысл того, что произойдет. От того, кто окажется сильнее, зависит мое будущее.

Ящик с аммонитом весит пятьдесят два килограмма. Он кладет его на грудь и начинает выжимать. Я знаю, что он физически сильнее меня, но у него, как у заядлого чефириста, сердце разболтано. К тому же он не умеет правильно распределять силы. А я, хоть и не занимаюсь специально штангой, но во время боксерских тренировок в спортзале иногда подходил к штанге и знал основные правила.

Пытаясь сохранить силы, он выжимал ящик, не держивая его на груди. Он не понимал, что гораздо правильней после того, как выжал вес, спокойно выдохнуть и с новым вдохом тянуть его с груди. Не сообразуясь с дыханием, он выжал ящик четыре раза. Попробовал в пятый раз, лицо его побагровело, ящик затрясся в руках; которые он так и не смог распрямить. Пришлось поставить его на снег.

Теперь я подошел к ящику. Я взял его на грудь. Выжал. Поставил на грудь. Выдох, и снова, набирая воздух, выжал. Я понимал, что должен его во что бы то ни стало сломать именно сейчас. Я выжал ящик семь раз. Хотел для наглядности преимущества (в два раза!) выжать его восемь раз, но почувствовал, что больше не вытяну, и поставил ящик на снег.

Смотрю на Тихона. Он все еще тяжело дышит. Не может прийти в себя. Теперь его зеленые глаза смотрят не как обычно сквозь меня, а именно на меня. И весь его облик как бы говорит, что хищник смирился.

— Силен, летун, — процедил он нехотя, — а на вид вроде не скажешь.

И с того дня я перестал его опасаться. Я понял, что он смирился. Прошло недели две. В тот день мы втроем, Тихон, Алексей Иванович и я, работали на шурфе на одной из дальних сопки.

Они спустили меня в бадье на дно колодца. Я продолбил кайлом четыре бурки, вставил туда аммонит, воткнул в каждую бурку бикфордов шнур и запалил.

— Тяните! — крикнул я наверх, влезая в бадью. Они стали поднимать меня и вдруг метрах в восьми от дна колодца бадья остановилась. Я не понял, в чем дело.

— Тяните! — крикнул я еще раз.

— Можешь помолиться, — вдруг слышу спокойный голос Тихона. Он склонился над шурфом.

Я похолодел. Через две минуты аммонит взорвется и от меня ничего не останется.

— Тяните! Тяните! — заорал я в ужасе и одновременно ненавидя себя за то, что в моем голосе дрожала мольба.

— Еще сто секунд покричишь, — спокойно сказал Тихон сверху.

И тут я мгновенно взял себя в руки и принял единственное решение. Держась руками за трос, я осторожно становлюсь на край бадьи и спрыгиваю вниз, стараясь на лету не задеть стенки колодца и вовремя спружинить ногами. Я удачно приземлился, не вывихнув себе ног. Сказался опыт прыжков с парашютом. Я загасил бикфордов шнур. Пьянящая радость спасения и одновременно буйная ярость душат меня. Идиот! Как я мог поверить в его смирение! А они молчат, не поймут, куда делся взрыв. Они, конечно, не совсем точно рассчитали, но и слишком высоко подымать меня не имело смысла, взрыв мог не достать.

Вижу, кто-то наклоняется над колодцем шурфа, и раздается унылый голос Алексея Ивановича:

— Вы живы?

Эта осторожная вежливость в обращении с возможным трупом меня почему-то безумно смешит.

— Нет, — кричу ему, — я с того света! Тут один монах тебя спрашивает! Опускайте бадью, гады!

Прошло несколько минут, видно, они о чем-то переговаривали, и бадья пошла вниз. Я сел в нее, сжав в руке кайло. Ярость душила меня. Я знал, что драка будет смертельная. Я был готов на все. Бадья поднялась над колодцем. Вижу — Алексей Иванович стоит с одной стороны воротка, Тихон с другой. Алексей Иванович смущенно поглядывает на меня, словно хочет сказать: мол, что я мог поделаться, хозяин велел. А Тихон несколько не смущен, смотрит с кривой ухмылкой, мол, будешь теперь знать, как со мной связываться. У него в руке не было даже кайла. Значит, он был уверен, что раздавил меня страхом. Я вспомнил свой голос, умоляющий опустить бадью, и совсем взбесился. Я бросил кайло, выпрыгнул на снег, и мы сцепились.

Он, конечно, был сильнее меня, но на моей стороне был неистовый напор, и первые несколько минут я уравновешивал его силу своей яростью. Но эта же слепящая ярость помешала мне в первые секунды свалить его точным ударом, а потом, пропустив эти секунды, я уже никак не мог отцепиться от него, чтобы нанести хороший удар. Но минут через пять, а мороз дикий, градусов сорок, он стал задыхаться, ослаб. Я отодрался от него и сильным ударом свалил его с ног. Он упал и потерял сознание. Но ярость все еще клокотала во мне. Мне хотелось покончить с ним навсегда!

Я схватил его за шиворот и поволок к старому отработанному шурфу, чтобы сбросить его туда. Здесь в тайге наша жизнь и смерть — копейка. Никто особенно не будет дознаваться. Начефирился, скажу, и оступился в колодец. Отчетливо помню, что, пока я его волок, и это мелькнуло у меня в голове.

Я уже был в десяти метрах от шурфа, когда он вдруг ожил и схватил меня за ноги. Я остановился и посмотрел на него. Все еще держа меня за ноги, в каком-то полубессознательном состоянии, он подкарабкался к моим ногам, прильнул к ним, прижавшись обессиленным телом, приютился.

Что-то пронзило мне душу. Я очнулся. Казалось, тело его, прижавшись к моему телу, просит о пощаде. Не меня просит, на мое сознание оно уже не рассчитывало, а мое тело просит. Тело просило тело! И эта странность, которую я сейчас расшифровываю, но тогда почувствовал, потрясла меня.

Я оттолкнулся от него, и он повалился на снег. Стараясь отдышаться, я стоял, ничего не видя вокруг.

— Виктор Максимович! Виктор Максимович! — донесся до меня голос Алексея Ивановича. Он тряс меня за плечо. Я посмотрел на него. Он протягивал мне мою ушанку.

— Наденьте, замерзнете! — сказал он. Приходя в себя, я взял у него ушанку и надел ее на голову.

Я посмотрел на Тихона. Он сейчас уже сидел на снегу, на голове у него тоже не было ушанки и один валенок соскочил с ноги, когда я его волок к шурфу.

— Принеси ему валенок и ушанку, — кивнул я Алексею Ивановичу.

— Ему? — удивленно переспросил он.

— А кому же еще, болван! — прикрикнул я на него.

Услышав мой окрик, он заторопился, подхватил валенок, нашел ушанку и, подойдя к Тихону, кинул ему то и другое. Тихон надел ушанку и, время от времени выплевывая кровь изо рта, натянул на ногу валенок. Кстати, мне тоже порядочно досталось, один глаз у меня оплыл.

Я не стал упрекать Алексея Ивановича за то, что он принимал участие в попытке убить меня. Как-то все отошло. Я устал. Алексей Иванович развел костер, мы погрелись и выпили с Тихоном по кружке чефирия, приготовленного 'Алексеем Ивановичем. Сам он выпил обыкновенный чай. Чефирь он не пил. Берег здоровье. Как следует отдохнув и согревшись, мы снова принялись за работу.

На следующее утро я проснулся оттого, что меня кто-то тормозил.

— Виктор Максимович! — услышал я вкрадчивый голос Алексея Ивановича.

— А я вам, Виктор Максимович, чефирек приготовил, — говорит он родственным голосом.

— Зачем, — говорю, — разве я вас просил?

— Для бодрости, — сказал он, слегка опешив, — я думал, вам захочется.

— Если мне захочется выпить чефирь, — говорю ему как можно внятней, — я сам себе его заварю.

Он смотрит на меня теперь уже в недоумении плачущими глазами, словно вопрошая: разве теперь не вы хозяин? Ну, что ты ему скажешь! А вся палатка проснулась и слушает нас. Уже все знали, что было вчера в тайге. И Тихон, приподнявшись с нар, смотрит в нашу сторону своими зелеными и теперь уже отчасти невидящими глазами.

— Так что же мне, вылить его? — наконец спрашивает у меня Алексей Иванович.

— Хотите, вылейте, — говорю, — хотите, отдайте тому, кому отдавали.

Он подумал, подумал и поднес кружку Тихону. Тихон с достоинством принял кружку и стал прихлебывать чефирь, поглядывая на меня с видом человека, который потому-то и смотрел сквозь меня, что знал о жизни нечто такое, чего не знаю я.

И я вдруг понял, что те отношения, которые сложились между Тихоном и Алексеем Ивановичем и которые я пытался разрушить, приятны и желательны обоим. Именно обоим. И напрасно я вмешался в эту холопскую идиллию.

Но и видеть их я больше не мог. В тот же день я попросил бригадира перевести меня куда-нибудь подальше. Меня перевели к другим золотоискателям, работавшим в пяти километрах от этого распадка. Больше мы практически не встречались. Но случай этот врезался в память на всю жизнь. Как сказал мой поэт:

То, что было пережито,
Жито, жатва на века.
Пережито, значит, жито,
Перемелется — мука.

Я много думал об Алексее Ивановиче. Не будем все сваливать на идеологию. Предрасположенность к дурной гибкости, к рабскому артистизму тоже была. Это облегчило безумную рокировку... Кстати, бери мористей, пристань...

Заслушавшись Виктора Максимовича, я слишком близко подошел к ней. Я налег на правое весло и обогнул ее. Обычно там, свесив ноги, часами сидят рыбаки-любители и ловят кефаль на хлебную наживку. Сейчас милиционер гнал их оттуда. Рыбаки, слегка огрызаясь, неохотно сворачивали снасти.

— Греческий пароход, — долетел властный голос милиционера.

Устье Беследки, где находились лодочные причалы, было запружено лодками, скутерами, байдарками и яхтами с погасшими парусами. Яхтсмены, спрыгивая за борт, заталкивали в речку свои яхты. Смех, шум, крики:

— Быстрее, быстрее, греческий пароход!

Все так спешили, правда, подгоняемые дежурным причала, словно этот греческий пароход собирался войти в нашу речушку и тогда, того и гляди, подомнет все эти хрупкие суденышки.

Я вошел в речку, подошел к своему месту на причале и привязал лодку. Я убрал весла и спрятал снасти. Мы приоделись, Виктор Максимович подхватил целлофановый пакет с рыбой, и мы вышли на берег.

Я уговорил Виктора Максимовича попытаться пройти на пристань, выпить там в кофейне по кофе и под этим хитрым предлогом полюбоваться вблизи греческим пароходом и его обитателями.

Мы вышли на приморское прадо, по которому обычно гуляют нарядные курортники и местные пижоны. В самом начале улицы у разрытого асфальта стояли два человека и смотрели в дыру, откуда доносились голоса. Виктор Максимович почему-то заинтересовался тем, что происходит под разрытым асфальтом. Возможно, после колымских шурфов дыры в земле не давали ему покоя.

Оказалось, что два инженера наблюдают за работой двух рабочих, возившихся внизу с трубами теплоцентрали. Соотношение сил, характерное для развитого социализма. Один инженер за двумя рабочими, конечно, не углядит.

Инженеры были в свежих рубашках, в галстуках и строго отутюженных брюках. Так что со стороны можно было подумать, что это дефилирующие пижоны случайно остановились поглазеть на подземные работы. Думаю, что сами инженеры тоже не были чужды такой сверхзадаче. Они были местного происхождения. По выговору я понял, что один из них мингрелец, а другой абхазец. Рабочие были русскими. Они переговаривались с инженерами, и голоса их были совершенно несоразмерны глубине траншеи. Инженеры показались мне трезвыми и глуповатыми. Рабочие были пьяными и хитроватыми.

Виктор Максимович вдруг заметил, что резиновая прокладка, которой пользуются рабочие, соединяя трубы, не годится. Горячая вода ее быстро разъест, и трубу обязательно разорвет.

— Нужна паранитовая прокладка, — сказал всезнающий Виктор Максимович, — у меня дома она есть. Могу привезти.

— Без тебя знаем, — сказал один из инженеров, — иди своей дорогой.

По-моему, он не знал, что та прокладка, которой они пользуются, непригодна, и был профессионально уязвлен.

А Виктор Максимович, не понимая этого, продолжал настаивать, чтобы они приостановили работу, а он съездит домой за паранитом. Видимо, материалом этим он запасся для своего махолета.

— А этот фраер в нашем деле кумекает, — сказал один из рабочих и, приподняв чумазое лицо, посмотрел на нас с шельмовским весельем.

— Строит из себя, — сумрачно заметил другой, не подымая головы, — я бы таких давил...

Ясно было, что они пили независимо друг от друга. Вернее, до того, как они выпили вместе, они еще пили отдельно, при этом время и количество предыдущей выпивки явно не совпадало. Возможны и другие варианты. Но разбор их дал бы повод какому-нибудь психоаналитику обернуть этот анализ против меня. Просто я хотел сказать, что первый рабочий был на вершине кейфа, а второй уже входил в тоннель похмельного мрака.

Виктор Максимович продолжал настаивать на своем, и тут оба инженера взорвались и, громко ругаясь, стали с угрожающей злостью подступаться к моему другу. Виктор Максимович мгновенно подобрался, он даже слегка наклонился вперед, и на скулах его обозначились желваки.

Я кинулся между ними, одновременно пуская в ход абхазский язык. Я давно заметил, что если наш кавказец, пользуясь русским языком, входит в раж, его можно осадить неожиданным переходом на его родной язык. Эффект внезапного появления патриарха. Абхазец растерялся и замолк, а второй инженер с дружественной деловитостью приценился к рыбе, которую держал в руке Виктор Максимович.

— Если все делать по правилам, — уже мирно заметил абхазец, однако, на родном языке, — нас слишком далеко запесет...

Он как бы намекал на опасность приближения к истокам хаоса. Мы пошли дальше. Я подумал, что инженеры, вероятно, не такие уж глупые. Может, и рабочие не такие уж пьяные? Одним словом, хорошо, что все обошлось.

Забегая вперед, должен заметить, хотя это и вносит в наш рассказ некоторый резонерский оттенок, что Виктор Максимович оказался абсолютно прав. Через год трубу прорвало. Мой товарищ, живший за два дома от того места, случайно все видел в окно. Первая струя, пробив асфальт, выфонтанила на высоту двухэтажного дома.

Но тогда я еле сдерживал смех, вспоминая бурное столкновение инженеров с Виктором Максимовичем. Особенно смешно было, что оба инженера, перебивая друг друга, называли его пьяницей. Можно было подумать, что вид пьющего человека им так уж невыносим.

— За что они вас пьяницей называли, — спросил я у погрустневшего Виктора Максимовича, — может, они вас видели пьяным?

— Нет, конечно, — сказал он и, пожав плечами, добавил, — видят русский, значит, пьяница.

Мы подошли к пристани. Теплоход уже причалил. У входа на пристань стоял знакомый милиционер. При виде меня он тут же дал знать выражением своего лица, что никогда не придавал большого значения нашему знакомству.

— Кофе пить, — сказал я, якобы не замечая греческий теплоход.

— Нельзя, — сказал он миролюбиво.

— Почему? — удивился я, как человек, совершенно далекий от всякой политики.

— Греческий пароход, — важно заметил милиционер.

Собственно, осматривать его было даже незачем. И отсюда все было видно. Он был похож на обычный наш теплоход, и только труба у него была горбатая, как греческий нос.

Дуга залива, еще два часа назад расцвеченная яхтами и лодками, была пуста. Залив был приведен в состояние идейной чистоты. То, что на туристов Средиземноморья столь пустынная бухта произведет малоприятное впечатление, никого не интересовало.

Мы зашли в открытый ресторан «Нарты». Я отдал нашу рыбу повару, чтобы он ее нам поджарил. Повар охотно согласился, потому что обычно в таких случаях половину улова он забирает себе. Нас это вполне устраивало.

— Поддержим вашу репутацию? — спросил я у Виктора Максимовича.

— Поддержим, — согласился он.

Мы сели за свободный столик. Подошла официантка. Я ей заказал два кофе по-турецки и две бутылки легкого вина «Псоу». Официантка радостно взглянула на Виктора Максимовича, но он этого не заметил. Кажется, он еще доедал с инженерами. Официантка вздохнула и пошла.

— Потом принесите из кухни жареную рыбу, — сказал я ей вдогон.

— Сама знаю, — ответила она, не оборачиваясь, и пошла за кофе.

Было приятно, что она видела, как я с рыбой прошел на кухню. Было приятно думать, что она слегка влюблена в Виктора Максимовича. Было приятно сидеть с ним за чистым столиком под открытым небом. Было приятно ожидать кофе, легкое вино «Псоу», ожидать свежую жареную ставриду. Было вообще приятно. Такие минуты не забываются, и лучше кончить на этом.

Идеалист

(Рассказ Виктора Максимовича)

Некогда я дружил с одним молодым ученым. Он и сейчас работает в одном из научно-исследовательских институтов нашего города, поэтому имени его я не буду называть. Такова история, что имен не будет.

Познакомились мы с ним на рыбалке, понравились друг другу и стали встречаться примерно раз в неделю. Обычно мы выходили рыбачить на моей лодке, а потом сидели у меня в саду или в зимнее время дома за бутылкой вина или чаи.

Поверь моему вкусу, это был редчайшей душевной тонкости человек. Коллеги его, которые, кстати, и познакомили меня с ним, говорили, что он первоклассный биолог, гордость института. Но он тогда был всего лишь кандидатом наук. Однажды, когда я спросил у него, почему он не готовит докторскую диссертацию, он мне ответил:

— Пришлось отдать ее шефу. Я ведь занимаюсь своим любимым делом. А каково ему, бедняге?

И расхохотался! Никогда, ни до, ни после него, я не видел человека, который бы так самозабвенно смеялся. Умея, как никто, замечать в себе, в людях, в событиях окружающей жизни смешные, парадоксальные черты, он в то же время отличался феноменальной доверчивостью. Вариант лжи или вариант зла просто ему никогда не приходил в голову.

Вот пример. Однажды, когда мы рыбачили недалеко от загородного пляжа, он, кивнув на берег, сказал:

— В юности ребята часто мне говорили, что лучший способ познакомиться с девушкой — это взять лодку на прокатной станции, подойти к пляжу, и обязательно какая-нибудь девушка, купающаяся поблизости, попросится в лодку. Ты ей помогаешь перелезть через борт, катаешь, и, пожалуйста, у тебя появляется романтическая подружка.

И вот, поверьте мне, я за одно лето примерно пятьдесят раз брал лодку, подходил к пляжу, и ни разу хотя бы мало-мальски приличная девушка не попросилась ко мне в лодку. Пару раз просились, но это были такие крокодилы в своей надводной части, что знакомиться с их подводной частью просто было боязно. И я до сих пор не могу понять, почему я, ни в чем не уступая нашим ребятам, каждый раз терпел крах. Можете вы мне ответить?

А я ему отвечаю, как в анекдоте:

— А что тебе мешало рассказывать своим приятелям, каких очаровательных девушек ты катал в своей лодке?

— Как?! Как?! — переспросил он у меня и, бросив весла, принялся хохотать: — Почему же мне это ни разу не пришло в голову!

Я часто думал о природе его необыкновенной доверчивости, но до конца ее не мог понять. Что это — львиная храбрость духа, который не боится ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов? Считаю, что было и это.

Обаяние природы щедрой, доброй, никогда не стремящейся выскочить вперед и отцапать побольше у жизни и потому не наживающей себе врагов? Думаю, отчасти и это.

Семья? Отец и мать, простые педагоги, правда, не знали ни тридцать седьмого года, ни других потерь.

Мы несколько раз с ним обсуждали проблему его патологической доверчивости, и он, смеясь, так объяснял ее механизм:

— Если мне говорят о человеке, который никогда в жизни не пил, что он пьяный валяется на улице, я эту информацию мгновенно обрабатываю так: он никогда не пил. Не умея пить, первый раз выпил и именно поэтому валяется на улице.

Разумеется, бывали люди, которые его обманывали или подводили с низкими, корыстными целями. И он убеждался в этом. К таким людям он потом испытывал хроническое отвращение. Насколько я знаю, он никогда никому не мстил, но прощения им не было во веки веков. Это была какая-то музыкальная злопамятность.

Однажды в одной компании речь зашла об одном известном в городе человеке, который почти насильно заперел свою мать в дом для престарелых.

— А что вы удивляетесь, — сказал мой друг, — я с ним учился в школе. Этот негодий в седьмом классе бросил кошку с третьего этажа.

Приходя ко мне, он обычно рассказывал забавные истории о самом себе и своих коллегах-чудаках, о должниках, он одалживал деньги направо и налево, об одном нищем, с которым у него был прямо-таки многолетний роман, и особенно много он рассказывал о своем профсоюзном боссе.

Вот что он однажды рассказал о себе:

— Недавно один мой коллега попросил помочь ему и поковыряться в его теме. Мы работаем в одной области. Ну, я поковырялся, поковырялся и неожиданно сделал два маленьких открытия, громко выражаясь. Одно поинтересней, другое попроще. Теперь как быть? Отдать ему или взять себе? С одной стороны, находки мои. С другой стороны, не попроси он поковыряться в своей теме, я бы их не сделал.

Я проявил благородство второго сорта. Одну находку взял себе, а другую отдал ему. Но так как благородство мое было второго сорта, я вознаградил себя находкой, что была попроще. Справедливо?

Хохочет и добавляет:

— В таком случае, может быть, я проявил благородство первого сорта? Тогда почему же я не отдал ему обе находки?

А вот несколько историй из его бесчисленных рассказов о своем профсоюзном боссе. Он к нему относился, как к любопытнейшему насекомому с новыми мутационными признаками.

Однажды в одном районном городе мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофер уже закрыл дверь, когда он заметил в толпе людей, стремившихся сесть в этот же автобус, своего профсоюзного босса. Тот, потрясая высоко поднятым портфелем, через стекло давал знать шоферу, что важность содержимого портфеля требует его немедленной доставки по месту назначения вместе с владельцем портфеля.

Шофер некоторое время держался, а потом дрогнуло его сердце, скорее всего не под влиянием портфеля, а под влиянием толпы, и он открыл дверь, куда хлынули люди. Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать шофера, что тот впускает людей в переполненный автобус.

— Классический пример разорванности сознания, — хохоча, заключил он свой рассказ.

Это была его любимая тема. Я помню блистательный каскад его рассуждений о потере цельности, о драме разорванности сознания современного человека. Именно эти его рассуждения мне так понравились, что я сблизился, а потом подружился с ним.

Однажды, после командировки в Москву, он пришел ко мне и рассказал:

— Слушайте, что учудил наш профсоюзный босс! Перед моей поездкой в командировку он зашел в лабораторию и попросил, чтобы я его завтра утром подкинул на своей машине до аэропорта. Я ему сказал, что я этого сделать не могу, потому что сам завтра утром улетаю в Москву и в аэропорт поеду на автобусе. А он мне на это отвечает: «Ну и что? Ты меня подкинь на своей машине, приезжай домой, оставь машину и поезжай в автобусе».

Ну, не прелесть ли этот человек? Так и не понял, почему я его не повез на своей машине.

А вот еще один случай с этим неисчерпаемым боссом. Мой друг узнал, что их профсоюзная организация имеет одну путевку в санаторий, куда очень стремилась попасть его жена. Он зашел в его кабинет, где сидело еще несколько членов профкома, и стал просить у него путевку.

Босс сказал ему, что он не может дать ее, потому что она нужна ему самому. Некоторое время они спорили, стараясь доказать друг другу, кому нужней эта путевка. Наконец, исчерпав все аргументы, мой друг сказал ему:

— Ты ведь коммунист, а я нет. Вот ты и прояви бóльшую сознательность.

В ответ на его слова раздался гомерический хохот всех членов профкома во главе с боссом. Впрочем, через несколько мгновений мой друг сам присоединился к общему хохоту. Члены профкома во главе с боссом с удовольствием посмеялись его словам, но путевки все-таки так и не дали.

— Юмор моего замечания заключался в том, — пояснил он свои слова, — что я как-то забыл, что они об этом давно забыли. А они смеялись потому, что были уверены, что все помнят, что они об этом давно забыли, и вдруг выискался такой чудак.

О нищем, считавшем себя самым интеллигентным нищим города и потому сидевшем возле их научно-исследовательского института, он рассказывал множество историй.

— Познакомились мы, — вспоминал он, — таким образом. Как-то я прохожу мимо него, а он окликает меня: «Гражданин, стойте!»

Я останавливаюсь и вижу, он мне протягивает пуговицу и говорит: «Три дня назад вы мне бросили в шапку эту пуговицу. Если это по научной рассеянности — можете исправить ошибку. А если вы считаете, что я коллекционирую пуговицы, то вы глубоко заблуждаетесь».

И в самом деле это была пуговица от моего пиджака. Я все забывал жене сказать, чтобы она ее пришила. Представляете, какой наблюдательный! Я сыпанул ему мелочь из кармана, и так мы познакомились.

В другой раз утром иду в институт, что со мной случается крайне редко, прохожу возле него и вижу — солидная горсть мелочи лежит у него в шапке.

Я кладу пару монеток ему в шапку и говорю:

— Неплохой урожай с утра.

— Нет, — отвечает он, — это я сам насыпал для возбуждения милосердия клиентов через мнимое милосердие других.

Какой психолог! Я его просто расцеловал.

А вот о чудеке.

— Есть у нас в институте один профессор. Невероятный чудак. Однажды он уговорил меня подняться на ледник Бибисцкали. Ну, вы же знаете, Виктор Максимович, что я терпеть не могу все эти пешие походы с ночевками в дурацких мешках. Но он с упрямством, свойственным пламенным чудакам, затащил меня на этот ледник.

Ну, ледник как ледник, похож на самого себя. Идем обратно. Примерно через час мой спутник вдруг садится на камень и объявляет, что дальше не пойдет, потому что голоден. А у нас никаких припасов и впереди пятичасовой путь. Представляете? Сам же меня втравил в эту вылазку

и сам же заапризничал. Я с величайшим трудом уговорил его идти дальше. Идем. Но он продолжает ныть, что хочешь кушать, угрожая снова сесте и больше не встать.

Вдруг недалеко от тропы мелькнули пастушеские шалаши грузинских пастухов. Мой профессор ожил.

— Сейчас, — говорит, потирая руки, — попросим у них свежего творога и сыру!

— Как же мы у них попросим, — отвечаю, — когда они ни слова не понимают по-русски!

— А я с ними по-немецки буду говорить! — уверенно отвечает он.

— Да по-немецки, — говорю, — они тем более не понимают!

— Как же не понимают? — удивляется он. — Я, например, был в Чехословакии и там с простыми людьми объяснялся по-немецки.

Ну, что ты ему скажешь? Подходим к пастухам. Он бодро заговаривает с ними по-немецки, и они, вежливо кивая, выслушивают его. Как только он замолк, они, разумеется, поняв его по жестам, которыми он сопровождал свою речь, вынесли нам из шалаша по большому куску сыра и по миске с кислым молоком.

— Вот видишь! — подмигивает он мне, уплетая сыр и запивая его кислым молоком. — Я же тебе сказал, что простые люди прекрасно понимают по-немецки. Правда, они простоквашу спутали с творогом, но это даже лучше!

Хитрец, хитрец! Сначала-то он вполне искренне сказал, что будет с пастухами говорить по-немецки, а потом уже, переигрывая образ, сделал вид, что с самого начала шутил! Это тем более точно, что он, кроме как в Чехословакии, ни в одной стране не бывал!

А вот об одном из должников.

— Подходит ко мне, — рассказывает он, — один наш сотрудник и просит меня одолжить деньги, если не сейчас, то хотя бы в конце месяца. Я ему говорю, что в ближайшее время не получится, потому что не предвидятся свободные деньги.

— Как же не предвидятся, — возражает он и, присев к моему столу, берет бумагу, ручку и подсчитывает мои предстоящие доходы: зарплату, премиальные и гонорар за статью, о которой я сам забыл.

— И ты ему дал? — спрашиваю я.

— Пришлось дать, — хохочет в ответ, — он правильно подсчитал мои доходы!

— Не слишком ли ты небрежно раздаешь деньги? — спросил я у него однажды.

— Нет, — сказал он, — за последние семь-восемь лет я раз сто одалживал людям деньги и только в трех случаях мне их не возвратили. Доверие к человеческой порядочности можно считать экспериментально оправданным.

— А как жена, не контролирует твои доходы?

— Нет, — говорит, — жена у меня молодчина. Она выше этих мелочей.

Иногда после рыбалки на берегу собирались вместе с нами рыбаки-любители. Готовили уху, пили водку, рассказывали всякие житейские истории. Среди этих рыбаков-любителей попадались отставники, причем самого широкого профиля. Мой молодой друг, совершенно невоздержанный на язык, начинал в их присутствии обсуждать проблемы, которые не принято обсуждать с малознакомыми людьми. Тем более с отставниками самого широкого профиля. Я, слава богу, битый волк, несколько раз предупредал его, но он отмахивался, говоря:

— Миф о стукачах создан людьми, испытывающими острую нехватку в стукачах!

Он и этих отставников умел обаять, выживая у них всякие интересные истории. Один из них однажды рассказал о своей встрече с Троцким.

Во время гражданской войны он был рядовым бойцом. В тот день они трижды неудачно атаковали вокзал одного городка, где засели белогвардейцы. Полуголодные, озлобленные потерями, бойцы отошли на свои позиции, и тут появился на своем броневике Троцкий. Выйдя на броневик, он стал произносить речь, но сначала его не только не слушали, но и громко матюгались в его адрес.

Минут двадцать он говорил почти в полной пустоте, а потом постепенно к броневикам стали стягиваться бойцы, а часа через два он так раззадорил всех своей неистовой речью, что бойцы вслед за броневиком ринулись в атаку и захватили вокзал.

— Прямо так вместе с броневиком захватили вокзал? — спросил мой друг.

— Нет, — пояснил рассказчик, — броневик по дороге свернул, но мы захватили вокзал.

— Я так и думал! — захохотал мой друг, обнимая и целуя отставника.

Но больше всего я любил наши встречи вдвоем после рыбалки. О чем только мы не говорили за бутылкой хорошей «Изабеллы» или чачи.

Сколько же он успел перечитать и передумать в свои тридцать четыре года!

Мы говорили о Средиземноморье как об истинной духовной родине русских, закрепленной в творчестве Пушкина. (— Вы варяг, Виктор Максимович, кричал он, — у вас жесткая душа воина, но если вы способны защищать наши нежные души — князьте! — и откидывался в хохоте), о национальной драме русского человека, его культурной неукорененности по сравнению с европейцем (чуждость вольтеровскому: каждый — свой виноградник), о трагедии огромных растекающихся пространств, которые всег-

да объективно приводили к непомерному сжиманию обручей государственности, что закрепляло в русском человеке психологию перекасти-поля, благо было куда катиться, о способах преодоления этой психологии, об интуиции Столыпина, о золотом сне Новгорода, о сочинениях Платона («Апологию Сократа» он знал наизусть от первой до последней строчки), о влиянии мутагенных веществ на наследственные процессы, о низменных тенденциях искусства двадцатого века, его тайном рабстве в служении дурному своеволию под видом абсолютной свободы и о многом другом.

Как же я любил его в эти часы, как хорошело его лицо, когда он, подхваченный вдохновением, развивал только что тут же родившуюся мысль! Нет, думал я, не может согнуться страна, в которой уже есть такие люди! Конечно, ощущение его душевной незащищенности порождало во мне некоторую тревогу, но и эта черта его была обаятельна. Да, это был один из тех редчайших людей, которые в клетку с человеком всегда входят без оружия!

Единственное, что мне в нем не нравилось, это его абсолютная неспортивность. Высокый, немного нескладный, он отличался некоторой нескоординированностью движений, свойственной людям такого рода. Конечно, раз в неделю, когда мы выходили в море, я сажал его на весла, но и тут он пытался всячески отлынивать.

Вот что он однажды ответил на мои упреки по этому поводу:

— Да, я питаю отвращение ко всякому физическому действию. Мне легче выучить новый язык, чем по утрам полчаса размахивать руками. Недавно я даже сконфузился из-за этого. Стоя в очереди в кофейне, я вынул из кармана мелочь и уронил пятак. Мне неохота было нагибаться, я же длинный, нерентабельно — и я не поднял монету. Оказывается, за мной стоял какой-то местный старичок. Он все видел, минуты две терпел, а потом как понес меня: приезжают тут всякие, сорят деньгами, взвинчивают цены на базаре, жить невозможно.

— Дедушка, — говорю, — я местный, хоть и русский.

— Нет, — говорит, — какой ты местный, я всех местных знаю.

И опять ругаться. А ведь он прав. Нельзя было оскорблять взгляд бедного человека такой пижонской сценой.

А все из-за моего отвращения ко всякому физическому труду. Для меня ввинчивать лампочку в патрон все равно что выполнять ритуал чуждой мне веры. А они, проклятые, перегорают с быстротой спички. А вбивать гвозди в стены? Что за унылое занятие! Как сказал, кажется, Олеша: вещи не любят меня. Добавлю к этому — и я не люблю вещи. Зато идеи любят меня, и я люблю

идеи. Человеку свойственно обращаться к тому, что его любит...

— Не слишком ли ты много ищачишь на своих коллег, — спросил я его тогда, — со своей взаимной любовью к идеям?

Он пожал плечами:

— Человек знакомит меня со своей работой. Я ему говорю, если что-то плодотворное приходит мне в голову... Это в порядке вещей... Конечно, надо рациональней дозировать свое время.

Единственное, в чем он терял чувство такта, это в разговорах о своей жене. То, что он ее очень любит, это было ясно и так, хотя он об этом никогда не говорил. Но проскальзывали какие-то мелочи, которые неприятно царапали слух, тем более, что они исходили от него, столь тонкого во всем остальном человека. Например, пойманную рыбу он никогда не брал домой.

— Жена не любит возиться с рыбой, — говорил он.

И, наоборот, если я коптил пойманную ставриду, он охотно брал ее домой.

— Жена обожает копченую ставриду, — говорил он.

Иногда он жаловался, что жена его сильно переутомляется. Я знал, что она нигде не работает и у них единственный десятилетний мальчик. В таких случаях он отправлял ее к матери в Москву или в какой-нибудь санаторий. Мальчик в это время переходил жить к его родителям.

— Отчего это она у тебя переутомляется? — спросил я у него однажды, сдерживая раздражение.

Он что-то такое начал бормотать об ее ужасном детстве, психопатическом отце, который угнетал семью, пока не покинул ее и не завел новую.

Одним словом, то ли из-за этих, правда, достаточно редких напоминаний о его жене, то ли по каким-то другим причинам я избегал бывать у него дома, хотя он несколько раз приглашал меня к себе.

Так длилось примерно два года. И вот однажды он пригласил меня на праздничный банкет в институтский клуб. Лаборатория, в которой он работал, получила премию Академии наук, и банкет должен был состояться по этому случаю. Я пытался отказаться, но тут он очень настаивал, говорил, что, в сущности, это его личный праздник и он обязательно хочет, чтобы я там был.

Я согласился, и мы договорились в восемь часов вечера встретиться в вестибюле клуба. Подойдя ко входу, я заметил женщину, стоявшую с той стороны и глядевшую наружу через стеклянную дверь. Наши взгляды встретились, и что-то неприятное заставило меня оцепенеть на несколько секунд, и эти несколько секунд мы смотрели друг на друга с какой-то тяжелой взаимной неприязнью.

Я никак не мог понять — откуда эта неприязнь и почему она взаимная. Я открыл вторую створку двери, прошел мимо этой женщины, неприятное ощущение улетучилось, и минут через десять я нашел своего друга, который бросился мне навстречу.

— Сейчас я познакомлю тебя со своей женой, — сказал он и подвел меня именно к этой женщине.

Мы познакомились. Это была немного полная, но довольно стройная тридцатилетняя женщина с красивым лицом, тяжеловатым взглядом больших, выразительных глаз, с хорошо очерченными губами, с тяжелым темным пучком волос на затылке.

Теперь, глядя на нее, я понял, что где-то видел ее раньше, и то, что я ее видел где-то, внушало мне неприятное чувство. Более того, по ее взгляду я понял, что и она где-то меня видела, но не может вспомнить где, и то, что она меня видела, внушает ей тоже тревожное, неприятное чувство.

— Ну что, красавица у меня жена? — спросил мой друг, улыбаясь и, видимо, воспринимая некоторую мою сдержанность как результат слишком сильного впечатления. Он взял нас обоих под руки, и мы отправились в помещение, отведенное под банкетный зал, который уже заполнялся шумной, веселой толпой.

Мой друг посадил нас рядом, но она вдруг закапризничала, ссылаясь на свет люстры, якобы бьющий в глаза, и пересела на ту сторону стола. Там еще было несколько пустых мест.

Мой друг слегка засуетился, хотел перетащить и меня на ту сторону, но я остался, потому что понял, почему она решила сидеть напротив. Так ей удобней было смотреть на меня и вспоминать, где она меня видела. И мне так удобней было смотреть на нее и вспоминать, где я ее видел.

Банкет после двух-трех чопорных тостов институтского начальства, словно облегченно вздохнув, зароился весельем. Время от времени к моему другу подходили коллеги, чтобы лично с ним чокнуться и сказать ему несколько дружеских слов. Я видел, что его в самом деле любят, и радовался за него. Он и сам радовался за себя, был счастлив и с явно преувеличенной добросовестностью выпивал с каждым из них.

А между тем я время от времени бросал взгляд на его жену, и меня не оставляло ощущение, что где-то я ее видел и видел нехорошо. Она тоже время от времени взглядывала на меня с выражением туповатой тревоги, и я чувствовал, что и она пытается меня вспомнить и никак не может это сделать.

Кстати, ее отвлекали те, что подходили чокаться с мужем, они и ее поздравляли, и она им благосклонно улы-

балась, едва пригубляя свой бокал. При этом выражением лица она показывала, что дар ее мужа имеет и нелегкую сторону, но она, как и положено настоящей жене, безропотно несет свою ношу.

Время от времени мы продолжали поглядывать друг на друга. Я чувствовал, что между нами уже идет незримая борьба: кто быстрее вспомнит, где и почему мы встречались. Казалось, от этого зависит что-то очень важное, казалось, что если она быстрее вспомнит, где мы встречались, у нее еще будет время стереть следы этой встречи, перечеркнуть их.

И вдруг я совершенно отчетливо, как будто в голове вспыхнула лампочка, вспомнил ее. Ровно пять лет тому назад я жил в московской гостинице. Однажды ко мне пришел один мой бывший сокамерник со своей приятельницей, как он ее мне представил. Это была она!

Мой бывший сокамерник был, что называется, интересный мужчина и, выйдя на свободу, намеренно не женился, стараясь, как он это объяснял, наверстать упущенное за время заключения. По-моему, он давным-давно наверстал упущенное, но у меня не было никаких оснований вмешиваться в его образ жизни. Лагерь легко сближает людей по главному их признаку, по признаку несвободы, но когда человек выходит на свободу, обнаруживается, что разные люди по-разному понимают ее и по-разному ее используют.

Мы были совсем разные люди, но меня это приятельство не тяготило, потому что я бывал в Москве редко и две-три встречи во время моих приездов ничего не означали.

Так вот, он пришел с ней. Кстати, он по телефону предупредил меня, что будет со своей приятельницей и не имею ли я чего-нибудь против. Разумеется, отвечал я, приходи с ней.

Они посидели у меня несколько минут, и я решил позвонить в ресторан, чтобы заказать бутылку вина и кое-какие закуски. Но телефон у меня почему-то забарахлил, и я вышел из номера, сказав, что мне нужно поговорить с коридорной. Я намеренно не сказал, что собираюсь звонить в ресторан, чтобы он не подключился к моему скромному мероприятию и не довел его до размеров пьянки. Такая склонность у него тоже была.

Я вышел из номера, подошел к столику коридорной, и мне пришлось еще несколько минут ожидать, потому что она сама звонила. Потом я позвонил в ресторан, заказал бутылку вина, немного закуски и минут через десять вернулся в свой номер.

Приоткрыв дверь и автоматически сделав шаг, я замер, ничего не понимая. Номер был погружен в полную темноту. Поняв, в чем дело, но все еще растерянный, я доволь-

но глупо, вместо того чтобы тихонько выйти, постучал в приоткрытую дверь.

И тут из темноты раздался ее быстрый шепот:

— Скажи, что его нет!

Он подошел к дверям. Из коридора доходил слабый свет, и он подслеповато, как курица в полутьме, глядя на меня, сказал:

— Его нет... Он ушел...

Вместе с этими словами он легонько так отеснил меня за дверь и закрыл ее. По его жесту было решительно непонятно — узнал он меня и сказал эти слова, чтобы не смущать свою приятельницу, или в самом деле не узнал. Так или иначе, оказавшись в коридоре, я сильно разозлился на своего бывшего соллагерника. Какого черта! Я не давал ему повода делать из своего номера дом свиданий! В крайнем случае хоть бы предупредил меня!

Я еще с полчаса оставался в коридоре. У меня было время поразмыслить над тем, что случилось, и несколько успокоиться. По-видимому, в самом его предупреждении, что он будет с приятельницей, уже заключался договор, о котором я не подозревал. Потом, когда я, как, вероятно, ему показалось, сделав вид, что не смог дозвониться, вышел из номера, он решил, что я выполняю условие договора.

Когда я вошел в номер, занавески были раздвинуты, постель была убрана еще лучше, чем горничной, она сидела в кресле, а он, присев на стол, курил.

— Тебя тут кто-то спрашивал, — сказал он, глядя на меня с великолепным нахальством. И все же было непонятно — говорит он это для нее, чтобы она не смущалась, или в самом деле он тогда меня не узнал. Продолжая полусидеть на столе, он придвинул к себе телефон и стал пытаться куда-то звонить. Такие люди, ублажив себя в одном месте, сразу же начинают звонить в другое. Убедившись, что телефон не работает, он бросил трубку на рычаг, скорее всего забыв о том, что я тоже не дозвонился.

Она неподвижно сидела в кресле. Притихшая, может быть, смущенная. И я помню, впечатление какой-то тяжести было от взгляда ее больших, выразительных глаз, выпукло очерченных губ, мощного пучка волос. И помнится, у меня тогда же мелькнула мысль: тяжелая тупость красавицы. Как позже выяснилось, она была умственно совсем не тупая. Тупость ее была гораздо более глубокого свойства.

Одним словом, официантка принесла вино и закуску. Они посидели у меня около часу, а потом ушли. Больше я ее никогда не видел. Через неделю я снова встретился со своим бывшим соллагерником. Мы гуляли по улице Горького.

— А где твоя приятельница? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он достаточно презрительно, — она мне надоела со своими коровьими глазами. Я ей сказал, что уезжаю в Ленинград по делу.

— А если она тебя вдруг увидит? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Ну, увидит — увидит.

И вот через пять лет я узнаю, что она жена человека, которого я полюбил, и я знаю, что у них десятилетний сын. Трудно передать то тошнотворное состояние, в котором я находился.

Она все еще меня не узнавала и время от времени смотрела на меня своими большими, выразительными глазами, в глубине которых чувствовалась и растерянность и мучительная попытка вспомнить, где она меня видела. И вдруг я с пронзительной ясностью понял характер затруднения, которое испытывала ее память: слишком много встреч она тасует в голове, чтобы угадать, какой именно я был свидетелем!

В конце концов угадала, и я это понял по ее взгляду. Он, ее взгляд, пытался внушить мне, что тогда в гостинице ничего не было. Но теперь, когда я совершенно очевидно узнал ее и она уже знала, что я узнал ее, я пытался внушить ей своим взглядом, что вообще не помню ее. Но она взглядом своим правильно определила, что отсутствие теперь в моем взгляде любопытства к ее личности объясняется не тем, что это любопытство угасло, а тем, что я ее уже узнал и именно поэтому делаю вид, что не узнаю. Такой вариант ее не устраивал, видимо, он казался ей недостаточно надежным. И ее взгляд теперь мне говорил: «Нет, ты помнишь, где и когда меня видел, но тогда ничего плохого не было».

Вот такой вариант ее устраивал.

Банкет окончился. Мой друг слегка перепил, и его вместе с женой увезли друзья. Меня тоже его коллеги подвезли к дому. От всего, что я увидел и узнал в этот вечер, на душе остался горький осадок. Что делать? Он ее, конечно, очень любит. Она его, конечно, не любит, но дорожит браком с этим блестящим ученым. Я ничего не собирался ему говорить, но тяжелое предчувствие беды давило душу.

Прошло недели две, и он снова пришел ко мне. Мы, как обычно, вышли в море. К этому времени я несколько успокоился.

— Виктор Максимович, — сказал он, вспоминая банкетный вечер, — вы понравились моей жене, а ей редко кто нравится... Вкус у нее есть...

Конечно, она ему должна была сказать что-нибудь в этом роде. Но дело, к сожалению, на этом не остановилось. Однажды он пригласил меня к себе домой, все мои попытки отказаться были тщетны, и я пошел.

Встретила она меня как великодушная гостеприимная хозяйка. И все было бы хорошо, если бы она опять несколько раз не бросала на меня выразительные взгляды, означавшие, что именно тогда она была в гостинице, но ничего порочного в этом не было. То ли из какого-то упрямства, то ли для того, чтобы вышибить у нее из головы эту тему, я отвечал взглядом, что ничего не знаю и ничего не помню. Но ее этот вариант не устраивал, как я уже говорил, он ей казался недостаточно надежным.

И вот я стал бывать у него, почти каждый раз под напором его настоятельных приглашений, и я даже почувствовал некоторое обаяние, свойственное этой красивой женщине. Слегка подвыпив, она делалась легкой, милой, и ее облик переставал источать тяжесть тупоголовой чувственности.

У меня была подспудная надежда, что характер наших отношений с ее мужем, наша ничем не замутненная дружба может благотворно воздействовать на нее. Какая глупость! Как правило, душевный порок человека становится заметным людям уже в необратимый период метастаза. Человек может перебороть свой порок тогда, когда он еще незаметен другим. Если человек не смог или не захотел бороться со своим душевным пороком, этот порок неуклонно стремится к универсальному охвату души. И достигает его, как правило.

Но каждый раз, когда я приходил, она была щедра, гостеприимна, мила, и мне в конце концов стало казаться, что, может быть, у нее тогда была какая-то внезапная, безумная влюбленность в моего соллагерника и потому все тогда так получилось. Он был хорош собой и к тому же в отношениях с женщинами превращал свой лагерный опыт в маленький романтический бизнес.

Однажды ночью часов в одиннадцать приходит ко мне соседка, у нее был телефон, и говорит, что звонила жена моего друга и просила срочно зайти.

Я решил, что у них что-то случилось, и пошел к ним. Они жили в двадцати минутах ходьбы от нашего поселка.

— Виктор Максимович, — говорит она, открывая мне дверь, — тысячи извинений... У меня кран испортился и раковина засорена... Боюсь, зальет нижний этаж...

Я прошел в ванную. В самом деле кран льет и раковина засорена.

— Где у вас инструменты? — спрашиваю.

Она открывает кладовку и показывает на ящик с инструментами.

— Инструменты есть, — говорит, — да что толку — муж у меня безрукий.

— Зато не безголовый, — отвечаю, роюсь в ящике, — а где он?

— Он в командировке, — говорит она.

Я беру нужные инструменты, привожу в порядок кран, прочищаю раковину, мою руки и выхожу. Смотрю—на кухне водочка и закуска. Только теперь я обращаю внимание, что на хозяйке легкий халатик с короткими рукавами и выглядит она слегка возбужденно. Ну, ладно, думаю, выпью рюмку и уйду.

Присел за стол, наливаю рюмку и только тяну ее к рту, как вдруг сзади за шею меня обнимают ее голые руки и она льнет ко мне своей пахучей, надушенной головой.

— Это как понять?—говорю как можно более спокойным голосом, чтобы не оскорбить ее, и осторожно ставлю невыпитую рюмку на стол.

— А вот так и понять,—отвечает она, еще сильнее прижимаясь ко мне,—я влюбилась в вас... Каждая женщина мечтает о сильном человеке...

Тут я разозлился на нее и на себя. На себя за то, что боялся оскорбить ее. Тем не менее я все еще достаточно вежливо отцепляю ее руки, встаю и спокойно говорю, хотя изнутри меня всего выворачивает:

— Вы очень избирательно любите, мадам... Стоит человеку посидеть в тюрьме, как вы в него влюбляетесь. Может, для того, чтобы полюбить своего мужа, вам надо его посадить?.. При его невоздержанности на язык в принципе это возможно, хотя и трудно в наше время...

И вдруг впервые в жизни я вижу, как женщина в бесильной злобе очеривается. Я раньше считал это чисто литературным преувеличением. Нет, на моих глазах верхняя губа ее конвульсивно дернулась, обнажая зубы. Через несколько секунд она взяла себя в руки.

— Вы меня оскорбляете,—сказала она тихим голосом,—как это неблагородно со стороны мужчины... Кстати, возьмите вашу книгу, мы ее уже прочли.

Она приносит из комнаты книгу Платонова «В прекрасном и яростном мире» и протягивает ее мне. Я молча беру книгу и выхожу, несколько удивляясь, почему она в такую минуту вспомнила о книге. Я решил, что это знак того, что она не хочет больше видеть меня у себя дома.

Какая мразь, думал я по дороге, чтобы полностью обеспечить мое молчание относительно гостиничной встречи, она решила подключить меня к своим грехам.

Что делать? Я решил ничего не говорить моему другу при встрече и просто никогда больше не бывать у него дома. Но вот проходит месяц, два, а его нет. Что это—затянувшаяся командировка или она ему что-то сказала? Но что?

И вдруг я узнаю от одного автомеханика, что мой друг приходил к нему починять машину. Он ни бельмеса не понимал в моторе и чуть что обращался ко мне. Я по-

нял, что она ему что-то сказала. Ну, ничего, думаю, не может быть, чтобы мы где-нибудь не столкнулись. И в самом деле, месяца через два я встречаю его в кофейне. Стоит за столиком и пьет кофе, длинный, нескладный, одинокий.

Я взял кофе, подошел к его столику, поздоровался и поставил чашку. Он суховаты мне кивнул.

— В чем дело, — спросил я, — почему ты не появляешься?

Он криво усмехнулся, вдруг весь покраснел и, глядя вниз, стал говорить:

— Виктор Максимович, дело прошлое, я вам все простил... Но дружить мы не можем... Я много думал об этом... Я понимаю, что вы влюбились... Вы долго боролись с собой... Мне всегда казалось странным, что вы так неохотно принимаете мои приглашения... Вы боролись с собой, и это делает вам честь... Но ваш последний приход в мой дом и... солдафонское признание в любви моей жене не делает вам чести...

— Мой приход?! — опешил я, — мое признание в любви?!

— Ну, разумеется, — криво и болезненно усмехнулся он, все еще глядя вниз, — формально вы пришли за своей книгой... В двенадцатом часу...

Так вот зачем она всучила мне книгу! Как молниеносно соображает порок, когда действует в своей области!

Почему я тогда не сказал всей правды? Да потому что язык не повернулся! Не знал я, чем для него кончится такая операция! Ну и, конечно, некоторое рыцарское отношение даже к этой гадине! Ну как я ему скажу, что она обняла меня за шею?! Ты спросишь: «На что она рассчитывала?» Вот именно на все это рассчитывала и правильно рассчитала.

Но часть правды я ему сказал. Я сказал, что явился в его дом по телефонному звонку, в чем он может убедиться, спросив у соседки. Сказал, по какой причине меня вызвала его жена, сказал, что книгу мне она сама всучила, когда я уходил. Сказал, что его жена, может, имеет какие-то свои достоинства, но она, безусловно, очень лживая и очень вероломная женщина.

Он как-то мимо ушей пропустил это все и сказал:

— Оставим нравственные качества моей жены... Но вы ведь влюбились в нее и признались ей в этом...

Я ему объяснил, переходя на язык науки, как более доступный ему, что этого со мной не могло произойти и не произошло. Кристаллизация чувства требует времени, хотя бы самого малого, сказал я. Чтобы влюбиться в жену друга, надо какое-то, хотя бы очень короткое время смотреть на нее как на свободную женщину, то есть быть в это время абсолютно аморальным по отношению

к своему другу. Считает ли он, спросил я у него, что я мог быть по отношению к нему аморальным?

Мне показалось, что он стал прозревать. Он поднял голову и посмотрел на меня.

— Тогда во имя чего вся эта чудовищная ложь?! — вскрикнул он, глядя на меня, и я увидел на его милом лице ужас ребенка, на глазах которого разваливается его родной дом, и он умоляет остановить этот развал.

— Успокойся, — сказал я ему, — есть тип женщин, которые бешено ревнуют мужей к их друзьям, даже если и делают вид, что они им нравятся...

Не думаю, что я его убедил до конца. Высокий, нескладный, он ушел, неуклюже горбясь. Но мысль, его начавшая работать в новом направлении, уже не могла остановиться. Не знаю, догадался ли он о приключениях своей жены или, прокрутив в своей светлой голове события их прошлой жизни, убедился в ее абсолютной лживости, и этого ему было достаточно, но через год он с ней разошелся. Представляю, что это за год был для него.

Но и ко мне он больше не вернулся. Поверив на какое-то время своей жене, он унизил себя в моих глазах. Так ему должно было казаться. А человеку страшнее всего возвращаться туда, где он был унижен. Особенно если он был унижен самим собой.

Поверь, мне в жизни нравились многие люди, но так, как его, ни одного мужчины я никогда не любил. Наверное, о такой мужской дружбе говорится в абхазской поговорке: будь ты горячей рубашкой на мне, и то бы не скинул тебя.

Он был на пятнадцать лет младше меня, и я его любил одновременно и как сына и как брата. Ни того, ни другого у меня никогда не было. Он был мне сыном по своей духовной незащищенности и братом по духу.

Я и сейчас смотрю иногда на его фотокарточки. Я его несколько раз щелкал у себя в саду и в море. Но разве они могут передать бесконечное одухотворение его лица, когда он заговаривал на любимую тему или импровизировал, развивая только что родившуюся мысль. А как он хохотал, господи, как он смеялся!

Прошло с тех пор шесть лет. Я знаю, что у него новая семья. Он доктор наук, профессор. Попивает. Однажды я познакомился с одним научным работником их института, который перевелся туда из Москвы. Он с большим восхищением говорил о нем. Они дружат. Нет, я не испытывал никакой ревности.

— Скажите, — спросил я у него, не распространяясь о нашей недолгой, но горячей дружбе, — он под настроение все так же самозабвенно хохочет?

— Хохочет?! — переспросил он, уставившись на меня недоуменными глазами, — он, безусловно, самый талант-

ливый ученый института, но и самый желчный человек из всех, кого я видел!

Страшная вещь — оскорбленный идеализм.

Мальчики и первая любовь

(Исповедь Виктора Максимовича)

У нас была компания из четырех мальчиков. Мы все учились в одном классе. Конечно, время от времени к нам присоединялись и другие, но настоящая духовная близость была только между нами. Главным авторитетом в ней был Коля Шервашидзе. Он был потомком, хотя и достаточно непрямым, того самого князя Георгия Дмитриевича Шервашидзе, обергофмейстера двора, который после смерти Александра Третьего женился морганатическим браком на его вдове Марии Федоровне. Вот как нас высоко заносило!

Но, разумеется, нас привлекала к нему не его высокородность. Да и род его к этому времени распался, и сам он жил в ужасающей нищете. Большой, многоквартирный дом его отца был давно распродан, родители умерли. Сначала отец, кажется, он был юристом, потом мать.

Из трех оставшихся комнат две еще при жизни матери сдавались жильцу, а в одной обитал Коля со своей восьмилетней сестренкой. Комнаты жильца имели парадный выход на улицу, а Колина комната через обширную веранду выходила во двор. В десяти шагах от веранды росла могучая магнолия, бросавшая на нее в жаркие летние дни прохладную тень. Почти круглый год подножие дерева пестрело опавшими, но упорно не гниющими листьями и плюшевыми шишками. Здесь на веранде мы обычно собирались.

Большая комната Коли наполовину была загромождена книжными шкафами. Часть книг, не уместившаяся в шкафах, дряблой горой лежала прямо на полу. Бывало, если вытащишь из груды заинтересовавшую тебя книгу, облачко пыли подыметса над горой, что означало — вулкан еще не потух.

В комнате стояли две кровати, прикрытые ветхими, засаленными одеялами, стол и огромный буфет, напоминающий деревянный дворец, как бы усохший за исторической ненадобностью.

Колин квартирант казался нам странноватым. Звали его Александр Аристархович. Мы о нем знали только то, что приехал он из Ленинграда. Сначала один прожил целый год, а потом к нему переехали жена с дочкой.

Он преподавал в деревенской школе математику и физику. Под влиянием Коли, конечно, мы почему-то дружно решили, что он беглый меньшевик. О юности! Почему меньшевик? Почему беглый? Никаких сведений! Единственное: живет в городе—преподает в сельской школе. Значит, беглый меньшевик; путает следы.

Может, это покажется странным, но ни один из нас не был монархистом. Даже Коля, хотя он и любил хорохориться своим происхождением. Мы жалели царя и его семью, но по убеждению были сторонниками демократической системы.

Изредка мы слегка выпивали сухое вино, и Коля, неизменно стоя, произносил свой неизменный первый тост: — За здоровье ее величества королевы Англии!

Он считал, что русская история надломилась в 1905 году, когда царь упустил возможность дать стране настоящий парламент и сохранить монархию по английскому образцу.

Распахивать окно в феврале семнадцатого года, по убеждению Коли, было уже поздно, ибо наружный воздух России в то время был гораздо тлетворней внутреннего и страна задохнулась. Так он считал.

И вот мы, принимая Александра Аристарховича за скрытого меньшевика, совсем как в советских фильмах, но по своим причинам, смеялись над ним. Большевики их высмеивали, потому что те якобы по своей злокозненной тупости не понимали победную правильность ленинского пути. Мы же над ними горько иронизировали, потому что они, по нашему мнению, прощляпили демократию.

Трудно понять все причины, но Александр Аристархович был предметом постоянных издевательств Коли, и нас он этим заразил. Может быть, юношеское самолюбие сказывалось тут, зависимость от квартплаты жилья, пятьдесят рублей в месяц, единственный твердый доход. Правда, иногда он еще продавал букинисту книги. Кроме того, изредка приходили денежные переводы из Сибири, куда после революции отбросило его бабушку и дедушку по материнской линии. Я сознательно не называю большой город, где они жили. Еще живы люди, которых это может огорчить.

У Александра Аристарховича были жена и дочка, анемичная дудоня, студентка педагогического института. Она время от времени брала у Коли что-нибудь почитать. Коля целенаправленно руководил ее чтением, что не всегда нравилось ее отцу.

Я был уверен, что она влюблена в Колю. Но он этого не замечал, как не замечал и того, что она не понимает его длинных литературоведческих рассуждений.

Недавно, читая Бахтина, я вдруг вспомнил с необыкновенной яркостью фразу, мелькнувшую во время импро-

визированного семинара, когда Коля, склонившись над перилами веранды, объяснял бедной дудоне суть метода Достоевского, а она, стоя на земле, смотрела на него обреченно-обожающими глазами. Фраза эта прозвучала так:

— Движущийся скандал!

Но ведь это почти то же самое, что говорит Бахтин. Если бы он его читал, он прямо бы его и процитировал, память у него была фотографическая.

Иногда Коля играл в шахматы с Александром Аристарховичем. Жилец у него чаще всего выигрывал, что, конечно, не способствовало Колиным симпатиям к нему.

— Невозможно играть с человеком, у которого все время трясутся руки, — жаловался он. — Протянет руку над фигурой и замрет на полчаса. А она у него трясется! Я не могу думать! Бестактность этого человека феноменальна! Раз уж у тебя псевдопаркинсонова болезнь, ты сначала обдумай ход, а потом тяни свою трясущуюся руку!

Мы редко видели Александра Аристарховича. Работая в сельской школе, он иногда оставался там ночевать. Видно, ему там выделили комнату. По этому поводу Коля неоднократно давал голову на отсечение, что тот завел в деревне незаконную жену.

Александр Аристархович был грузноватый, розовый мужчина лет пятидесяти с бритой яйцевидной головой, всегда очень аккуратно и чисто одетый. Обычно он во двор входил с двумя ведрами, набирал в колонке воды и осторожно, чтобы не облить брюки, возвращался домой.

Пока ведра наполнялись водой, он почти всегда с каким-то тупым удивлением оглядывал могучую крону магнолии, как бы не до конца веря в реальность этой южной роскоши, а возможно, и несколько осуждая столь бесплодную, хоть и внушительную трату земных соков. Иногда он подымал шишку, подолгу рассматривал ее, осторожно нюхал и никогда не бросал на землю, а, нагнувшись, клал ее. Не поручусь, что на то же место, но клал.

Если Коля ловил его за этим чрезмерно уважительным обращением с шишками магнолии, он кивал нам, тряся от беззвучного смеха и страстно шептал:

— Мания лояльности! Мания лояльности!

При всем этом Александр Аристархович никогда не забывал о своих ведрах: не давал переполниться подставленному под струю, вовремя пододвигал пустое.

Обычно Коля обращал наше внимание не только на действительно странное отношение к шишкам Александра Аристарховича, но и на все его действия, а также бездействие возле колонки, явно преувеличивая количество комических подлостей, заключенных в них.

Александр Аристархович стал для нас образцом буржуазной пошлости. Почти каждый раз, когда мы приходи-

ли к Коле, он что-нибудь рассказывал о нем, чаще всего отличающее того в невежестве.

— А мой петербуржец опять оскандалился, — говорил Коля с презрительной улыбкой, — я вчера у него спрашиваю: «Как вы находите трактовку идей Ницше у Брандеса?» — а он мне: «Какой Брандес? Бундовец?» И это человек с университетским образованием? Невежество этого типа феноменально! Феноменально!

Заранее уверенные в феноменальности этого невежества, мы начинали громко хохотать, а Коля, готовя кофе над вечно коптящей керосинкой, тут же экспромтом излагал статью Брандеса о Ницше «Аристократический радикализм».

Легкий, как перышко, в изжеванной нищенской одежде, с пятнами копоти на лице, с лихорадочным блеском черных глаз, он с необыкновенной непринужденностью, начав разговор о свойствах малярийных плазмодий, мог кончить афоризмами Шопенгауэра. И кофе! Кофе! Кофе! С утра до вечера!

Всякую нашу попытку обратить внимание на свою внешность, навести на себя хоть какой-нибудь марафет он отвергал с нескрываемым презрением. Культ духа, всепожирающая любовь к знаниям и льющаяся через край готовность делиться ими.

— Светлейший князь скрывает породу, — пошутил как-то по поводу его немытого, чумазого лица один из членов нашей компании, а именно Алексей.

Однажды случилось редчайшее совпадение, мы пришли к нему на веранду, когда он только что вернулся из бани, куда он, разумеется, без крайней надобности не ходил. Все, смеясь, обратили внимание на то, что он неожиданно похорошел. Что-то в нем было от «Мальчика» Мурильо.

Не могу вспомнить, чтобы он спокойно обедал. Всухмятку. На ходу. Учился кое-как. Занятия пропускал безбожно, а в десятом классе поближе к зиме совсем перестал ходить в школу.

Но до этого на уроках литературы и истории с его лица не сходила усмешечка, за которую его можно было убить, если бы учителя посмели расшифровать эту усмешечку. Но они этого не смели и как бы с некоторой виноватой осторожностью пробрасывали мимо него свои убогие знания.

Справки о болезни сестренки или о собственной болезни, кстати, не всегда ложные, устраивала ему очень подвижная старушенция-врач, которую мы у него иногда заставляли за кофе. Она же время от времени наводила в его хозяйстве кое-какой порядок и кормила девушку.

— Ладно, мальчики, — говорила она, вставая, — вы тут развлекайтесь, а я пойду в кибениматограф.

Так она шутила, хотя кино и в самом деле любила. Она была одинокая и очень привязалась к Коле. Мы ее так и называли — старушка-кибениматограф.

— Хорошей фамилии, — уважительно кивнул ей вслед Коля, когда мы ее застали в первый раз, и не менее уважительно добавил: — Морфинистка.

Здесь на веранде мы обсуждали во главе с Колей все прочитанные книги и политические проблемы. Мы были проперчены политикой насквозь. Помню, мы удивлялись, что Шульгин задолго до прихода Сталина к власти кое в чем преугадал его физический облик. Кстати, Сталина Коля всегда называл Джугашвили. На людях — вождь. Среди своих — Джугашвили.

Книжка Фейхтвангера «Москва, 1937 год» была высмеяна вдоль и поперек. Мы только спорили: Джугашвили купил Фейхтвангера или тот запасался нашей страной как пушечным мясом против Гитлера? Сейчас я думаю, что дело обстояло еще хуже. Европейский интеллектуал был заинтересован в продолжении опыта над Россией: не умрут — тогда и мы кое-что переймем.

После пакта с Германией Коля кричал:

— Теперь Джугашвили и Гитлер расхапют Европу! Грядет великая война! Англия с Америкой против Гитлера и Джугашвили! Конец непредставим! Скорее всего долгий, изнурительный пат... После чего возможно новое нашествие желтой расы...

Оставляя в стороне пророчества Коли, должен сказать, что в общих чертах мы знали все, что происходит в стране. Я это говорю к тому, что все еще бытует мысль, мол, многие ничего не знали. Ничего не знали те, кто не хотел ничего знать. Нас и объединило именно это желание знать правду.

Самым близким Коле человеком был Алексей, сын потомственного рабочего. Среди нас он один упорно занимался иностранными языками. Алексей был умен, обладал мрачноватой внешностью, таким же юмором и был невероятно капризен. Дерзил Коле только он и, дерзя, переходил на «вы». Своими дерзостями и капризами он как бы испытывал истинность привязанности к нему князя.

А князь был почему-то привязан к нему особенно. То ли потому, что именно он и только он предлагал перейти от слов к делу, то есть расклеивать разоблачающие Сталина листовки, что отвергалось князем как революционная вздорность, но должно было льстить его просветительскому честолюбию. То ли в Колиной, все-таки мальчишеской, голове жила идея, что здоровый представитель народа пришел именно к нему. Так или иначе, но этот здо-

ровый представитель народа обладал самой причудливой психикой.

Бывало, обычную просьбу он излагал, морщась от смущения, краснея и уставившись в пол. Но таким же образом, смущаясь и краснея, он мог высказать и необыкновенную дерзость.

Во время наших самых раскаленных споров он вдруг залезал под стол и оттуда продолжал излагать свои соображения, что при его не очень отчетливой дикции создавало дополнительные акустические неудобства. Князь почему-то с особой серьезностью относился к аргументам, доносившимся из-под стола.

Порой, когда Коля, излагая свои мысли или чужие философские идеи, становился утомительным—и такое случалось!—Алексей вдруг уставится пугачевским взглядом в его сестренку, играющую на полу, и смотрит, смотрит на нее, пока она этого не заметит и не начнет хныкать.

— Алексей, прекрати!—кричал князь, не глядя и торопясь довести до конца свою мысль, пока девчонка не разревелась.

При этом именно Алексей больше всех о ней заботился, баловал, и она была привязана к нему не меньше брата.

Иногда он вдруг оскорблялся без всякого видимого повода и, покраснев и уставившись в пол, говорил:

— Если я здесь кому-нибудь в тягость, могу уйти.

И уходил своей победной походкой. Но тут князь бросался за ним и после некоторых пререканий возвращал его на веранду. Как я хорошо помню походку Алексея! Каждым движением, как бы преодолевая некую зависимость, он провозглашал свою независимость. Но именно потому, что каждое его движение подчеркивало независимость, в конечном итоге чувствовалось постоянное присутствие того, от чего он пытался быть независимым.

И четвертым в нашей компании был очаровательный хохол Женя. Он был сыном богатого кубанского крестьянина, в тридцатом году бежавшего от раскулачивания на Кавказ. Он был красив, мягок, добродушно-насмешлив.

Женя писал стихи, очень хорошо рисовал и готовился стать художником. При этом, имея довольно средние отметки по алгебре, он на других уроках, если не рисовал карикатуры, склонив свою лобастую голову, решал задачи по высшей математике.

Он легко все схватывал, но никогда ни во что не углублялся, как бы боясь чем-нибудь себя закабалить. В наших спорах почти не принимал участия, даже страдал от них, хотя вдруг иногда выдавал свежие соображения. Но если на них возражали, он тут же без всякой обиды замолкал.

— Во цу диз лерм?—недоуменно повторял он, кажет-

ся, фразу Мефистофеля в любом положении, грозящем дисгармонией, раздрызгом, скандалом.

У него были очень красивые волосы, но, увы, уже тогда слегка редели, что его сильно беспокоило. Он их подолгу оглядывал в зеркале, висевшем на веранде, при этом пальцами беззастенчиво довивая и без того вьющиеся волосы. Наши остроты и насмешки по этому поводу не производили на него ни малейшего впечатления.

Внезапно влюбившись, он исчезал, но ненадолго. Снова появлялся, опять занимался своими локонами, как бы слегка потрепанными в любовной схватке, и, глядя в зеркало, неизменно мурлыкал себе под нос одну и ту же песенку:

Мой добрый старый Джека,
Родной цыган.
Что делать человеку?

Любовь — обман.
Пусть звуки старой скрипки
Напомнят мне,
Как часто врут улыбки
При луне.

Забавная история приключилась с Женей. В нашей школе в параллельном классе был еще один поэт. Звали его Толя. Рыжий, коренастый коротышка. Он был ужасно самоуверен, напорист и в своих не очень умелых, но очень громогласных стихах призывал к мировым классовым битвам. Впрочем, у него была и лирика со знаменитыми на всю школу строчками:

О, как мне хочется мясо любимой
Финским ножом полоснуть!

Мясо он, конечно, раздобыл у раннего Маяковского, а финский нож — у позднего Есенина.

В школе были поклонники как Толи, так и Женю. На вечерах соперники пользовались переменным успехом. Толю любили за напор и мощную глотку. Женю любили за внешнюю красоту и умение высмеивать школьные происшествия.

Толя при всей своей напористости был ужасно наивен и считал, что он, безусловно, первый поэт школы, а Женя добивается дешевого успеха, поэтизируя сиюминутные проблемы, вместо того чтобы ставить проблемы века.

Женя его всерьез вообще не принимал и добродушно высмеивал за неумелые ухаживания как за Музами, так и за девушками. Между ними часто обыгрывалась тема: кто первый поэт школы?

Однажды при мне Женя ему говорит:

— Толя, ты первый поэт школы, а я второй...

Толя с уважением к такого рода самоотверженному признанию кивнул ему головой.

Но тут Женя неожиданно добавил:

— ...поэт страны.

Толя сначала онемел от возмущения, а потом, заикаясь, выговорил:

— Ты, ты, ничтожество, второй поэт страны?

— Да, — скромно подтвердил Женя, — я второй поэт страны.

Толя, хоть и был страшно возмущен, все же не удержался от любопытства узнать, каким отсчетом он пользуется, давая себе такую наглую самооценку:

— Хорошо! А кто первый поэт страны?

— Первого просто нет, — сказал Женя скромно.

Толя, готовившийся его высмеять, продемонстрировав всю смехотворность разницы между первым и вторым поэтом, был сбит с толку и взбесился.

— Ты совсем сбрендил, — закричал он, — ведь по логике получается, что раз первого нет, ты и есть первый поэт страны. Где твоя логика, псих?

— Ну хорошо, Толя, — как бы трезво оценив свои возможности, сказал Женя, — я первый поэт школы, а ты второй поэт страны. Идет!

Тут Толя на несколько мгновений замолк, стараясь уловить в глазах Жени насмешку, однако, не улавливая ее, замялся и в конце концов предпочел синицу в руке:

— Я первый поэт школы! А насчет страны — все впереди!

В другой раз Женя ему как-то сказал:

— Кто за один урок напишет стихотворение в три строфы, тот и будет первым поэтом школы.

— Идет! — крикнул Толя и хлопнул Женю по плечу. Толя был или считал себя продуктивней Жени.

— Только с одним условием, — добавил Женя.

— С каким?

— Все рифмы должны быть сверхдидактические.

Бедный Толя опять онемел от возмущения. Он явно не имел никакого представления о сверхдидактических рифмах.

— Формалист проклятый! — наконец выпалил он, не давая себя провести такими дурацкими условиями, — берем любую тему! От Красной площади до Красной Испании! Кладу тебя на лопатки!

Бедняга Толя в отличие от Жени совершенно безуспешно ухаживал за девушками. Угрожающие стихи относительно финского ножа и мяса любимой тоже не способствовали успеху у девушек. Кармен или другой любительницы сильных страстей в доступном Толе окружении не находилось.

Однажды в школьной стенгазете Женя напечатал на Толю такую эпиграмму:

«Девушки, Толя! — Музы вскричали и в чашу!
Толя, блаженный, стоит. Снова в руках пустота».

Случайно при мне Толя прочел эту эпиграмму и явно не придал ей большого значения.

— Блаженный! — презрительно фыркнул он, обращаясь ко мне, как к человеку, хорошо знающему обоих. — Кто из нас блаженный?! Люди не видят себя со стороны!

С этим он ушел. Ничто не предвещало бури, но буря разразилась.

Толя не обратил внимания на двойной смысл эпиграммы. А потом, когда на переменах девушки стали толпиться у стенгазеты и, хохоча, повторять ее, он заклокотал.

Через одного своего поклонника он вызвал Женю на дуэль — драку. Бедный Женя не на шутку растерялся. В отличие от Фальстафа он не был трусом. Я был с ним в горах, и он, как козел, вскарабкивался на такие скалы, куда не всякий альпинист решится взойти. Но драка? Это хаос, дисгармония. Нет, нет, это ему никак не подходило.

— О, менш, во цу диз лерм? — обратился он ко мне, тревожно трогая волосы, как бы предчувствуя, что они могут пострадать.

Я пытался уладить дело, но Толя отказался со мной говорить и выставил для переговоров своего поклонника-секунданта. Я был ему неприятен сейчас не столько как друг Жени, сколько как человек, знающий, что он не сразу обиделся на эпиграмму. Тут была своя тонкость.

Я предложил секунданту принести из спортзала перчатки, песочные часы и провести бой из трех раундов по три минуты. Секундант пошел советоваться с оскорбленным поэтом. Мы ждали. Ответ его был суров и четок: песочные часы — да. Перчатки — нет. Бой до третьей крови.

Мы договорились, что поединок произойдет в пять часов вечера на волейбольной площадке рядом с детским парком.

— Ты же умница, Женя, — укорял своего друга Алексей, узнав о дуэли, — неужели ты будешь драться с этим шибздиком? Плюнь! Он же вообще не человек.

— Меня вынуждают, — оправдывался Женя, — ты бы ему это сказал!

Кстати, в субботу предстоял школьный вечер, где должны были выступить оба поэта. Толя обещал в случае отказа от дуэли сделать на этом вечере такое заявление, после которого Жене только и останется перейти в другую школу.

Коли, как обычно, на занятиях не было. Когда мы пришли, он сидел на веранде, читая книгу и покручивая ручку своей скрипучей кофемолки. Он выслушал нас, не пе-

реставая крутить ручку и оглядывая нас своими разумно-лихорадочными черными глазами. Потом он сказал:

— Эпиграмма прекрасная. К сожалению, по этикету, принятому у французов, она может быть поводом для дуэли. Условие драться до третьей крови вообще безграмотно. Дерутся или до первой крови, или до смерти одного из противников. Ты, Витя, мог бы об этом знать как дворянин. Так что смело отвергайте это условие.

Кстати, античный мир вообще не знал, что такое дуэль. В те времена только государство могло отнять честь у человека. Сдается мне, что мы вернулись в античность, так оно и было. В Афинах Крат, получив по морде, привесил к месту фингала дощечку с надписью — «Это сделал Никодромос». Он ходил в таком виде по городу, и афиняне сочувствовали ему и возмущались хамством Никодромоса.

— А кто такой Крат? — спросил Алексей.

— Циник, — небрежно кивнул Коля, взглянув на Алексея, и продолжал: — Сенека любил говорить...

— Если вы, светлейший князь, — обиделся Алексей, — встали сегодня не с той ноги, я могу удалиться.

С этим он встал, повернулся и пошел своей четкой, независимой походкой. Коля с трудом покинул античный мир и осознал, что случилось.

— Алексей, вернись! — закричал он и, бросив мельницу, кинулся за ним.

— И вскрикнул внезапно ужаленный князь, — не удержался Женья, несмотря на опечаленность предстоящими делами.

Коля догнал Алексея и, сумев его остановить, стал объяснять, что под циником он имел в виду не Алексея, а Крата, который был представителем философской школы циников, или киников, возникшей в Греции после Пелопоннесской войны.

— Что ж, я такой кретин, что не знаю о философах-цинниках, — бормотал Алексей, возвращаясь вместе с Колей на веранду и голосом показывая, что другой на его месте и теперь мог бы обидеться, но он уж привык, — ты бы так по-человечески и сказал...

— Женья, — мимоходом бросил Коля, — твоя последняя острога — настоящая плоскодонка. Возможно, для кубанских плавней она и годится, но здесь, у нас на Черноморье, плоскодонки не проходят. Потрудись оснащать свои остроги килем... Так вот, Сенека говаривал: «Оскорбление не достигает мудреца». Но Толя не Сенека. Оскорбление достигло с соответствующей быстротой. Придется драться. Я не хочу принимать участие в этом зрелище черни. Но ты, Витя, будешь секундантом и отвечаешь мне за голову Жени.

— О, менш, — воскликнул Женя, — неужели дело может дойти до головы?

Я успокоил Женю и стал обучать его простейшим правилам защиты. От приемов атаки он с негодованием отказался.

Потом я, Женя и Алексей втроем пошли в спортзал. Пока я доставал часы, Алексей и Женя наблюдали за спарринговыми боями.

— Лучше бы в перчатках, — задумчиво вздохнул Женя. Он понял, что в перчатках почти невозможно ухватиться за волосы противника.

— Поздно, — сказал я, и мы вышли.

— Умный человек, а пошел на поводу у этого идиота, — всю дорогу попрекал Женю Алексей, при этом сам вышагивая своей отчетливой походкой, как бы отсекая и отсекая от себя глупую навязчивость окружающего мира.

В парке нас уже ждали. Как только я перевернул песочные часы, Толя рванулся, как рыжий боевой петух. В первую минуту Женя растерялся и получил несколько ощутимых ударов. Но потом он его отбросил. Боясь, как бы в схватке не пострадали его волосы, Женя неожиданно правильно построил бой. Используя преимущество своих длинных рук, он брезгливыми ударами-толчками отбрасывал Толю, и тот уже никак не мог добраться до его лица.

После второго раунда они оба смертельно устали. К счастью, дело не дошло даже до первой крови. Уже обоим драться ужасно не хотелось, и тут хитрый хохол придумал выход.

— Хочешь, — сказал он Толе, вытянув ноги, — они сидели рядом на траве, — я на вечере в субботу прочту свою эпиграмму так:

«Девушки, Женя! — Музы вскричали и в чащу!
Женя, блаженный, стоит. Снова в руках пустота».

— Конечно, — завопил наивный Толя, — тем более это чистая правда!

— Тогда целуйтесь, — сказал я, изо всех сил сдерживая смех.

— Зла не держу! По-пролетарски! — крикнул Толя и, сидя обласкивая Женю, поцеловал его. Женя слегка растерялся.

— Наш первый в жизни поцелуй, — сказал он, оправившись от растерянности и снова насмешничая. Он явно намекал, что первый в жизни поцелуй Толи пришлось, увы, на Женю.

— Опять начинаешь? — насторожился Толя.

— Первый поцелуй поэтов, — пояснил Женя.

— Это другое дело, — сказал Толя, оглядывая своих поклонников.

На вечере в субботу вся школа уже знала о том, что предстоит. Когда высокий, красивый Женя, близоруко шурясь в зал и поминутно трогая шевелюру, стал читать юмористические стихи и последней прочел эпиграмму, теперь как бы на самого себя, зал грохнул от хохота. Сейчас эпиграмма прозвучала как утроенная насмешка.

— Нет, Толя! — с глупой вероломностью выкрикивали некоторые девушки с места.

Толя на эти выкрики не обращал внимания. Он сиял от восторга и озирался на своих поклонников.

— Но пасаран! — кричал он сквозь общий хохот и вздымал сжатый кулак. — Я его вынул!

* * *

Ко мне Коля относился сдержанней, чем к Алексею и Жене. Мое увлечение авиацией и спортом он рассматривал как уступку черни.

— Энергия мышц не усиливает энергию ума, — шутил он, — а невозможность воспарить духом не заменишь самолетом.

Меня эти шуточки нисколько не огорчали. Меня огорчало другое. Если вдруг возникали политические разговоры вне нашей среды, Коля как-то легко перестраивался под общую пошлость и точно угадывал, на какую степень пошлости нужно перестроиться именно в этой среде. Ну, разумеется, для нашего слуха он иронизировал. Но иногда и не иронизировал. Конечно, отсутствие иронии тоже можно было рассматривать как утонченную форму иронии, но все же, все же...

Я сам в себе чувствовал эту давящую иррациональную силу, но что-то во мне вызывало бешеное сопротивление ей, и иногда оно выплескивалось в виде слов, которые не принято говорить в малознакомой компании.

— Тебя, Карташов, чекисты заметут, — кричал Коля потом. — «Мухус — Магадан» будет твоим первым беспосадочным перелетом! И не будет снимка в «Правде» — Джугашвили облапил нового Чкалова! Ты же спишь и видишь такой снимок!

Разумеется, ни о чем таком я не мечтал.

— А твои улыбочки на уроках истории и литературы? — бывало, спрашивал я.

— Не ловится! — кричал он, яростно улыбаясь. — Улыбочки можно отнести за счет недостаточной подкованности преподавателя!

Пророчество Коли, правда, с большим опозданием, но сбылось. Как я сейчас понимаю, источником всплесков моих откровений была еще и неосознанная потребность уважать людей. Доверяя людям, я как бы заранее демонстрировал уважение к их порядочности и призывал дер-

жаться уровня этого уважения. После тюрьмы, хотя и время изменилось, я стал осторожней. И знаю, что на столько же обеднил себя.

...Время от времени к Коле заходил единственный букинист нашего города. Звали его Иван Матвеевич. Это был хромоногий человек на деревянном протезе со светлыми глазами и дочерна загорелым лицом от вечного стояния под открытым небом над желтой, перезрелой нивой своих книг. Время от времени он приходил к Коле за покупками. Иногда Коля сам, желая у него приобрести ту или иную книгу, менял ее на свою. Имея в виду его деревянную ногу и свирепый океанский загар, мы его между собой называли пиратом Сильвером.

Однажды мы были свидетелями забавной сцены. Коля хотел приобрести однотомник Пастернака, включающий почти все его стихи, написанные до 1937 года, и отдавал за него пирату два тома Карлейля. Пират требовал третий том.

Забавность их торга заключалась в том, что каждый унижал именно то, что хотел приобрести. Пират, уважая в Коле равного себе знатока книг, сам Коля над этим равенством посмеивался, называл его по имени-отчеству.

— Поверьте мне, Николай Михайлович, — говорил пират, — цена на однотомник Пастернака будет неуклонно расти, учитывая, что его больше не издадут. Это их ошибка. А Карлейль, что ж, Карлейль... Это давно прошедшие времена, и, если строго говорить, он же, в сущности, не историк...

— То есть как не историк, — возмущался Коля, — вас послушать, так, кроме Покровского, не было историков.

— Николай Михайлович, вы же образованный человек, — говорил пират, — вы прекрасно знаете, что Карлейль скорее поэт истории, нежели историк. Да и во всем городе навряд ли найдутся еще два человека, которые о нем слышали... Продать его будет чрезвычайно трудно, разве что отдыхающим... Но у них каждая копейка на учете...

— Ну, конечно, — выпалил Коля в ответ, — Мухус только и делает, что клянется именем Пастернака! А поэтический взгляд на историю и есть единственно возможный взгляд... Всю правду знает только бог!

— Кстати, учтите. — Пират снизил голос и вопросительно посмотрел на нас. И хотя он прекрасно знал, кто мы такие, но взгляд его означал: не изменились ли мы со дня его последней встречи с Колей?

— Свои, свои! — раздраженно пояснил Коля.

— Так вот, учтите, — тихо сказал пират, — Пастернак ни разу не воспел Сталина. Это о чем-то говорит?

Он явно решил сыграть на ненависти Коли к Джугашвили. Но Коля не дал сыграть на этой струне.

— Пока жив тиран, — безжалостно осадил он пирата, — никогда не поздно его воспеть.

Пират до того огорчился таким ходом дела, что забыл об осторожности.

— Николай Михайлович, это несправедливо, — сказал он крепнувшим от обиды голосом, — если уж он его в тридцать седьмом году не воспел, нет никаких оснований подозревать...

— Да вы что думаете, я не знаю творчество Пастернака? — перебил его Коля. — У меня почти все его книги есть. Конечно, прямых од он не писал, но есть одно весьма подозрительное место...

— Николай Михайлович, такого места нет!

— Иван Матвеевич, не спорьте! Я с этой точки зрения тщательно профильтровал его творчество. В цикле «Волны» есть одно место, на котором прямо-таки застрял мой микроскоп.

— Нет там такого места, Николай Михайлович!

— Иван Матвеевич, почему вы нервничаете? Однотомник у вас в руках. Да я и наизусть помню это место. Пастернак, говоря о неких условиях становления человека в Грузии, кстати, мы, живущие здесь, этих условий как-то не заметили, пишет:

Чтобы, сложившись средь бескормиц
И поражений и неволь,
Он стал образчиком, оформясь,
Во что-то прочное, как соль.

— Ничего себе образчик! Фальшь! Фальшь! Замаскированная лезть!

— Николай Михайлович, это придирка!

— Это не с моей стороны придирка, — парировал Коля, — это с его стороны притирка!

Мы рассмеялись неожиданному каламбуру, и пират помрачнел.

— Зачем же тогда вы его берете? — сказал он.

— Затем, что он настоящий поэт. А вы из него делаете Христа.

— А ваш Карлейль с его высокопарностями...

Коля в конце концов победил. Он приобрел однотомник Пастернака за два, а не за три тома Карлейля, как хотел пират.

* * *

Теперь о главном. Девушку звали Зина. Первым с ней познакомился и влюбился в нее Женя. Она училась в другой школе. Так как такое с Женей случилось и раньше, мы посмеивались над ним. Особенно над его рассказом о том, что он влезает на платан, растущий возле ее дома, и оттуда, с ветки, заглядывая в ее комнату, делает

с нее зарисовки. Насчет зарисовок мы сильно сомневались, но то, что он влезал на дерево и оттуда вглядывался в ее комнату, чтобы узнать, кого она на этот раз пригласила в гости, было похоже на правду. Кстати, и позже его насмешливый карандаш никогда не делал с нее набросков.

Потом Женя как-то привел в ее дом Алексея и Колю, и они тоже влюбились. У меня было меньше времени, я ходил в спортзал и, наверное, потому попал к ней позже. Так что был промежуток, когда я насмешничал над такой повальной влюбленностью.

А потом мы пришли к ней в гости, и я увидел ее. Стройная, резвая кареглазая девушка с каштановой прядью на лбу встретила нас. На ней был серый свитер и серая юбка. Протягивая руку для знакомства, она просияла глазами с каким-то сладящим любопытством, как если бы я был первым мальчиком, с которым она знакомится впервые в жизни. Нет, сказал я себе, совсем не обязательно влюбляться, она вполне переносима, даже с запасом.

Так началось наше знакомство. Мы гуляли по набережной и по городу, пили чай у нее в комнате, танцевали, провожали ее в музыкальную школу. И я как будто ничего не чувствовал. Мне только нравилось очаровательное свойство ее глаз видеть то, что делается сбоку. Идешь с ней или сидишь в ее комнате рядом, она с кем-то разговаривает, а ты в то же время чувствуешь, что ее глазок под мохнатыми ресницами все время видит тебя. Зачем ему надо видеть тебя — непонятно, но зачем-то надо. Я никогда точно не мог вспомнить мгновения перехода в состояние влюбленности.

Помню лунную ночь, равномерные вздохи прибора, мы на скамейке, и она нам гадает. Дошла очередь до меня. Я подсел к ней. Может, уже был влюблен, потому что было ужасно приятно подсесть к ней. И вдруг впервые в жизни таинство прикосновения девичьих пальцев к ладони. И другая рука ее как-то по-хозяйски поворачивает мою ладонь к луне, чтобы яснее различать на ней линии судьбы. И легкое, странное, летучее прикосновение тонких пальцев, и взгляд потемневших глаз исподлобья, и смугло голубеющее в лунном свете лицо, и нежный лоб, и темная прядь у самого глаза, и слова о моей судьбе, строгая, горькая, родственная заинтересованность в моей судьбе. Может, тогда? Или позже, когда она у себя в училище играла «Вальс-фантазию» Глинки? Нет, не знаю. Просто ты однажды просыпаешься утром и точно знаешь, что влюблен, а когда это случилось, не знаешь. Вероятно, это случилось ночью, когда ты спал.

Одним словом, начался золотой кошмар. Дело дошло до того, что однажды вечером, идя к ней домой, я каким-

то образом проскочил ее улицу и в городе, где каждый переулочек исходил сто раз, запутался. Это было невероятно. И от самой реальности этого безумия я совсем потерял голову и блуждал в ужасе, что вот так и не найду ее дома и не увижу ее сегодня.

В конце концов мне хватило сообразительности решить, что если я буду спускаться вниз по улице, то обязательно выйду к морю и тогда разберусь, что к чему. В страшном возбуждении я добрался до моря, и, словно могучая стихия сразу оздоровила меня, я мгновенно узнал часть берега, на которую вышел, и все стало на свои места, все улицы, глядевшие на меня с выражением враждебной странности, превратились в старых, милых знакомцев. Это было какое-то наваждение. Черт попутал, говорят в народе.

Зина жила в верхней части Мухуса на тихой, обсаженной платанами улочке. Небольшой травянистый двор, виноградная беседка и двухэтажный деревянный дом, на верхнем этаже которого ее семья занимала трехкомнатную квартиру. Часть стены, обращенная к улице, и вся лестница были оплетены глицинией. Видно было, что хозяин дома, у которого они снимали квартиру, любовно следит за своим зеленым усадебным островком.

К этому времени все мои друзья успели признаться ей в любви и все получили мягкий отказ. Так что дружеские отношения не менялись. Было похоже, что друзья мои готовы заново пройти программу влюбленности, снова признаться ей в любви и, как бы сдав переэкзаменовку, перейти в счастливый класс.

— Тоже мне, дворяне из девятнадцатого века, — ворчал Коля, получив отказ, — наш род княжил с пятого...

И тут же взвился, вспомнив соседа:

— Мир еще не знал такого подлеца! Вчера играем с ним в шахматы. Его король буквально зажат моими фигурами. Но надо мной висит мат в один ход ладьей. Стоит мне сдвинуть пешку, и этот липовый мат сгинет. Но я решил: зачем, когда я его сейчас заматую? Я: — Шах! — он, подлец, находит клетку. Я: — Шах! — он, подлец, опять находит клетку. И тогда я, забыв, что надо мной висит, делаю предварительный ход, чтобы покончить с ним вторым ходом. И тут он тупо ставит мне мат. Ну, я зеванул! Bravo! Bravo! Керенский на белом коне! Так этот подлец, знаете, что мне говорит в утешение: «Все равно у вас было все плохо».

Это у меня было все плохо?! Я чуть сознание не потерял от возмущения! И эти люди с таким пониманием реальности правили Россией?! Правда, недолго! Не триста лет! Даже не триста дней! Джугашвили, где ты? Возьми его!

Кстати, чуть не забыл. Однажды Александр Аристар-

кович, заметив, что мы на веранде играем в шахматы; оставил свои ведра и поднялся к нам. Он стал с нами играть, и руки у него в самом деле заметно дрожали, хотя это было вполне терпимо.

Все мы ему проиграли, и только один Женя, не обращая внимания на его руки, выиграл. Он играл примерно на нашем уровне, но гораздо меньше нас проявлял интерес к шахматам. У Александра Аристарховича ему захотелось выиграть, и он выиграл.

— У вас оригинальное шахматное мышление, — сказал ему Александр Аристархович, — вам стоит всерьез заниматься шахматами.

— Да, — согласился Женя и начал дурачиться, — девушки так и говорят про меня: «Наш Алехин».

— Вы тренируете команду школьников? — спросил Александр Аристархович.

— Тренирую, — подхватил Женя, — в моей команде есть и две студентки. С дебютами у нас все хорошо. Но дальше беда! Они никак не хотят идти на жертвы.

— Умение жертвовать, — важно заметил Александр Аристархович, — это достаточно высокая стадия шахматного мышления... Ничего... Со временем научатся...

Видя наши корчи, он что-то почувствовал, но не мог понять что.

— Остается надеяться, — вздохнул Женя, — но ведь лучшие годы проходят, Александр Аристархович. Согласитесь, обидно.

— Ну, что вы, у вас все впереди, — засмеялся Александр Аристархович, продолжая что-то чувствовать. — Спасибо, ребята, за удовольствие. Я пойду...

С этими словами он покинул веранду, всей своей солидно удаляющейся фигурой как бы говоря: нет, нет, все было прилично.

...Однажды во время вечеринки у Зины в комнату вошел ее отец. Кроме нас, там было еще несколько мальчиков и девушек. Некоторые танцевали. Отец ее оказался мужчиной среднего роста, ладным, спортивным, с быстрыми насмешливыми глазами. Мы о нем знали только то, что он крупный банковский чиновник.

— Рад познакомиться, — сказал он мне просто, — я давно знаю вашего отца.

Он оглядел комнату дочки. На диване в окружении мальчиков и девушек сидел Коля и витийствовал. Рядом стоял Алексей. Тогда как раз был у них период страстного увлечения символистами, которых Коля при полной поддержке Алексея через полгода проклял. Идея проклятия была такая: декаданс из искусства, как зараза, перешел в политику и оттуда проник во дворец в виде гигантского микроба, Распутина. Благодаря всему этому часть нации

потянулась к лжездоровью, понятно кого. Но это потом, а сейчас сквозь музыку «Рио-Риты» доносился страстный голос Коли:

Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры...

Алексей слушал его с выражением горестной сумрачности, всем своим обликом показывая жертвенную готовность взвалить на свои плечи увесистые светильники культуры.

— Это, конечно, князь, — быстро определил отец Зины, — а брюки кто ему мешают погладить, большевики? Или это знак протеста? А этот мрачный малый, вероятно, бомбист!

Он перевел взгляд на танцующих. Женя, конечно, танцевал, но не с Зиной, а с одной из ее подружек. Танцевал он прекрасно и, время от времени с улыбкой наклоняясь к своей девушке, что-то ей интимно нашепывал. Потом он вдруг озирался, близоруко щурясь, находил глазами Зину, бросал на нее несколько тоскующих взглядов и снова, склонив свою лобастую голову, начинал что-то нашептывать своей девушке.

— А это, видимо, ваш художник, — кивнул отец Зины на Женю, — хорошо танцует... Хорош... Хорош... Так, так... Понятно... И о хлебе насущном не забывает, и о дальней цели помнит.

Я расхохотался, до того точно он схватил облик Жени. Услышав мой хохот, Зина бросила своего мальчика и подбежала к нам.

— Что папа сказал? Что? — пристала она ко мне, переводя свой сияющий взгляд с меня на отца. Я ей передал слова отца, и она, закинув голову и блестя зубами, стала смеяться всем лицом, всем телом, как смеялась только она. От смеха не в силах вымолвить ни слова, она кивками головы подтверждала тонкость наблюдений отца и, продолжая смеяться, повернулась к танцующему Жене. Женя, услышав взрыв ее хохота и видя, что она смотрит в его сторону, придал своим танцевальным движениям оттенок усталого, вынужденного автоматизма и издали болезненно ей улыбнулся, как бы говоря: радуюсь твоему смеху, преодолевая собственные страдания. Это его новое выражение лица вызвало новый взрыв смеха, тут Женя, почувствовав какую-то опасность, перестал улыбаться и, подтанцевав к нам, спросил у меня:

— О, менш, во цу диз лерм?

— Ой, папа, — сказала она наконец, вздохнув и слегка прикрывая ладонью губы отца, в том смысле, чтобы он все-таки не слишком далеко заходил в своей критике и не обижал Женю.

Кстати, чуть не забыл. Женя читал нам стихи, посвященные Зине. Вообще, перед тем как читать новые стихи, он имел привычку говорить одну и ту же фразу:

— Похвалу принимаю в любом виде. Критику — только умную.

Стихи, посвященные Зине, казались мне прекрасными. Когда он их читал, меня охватывало пьянящее ощущение одновременно восторга и ревности. Удивительно было то, что к живому Жене с его ухаживаниями я не чувствовал ревности, а к стихам чувствовал. В стихах казалось, что он глубже ее понимает и потому достойней ее. Это было так странно совмещать с его насмешливым обликом. И все-таки восхищение всегда побеждало ревность. Я от души восторгался его стихами. Мне и сейчас думается, что для шестнадцатилетнего мальчика он писал просто хорошо.

И тоску никуда не затискаю,
Всюду, всюду глаза с поволокою.
Никогда она не была близкою,
А теперь стала вовсе далекою.

А сейчас снова об отце Зины. В другой раз, войдя в комнату дочери и увидев у меня в руке томик Зоценко, он взял его у меня, листанул оглавление и, возвращая, сказал:

— Ваш знаменитый Зоценко...

— А вам не нравится? — спросил я.

— Конечно, юмористика, — сказал он и вдруг добавил: — Когда нация в бесчестии, у нее два пути: или учиться чести на высоких примерах, или утешаться, читая Зоценко... Но не будем заниматься политикой, лучше пойдемте в кухню лепить пельмени. У нас сегодня будут настоящие сибирские пельмени.

Он потащил нас на кухню лепить пельмени, с большим юмором, знаками давая нам понять, чтобы мы не тревожили Колю. Юмор заключался в том, что он свои гигиенические соображения выдавал за уважительный трепет перед учеными разговорами. Коля в это время, сидя на диване, проповедовал девушкам своего любимого Гаутаму Будду, учение которого прямо-таки отскакивало от юных девушек, а Коля вдыхал аромат пыльцы, сбитой этими отскоками. Милые лица девушек словно говорили: «Ты нам немножко Будды, а мы тебе немножко пыльцы».

— Банкир с головой, — признал Коля, когда я ему на следующий день передал отзыв о Зоценко, — но он слишком рационалистичен... Зоценко — это прорыв, эксперимент. Первая в мировой практике попытка создать серьезную литературу вне этического пафоса.

— А разве это возможно? — с такой личной обидой спросил Алексей, что в воздухе замаячил очередной уход с веранды.

— Иногда надо делать невозможное, — с неожиданным раздражением сказал Коля и стал проповедовать необходимость героического освоения тупиковых путей. Если бы мы знали, что будет!

* * *

Она, конечно, не могла не понимать, что я безумно влюблен. Иногда она оказывала мне знаки внимания, а порой, словно устав от моего назойливого присутствия, целыми вечерами не смотрела в мою сторону. Когда мы покидали ее дом, на меня вдруг находила такая тоска, что она это замечала, хотя я, конечно, старался скрывать от нее всякое внешнее проявление моего чувства.

— Выше голову, Карташов! — вдруг говорила она, проводив нас до крыльца, и, мгновенно трепанув меня по волосам, вбегала в дом.

Порой я сам целыми вечерами, собрав всю свою волю, не смотрел на нее, пытаюсь увлечь разговором какую-нибудь из ее подружек. И вдруг она подходила к нам и тихо усаживалась рядом. Иногда я ловил на себе ее долгий, задумчивый взгляд. Взгляд этот был приятен пристальностью к чему-то во мне и тревожил, как если бы она убедилась, что не нашла во мне того, что пыталась разглядеть. Я не мог ничего понять.

Однажды, когда мы гуляли по городу и подошли к маленькой корявой сосне, росшей на краю тротуара, я как-то автоматически обошел дерево, и оно нас на мгновение разделило. Зина вдруг побледнела и сказала: «Это к разлуке...»

Тогда я подивился силе ее капризного суеверия. Я не понимал, какая страстная натура живет в этой резвой, веселой девушке!

Разумеется, мы хотели ее видеть гораздо чаще, чем это было возможно. Я помню долгие зимние вечера, когда мы бесконечно ходили по городу, до оскомины во рту пережевывая наши проклятые вопросы, одновременно мечтая встретить ее где-нибудь с подругами и чувствуя непрерывно подсасывающую душу тоску по ней.

И сила этой тоски и отчаяния порой была такая, что, мысленно воображая Зину, хотелось схватить ее за эту каштановую прядь, падающую на лоб, и проволочить по городу, пока она не оторвется. Или, схватив обеими руками, до отказа раздернуть в обе стороны ее длинное коричневое кашне, лихо повязанное поверх воротника пальто, или в крайнем случае взять и вдавить в лицо этот аккуратненький, не по чину самостоятельный носик! Обезобразить ее, чтобы не мучила!

И как забывалось это мучение, как все расцветало, брызгалось свежестью жизни, если она вдруг появлялась

с подружками из-за угла! Каким ветерком обвевало душу, раздувая в ней веселые угольки надежды, как глупо расплзлось лицо в благодарной улыбке и как стыдно было на глазах у ее переглядывающихся подружек становиться столь бессовестно счастливым!

Но так бывало редко. Чаще всего мы ее нигде не встречали. И тогда, перед тем как разойтись по домам, мы подходили к фотоателье на набережной, где в витрине вместе с другими фотографиями был выставлен ее снимок.

Мы подолгу любовались ее лицом, таинственно оживающим в неровном свете фонаря, полуприкрытого раскачивающейся веткой эвкалипта. А с моря налетали холодные, сырые, соленые порывы пронизывающего ветра, и веера пальм, росших на тротуаре, издавали сухой, бронхиальный скрежет, и была юность, влюбленность, государственное сиротство и слегка согбенная под этим вера в свою обреченную правоту! Фотографию эту обнаружил, конечно, Женья.

Вся семья у нее была музыкальная. В ту зиму ее отец и мать играли в любительской постановке оперы «Евгений Онегин». Репетиции почему-то проводились в клубе Моряков, и Зина нас туда время от времени водила. Отец играл Онегина, а мать играла Татьяну.

Бедные кулисы, бедная сцена с глупой трибункой в углу, жалкие костюмы, но музыка Чайковского, и она рядом в сером свитере и серой юбке. Вечно меняющая позу, покашливающая в коричневое кашне, в клубе было прохладно, отбрасывающая его край, покусывающая губы от волнения, одновременно все время видящая меня рядом своим непостижимым карим глазком, встряхивающая головой и отбрасывающая прядь со лба, в ужасе закрывающая уши, если на сцене сфальшивили, кричащая туда или, если ее не понимали, вскакивающая и бегущая с развевающимися концами длинного кашне, вылетающая на сцену, свет которой почему-то с особой жадностью озарял и ловил ее быстрые, цветущие ноги! Движения, движения, движения и моя влюбленность, с пугливой цепкостью следящая за ними!

От ее близости, от самого ее запаха, от музыки Чайковского, от изображения нашей потерянной пушкинской родины в голове все перепутывалось и, перепутываясь, оживало странной явью. Оттого, что Онегина и Татьяну играли ее родители, уже стареющие, нежно любящие друг друга муж и жена, казалось, что и Онегин с Татьяной были счастливы в настоящей жизни, а просто так, по таинственной воле поэта, сыгран теневой вариант их судьбы, и сам Пушкин не убит, и с ними наша прежняя родина, а все, что с ней случилось, это только сон, только теневой вариант судьбы, который мог бы случиться, но, к счастью, не случился, и милый чудаковатый мсье Трике — это Париж,

влюбленный в неповторимую поэтичность Татьяны-России. Как это было давно, но это же было!

Зина думала обо всем примерно так же, как и мы, но терпеть не могла политические наши разговоры.

— Как можно все время об одном и том же, — встряхивала она головой и предлагала пойти в кино, выпить лимонад Логидзе, нагряться к одной из подруг или даже испечь пирог, если мы после долгой прогулки соглашались подождать.

— Мой папа говорит, — любила она повторять в таких случаях, — что мы, русские, сначала разучились жить, а потом научились жить химерами.

Бывая у подруг Зины, детей простых советских служащих, мы заметили, что все они гораздо избалованней ее, просто неумехи, и их матери дома все за них делают.

Мы обсудили между собой этот вопрос, и Коля ехидно заметил:

— Все обстоит просто. Бывшие кухарки, потеряв своих барынь, стали кухарками своих детей. А бывшие барыни, потеряв кухарок, сделали кухарками своих дочек.

Иногда мы всей гурьбой заходили к Коле поболтать и выпить кофе по-турецки. Однажды мы там застали старушку-кибениматограф. Зина ей явно понравилась. Узнав, чья она дочь, старушка-кибениматограф, хитренько взглянув на шмыгнувшего в комнату Колю, быстро прошептала ей:

— Выходи за Колечку замуж. В будущем. Ничего, что он князь. Сейчас, милочка, это не имеет большого значения.

Мы захохотали достаточно нервным смехом.

— Чем я заслужила такую честь? — смеясь спросила Зина.

— Заслужила, — избавляя ее от комплексов, уверенно кивнула старушка и быстро приложила палец к губам, потому что в дверях появился Коля.

Весной, когда все расцвело, комната Коли как бы стала еще более затхлой, и Зина не выдержала.

— Мальчики, — сказала она, — дальше терпеть нельзя! Это не дом, а притон бродяги!

Она сорвала с вешалки старый халат Колиной мамы, почти дважды завернулась в него и крепко перепоясалась. Со времени смерти мамы Коли, а с тех пор прошло четыре года, полы в комнате, конечно, никто не мыл. Усохший дворец буфета был покрыт таким слоем пыли, что хранил на своей огромной поверхности все рисунки, нанесенные на него пальчиком его сестренки. Вглядевшись в эти рисунки, можно было проследить за развитием ее воображения от наскальных примитивов до первых школьных сюжетов.

Коля был не на шутку взбешен этим, как он сказал, чекистским вторжением. Но Зина в ответ только смеялась. В знак протеста Коля уселся на веранде с книгой и ни разу не взглянул в нашу сторону.

С очаровательным вкрадчивым коварством Зина подошла к горе книг, достававшей ей до плеча, и толкнула ее руками, как бы разыгрывая сцену из неведомой пьесы «Молодость и мудрость». Вершина рухнула, и вулкан осел, выбросив в потолок вялое облако истлевшей мудрости.

Зина громко чихнула и, расхохотавшись, взялась за тряпку. Книги, сохранившие обложки, тщательно протирались и водружались на кровать. Книги же, лишенные обложки, не только не удастайвались быть протертыми тряпкой, но сами встряхивались, как тряпочки, и укладывались на кровать. Три из них, наиболее ветхие, не выдержав такой физкультуры, частично лишились своих потрохов, а она, поощряемая нашим хохотом, возвращала им внутренние органы, не слишком заботясь об их естественном расположении. С выражением на лице: «Сами разберутся, если живы!» — она поспешно вкладывала в них вывалившиеся страницы, отправляла на кровать и бралась за новые. Коля, конечно, этого не видел.

Колина половая тряпка, найденная после долгих поисков под топчаном на веранде и с большой осторожностью отодранная от пола, совершенно не гнулась и была похожа на обломок глиняной стены со следами клинописи, не поддающейся расшифровке. Пытаясь вернуть ее к жизни и придать ей если не первоначальную, то хотя бы какую-нибудь эластичность, мы положили ее под колонку и пустили воду, рискуя не только смыть следы клинописи, но и вообще растворить в воде ее новую субстанцию.

Заняв половые тряпки у соседей, мы принялись отмывать полы. Когда я первый раз с ведром, наполненным грязной водой, подходил к помойной яме, я увидел дочь Александра Аристарховича. Шагах десяти от меня, спиной ко мне, она стояла, прислонившись к шелковице, и всхлипывала. Появление Зины в доме у Коли да еще эта хозяйственная суета, а главное, что она облачилась в халат его матери, явно надломили ее.

Возвратившись в дом, я рассказал Коле об увиденном. Коля отбросил книгу и взвился, устремляя ярость по поводу нашего вторжения на свой Карфаген.

— Этот невежда, — закричал он, — злится на меня за то, что я избавляю его дочь от невежества! Я дал его дочери почитать книгу Гусева «Нравственный идеал буддизма». Этот кретин вернул книгу и стал объясняться. Сегодня я над ним издевался как никогда! «Коля, — сказал он, — зачем вы забиваете голову моей дочке реакционными верованиями? Она же будущий педагог!» «Помилуйте, —

говоря, — Александр Аристархович, по этому вероучению уже две с половиной тысячи лет живет треть человечества! Вам же, конечно, известно, что Гаутама Будда, кроме того что был великим философом, лечил больных и защищал угнетенных примерно за две тысячи четыреста лет до Маркса? Ведь вы же не станете отрицать признанное всеми историками, что правление первого буддийского царя Асоки было самым гуманным, разумется, для того времени, а не для нашего?!»

Он надулся и сказал: «Это реакционное вероучение облегчило английскому империализму захват Индии».

Такого перехода я даже от него не ожидал. Ну, тут я ему выдал.

— Да, — говорю, — Александр Аристархович, относительно того, что буддизм зародился в Индии, вы попали в точку. Но и точка, согласитесь, достаточно крупная. А в остальном вы не правы. К сожалению, Александр Аристархович, вам никогда не стать Буддой! Буддой, Александр Аристархович, вам не стать! — Он, конечно, не знает, что Будда означает — просвещенный. Не знает! Не знает!

— А я, Коля, и не претендую, — говорит он, — это мне странно даже слышать. Я только прошу насчет дочки...

— Нет, — говорю, — Александр Аристархович, Буддой вам никогда не стать!

Он ушел, видимо, решив, что я рехнулся, и наказал дочь. Вот она и плачет.

Пока Коля рассказывал, мы, переглядываясь, хохотали. Смех наш был следствием юмора, рикошетирующего от его рассказа к уборке его библиотеки. Дело в том, что одной из трех книг, не выдержавших Зининых встряхиваний, и была книга «Нравственный идеал буддизма». Хотя бедному проповеднику были полностью возвращены внутренние органы учения, однако явно не в первоначальном порядке. Так что, попадись Александру Аристарховичу эта книга после нашей уборки, он уже с полным основанием мог бы обвинить учение Будды в некоторой логической путанице.

Дополнительным источником юмора к рассказу Коли служило его собственное восприятие нашего смеха: то ли он стал намного остроумней, то ли мы, поумнев от соприкосновения с его книгами, лучше стали понимать его? Он так до конца и не решил, время от времени тревожно поглядывая на свою сестричку, которая слегка опьянела от всей нашей суматохи и каждый раз хохотала вместе с нами.

Наконец, отсмеявшись, мы взялись за половые тряпки. Пол, надо было еще до него добратся, наконец выскребли и вымыли. Под слоем многолетней грязи, как на раскопках, обнаружили великолепный паркет. Мебель была протерта, стены очищены от рыболовецких сетей паутины

вместе с усохшими трупиками уловов, а книги стопками уложены возле книжных шкафов.

Незадолго до конца уборки Женя куда-то исчез и через полчаса вернулся с бутылкой вина и стал осторожно, как бокалы, выкладывать из карманов электрические лампочки. Издевательски бормоча: «Принесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры», он вывинтил на веранде и в комнате тусклые, замызганные лампочки и ввинтил сияющие, многосвечовые. Нас всегда удручали Колины лампочки, но мы как-то примирились с этим, чувствуя, что, если по этому пути идти, слишком многое придется преодолевать.

Мы весело распили бутылку вина. Коля, как всегда стоя, провозгласил первый тост за здоровье ее величества королевы Англии, подданные которой с полным правом утверждают, что их дом — это их крепость, поскольку к англичанину никто не может ворваться и под видом генеральной уборки устроить у него в доме повальный обыск.

Тут Женя в связи с тостом Коли вспомнил, что он, возвращаясь после покупки вина, подошел к колонке и любопытствовал о судьбе Колиной половой тряпки. По его уверению, она уже вяло пошевеливается под струей воды, хотя и уменьшилась до размеров мужского платка.

Он напомнил, что у Коли с носовыми платками всегда обстояло, мягко выражаясь, туговато, и предложил ему скорее вытащить ее из-под струи, а то за ночь она там полностью растворится или, что тоже не исключено, ее просто сопрут.

Тут вставился Коля, уже готовивший кофе над керосинкой, особенно радостно коптившей под обновленной верандой. Он давал голову на отсечение, что если кто и похитит его таинственную сокровище, то только не Александр Аристархович. Если, придя на утренний водопой, он обнаружит ее под колонкой и со свойственной ему пронизательностью примет ее, к этому времени соответственно уменьшившуюся и даже побледневшую, за большой лепесток магнолиевого цветка, слетевшего с дерева, он может только взять ее в руки, понюхать, удивиться ее запаху, обрадоваться, что удивление его по поводу странности ее запаха в еще спящем доме никто не заметил, и, решив, что на данном этапе цветам магнолии дано указание именно так пахнуть, положит ее на место.

Закончив свой монолог, Коля разлил нам кофе по чашечкам и, как всегда, поставил свою турку прямо на стол, уже неоднократно, как старый каторжник, клейменный ее раскаленным днищем. По этому поводу Женя сказал, что если уж Коля дал буддийский обет никогда в жизни не пользоваться носовыми платками и если половая тряпка, уменьшившись до размеров носового платка, сохранила при этом свое великолепное свойство в сухом виде каме-

нет, то се с завтрашнего дня можно использовать как подставку для Колиной турки. Его коптящая керосинка, заметил он, может быть использована для окончательного обжига уже окаменевшей тряпки. На этом импровизации на данную тему, вдохновляемые смехом Зины, были как будто исчерпаны.

Напившись кофе, Коля окончательно примирился с нами в духе буддизма и уже в собственном духе прочел нам лекцию о жизни и учении своего любимого Гаутамы.

Наши отношения с Зиной, мучительные своей неопределенностью, в ту памятную на всю жизнь весну вдруг изумительно прояснились. Сейчас, когда я думаю о лучших минутах моей жизни, я вспоминаю не сладосте первых поцелуев, а ее, когда она, быстро стуча каблучками, отбрасывая скользящей по перилам рукой фиолетовые кисти глициний, вихрем свежести слетала ко мне со второго этажа своего деревянного дома. Или позже, уже осенью, как бы со стороны, вижу нас обоих, притихших и взявшись за руки идущих по чистой улочке, усеянной листьями платана, шуршащими под ногами.

... — Я поняла, что это навсегда, понимаешь, навсегда, и потому испугалась, — говорила она в наш первый вечер вдвоем. А потом сама поцеловала меня и добавила: — Ты папе тоже понравился...

Я ничего не говорил друзьям, но все было ясно и так. Милый Женя продолжал улыбаться своей лукавой улыбкой и по привычке трогал свои драгоценные кудри, словно, убедившись, что они на месте, убеждался сам, что мои успехи временны.

Алексей важно отвел меня к подножию магнолии и, покраснев и опустив голову, приказал:

— Дай клятву любить ее всю жизнь.

Я дал.

А Коля, конечно, был верен себе, хотя долго делал вид, что ничего не замечает.

— Авиация, спорт, женщина — полный совдеповский джентльменский набор, — сказал он с улыбочкой и с особенным бешенством накинулся на своего квартиранта.

В те времена, не знаю, помнишь ли ты, в дни советских праздников флаги вывешивались не только на фасадах правительственных зданий, но и частных домов.

— Он совсем спятил! — закричал Коля. — Он за три дня до Октябрьского переворота вывесил флаг! Кретин, не понимает, что такой наглый подхалимаж навлекает подозрение Чека! И на меня навлекает! Он же мой квартирант! Я ему говорю: — Что это вы, Александр Аристархович, так смело передвинули наш всенародный праздник? А ведь вождь учит, что историю нельзя ни ухудшать, ни улучшать. Любопытствую, что означает ваша поспешность? Улучшение истории или ее ухудшение? — я его загнал в ловушку!

Ведь они считают, что Ленин мистически точно предугадал дены! Любой ответ звучит двусмысленно! Он смутился, ужасно смутился!

— Я, — говорит, — Коля, еду в школу. Боюсь, что жена забудет.

— Так и забудет! Держи карман шире!

...Конечно, мы с Зиной любили говорить о будущем. Уже было твердо решено вместе ехать в Одессу — я в летнее училище, она в мединститут. Мы целовались до умопомрачения, но все еще последнюю черту не переходили.

И вот после выпускных экзаменов мы идем на день рождения к ее подруге. У нас впереди вся ночь! Такого никогда не бывало! И мы знаем, что это будет наша ночь!

Подруга ее жила возле греческой церкви, совсем недалеко от Коли. Туда явилась вся наша компания, и было множество полужнакомых друзей ее подруги.

Столы. Салаты. Вина. Музыка. Смех. И рядом она в моем любимом платье, и ее горящее лицо, и видящий, обжигающий сбоку глазок, и отважная шея, и ледяная ладонь, почти непрерывно ловящая мою руку под столом и сжимающая ее, и ощущение какой-то тревоги, переизбытка напряжения, грозящего непонятным взрывом.

После ужина начались танцы. Ее много раз приглашали, но она так и не встала с места. Особенно упорствовал один мальчик. Он даже разлился, но потом отстал.

Слегка шаржируя, Женя начал набрасывать быстрым карандашом портреты мальчиков и девушек. И только один мальчик у него никак не получался похожим. Он несколько раз брался его рисовать, но рисунок не удавался. Возможно, сказалось, что Женя к этому времени слегка подпил.

И тут вдруг Коля сострил:

— Одно из двух: или у художника нет таланта, или у модели нет лица.

Все расхохотались. Смеялся и мальчик, чей портрет никак не получался. Видимо, он был уверен, что виновато не его лицо, а рука художника. Женя просто покатывался от хохота, настолько смешным казалось ему предположение, что у него нет таланта. Видя, что оба, и художник, и модель, смеются, остальные начали находить в этом новый источник юмора и долго смеялись.

Смех уже начал угасать, как вдруг Алексей плеснул топливо в этот догорающий огонь. Краснея и опуская голову, он сказал:

— Возможен еще один вариант: и у художника нет таланта, и у модели нет лица!

Все грохнуло, а Женя от смеха даже свалился со стула. Но мальчик, чей портрет не получался, вдруг страшно разобиделся, стал кричать, пробираться к выходу, отмахиваясь от тех, кто пытался его удержать. Но тут целая

гроздь кричащих девушек в него вцепилась, и он позволил себя остановить.

Все успокоились и сели к столу. Я было подумал, что вот этой вспышкой и разрешилось то перенапряжение, которое я чувствовал. Но лицо Зины все так же пылало, ее карий глаз под мохнатыми ресницами все так же обжигал меня сбоку, и ладонь, сжимавшая мою руку под столом, была все такой же ледяной.

Ни с того ни с сего разговор зашел о киножурнале с докладом Сталина. Некоторые стали умильно упоминать якобы неожиданные сталинские слова и телодвижения: вдруг взял да и оглянулся на президиум (никто бы не подумал!), пошутил, улыбнулся, сам себе налил боржом, нет, сначала налил боржом, а потом выпил и пошутил, и все такое прочее, может, обдуманно рассчитанное им самим для оживления его тухлых слов.

И вдруг громкий голос Зины:

— А мой папа говорит: — Беглый каторжник управляет страной!

Сквозняк ужаса пробежал по комнате и разом сдунул все голоса. На некоторых лицах мелькнула тень отдаленного любопытства — разве так уже можно говорить?! — и тут же улетучилась. Тишина длилась пять-шесть невыносимых секунд, и было ясно, что каждый боится что-нибудь сказать, потому что первый, сказавший что-либо после сказанного, будет обязательно привязан к сказанному. И тут раздался спокойный голос Коли:

— Конечно, вождь семь раз бежал с царской каторги. Об этом неоднократно писалось в его биографиях. Жаль, что еще нет кинофильма о его героических побегах с каторги.

А лицо Зины еще несколько секунд пылало, словно она хотела сказать: — Нет, мой папа имел в виду совсем другой смысл! — а потом ее лицо погасло, она опустила голову, ее ледяная ладонь, сжимавшая мою руку, разжалась, и я сам схватил ее ладонь и сжал изо всех сил.

Компания, оцепеневшая было на минуту, словно облегченно вздохнув, лихорадочно зашумела. С какой грозной разницей звучит одно и то же понятие! Одно дело: вождь бежал с каторги! Другое дело: беглый каторжник управляет страной!

Начались танцы. Зина в передней нашла свою сумочку, я схватил плащ, и мы выскочили на улицу. На ходу, целуя ее, я упрекнул:

— Ты что, спятила? Разве так можно?

— А ты? А ты? — отвечала она, прижимаясь ко мне горячей щекой и сияя в полутьме глазами. — Ах, ничего! Князь меня спас!

За два квартала от дома ее подруги был тот самый парк, где когда-то Женя дрался со своим соперником. Мы

быстро шли туда. Пройдя ближнюю часть парка, оборудованную для детских игр, мы углубились в него и уселись на скамейке под могучей секвойей. Впереди была целая ночь. Мы обнялись, и началось долгое истязующее блаженство, иногда прерываемое признаниями и разговорами о будущем. Кстати, тут я ей рассказал о дуэли Жени с Толей. Как она хохотала, как в темноте блестели ее зубы!

Где-то далеко от нас сидела какая-то компания. Оттуда время от времени доносились голоса. Я понимал, что это скорее всего хулиганы. Они меня не тревожили, но все-таки останавливали от последней смелости. Уйдут же они когда-нибудь, думал я.

— Сумка! — вдруг вскрикнула Зина, и я увидел тень человека, метнувшуюся от нашей скамейки.

Я вскочил и тупо побежал за ним. Он мгновенно растворился в темноте, а я, пробежав метров тридцать, споткнулся о какой-то корень и растянулся на мокрой земле. Ночь была пасмурной, и иногда накрапывало.

Когда я вскочил, было уже совсем непонятно, куда бежать, да и тревожный голос Зины вернул меня к ней.

— Ой, хорошо, что ты пришел, — сказала она, прижимаясь ко мне, — бог с ней, с сумкой, там ничего не лежало... Я закричала от страха!

Человек этот скорее всего был из той компании и, услышав наши голоса, решил поживиться. Уже к скамейке он явно подполз, потому что когда я его заметил в темноте, фигура его разгибалась. Было неприятно думать, что кто-то к нам подползал, пока мы целовались.

— Пошли отсюда, — сказал я.

Парк упирался в поросший сосняком холм, и я знал, что на ровной вершине этого холма, где растет мимозовая рощица, мы найдем укромное место. Я взял ее за руку, и она покорно пошла со мной. Мы стали подыматься по крутому холму, покрытому опавшей хвоей.

В темноте подыматься было трудно, ноги соскальзывали с нахвоенного склона, но меня вдохновляло то, что нас ждет впереди, и она героически и безропотно следовала за мной. Иногда она останавливалась, чтобы вытряхнуть хвою из туфель, и пока она в полной темноте, сливаясь с этой темнотой, в которой, как в воде, слегка изгибаясь, бледнели ее голые руки, стояла на одной ноге, держась за меня, и вытряхивала из туфель хвоинки, я осторожно целовал ее в затылок опущенной головы.

На самых крутых местах я выискивал какие-нибудь кусты и подтягивался на них, а потом протягивал ей руку и вытягивал ее к себе, на себя, и мы, разогнувшись на крошечной площадке и задыхаясь от крутизны подъема, яростно целовались, и я вдыхал смешанный с запахом хвои запах ее расцветающего и расцветающего в теплой темноте тела и пальцами, горящими и натертыми наждач-

ной хвоей и колкими кустами, особенно чутко ощущал в объятиях чудо ее прогибающегося ребрами любящего тела.

Чувственный порыв освежал наши физические силы, и мы снова пускались в путь. Задумчиво шелестя на вершинах сосен, время от времени накрапывал дождь, но до их подножия он почти не доходил.

Вдруг мне показалось, что я слышу какой-то вкрадчивый посвист. Я прислушался. Он снова повторился где-то слева. Потом справа. Это был тихий пересвист по крайней мере двух человек.

Я ей ничего не сказал, чтобы не волновать ее. Мне было неприятно, что какие-то люди параллельно с нами, по обе стороны от нас, пробираются на холм. Я слышал о мерзавцах, которые охотятся в таких местах за уединившимися парочками, но юность, влюбленность, беспечность победили мою тревогу, и я решил, что, может быть, эти люди к нам никакого отношения не имеют. Этот еле уловимый посвист еще несколько раз повторялся, но Зина его не слышала или принимала за какие-то звуки летней ночи.

Мы выбрались на холм. После сумрачного склона здесь сразу стало светлей. Дождь перестал накрапывать. Темнела трава, и на лужайке были разбросаны голубоватые на фоне травы легкие кусты мимозы.

Я огляделся и возле одного из кустов, место это показалось мне особенно уютным, расстелил на мокрой траве свой плащ. Я осторожно опустил ее и уже сам хотел сесть, но что-то заставило меня выпрямиться.

— Ты что? — шепнула она, глядя на меня снизу вверх темными, непонимающими и в то же время навсегда доверяющими глазами. Еще девушка, но уже как истинная женщина, она не понимала, почему я покидаю с таким трудом добытое гнездо, и одновременно в голосе ее была та изумительная покорность развитой женской души, которая порождает в мужчине настоящую ответственность. Это, конечно, я сейчас все осознаю, вспоминая ее облик.

— Подожди, — шепнул я ей и, оглядевшись, подошел к большому кусту мимозы, росшему в десяти метрах от нас. Только я сделал шаг за куст, как вдруг увидел перед собой на расстоянии вытянутой руки лицо хама. Вся большая фигура его, наклоненная вперед, и широкое лицо с мокрыми, прилипшими ко лбу волосами выражали подлый, пещерный азарт любопытства. Я замер, и мы секунд десять, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец, скот не выдержал и, молча повернувшись, бесшумно исчез за другими кустами. Видимо, когда я столкнулся с ним, он только собирался выглянуть из-за мимозы и потому не заметил моего приближения.

Я вернулся к Зине. Ясно было, что нам оставаться здесь нельзя. Вспоминая, удивляюсь, но почему-то большо-

го страха не было. Если б я один в таком месте столкнулся с ним, наверное, было бы гораздо страшней. Но тут и взволнованность, и готовность защищать то, что мне дороже всего в мире, и оскорбленность, что за нами следят какие-то мерзавцы, с какими-то темными целями, видимо, ослабляли страх.

— Смотри, что я нашла? — шепнула она мне, что-то протягивая.

Я наклонился. Две темные земляничины на стебельках торчали над ее сжатыми пальцами.

— Как мы удачно выбрали место, — сказала она, — это самые последние в сезоне. Одну тебе, другую мне. Почему ты не сядишься?

Я отправил свою землянику в рот и спокойно сказал:

— Нам лучше уйти отсюда...

— Почему, — спросила она и, ухватив губами землянику, оторвала стебелек, — разве что-нибудь случилось?

— Лучше уйти, — сказал я и подошел к кусту мимо-зы. Я наклонился и, чувствуя лицом ласково лижущуюся мокрую зелень, выломал достаточно крепкую ветку, стараюсь при этом как можно громче хрустнуть ею.

— Зачем тебе это? — спросила она с некоторым беспокойством.

— Пригодится, — сказал я громко и стал очищать палку от мелких веточек.

Она покорно встала, я надел плащ, и мы пошли назад. Сейчас в ее покорности была и усталость, и я подумал, что замучил ее, бедную, за эту ночь. Все же я об этом подумал мимоходом, потому что мысленно готовился к отпору, если они все-таки подойдут и пристанут к нам.

Но к нам никто не пристал, и мы снова вошли в сосняк. В темноте спускаться было еще трудней, но палка мне пригодилась. Я опирался на нее и тем самым давал Зине опереться всей тяжестью на свое плечо, и мы боком спускались вниз, порой оскальзываясь и скатываясь, как на салазках, на пластах хвой. В конце концов мы вышли в парк, и я бросил палку.

Снова стал тихо накрапывать дождик. Мы уже перешли в детскую часть парка, чтобы выйти на улицу. Я взглянул на ее бледное, осунувшееся лицо, вспомнил весь наш поход, и мне вдруг стало безумно ее жалко, и без всякого чувственного желания я обнял ее, и она бес-сильно склонила голову на мое плечо.

Целуя ее, я снова ощутил волнение и снова почувствовал оживающую встречную нежность, и волнение все нарастало, и дождик усиливался. Я быстро снял плащ и накинул на нее и снова обнял ее под плащом, а дождь не переставал идти, теплый, парной дождь, и волнение нарастало, и я целовал ее лицо и мокрую от дождя голову, пахучую, как букет, а дождь все не переставал идти, и я сквозь

проможшую рубашку чувствовал очаровательное, уже торкающее прикосновение ее горячих рук, обнимавших меня, и вдруг заметил в десяти шагах от нас домик, в котором днем играют дети.

Демоны иронии подсказали мне решение. Я схватил ее за руку, и мы побежали к домику, и когда я впустил ее вперед, и она, наклонившись, входила в узкий дверной проем, рассчитанный на детей, она — умница! — уловила юмор мгновения и успела обернуться ко мне смеющимся ртом.

В домике выпрямиться было невозможно, и мы сразу расстелили плащ. Дождь близко, близко стучал о крышу, и был неповторимый уют домашнего очага, и в темноте ее пылающий шепот.

Мы очнулись от бодрого пения птиц, словно они, стоворившись, грянули разом. Мы выскочили из домика. Светало, и на небе не было ни единой тучки.

Во всем теле я ощущал незнакомую, пьянящую легкость. Мы молча и быстро шли к ее дому. Возле одного магазина сторожика, окинув нас сонным взглядом, проворчала, как старая нянька:

— Охолодил ее, окаянный...

Мы рассмеялись и пошли быстрее. Я проводил ее до дому и пересек город, еще спящий, еще свежий после ночного дождя. Мы условились встретиться в этот же день в шесть часов вечера.

Дома я так и не смог уснуть. Была странная, пьянящая легкость, звон в ушах, ощущение ускользающего изпод ног нахвоенного склона, запах ее мокрой головы и какая-то уже особенная, телесная, родственная, сиамская тоска по ней. Около шести часов я был у ее дома и прекрасно помню, что никакого предчувствия у меня не было.

Старик хозяин, которого я и раньше много раз видел, сейчас стоял возле дорожки к дому и, мерно взмахивая руками, косил траву.

— Мальчик, ты куда? — спросил он, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Из травы выблеснуло лезвие косы.

— К Зине, — сказал я, удивляясь его любопытству. Он видел меня много раз и знал, куда я иду.

— Их нет, — сказал он строго, — иди домой и больше сюда не приходи.

— Как нет? — спросил я, деревенея.

— Их взяли сегодня днем... Всех! Квартира опечатана... За домом, вероятно, следят... Ты у меня спросил, который час, — он посмотрел на часы (неприятное, сильное, костистое запыстье), — я тебе ответил — шесть часов... Иди, и да хранит тебя бог.

И я пошел. И снова услышал за спиной сочный звук срезаемой травы: чон, чок, чок! Я шел и все время слы-

шал этот звук, странно удивляясь, что он от меня не отстает. Я очнулся в детском парке у нашего ночного домика. Рядом с ним была скамейка. Я сел на нее и заплакал. Детей в парке уже не было, и никто не обратил на меня внимания. Кажется, тогда я выплакал все свои слезы.

Часа через три я пришел в дом под магнолией. Друзья сидели на веранде. Все были потрясены моими словами, и сначала никто ничего не мог сказать. Потом Коля заметался.

— Это она сказала, чтобы тебе угодить! — крикнул он, мечась по веранде.

— Ни малейшего сомнения, — безжалостно подтвердил Алексей, — но ты, конечно, не виноват.

— Нет, — возразил Женя, — она и раньше мне это говорила, когда вы еще ее не знали...

Коля стал лихорадочно вычислять, кто бы мог донести. Сначала все остановились на том мальчишке, про которого Алексей сказал, что у него нет лица. Потом вспомнили мальчику, приглашавшего ее несколько раз танцевать. Потом других. Мы еще были так юны, что девушки оставались у нас вне подозрения. А позже в лагере я встречал стольких людей, сидевших по доносам жен, любовниц, сослуживиц.

Алексей предложил сейчас же всем вместе идти в НКВД и сказать...

— Что сказать? — набросился Коля.

— Ну, сказать, — краснея и уставившись в пол, начал Алексей, — что все так именно ее поняли, как ты сказал вчера... Она никого не хотела оскорбить...

— Глупо! Глупо! Глупо! — вскричал Коля. — Всех заметут, и на этом кончится все! Они и несказанным словам придают свое значение, а о значении сказанных слов они ни у кого не спросят.

— Трусость губила Россию, — сказал Алексей столь угрожающе, что Коля задержался.

— Ну, я пошел, — добавил Алексей через несколько минут. Коля в него вцепился. Алексей страшно сморщился, покраснел и презрительно процедил:

— Светлейший князь, я еще, кажется, не состою в вашей челяди. Никому не дано распоряжаться моей свободой. Я просто иду домой. Не могу же я каждый день приходить в час ночи. Я все-таки из рабочей семьи, у нас рано ложатся и рано встают...

Он ушел. Коля заметался по веранде. Все это я видел сквозь какое-то сонное оцепенение. Прошло минут десять. Князь метался и что-то бормотал. И вдруг я очнулся, как от спящей пощечины! Я сорвался и побежал.

Я догнал Алексея уже на улице Энгельса, за два квартала от здания НКВД. Я его остановил, и мы заспорили, кому из нас туда идти.

— Послушай, Витя, не будь кретином, — сказал он, уставившись в землю, — ты прекрасно понимаешь, что они заинтересуются происхождением защитника... Ты недобитый враг, а у меня три поколения рабочих позади.

Я не уступал, и тогда он, как это с ним бывало и раньше, вдруг перешел на самый высокий тон и сказал:

— Ну ладно. Пойдем оба. Если надо — умрем за нее.

Было уже около одиннадцати часов ночи. В дверях стоял часовой. Мы были готовы ко всему. Только к одному мы не были готовы, что нас не пустят. Выслушав наш сбивчивый рассказ, он проговорил:

— Здесь разберутся... А вы даже не родственники... Идите домой и не шумите! Будете шуметь — милицию вызову!

Мы ушли. Утром я рассказал отцу о случившемся. Маму я не хотел беспокоить. Он молча стал ходить по комнате, потом остановился и посмотрел на меня:

— Витя, пойми, во мне сейчас говорит не отец, а здравый смысл. Я их знаю больше двадцати лет. За это время никогда ни одна попытка защитить людей не увенчалась успехом. Она только подхватывает новых людей. Если ты пойдешь туда, ты там останешься и убьешь свою мать... Может быть, они сами их отпустят... Такое бывало... Не исключено, что вас вызовут... Вот тогда твердо держитесь версии князя... Другого выхода нет...

С неделю мы ждали, но нас никто не вызывал. За это время я трижды побывал в доме Зины, но квартира их была опечатана, а хозяин ничего о них не знал. В городе у них не было родственников. Я сходил к ее подруге, у которой мы были на дне рождения. Она была страшно перепугана. Она знала, что их взяли. То ли уже ходила какая-то версия, характерная для тех времен, то ли она сама ее придумала, чтобы отвести беду от своего дома, — не знаю. Она сказала, что их арестовали, потому что ее отец, работая в банке, способствовал распространению фальшивых денег.

— Вспомни, Витя, — говорила она взволнованно, — как они широко принимали гостей! Я сама видела своими глазами, как Зинина мама выбрасывала пирожные в помойное ведро под видом протухших... Бедная Зина не виновата, но ее отец...

Через несколько дней мы решили попросить в фотоателье переснять ее снимок, выставленный в витрине. Мы подошли к витрине и застыли в ужасе — на месте фотографии Зины висел снимок какой-то парочки.

Мы поняли, что это не случайно, и вошли в ателье. Там работал маленький фотограф по имени Хачик. Когда мы спросили у него, почему с витрины снята фотография девушки, он напустил на себя необыкновенную важность и сказал, что меняет снимки по собственному усмотрению

и ни перед кем за это не отчитывается. Тогда мы попросили сделать нам копии с той фотографии. Видно, что-то в нашем облике его тронуло.

— Кто она вам, родственница?—спросил он, потеплев.

— Нет, — сказали мы, — она наша подруга.

— Идите, идите, ребята, — сказал он и болезненно развел руками, — эту фотографию я сам порвал... Политика! Политика! Хачик — маленький человек...

Мы вышли. Нам было ясно, что оттуда кто-то приходил и приказал уничтожить фотографию. Нас потрясло не только их всеведение, город у нас маленький, но и само безжалостное желание вырвать последнее, что от нее оставалось по эту сторону жизни.

Раздавленные этой избыточной энергией уничтожения, мы вернулись на веранду. В то лето мы разъехались навсегда. Коля уехал первым. Он и так собирался уезжать в Сибирь к дедушке и бабушке. При помощи старушки-кибениматограф он купил себе аттестат об окончании средней школы. До этого он говорил, что, уезжая, обязательно выселит Александра Аристарховича и продаст квартиру другому человеку. Но тут он лихорадочно заторопился, спустил всю свою огромную библиотеку пирату-букинисту, а квартиру, поленившись искать другого покупателя, продал своему старому жильцу, еще больше его за это возненавидев.

— Этот город исчерпал себя, — говорил он, — надо начинать новую жизнь.

Алексей уехал в Харьков и поступил там в университет на факультет иностранных языков. Женя — к родственникам в Краснодар и, видимо, за неимением под рукой другого вуза, поступил в пединститут. Я — в Одессу в летное училище.

До самой войны мы с Алексеем переписывались. А он еще переписывался с Колей и Женей. Женя по-прежнему влюблялся, рисовал и писал стихи, а с Колей приключилась метаморфоза. Он поступил в университет, он член комитета комсомола, отличник. В научном кружке на его доклады по истории приходят профессора. В своих длинных письмах Алексею он иносказательно объяснял необходимость буддизировать действительность изнутри и, нежно заботясь о друге, настойчиво предлагал идти его путем.

Отец несколько раз заходил в дом Зины. Их квартиру теперь занимали другие люди, и хозяин ничего не знал о судьбе своих прежних жильцов. А я до самой войны все видел ее во сне. И ничего мучительней этих снов не было в моей жизни.

В каждом сне я ее искал и уже заранее с тупой болью предчувствовал, что не найду. Во сне я или сразу ее искал, или было мгновение счастья, — и мы на веранде

у Коли пьем кофе, шутим или дурачимся на вечеринке у нее в комнате, и вдруг она на минуту куда-то выходит и не возвращается. И я ее начинаю искать. Ищу у моря, в горах, в каких-то незнакомых городах, многолюдных вокзалах, на каких-то фантастических пустырях и нигде не могу найти.

И во сне терзает одна и та же мысль: как это я не догадался спросить, куда она идет или почему я не вышел вместе с ней?! Ведь это так ясно было, что она сама дорогу назад никогда не найдет! Ведь это так ясно было!

И среди этих снов был один, не повторившийся ни разу. Миг счастливого дружества, мы всей гурьбой на веранде у Коли, но она же, эта веранда, почему-то наш с ней дом. И вдруг она с привычной легкостью вскакивает в своем летнем сарафане и входит в комнату Коли, которая одновременно и наша с ней комната. По той легкости, с которой она привычно вскочила и вошла в комнату, я понимаю, что она подошла к нашему ребенку, спящему в кровати. Но вот она не возвращается, и я во сне уже испытываю знакомую тягость и начинаю понимать, что это сон, который я и раньше много раз видел, что она исчезла навсегда. И тут вдруг я соображаю во сне, что на этот раз это не сон, а явь, потому что раньше, во сне, она никогда не выходила к ребенку. Радуюсь своей сообразительности, я вхожу в комнату в полной уверенности, что теперь это не сон и потому я ее сейчас там найду. Я вхожу в комнату и вижу, что кровать пустая и никого в комнате нет. И тогда я запоздало начинаю понимать, что те тягостные сны мне потому и снились, что они были предупреждением: береги ее, не отпускай от себя! И я в удручающей тоске теперь думаю во сне: как же я не догадывался о смысле тех снов, ведь это же ясно, что сны меня предупреждали! Как же я не догадывался! Нельзя же и во сне и наяву вечно повторять одну и ту же ошибку! И вот они ее взяли вместе с ребенком! И дополнительное стыдное чувство, что я почему-то забыл облик своего ребенка и никак не могу представить его себе. И вот они ее взяли вместе с ребенком.

Но как же, думаю я, они могли ее взять, когда другой двери нет, а мимо нас они не проходили. И тогда я вдруг вижу окно и не удивляюсь ему, хотя знаю, что в Колиной комнате нет окна, не выходящего на веранду. Взять ее могли только через окно. Но оно закрыто, и шпингалет изнутри задвинут. Вдруг молнией догадка: один из них остался, он и задвинул шпингалет окна изнутри!

Я мгновенно оборачиваюсь и вижу в углу комнаты того хама, который смотрел на меня из-за кустов мимозы. Он стоит точно в такой же позе, как и тогда в кустах, но я почему-то понимаю, что он принял эту позу с той же

быстротой, с какой я на него обернулся. Большой, чуть наклоненный вперед, с широким лицом и мокрыми волосами, налипшими на лоб, и с выражением подлого, пещерного любопытства в глазах, но теперь уже только ко мне, к постыдной тайне моей личности.

Мы опять смотрим друг другу в глаза, плотоядные губы его не шевелятся, но я как будто бы слышу его слова:

— Ты меня испугался...

— Нет, — кричу я ему, — это ты, скотина, тогда повернул и молча скрылся в кустах! Больше мы с тобой нигде не встречались!

А он, продолжая неподвижно смотреть на меня с выражением подлого любопытства к постыдной тайне моей личности, опять, не шевеля своими плотоядными губами, уверенно повторяет:

— Ты меня испугался!

Я кричу, я пытаюсь ему напомнить, где и как мы встретились и кто повернул и бесшумно скрылся в кустах, а он с выражением все того же подлого любопытства смотрит на меня. И вдруг его толстые губы раздвигаются в неостановимой, торжествующей, почти добродушной и именно поэтому губительной для меня улыбке. И я слышу его голос, хотя он только улыбается:

— Не все ли равно, где ты меня испугался... В кустах мимозы или где-нибудь в другом месте... Главное, что испугался...

И меня пронзает невыносимая догадка: он прав!!

— Карташов! Проснись! Проснись! — услышал я над собой голос товарища по общежитию училища. Он тряс меня, приговаривая:

— Ну что я за невезучий человек! В той комнате храпели, как свиньи! Перешел сюда! Здесь кричит, как зарезанный! Что за народ!

А я слушал его, и струя нежной благодарности разливалась по телу, и хотелось слышать и слышать голос, возвративший меня из этой жути в наше такое милое в своей грубой мужской простоте общежитие!

Этот сон больше не повторялся, но я на всю жизнь запомнил его смысл. Видит бог, я их с тех пор не боялся! Но ее я продолжал видеть во сне и иногда, по рассказам товарищей, во сне кричал. Потом война, и она мне перестала сниться, словно легкая улетучилась, чтобы не мешать мне защищать нашу безумную несчастную родину.

Из нашей компании все, кроме Коли, у него в самом деле было очень слабое здоровье, попали на войну. Мы с Алексеем вернулись, а милый Женя, так и не доносив свои редеющие кудри, погиб: О, менш, во цу диз лерм!

А потом арест, смерть Сталина, двадцатый съезд, реабилитация. Вечером шестого марта 1956 года я гулял по

Мухусу. Поклонники кумира, взбешенные критикой Сталина, в годовщину его смерти вышли на улицы. Город два дня, в сущности, был в их руках. Милиция боялась нос высунуть. Шествия, бесконечные гудки насильственно остановленных машин, митинги у памятников Сталину.

Вот в такой вечер я встретил на улице Александра Аристарховича. Несмотря на годы, он почти не изменился. Даже стал глаже. Узнав, кто я, искренне обрадовался. Оказывается, он уже на пенсии, но подрабатывает в городском методическом кабинете. Его консультации ценят. У него два внука, а сам он женат второй раз, потому что жена умерла. Это случилось много лет назад.

— Ваша жена не из деревни, где вы преподавали? — дернул меня черт спросить, вспомнив Колины намеки.

— Да, — сказал он, с некоторым удивлением взглянув на меня, — так получилось.

Оказывается, он Колю видел лет пять тому назад. Коля приезжал к нам в город с молодой, симпатичной, по словам Александра Аристарховича, женой. Заходил с нею во двор и, стоя под магнолией, рассказывал ей что-то о своей прошлой жизни. Несмотря на уговоры Александра Аристарховича, в свой бывший дом он так и не заглянул.

— Может, я ошибаюсь, — сказал Александр Аристархович, — но мне кажется — он меня почему-то недолюбливал. Нет, нет, он никогда не грубил! К нам несколько раз в свое время заходила та аристократическая старушка, что помогала ему, когда он здесь жил. Она мне говорила о его научных успехах. Я никогда не сомневался, что он необычайно способный мальчик. Но в нем всегда была какая-то чрезмерность. Этот кофе и все остальное. И эта чрезмерность осталась. Я это заметил. Попомните мое слово, такая чрезмерность не может окончиться добром.

Я сказал ему, что мы в мальчишестве считали его скрытым меньшевиком.

— Нет, — засмеялся он, — я никогда ни в какой партии не состоял. В тридцать четвертом году я бежал от ужасающих чисток в Ленинграде после убийства Кирова. Мы с вами люди культурные, и я буду с вами откровенен. Поверьте моему опыту. Критика Сталина — это новый дьявольский маневр. Предстоят чистки. Они высматривают, кто высунется с критикой Сталина...

Я уже его почти не слушал. Мы проходили мимо центрального городского парка. Огромная толпа окружала памятник Сталину. Ораторы с постамента что-то говорили. Я предложил моему спутнику войти в толпу и послушать их.

— Нет, — сказал он, — и вам не советую. Возможны эксцессы, да и чекисты, безусловно, все это снимают на пленку.

Он остался у входа в парк, а я вошел в толпу. Ораторы говорили ту же пошлость, что и при жизни Сталина. Выкопали откуда-то пьяного отставника. Он явно был под газом, и сзади его слегка придерживали. Он кричал о полководческом гении генералиссимуса.

Потом какие-то доморощенные поэты читали стихи о Сталине. А люди, стоявшие вокруг меня, сентиментально поглядывали в мою сторону и бросали дружественные реплики. Я уже хотел уходить, как вдруг раздался какой-то приказ, и вся толпа мгновенно повалилась на колени.

И разом оголили мою душу! Те, что сентиментально поглядывали на меня, знаками и словами стали показывать, чтобы я последовал их примеру. Их взгляды как бы уверяли: это просто, это даже уютно. Я не последовал их примеру. По толпе калек прошел злобный, фанатический ропот. Я почувствовал, что ноги у меня чугунеют. Человек, стоявший на постаменте, явно тот, что дал приказ рухнуть, несколько раз махнул мне рукой. Видя, что я не следую его призыву, он решительно обогнул постамент и зашел за него. Вероятно, там у них был какой-то штаб, и он хотел спросить, как быть со мной. Я решил больше не испытывать судьбу. Огибая коленапреклоненных, я вышел из толпы. За мной никто не погнался.

Александр Аристархович ничего не заметил. Мы пошли дальше. Какая-то женщина, спешившая на этот митинг, как спешат женщины занять очередь за дефицитным товаром, с победной злорадностью крикнула:

— Вот такая демократия!

Сарказм ее означал: вы критиковали Сталина за нарушение партийной демократии, так вот она, демократия, и мы демократическим путем митингуем за Сталина.

— Все-таки вы напрасно вошли в толпу, — сказал мне на прощание Александр Аристархович, — чекисты все снимают на пленку.

На этой любимой советской ноте, которую ни смерть Сталина, ни его критика не смогли перебороть, мы с ним и расстались.

Прошло лет десять. И вдруг ко мне пришел Алексей. Я после тюрьмы, приехав домой, заходил на квартиру его родителей, но они уже там не жили, и я не знал, куда они делись. Он приехал в отпуск к родителям и решил узнать: жив ли я, дома ли? Мы братски обнялись, я собрал на стол закуску и выпивку, но, увы, оказалось, что он в большой завязке.

Вот его судьба. После войны он окончил университет и многие годы работал в иностранном отделе какой-то харьковской библиотеки. Женился, имеет взрослого сына. Еще до «оттепели» у него начались нелады с начальством. После «оттепели» усилились. Он много раз свирепо запивал. Бросал. Снова запивал. И, наконец, бросил пить, бро-

сил библиотеку и пошел на завод, где до сих пор работает токарем. Как и у многих, сильно пивших, а потом совсем бросивших пить, в нем есть что-то ушибленное.

Но походка та же, даже усугубилась. Еще круче, еще непреклоннее, преодолевая некую зависимость, она провозглашает независимость. И от этого еще отчетливее чувствуется в воздухе то, от чего он зависит.

О судьбе Коли я узнал от него. Он долгое время переписывался с ним, а потом с его сестрой. Еще аспирантом Коля вступил в партию, но женился на любимой студентке. Она ему родила двух детей. После аспирантуры одним прыжком он стал профессором истории, на лекциях которого яблоку негде было упасть.

Но после двадцатого съезда у него начались серьезные неприятности с начальством. Он так ненавидел Сталина, что, видимо, решил: настал его час! Вероятно, он стал пытаться буддизировать историческую науку. Когда рухнула главная стена — Джугашвили, — либеральная пыль, поднятая этим падением, некоторое время прикрывала наличие многих малых, но зато уходящих в бесконечность стен. Пыль осела, и он стал задыхаться, нервничать, делать неточные ходы. Авторитет у него все еще был большой, и его кое-как с выговорами терпели.

И вдруг у него от родов умерла жена, и все покатилося. Он стал пить, потом колотиться. Его отовсюду прогнали. Но ему еще для куска хлеба давали читать лекции — о чем? — о международном положении!

Родственники жены забрали детей, и он в это время связался с дочкой одного высокопоставленного человека. Женщина эта, еще будучи студенткой, была влюблена в молодого профессора. Теперь она кололась, и на этом они сошлись. Она не удержалась в своей среде и попала в люмпен. А он не удержался в своей, выпал в ее среду, но и там не удержался, и они встретились на дне.

Дальше случилось вот что. Об этом друг Коли писал Алексею. Оказывается, Коля женился на этой женщине, и они, обменяв свои квартиры, съехались. Колин друг был против этой женитьбы и особенно этого обмена. По его словам, о семье этой женщины ходили всякие темные слухи.

Через какое-то время друг по какому-то тревожному предчувствию позвонил Коле. Но никто не ответил и весь день не отвечал.

Тогда он решил пойти к нему домой. Дверь была заперта, и на его звонок страшным воем ответила Колина собака. Друг вызвал милицию. Взломали дверь. С воем выскочила поседевшая собака Коли и куда-то сгнула навсегда. Мертвый Коля лежал на полу, судя по всему, уже несколько дней. Вены на обеих руках были взрезаны. Телефонный шнур был тоже перерезан.

Жена и бабушка жены, которая уже много лет не выходила из дому, оказались в отъезде. Друг подозревал, что это — убийство, тщательно замаскированное под самоубийство. По его словам, так перерезать вены на одной руке, с уже перерезанными венами на другой, невозможно. Но таинственное, могучее давление каких-то сил заставило всех остановиться на версии самоубийства. Что там было, теперь никто не узнает.

Коля, последний всплеск нашей крови, зачем ты пошел к ним?! Господи, как он был талантлив и слаб!

Беседы с Виктором Максимовичем

Сейчас я хочу привести здесь некоторые мысли и выражения Виктора Максимовича. Хотелось бы, чтобы люди почувствовали его юмор, по-русски меткий, а по-испански едкий. Впрочем, не будем ставить народам отметки. Привожу его мысли и замечания вразброс, так, как они сейчас мне вспоминаются.

Не из раздумья рождается мысль, но мы погружаемся в раздумья, потому что мысль в нас уже зародилась...

Люди часто путают взволнованную глупость с бурлящим умом.

...Шаловливый палач...

Хам на цыпочках...

Человек устает бороться и делает вид, что он поумдел.

Зависть — религия калек.

Люди разделяются на две категории. Выслушав тот или иной жизненный рассказ, один подсознательно взвешивает: справедливо ли, благородно ли то, что я узнал? Другой подсознательно: выгодно ли мне то, что я узнал?

При равенстве прочих условий и собственном равнодушии женщина из двух поклонников, влюбленного и не-

влюбленного, выбирает всегда невлюбленного. Почему? Влюбленный вызывает стыд, страх, беспокойство. Она знает, что в ней нет того храма, который в ней видит влюбленный, и ритуал поклонения ее коробит и раздражает. Почему раздражает? Потому что влюбленный ей напоминает, что в ней мог быть храм, но то ли она его сама разрушила, то ли по бездарности вовремя не заметила, а теперь он загажен...

Телефон в наших условиях — это государство внутри твоего дома.

Скупой человек может быть умным, может быть талантливым, но он не может быть обаятельным. Обаяние есть форма выражения щедрости. Щедрость есть наиболее полное выражение свободы. Обаятельный ум — это ум, в котором особенно ярко чувствуется свобода от глупости.

Я хотел бы знать, где кончается артистизм и начинается шарлатанство.

Сейчас мода на религию. Многие люди, совершенно нерелигиозные, примазываются к религии. Интересно, почему никогда не бывает наоборот, почему религиозные люди не примазываются к атеизму? Примазываются к чему-то высшему.

Все считают, что в мире происходит непрерывная борьба добра со злом. Пора бы попытаться определить процентное соотношение силы зла с силой добра.

Однажды я прочел Виктору Максимовичу новое стихотворение. Выслушав меня, Виктор Максимович простодушно сказал: — Истина не может быть столь длинной...

Новая истина, новая ясность.

Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, что не нуждаются в воспитании.

Счастье — плохой наблюдательный пункт.

Я часто замечал, что люди глупые и одновременно лживые нередко проявляют умную находчивость. В чем секрет? Я думаю так. Привычка ко лжи и необходимость постоянно выворачиваться из лживой ситуации натренировали их мозг в сторону необыкновенной подвижности умственных сил. Хотя у глупого человека сил этих мало, но, умея мгновенно собрать их в единую точку, он добивается на этой точке преимущества. Пока его умный оппонент соображает, что к чему, лжец вывернулся и ушел. Он хороший полководец своих малых умственных сил.

Ум и мудрость. Ум — это когда мы самым лучшим образом разрешаем ту или иную жизненную задачу. Мудрость обязательно сопрягает разрешение данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой задачей в обозримой связи. Поэтому мудрость часто пренебрегает самым лучшим решением данной задачи ради чувства справедливости по отношению к другим задачам. Умное решение может быть и безнравственным. Мудрое — не может быть безнравственным. Ум — разит. Мудрость — уголяет. Мудрость — это ум, настоящий на совести. Такой коктейль многим не только не по плечу, но и не по нутру.

Мошенник часто вызывает сочувствие, если его мошенничество не связано с ограблением слабых или тем более кровью. Но почему, если мы сами не способны на мошенничество, мы все-таки испытываем к некоторым мошенникам симпатию? В их мошенничестве мы видим возмездие за мошенничество самой жизни, которой мы не смогли отомстить.

В этой связи я вспоминаю одного забавного старого человека, который сидел со мной в Москве, в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Он был бездипломный адвокат и сидел за подпольную адвокатскую деятельность. У него была поговорка:

— Лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых.

Однако же сел, но не унывал. К нам в камеру попал один парень, которому грозил год тюрьмы за хулиганство. Тогда был такой указ. Он на базаре повздорил с какой-то торговкой и назвал ее проституткой. Подвернулась милиция, и его забрали.

Парень был без ума от горя, потому что вот-вот собирался жениться. Подпольный адвокат взялся ему помочь,

попросив вместо гонорара прислать ему с воли посылку с салом. Он дал ему один из своих хитроумных советов, которыми промышлял всю жизнь. Он посоветовал ему на суде держаться одной и той же версии:

— Я ей сказал—прости, тетка, а ей послышалось—проститутка.

Вскоре его увели на суд, и больше мы его не видели. Но через некоторое время подпольный адвокат получил шматок сала. Парня явно отпустили.

Удаль. В этом слове ясно слышится—даль, хотя формально у него другое происхождение. Удаль—это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали. В слове мужество—суровая необходимость, взвешенность наших действий. Мужество—от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.

Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость. Но, взглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла на соревнование, хватив допинга.

Русское государство расширилось за счет удали. Защищалось за счет мужества. Бородино—это мужество. Завоевание Сибири—удаль.

Удаль—отвага, требующая пространства. Воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному—жизнь копейка. Удаль—это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль—это ситуация, когда можно рубить, не задумываясь. Удаль—возможность рубить, все время удаляясь от места, где уже лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: «А правильно ли я рубил?»

Когда русского мужика пороли, он подсознательно на-капливал в себе ярость удали: «Вот удалюсь куда-нибудь подальше и там такую удаль покажу!» Но иногда удалиться не успевал, и тогда—русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тоже удаль.

Что такое уважение к человеку? Уважение есть признание субъективных усилий человека. Усилий умственных, нравственных, физических. Чем больше уважают человека, тем больше предполагают наличие его субъективных уси-

лий. Уважение бывает ложным, но и тогда оно — следствие наших иллюзорных представлений о субъективных усилиях человека.

А вот отзыв Виктора Максимовича об одном нашем знакомом, не слишком чистоплотном в выборе друзей.

— В его доме, как на том свете, можно сразу встретить и убийцу и убиенного.

Человек неверующий, но с чистой совестью гораздо угодней богу, чем верующий, но с нечистой совестью. Такой и верит, но и, сподличав, надеется: «Бог милостив, отмолю грех».

Конечно, можно сказать, что неверующий, но совестливый человек носит в себе неосознанную религиозность. Но никак нельзя пренебрегать и тем, что такой человек, будучи взрослым и разумным, нам говорит: «Я не верю». Правильней всего предположить, что и такие люди входят в бесконечную сложность божьего замысла. Они ему нужны.

— Подлые костры инквизиции... Не отсюда ли генетическая трагедия дурной левизны интеллигенции? Пятясь от этих костров, в какие только пожары она не рушилась...

Шутка по поводу одного нашего знакомого, не в меру осторожного человека.

— Того, кто всего боится, ничем не испугаешь.

— Высокую репутацию честности поддерживает ее прочная невыгода. Если бы честность была выгодна, сколько бы мошенников ходило в честных людях.

— К пятидесяти годам некоторые честные люди начинают нервничать: «А стоило ли?!» Хочется взбодрить их криком: «Держитесь, братцы, уже не так много осталось!»

По поводу книги одного историка, переполненной цитатами из книг других историков.

— Я прочитал его книгу, перепрыгивая с цитаты на цитату, как с камня на камень, и не замочив ног о его собственные мысли. Войны Наполеона он объясняет исключительно социальными и политическими причинами. Невроятная глупость! Причины эти Наполеон придумывал для дураков. Он воевал, потому что для него это было единственным интересным занятием в жизни.

Россия, победив Наполеона, объективно спасла Францию. По свидетельству современников, к концу наполеоновских войн во Франции почти не оставалось мужчин в возрасте от двадцати до сорока лет. Что ждало Францию, если бы он провозвевал еще пять лет? Но полководец он был гениальный, никакими случайностями нельзя объяснить такое количество побед. В молодости пытался читать его сочинения. Серо. Как глупо выглядит человек, когда занимается не своим делом.

Об ответственности.

— Духовно развитая личность наибольшую требовательность всегда предъявляет к самой себе. Чем дальше от нее человек, тем снисходительней она к его недостаткам. Отсюда и вечная драма духовно развитой личности с близкими людьми. Ведь к ним она относится, как к себе или почти как к себе. А они этого не выдерживают. Они этого тем более не выдерживают, видя, как она снисходительна к далеким.

— Быть свободным среди несвободных не только бесактно, но и невозможно. Только стараясь освободить других от несвободы, человек самоосуществляется как свободная личность.

— Мера наказания в каждой государственной системе определяется степенью разницы между жизнью на воле и в неволе. В странах, где эта разница невелика, провинившемуся дают почувствовать наказание за счет более длительного срока заключения в неволе.

— Что можно сделать для родины, когда ничего нельзя сделать? Делай самого себя! Если альпинисту погодные условия не позволяют штурмовать вершину, он должен упорной тренировкой готовить себя к тому времени, когда восхождение на вершину будет возможным.

И вдруг жизнь встает в таком разрезе, что все твои ошибки, неудачи, страдания—это абсолютно необходимая цепь к той мысли, к тому пониманию времени, которое ты, оказываясь, обрел. И ты с ужасом осознаешь, что ничего не понял бы, если б не эти страдания, если б не эти неудачи, не эта боль. Господи, как точно все сложилось! Два-три везения там, где не повезло, и я бы ничего не понял!

Если расщепленный волос не имеет практического значения, он не должен претендовать и на теоретическое значение.

Безнравственный поступок образованного человека мы склонны осуждать резче, чем тот же поступок необразованного человека. И это хорошо. Здесь сказывается инстинкт самосохранения рода человеческого: знания должны увеличиваться вместе с нравственностью.

Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа.

Готовность умереть за любимую идею — признак здорового психического состояния человека. И, наоборот, неготовность — признак психической ущербности, болезненности духа.

Тот, кто день и ночь мечтает о сказочной красавице, в конце концов изнасилует собственную молочницу... Так и получилось.

Смеясь над глупцом, никогда не забывай, что в шашки он играет лучше тебя.

Обещанные ненавидят друг друга. Каждый — зеркало для другого. Отсюда грубость нравов.

...Кто видит в небе ангелов, не видит в небе птиц...

Бывает рассеянность от сосредоточенности ума, но бывает рассеянность и от слабости ума: нечего сосредоточивать. Мы склонны путать эти две рассеянности.

Неспособные любить склонны к сентиментальности точно так же, как неспособные к братству склонны к панибратству.

Эстет — грязь в чистом виде.

Идеология держится на дефиците, а дефицит держится на идеологии.

Когда общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное достоинство неожиданно начинает раздуваться, как раковая опухоль. Общество должно вернуть человеку его социальное достоинство, и тогда националистическая опухоль сама рассосется.

Мы часто укоряем бюрократа в том, что он свою работу делает бессмысленной. Но и бессмысленная работа превращает человека в бюрократа. Сизиф был первым бюрократом в мире. Кто виноват? Боги.

Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один.

Дурной консерватизм и дурная революционность в конечном итоге сливаются в самом главном. Дурной консерватизм — спячка. Дурная революционность — опьянение действием. В обоих случаях — отсутствие работы мысли.

Мы склонны удивляться и даже как бы восхищаться отрицательной силой ума знаменитых политических деятелей, так сказать, макиавеллизмом, даже если одновременно осуждаем их аморальность. А между тем любой истинный ученый, изобретатель, художник в своей работе пользуется в тысячу раз более остроумными комбинациями, чтобы создать машину, картину или открыть новую закономерность в явлениях природы.

Вся суть вопроса состоит в том, что нравственно здоровый человек сам никогда мысленно не вторгается в область аморальных комбинаций. Поэтому он крайне наивен в этой области. Такой человек, узнав, что некий политический деятель при помощи такой-то сложной манипуляции человеческими страстями добился власти, хотя и осуждает аморальность этих манипуляций, одновременно может испытывать и некоторое уважительное восхищение:

-- Мне бы такое никогда в голову не пришло!

Тем самым как бы частично признавая недоразвитость своей головы. Так, физически здоровый и сильный человек может испытывать восхищение человеком, который так поднял ногу, что обнял ею собственную шею и поцеловал собственную пятку. Сам он никогда не развивал в себе этих способностей, они ему были не нужны. Ему и в голову не

приходит, что двигателем этого человека была и есть хроническая влюбленность в собственную пятку. И в момент восхищения человеком, целующим собственную пятку, он сам, здоровый и сильный человек, склонен забывать, что целующий собственную пятку во всем остальном хилый, невзрачный и даже просто слабый человек.

У Виктора Максимовича было вообще повышенное чувство русского языка. Он страдал, если русский человек говорил по-русски стертым или вычурным языком.

Однажды, потягивая кофе, он задумчиво пробормотал: — Странная связь существует между словами. Пламя—это не то ли, чем владело племя? Тоска—это не то ли, что стискивает грудь?

— Верите ли вы в бога?—спросил я его тогда.

— По натуре,—сказал он мне, и в его глазах появилось то отрешенное выражение, которое я так любил, попытка понять истину, совершенно независимо от того, каким он сам покажется в свете этой истины,— я человек нерелигиозный. У меня никогда не возникает ни желания молиться богу, ни просить у него помощи. Но я верю в бога, и это—простое следствие научной и человеческой корректности.

Когда ко мне приходит то, что называют вдохновением, и я с необыкновенной ясностью вижу конструкцию нового аппарата, с необыкновенной быстротой делаю необходимые вычисления, и даже чертеж у меня получается стройней и красивей, чем обычно, разве я не понимаю, что в меня влилась некая сила, не принадлежащая мне? Было бы научной некорректностью и даже отчасти плагиатом приписывать эту силу самому себе.

— А человеческая корректность в чем заключается?—спросил я.

— Сам посуди,—сказал он,—я был на фронте трижды ранен и остался жив. Мой самолет горел, но я его успел посадить и остался жив. Разве чувство благодарности не подсказывает, что существует объект благодарности?

Девушка Лора и лошадиник Чагу

Гете сказал: коллекционеры—счастливые люди. Внесем небольшую поправку—пока их коллекцию не ограбили.

У меня есть родственник. Зовут его Расим. Он работает в институте усовершенствования учителей и в свободное от усовершенствования учителей время коллекционирует своих родственников и однофамильцев. Он их фотографирует и вклеивает их снимки в альбомы. Оригиналы же фотогра-

фий он раз в году собирает в селе Кутол, где они за выпивкой и свежим мясом с мамалыгой обсуждают свои фамильные успехи и провалы. В маленькой Абхазии это вполне возможно.

Я несколько раз просил его взять меня с собой на эти торжества. Но ко дню праздничного сборища он, бедняга, так изматывается от организационной суеты, что забывает мне позвонить. Так, во всяком случае, он мне объяснял свою забывчивость, а заподозрить его в некоем фамильном масонстве у меня нет никаких оснований.

Высокий, горбоносый, Расим всегда находится в бодром, деятельном состоянии духа. Ясно, что таким он и будет всегда — его коллекции не грозит ограбление.

Мы с ним родственники через бабушку по отцовской линии. Он мне открыл, что еще задолго до революции, когда моя бабушка вышла замуж за перса, родственники не признали этот брак, и она с мужем лет десять скиталась по странам Ближнего Востока. И только позже, когда они вернулись в Абхазию с детьми, мой персидский дед был признан строгим кланом. А я-то думал, что моя бедная бабушка, в детстве так сладостно искавшая у меня в голове (разумеется, чисто символически), дальше Гудауты никуда не ездила. Решительно не зная, как применить эти столь запоздалые сведения, я их на всякий случай вписываю сюда.

Кстати, насчет браков. Расим коллекционирует и фамильные свадьбы. Он мне жаловался, что наши абхазцы стали подвергаться всеобщей порче. Как-то он заснял свадьбу одного юного сородича. Через полтора месяца, когда часть фотографий готовилась к отправке новобрачным, его настигла весть, что они разошлись. Нельзя сказать, что он слишком торопился со своим подарком, как нельзя сказать, что новобрачные слишком долго раздумывали.

— Бесстыжие, — сказал Расим, — хоть бы моих фотографий дождались.

С этими словами, горестно вздохнув, если вздох коллекционера можно назвать горестным, он завел фамильный альбом скоропостижных разводов.

Кстати, фотографии арестованных однофамильцев он перечеркивает карандашом, что означает возможность стереть резинкой следы карандаша, если провинившийся исправится. Если же данный однофамилец снова попадал в тюрьму, его фотография перечеркивалась красными чернилами, и он уже больше никогда не приглашался на фамильные торжества. Расим несколько раз лично выезжал в близлежащие тюрьмы, чтобы на месте провести с однофамильцем или родственником культурно-просветительную беседу.

Опытом его работы заинтересовались на каком-то совещании учителей в Ленинграде. По-видимому, кому-то

пришло в голову таким образом попытаться укрепить трудовую дисциплину русской нации. Расим им все рассказал, продемонстрировал альбомы, не скрывая фотографии, не только перечеркнутые карандашом, но и красными чернилами. Честность прежде всего! Судя по всему, в условиях раскидистой России, где не только однофамильцы, но и родственники иногда всю жизнь не встречаются, использовать его опыт трудно.

Я как-то спросил у Расима, нет ли в его клане хорошего лошадики, который на моих глазах мог бы объездить лошадь. Мне это надо было для моей работы.

— Как же, — сказал он, — есть такой. Зовут его Чагу. Бывае в городе, он всегда заходит ко мне.

Расим рассказал забавный случай с этим Чагу, когда тот однажды, отбазарив, пришел к нему домой. В это время Расим спешил на работу. Жены дома не было, и он решил на скорую руку накормить гостя. Он вынул из холодильника закуски, бутылку отличного вина и посадил Чагу за стол. Расим успел налить ему пару стаканов вина, и Чагу их выпил.

— Как тебе вино, Чагу? — спросил у него Расим.

— Хорошее вино, — сказал Чагу, — хотя чуть-чуть кислит.

— Как так кислит? — удивился Расим и, налив себе немного в стакан, отпил. Господи! Оказывается, второпях он из холодильника достал бутылку с уксусом вместо бутылки с вином. Чагу, подчиняясь абхазскому обычаю принимать как должное любое хозяйское угощение, выпил, не дрогнув ни одним мускулом, два чайных стакана уксуса, винного, конечно.

Расим знает этого Чагу с давних времен, сам он выходец из того села, где и сейчас живет Чагу. Однажды в юности он верхом отправился на альпийские луга, куда днем раньше выехал Чагу с другими пастухами. Километров за десять от пастушеской стоянки лошадь Расима споткнулась и не то сломала ногу, не то растянула. Дальше она не могла идти. Расим снял с нее поклажу и один к вечеру пришел в пастушеский лагерь.

Чагу, узнав о случившемся, страшно рассердился на него: как можно хроую лошадь одну оставлять в лесу?! Ведь она не сможет бежать ни от волка, ни от медведя! А что ты мог сделать?! Ждать нас возле нее! Мы же знали, что ты должен прийти, и раз ты вовремя не пришел, мы бы вышли тебе навстречу!

Он ушел за лошадью, каким-то образом стянул и перевязал ей больную ногу, и она поздно вечером приковыляла вместе с ним к пастушеской стоянке.

По словам Расима, хотя с тех пор прошло около тридцати лет, Чагу нет-нет да и вспомнит: как это ты мог хроую лошадь оставить одну в лесу?!

Кстати, сейчас я вспомнил, что когда-то читал о подвиге североамериканского индейца, который, вроде Чагу, тоже не дрогнув ни одним мускулом, выпил какую-то дрянь. Неудивительно. Люди патриархальной психологии ведут себя одинаково.

Однажды один бывший работник КГБ простодушно рассказал мне, что в послевоенные времена ему в недрах его учреждения попала некая статистическая диаграмма, что ли, где демонстрировались сравнительные данные вербовки населения по национальному признаку. Из его рассказа совершенно отчетливо прослеживалось угасание силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа. Сам он даже отдаленно не подозревал такого признака, просто рассказал, что помнил. Признак патриархальности заметил я.

Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, еще сильно поплатится за грязный релятивизм цивилизации.

Но я отвлекся. Расим связался с Чагу и узнал, что у него и в самом деле есть необъезженная лошадь. В один прекрасный день Расим мне позвонил и как всегда бодрым, радостным (коллекционер!) голосом сказал:

— Завтра Чагу нас ждет. Едем на моей машине.

Виктор Максимович еще раньше высказывал мне желание поехать со мной к этому лошадинику. Я прихватил его с собой, и мы выехали из города. Когда мы проезжали небольшой сельский поселок, Виктор Максимович показал рукой в окно:

— Видишь вон тот дом?

Мы оба сидели сзади. Я проследил за его рукой. Он показывал на довольно обычный в этих местах кирпичный дом на высоких бетонных сваях. Сразу за домом начиналась табачная плантация.

— В этом доме жил Уту Берулава, — сказал Виктор Максимович.

Так вот он, дом знаменитого бандита! Я его самого никогда не видел, а теперь уже и не увижу, потому что его расстреляли. Преступления его были всегда мерзки, а иногда мерзки и бессмысленны.

Так, в большой статье, появившейся в «Заре Востока» после его расстрела, говорилось, что однажды он выстрелил в мальчика за то, что тот попросил его не чистить туфли возле родника, где какие-то загородные люди набирали воду. Мальчик, конечно, не знал, кто он такой. В отличие от многих других мальчиков он, к счастью, не убил, а ранил.

Это был человек-зверь, возможно, и не совсем нормальный. Трудно сказать. Одно время он работал на бензоколонке, тайно промышляя ворованными машинами. Чаще бывал в бегах. Он обладал невероятной физической силой. Вот единственная его невинная забава, известная в городе. Поздно ночью, выпивший, в хорошем настроении

возвращаясь из какой-нибудь компании, он аккуратно переворачивал кверху колесами легковые машины, попадавшие на его пути.

Все остальные забавы были ужасны. Вот одна из них. О ней мне рассказал мой школьный товарищ, тогда работавший в прокуратуре. Уту кутил в каком-то доме с какими-то мерзавцами и шлюхами. Напившись, он стал выводить из помещения, где они кутили, представительниц прекрасного пола. Никто ему не смел возразить, пока очередь не дошла до женщины, принадлежащей достаточно храброму головорезу. Возникла дискуссия, в результате которой Уту предложил ему сесть в его машину и продолжить спор на одном из загородных кладбищ. Предложение было принято, и, как позже выяснилось, они вместе с несколькими свидетелями отправились туда.

Я уже не помню, убил ли он своего соперника еще в дороге или только оглушил его своей страшной рукой. На кладбище он выволок его тело из машины, разрядил в него свой пистолет, потом вылил на него канистру с бензином и поджег, чтобы труп не опознали. Мой школьный товарищ рассказывал, что в этот раз следствие по пулям определило его пистолет.

Хотя его много раз сажали, меня всегда удивляло, что он достаточно быстро выходил из тюрьмы. В тюрьме у него всегда был особый режим и особое питание. В том же номере «Зари Востока» говорилось, что, когда он сидел в тбилисской тюрьме, в новогоднюю ночь ему тюремщики принесли вино и жареного поросенка. Славные тюремщики!

В последний раз он бежал из потийской тюрьмы при довольно забавных обстоятельствах. Он попросился проведать больного родственника, лежавшего в больнице. Его отпустили с двумя офицерами. Проведав родственника, они втроем пошли в ресторан и выпили шампанского. Офицеры забыли, что шампанское располагает к свободе, и на обратном пути Уту отнял у одного из них пистолет, сел в такси, пригрозил таксисту оружием и заставил его привезти себя в Абхазию. Здесь он бросил такси и ушел в горы.

Несмотря на деньги и связи, он, будучи в бегах, словно зверь, могущий жить только в одной климатической зоне, далеко не уходил. Скрывался только в Абхазии и Мингрелии. В конце концов ему это, видимо, надоело, и он, пустив в ход свои связи, договорился с властями, что если ему не дадут нового срока, то он выйдет с повинной. Ему обещали и обманули. Сделали вид, что уже после того, как его взяли, обнаружили его новые преступления, о которых до этого не знали. К этому времени в Грузии к власти пришел Шеварднадзе, и, видимо, те люди, которым Уту был нужен для каких-то целей, потеряли влияние.

Говорят, на суде, как это бывало и раньше, он пустил в ход свой старый псевдобиблейский номер. Он разделся догола и крикнул:

— Граждане судьи, вот таким я пришел в этот мир! Люди меня сделали преступником!

Сам того не ведая, подобно нашим социологам, он спорил с Ломброзо, забывая, что и его отец и его братья были такими же преступниками, хотя он их всех намного превзошел. Его, наконец, расстреляли.

Вот о чем я вспомнил, когда Виктор Максимович показал мне на дом Уту Берулава. Машина сейчас катила по верхнеэшерскому шоссе. Справа от нас высились скальные нагромождения, поросшие кустами ежевики и азалий. Слева пониже нас расстилась мягко холмистая низменность с мирными крестьянскими домиками, кукурузными полями и табачными плантациями. Дальше вставала сиреневая стена моря. Был солнечный день начала лета.

— Сейчас я вам расскажу одну историю, — начал Виктор Максимович. — Недалеко от моего дома жила очаровательная девушка. Звали ее Лора. Она была маленького роста с большими, сияющими карими глазами на всегда чистом утреннем лице. Каждый раз, увидев меня, она оставалась или мимоходом бросала:

— Виктор Максимович, ну когда же наконец вы меня покатаете на своем самолете?

— Скоро, скоро, Лорочка, — отвечал я ей в тон, и она, простучав каблучками, быстро проходила мимо моего дома.

Лора жила одна со своей мамой. Отец у них давно умер. Две старшие сестры вышли замуж и жили в России. Мать, бывшая работница табачной фабрики, получала пенсию, но основной доход им приносили курортники. На весь сезон они сдавали свой дом отдыхающим.

Уходя на рыбалку или возвращаясь с рыбалки, я видел с моря, как Лора хлопчет на своей усадьбе: стирает или развешивает белье своих многочисленных жильцов, гладит, возится на огороде или варит варенье возле своего дома.

Но времени, о котором я рассказываю, Лора была студенткой третьего курса педагогического института. У нее был жених. Звали его Марк. Он был начинающим преподавателем музыкального техникума.

Марк вырос на моих глазах. Он жил со своими родителями через один дом от меня. Отец его, весьма преуспевающий жестянщик, был порядочным негодяем. По-видимому, он долбил себе мысль, что еврей в этой стране может выжить, только будучи жестянщиком или музыкантом. Так как стадия жестянщика была пройдена, Марка с детства обучали музыке, которую он, судя по всему, ненавидел.

Скандалы и битье ремнем были довольно частым явлением. Бедный маленький Марик так визжал, что я слышал его голос на своем участке. Несколько раз я не выдерживал, вбегал к ним во двор и отнимал у разъяренного отца мальчишку. Один раз не выдержал и двинул отца как следует. Не знаю, прекратилось ли с тех пор битье или жестянщик перенес свои экзекуции в глубину дома, но с тех пор я не слышал, чтобы мальчик кричал.

Но вот прошли годы. Жестянщик все-таки добился своего: Марк — преподаватель музыкального техникума.

Они с Лорой должны были жениться, как только она окончит институт. Вообще все это у них началось со школы. Марк, конечно, брэнчал на фортепьяно на школьных вечерах, как и все школьные музыканты, окруженный поклонниками и поклонницами. Тогда-то он, может, и произвел впечатление на еще совсем юную девочку. А может, что-то другое. Они ведь тоже почти соседи. В конце концов, я думаю, она его полюбила за его обезоруживающую доброту.

Высокий, некрасивый, но обаятельно лопухий Марк и маленькая очаровательная Лора казались мне прекрасной парой. Конечно, она им вертела как хотела, но бывала только с ним и собиралась выйти за него замуж.

Я, кстати, не замечал в Марке ни малейшего озлобления на отца, так нещадно колотившего его в детстве. Думаю, все дело в природе. Если уж человек от природы наделен большой добротой, никаким ремнем ее из него не выбьешь.

Когда я их встречал вместе, Лора, сияя своими большими чудными глазами, говорила мне, улыбаясь:

— Виктор Максимович, когда ж мы полетим наконец? А то скоро Марк на мне женится, у нас будут дети и тогда я не рискну полететь. Разве что Марку отец подыщет богатую невесту?

Марк смущенно сопел и улыбался. Ясно было, что он свою Лору не променяет ни на какие богатства мира.

Однажды я рыбачил километра за полтора от берега. Вдруг слышу: — Виктор Максимович, я к вам!

Я вздрогнул. Смотрю, Лора вцепилась руками за корму. Лицо побледнело, глаза сияют. Я не заметил, как она подплыла.

— Ты почему так далеко заплыла? — говорю.

— А я знала, что вы здесь рыбачите, — говорит, — мне захотелось доплыть до вас.

— Лора, — говорю, — ты представляешь, что будет с Марком, если он узнает, как ты далеко отплыла от берега?

— Ничего, — с неожиданной твердостью сказала Лора, — не умрет.

Я ей дал как следует отдохнуть, а потом она поплыла назад, и я долго следил за ее голубой купальной шапочкой.

Вот такая девушка жила недалеко от меня, и каждый раз видеть эту деятельную, как пчелка, жизнерадостную девушку было маленьким праздником.

И вдруг страшное несчастье. Мать Лоры попала под машину на шоссе совсем рядом со своим домом. На нее наехал вдребадан пьяный местный врач, за которым уже гналась милицейская машина. Его, конечно, взяли. Он был настолько пьян, что сам не мог выйти из своих «Жигулей». Был составлен акт, нашелся свидетель, местный житель, который видел, что машина мчалась с огромной скоростью.

Через неделю я встретил Лору. Она в траурном платье прошла мимо моего дома.

— Только что была в милиции, — сказала она, — маму не вернешь, но пусть этот мерзавец посидит в тюрьме. Следователь дал прочесть мне свидетельские показания и акт экспертизы психоневрологического диспансера. Там написано — опьянение сильное. Дело передано в прокуратуру... Пусть посидит, мерзавец...

И она прошла дальше. Я ничего ей не сказал и только с грустью посмотрел ей вслед. Я уже знал, что этот врач родной брат местного миллионера, мясного короля, связанного с западногрузинской мафией. Трудно было поверить, что миллионер не выручит своего брата.

Через пару месяцев опять встречаю Лору. Она шла с базара с корзиной в руке. Увидев меня, поставила корзину и остановилась.

— Виктор Максимович, что же это делается! — воскликнула она. — Они все перевернули! В прокуратуре все документы подделаны. Акт экспертизы совсем другой, как будто бы никакого опьянения не было. Свидетельских показаний нет. Выходит, как будто бы мама переходила дорогу в неполюженном месте, а этот мерзавец пытался затормозить, но не смог. Выдумали какой-то тормозной путь! Почему они раньше ничего о нем не писали! Переход прямо напротив нашего дома. Зачем маме нужно было переходить улицу в неполюженном месте? А показания свидетеля исчезли. Я пошла к следователю милиции, который давал мне все это читать. Он долго меня не принимал, но я все-таки добилась встречи. Какой подлец!

— Вы же, — говорю, — показывали мне анализ крови. Там же ясно было написано: опьянение сильное. Это мне приснилось или была такая справка?

— Да, — говорит, а сам в глаза не смотрит, — но это результат неисправности аппарата. Повторная экспертиза показала, что он был трезвый.

— Он же был, — говорю, — настолько пьян, что сам не мог выйти из машины. Ваши милиционеры его вытаскивали!

— Это шок, — говорит, — он просто потерял контроль над собой.

Я чуть с ума не сошла, но все-таки сумела удержать себя в руках.

— Где же показания свидетеля, — говорю, — почему вы их не передали в прокуратуру?

— Он их забрал, — говорит, а сам в глаза не смотрит, — по советским законам, показания свидетеля не документ. Он не отвечает за них. Сначала ему так показалось, а потом он вспомнил, что все было не так. Он отвечает только за показания на допросе.

— Я пошла к свидетелю, — продолжала Лора. — Я его всю жизнь знаю, он же недалеко от нас живет. Когда я вошла к нему во двор, он сидел на крыше сарая и крыл его дранью.

— Василий Петрович, — говорю, — вы же двадцать лет маму знаете. Что с вами случилось, неужели они вас купили?

Молчит. Только молотком постукивает, а изо рта гвозди торчат. Я постояла, постояла, вижу, он не хочет говорить со мной, и пошла назад. У калитки догнала его жена:

— Лорочка! Лорочка! Прости! Приходил человек и угрожал сжечь дом.

— Что же это такое, Виктор Максимович, неужели на этого мясника управы нет?

— Милая Лора, — говорю, — к сожалению, это так. Оставь, ты себя изведешь и ничего не добьешься.

— Нет, Виктор Максимович, — сказала Лора, качая головой, — я никогда в жизни не отступлюсь. Моя мама, оставшись без папы, нас, трех дочерей, поставила на ноги. Она всю жизнь набивала папиросы на табачной фабрике. У нас целая пачка грамот. А теперь, значит, она никому не нужна? И пьяный негодяй ее может убить машиной, как бродячую собаку? Нет! Я пойду в КГБ.

Она подняла свою тяжелую корзину, и я долго смотрел вслед ее маленькой, упорной фигуре. Что я ей мог сказать? Чем помочь? И при чем тут КГБ?

Проходит еще какое-то время. Я встречаю Лору в нашем гастрономе. Мы выходим вместе.

— Ну что, Лора, была в КГБ?

— Была, была! — говорит. — Меня принял какой-то полковник, доброжелательно выслушал, а потом позвал своего помощника. И они стали между собой переговариваться по-абхазски. Они не знали, что я прекрасно понимаю по-абхазски. Я все понимаю, а они переговариваются между собой. Оказывается, помощник был в курсе моего дела. Точнее, он был в курсе дел миллионера и его брата.

— Девушка права, — говорит помощник, — но что мы можем сделать? Миллионер со вторым секретарем обкома вот так...

Он свел указательные пальцы обеих рук, показывая, что они, как братья. — Вчера, — продолжает он, — его ма-

пина стояла возле особняка миллионера три часа двадцать минут... Пусть девушка жалуется в Москву, мы ничего не можем сделать.

А я слушаю и жду, что скажет мне полковник.

— Видимо, в вашем деле здесь не смогли разобраться, — говорит он мне наконец, — жалуйтесь в Москву. Это дело вообще не по нашей части.

Тут я не выдержала.

— В Москву, — говорю, — я пожалуюсь и без вас. Но вы мне объясните такую вещь. Я ее своим женским умом не могу понять. Что может делать секретарь обкома в особняке вора-миллионера? Что он, священник, наставляющий грешника? И что, вы засекаете время, пока он гостит у него? Какая от этого польза?

Виктор Максимович, он от моих слов покраснел, как флаг.

— Вы что, абхазка? — говорит.

— Да, — говорю, — у меня мама была абхазка.

— Все это сложнее, чем вы думаете, — говорит он, глядя мне в глаза, — и если мы засекаем время, значит, это для чего-то нужно. Жалуйтесь в Москву, но здесь будьте осмотрительней.

Теперь я поняла, что тут мне никто не поможет. Я уже написала в Прокуратуру СССР. Жду ответа.

На этом мы расстались. Через какое-то время Лора получила ответ из Прокуратуры СССР, откуда ей написали, что ее жалоба рассмотрена и направлена в прокуратуру Грузии. Теперь Лора ждала ответа из прокуратуры Грузии. И вдруг однажды поздно вечером она прибежала ко мне домой. Впервые я ее видел такой бледной, испуганной.

— Ой, Виктор Максимович, что сейчас было! — воскликнула она и рухнула на диван. — Кто-то стучит мне в дверь. Открываю. Входит огромный мужчина со страшными глазами. У меня душа в пятки ушла. Но я взяла себя в руки и говорю:

— Что вам надо?

Он стоит и прямо жрет меня своими глазами. Потом говорит:

— У тебя несчастье было. Но этот человек не хотел убивать твою маму. Случайно получилось... Вот здесь десять тысяч... Пригодится... Ты теперь одна...

Тут у меня страх прошел.

— Нет, — говорю, — если б они мне даже миллион заплатили, я бы ему не простила маму...

Он молчит и стоит с протянутой пачкой денег в руке.

— Не возьмешь?

— Нет, — говорю.

— Ты смелая девушка, — говорит он мне и кладет пачку в карман, — но перестань жаловаться... Хуже будет... Тем более живешь одна...

И смотрит на меня своими волчьими глазами. Я собрала все свои силы.

— Нет, — говорю, — лучше пусть они меня убьют.

Он еще некоторое время смотрел, смотрел на меня, а потом молча ушел. Слышу — завел машину и уехал. Тут только я поняла, какой ужас пережила, и прибежала к вам. Но, видно, и они испугались, испугались, правда?

— Не верю я, — говорю, — что милиционеры, взявшие пьяного, дадут теперь новые показания. Одумайся, Лора, пока не поздно. Они тебя угробят, я боюсь за тебя.

Я вижу, она сидит в глубокой задумчивости, даже не слушает меня.

— Ни один человек в мире, — вдруг говорит она словно в пространство, — не умел так любить, как моя мама. Еще до нас, своих детей, она воспитывала свою родственницу — сиротку. Я ее немного помню. Она умерла лет пятнадцать назад от воспаления легких. Мама до последней минуты была с ней. И она перед смертью маме сказала: «Люби меня всегда!»

Она была сиротка, и ей было страшно умереть, думая, что никто из живых о ней не будет помнить. И за все эти пятнадцать лет мама никогда о ней не забывала и всегда плакала, вспоминая ее последние минуты... Так любить, как мама... Пока я жива, я не прощу этому мерзавцу.

— Если так, — сказал я, — тебе опасно оставаться дома. Переходи к Марку или оставайся у меня, а там посмотрим...

— Нет, — вздохнула она после некоторого раздумья, — только сейчас мне не по себе. Проводите меня домой.

Я проводил ее, предупредив, чтобы она никому никогда не открывала по вечерам дверь. Она грустно кивнула и вошла в дом. На душе у меня было скверно, но я не знал, чем ей помочь.

Прошло еще несколько месяцев, и я узнал от Лоры, что прокуратура Грузии ничего не добилась. Этого следовало ожидать. Кстати, в местной прокуратуре оказался один работник, который симпатизировал Лоре, может быть, даже влюбился в нее. Один из милиционеров, взявших тогда пьяного брата мясника, кажется, чем-то обязанный этому прокурору, дрогнул было и обещал тбилисскому следователю рассказать всю правду, но в последний момент не решился.

— Зачем вы здесь работаете, если ничего не можете сделать? — оказывается, выпалила ему Лора.

— Я чувело честности, — сказал он ей, — хоть одного человека им приходится обходить, когда они занимаются темными делишками.

Этот же прокурор помог ей написать обстоятельное письмо в «Правду». Через некоторое время оттуда пришла

в местную прокуратуру копия ее жалобы с отметкой О. К., то есть особый контроль.

— Мой прокурор, — впервые за все это время радостно сказала мне Лора, — признался мне, что такое указание — большая редкость! Особый контроль! Скоро придет корреспондент и во всем разберется!

Бедная Лора, опять все сорвалось. Миллионер, даже носа не высовывая из своего особняка, все улаживал. Кстати, когда началась кампания борьбы с хищениями, снимок его особняка появился в «Правде». Тогда у некоторых местных воротил в самом деле отняли дома, но только не у этого. Шевельнулись было тронуть его, но город вдруг на несколько дней таинственно остался без мяса, и от него отстали. Но, видно, ему все-таки были неприятны ее бесконечные, бесстрашные жалобы на брата.

— Опять приходил этот с волчьими глазами, — сказала мне как-то Лора.

— Ну и что?

— Опять деньги предлагал.

— Не грозил? — спросил я, заглядывая в ее чудные, полные невыразимой печали глаза.

— Нет, — вздохнула она и как-то странно опустила свой длинноресничный взор.

Вся эта эпопея длилась около двух лет. Незадолго перед выпускными экзаменами Лоры я однажды ночью, возвращаясь из гостей, проходил к своему дому по пляжу. Была теплая лунная ночь. Смотрю, рядом с моим домом на песке лежит человек. Я подхожу к нему и вдруг узнаю в лунном свете мертвое лицо Марка. Молнией мелькнуло: они его убили в знак предупреждения, что следующей будет она, если не перестанет жаловаться!

— Марк! — закричал я и, наклонившись, приподнял его голову. Никогда запах алкоголя меня так не радовал — он был в полной отключке!

Я прекрасно знал, что Марк больше двух-трех рюмок не пил. Они с Лорой много раз бывали у меня. Опыянение было страшное, я его тряс, но он только постанывал и никак не приходил в себя.

Хотя ночь была теплая, все-таки оставлять его на берегу было как-то боязно. Я поднял его, перевесил через плечо и отнес домой. Конечно, можно было крикнуть его родителей, но я не знал, как этот биндюжник отнесется к его ужасному опыянению. Ничего, думаю, перетерпят, да и время было позднее. Уже около трех часов ночи.

Я гадал, что с ним, почему он так напился. Неужели они поссорились с Лорой? Но если он так напился, значит, это не обычная ссора, а что-то страшное. Разрыв?

Я поздно проснулся на следующее утро. Его уже не было. На столе лежала записка — «Виктор Максимович,

спасибо. Никогда, никогда ни о чем не спрашивайте. Ваш Марик».

В тот же день я узнал новость, облетевшую город. Ночью брат миллионера был убит. С улицы его окликнули. Он вышел из парадной двери своего дома, и кто-то из темноты одним выстрелом уложил его. Все считали, что это дело рук одного из западногрузинских мафиози, с которыми они были связаны. Никаких следов милиция не нашла. Стрелявший растворился в темноте. Дикое опьянение Марка и ночь убийства как-то загадочно совпали.

Поверить в это было невозможно. Но и невозможное возможно в этом мире! А что если она ему поставила такое условие? Или случайное совпадение? Почему он так настойчиво просил ни о чем не спрашивать? Я зашел к Лоре, чтобы поделиться с ней новостью об убийстве брата миллионера, но ее не оказалось дома.

Через неделю встречаю Марика и Лору на автобусной остановке. У Марика на лице выражение загнанного зайца, а Лора какая-то оледенело-спокойная.

— Лорочка, — говорю, — бог за тебя отомстил.

— А вы верите в бога, Виктор Максимович? — спросила она с каким-то язвительным вызовом.

— Верю, — сказал я, — и тебе советую.

— Виктор Максимович, — говорит Лора, — я об этом много думала. С тех пор как мою маму убил этот пьяный мерзавец, а в целой стране не нашлось ни одного справедливого человека, который осудил бы его, я много думала о всяком таком. Если жизнь моей мамочки оказалась не дорожке жизни бродячей собаки, попавшей под колесо, во что я могу верить? В какого бога? Не смешите меня, Виктор Максимович, не смешите, а то я сама не знаю, что со мной будет!

Бедняга Лора, сколько же она пережила за эти два года! Я почувствовал, что это женская истерика, сдержанная огромными усилиями воли.

Но вот Лора сдала выпускные экзамены, и они с Мариком наконец поженились. Жили, конечно, у Лоры. Там и места было много, да и Лора не слишком ладила с отцом Марка. Время шло, мы иногда встречались, даже перешучивались, но той солнечной Лоры я больше никогда не видел.

Прошло три года. У меня есть молодой приятель. Он работает в сельскохозяйственном институте. Однажды мы с ним выходили из моего дома и столкнулись с Лорой и Мариком. Они шли мимо. Мы перекинулись несколькими словами, и я заметил, что мой приятель остолбенел, оглядывая Лору.

— Что, понравилась? — спросил я у него, когда они прошли.

— А кто она такая? — спросил он.

Я ему рассказал в двух словах.

— А давно они женаты? — спросил он.

— Три года.

— И как они ладят?

— У них любовь со школьной скамьи, — говорю.

— Потрясающе! — воскликнул он. — Потрясающе!

Именно три года назад я впервые был на практике со студентами. У нас за городом опытное поле. В тот день я отпустил студентов и один остался на табачной плантации. Вдруг я услышал автоматную очередь, и пули, взметнув пыль, легли вправо от меня. Я отпрянул влево и упал на землю. В тот же миг снова раздалась очередь, и пули, среза табачные стебли, легли влево от меня. Я инстинктивно отпрянул вправо. Снова очередь, и пули вспыхнули справа от меня. Я отпрыгнул влево. И тишина.

Я пролежал еще минут двадцать, а потом встал и огляделся. В самое первое мгновение я подумал, что началась война. А теперь не знал, что думать. Метрах в пятидесяти от меня стоял дом, слегка прикрытый грушевыми деревьями. Но стрелять могли и с любой другой стороны. Что это? Обознавшийся мститель? Сумасшедший? Перестрелка бандитов? Я не знал, что думать. Я вышел к автобусной стоянке и поехал в город.

Я решил, что в милицию сообщать об этом как-то глупо. Возможно, подсознательный страх перед тем, кто стрелял. Люди, которым я об этом случае рассказывал, только пожимали плечами.

Прошло несколько дней. Мы со студентами, как обычно, работали на табачной плантации. Вдруг ко мне подходит человек высокого роста и очень сильного сложения.

— Слушай, — говорит он мне и, похохатывая, бьет по плечу, — хорошо я тебя напугал! Ты как заяц прыгал на поле! Пойдем выпьем по стаканчику!

И я пошел. Я еще тогда не знал, что это знаменитый бандит Уту Берулава, но от его облика веяло такой невероятной звериной силой, что не подчиниться ему было нельзя. Он был хозяином дома, возле которого располагалась наша плантация.

Жена его, бесшумная как тень, накрыла нам на стол, и мы сели пить. Кстати, вино было очень хорошее и закуска тоже. Я был весь сосредоточен на том, чтобы выглядеть естественным и дружелюбным. Противно, но что поделаешь! Он мне продемонстрировал цветной телевизор, три холодильника и тот самый автомат.

Потом рассказал про какое-то умыкание, в котором принимал участие, и похвастался, что на днях к нему в гости должен заехать некий генерал.

— Кроме птичьего молока, все будет на столе, — сказал он.

Но дело не в этом. Я, слава богу, в тот день унес от него ноги и больше он меня к себе не звал. А дело в том, что я видел своими глазами, как эта вот юная женщина вышла вместе с ним из его машины и прошла в его дом.

— Не может быть, ты спутал! — закричал я.

— Я никак не мог спутать, — сказал он, — машина остановилась возле его дома, и они вышли из нее. Я стоял в десяти шагах. Да они и не скрывались ни от кого. Огромная фигура Уту рядом с миниатюрной девушкой произвела на меня незабываемое впечатление.

— Когда это было, — спросил я, — ты не можешь сказать поточней?

— Три года назад, — сказал он, — май месяц... Точней не помню...

Я ему тогда, конечно, ничего не сказал, а теперь говорю, потому что все позади. Я думаю, отчаявшись дожидаться наказания убийце матери и заметив, что она понравилась этому бандиту, Лора обо всем с ним договорилась. Он убил того, кому служил, и получил за это то, что хотел. По-видимому, она обо всем рассказала Марикку, и он напился, чтобы не сойти с ума от боли.

Через год они продали дом и переехали в Краснодар, где жила сестра Лоры. С тех пор прошло много лет. Марик с сыном ежегодно в отпуск приезжают к отцу, а Лора никогда. Думаю, что она решила навсегда отрезать этот город от своей жизни. Удалось ли это ей — не знаю. Много можно сказать по этому поводу, но я одно скажу — я ей не судья.

На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ. Машина уже мчалась по Новому Афону.

— Сильная история, — сказал Расим, оборачивая к нам свое горбоносое лицо, — давайте сейчас здесь выпьем кофе, и я вам расскажу о своей встрече с Уту Берулава... А эта девушка в определенных исторических условиях могла бы стать выдающейся личностью... Но напрасно она своему бедному жениху все рассказала... Непедагогично... Можно было скрыть... Есть средства...

Он остановил машину возле веранды открытого ресторана. Мы поднялись наверх, уселись за столик и заказали три кофе.

— Вот как я встретился с ним, — начал Расим, — я поехал в лагерь под Зугдиди, где сидел один наш однофамилец. Мне нужно было серьезно с ним поговорить, пристыдить его за то, что он позорит наш род, и спросить его, как он в конце концов думает жить дальше!

Лагеря, собственно, не было. Заключенные жили в бараках и работали на чайной плантации. И вот нас человек пятнадцать, прибывших на свидание. Каждый стоит и разговаривает со своим родственником. Рядом стоит офицер и присматривает за нами. Вдруг я услышал какой-то испу-

ганный шепоток, все замолчали, и заключенные вместе со своими родственниками сбились в кучу.

На месте остались только я со своим однофамильцем и какая-то мингрельская старушка, которая о чем-то горячо упрашивала своего сына-балбеса. Я оглянулся и увидел, что к нам подходит какой-то человек. Внушительного роста, плечистый, с черной бородой до пояса. Потом я узнал, что Уту в заключении всегда отпускал бороду. Одет он был в черную косоворотку, хорошие шерстяные брюки и сапоги.

Он подошел к нам, остановился, взглянул на притихшую, сбившуюся группу, а потом обернулся на старушку, которая, не обращая внимания на Уту, продолжала о чем-то упрашивать своего сына. И, видно, это ему понравилось. Он спросил у старушки, чем она недовольна, и та, возможно, приняв его за какого-то начальника, стала выкладывать ему свои горести.

Вдруг взгляд Уту упал на офицера, продолжавшего стоять поблизости, и он ему гаркнул по-мингрельски:

— Ты чего тут?

— Я ничего, я ничего, — пробормотал офицерик и попятился к группе, которая раболепно стояла в стороне.

— Не беспокойся, мамаша, — сказал Уту наконец, — я присмотрю за твоим сыном.

С этими словами он легким взмахом ладони дал ее сыну дружеский подзатыльник, так что голова парня откатнулась, как у болванчика. После этого он молча повернулся и ушел... Вот как я видел Уту Берулава...

Расим отпил кофе, на минуту замолк, и вдруг его горбоносое лицо озарилось улыбкой воспоминания.

— Слушайте, — сказал он, — до чего интересно получается! У нас сегодня день поминовения Уту Берулава! Я сейчас вспомнил, что мой Чагу тоже с ним встречался, только очень давно. Провалиться мне на этом месте, если это был не Уту Берулава! Молодец мой Чагу, не осрамил наш род! Но он сам лучше расскажет об этом, вы мне только напомните!

Мы допили кофе, сели в машину и поехали дальше. Часа через два мы въехали в это горное сельцо. Чагу жил на отшибе. Возле выезда из села улица была перекрыта воротами, чтобы скот не мог пройти на поля.

— Вот его сын ждет нас, — кивнул Расим на мальчика лет двенадцати, стоявшего возле ворот. Мальчик открыл их и, пропустив машину, подбежал к нам.

— Я пригоню лошадь, — радостно сказал он, заглядывая в окно.

Мы поехали дальше.

— Этот мальчишка — прекрасный наездник, — сказал Расим, — он с девяти лет участвует в районных и республиканских скачках. Дважды брал призы на лошадях своего отца.

Машина остановилась возле усадьбы Чагу. Мы вошли во двор. Это был чистый, зеленый, косогористый двор, обсаженный цветущими благоухающими розами. Двор по абхазской традиции — это как бы главная комната, внутри которой расположены все остальные комнаты. Наши женщины убирают и украшают свой дом, начиная с главной комнаты.

Кстати, сам дом Чагу выглядел весьма ветхим и бедным, но рядом с ним был заложен фундамент более обширного строения с одинокой стеной.

Из дома нам навстречу вышла пожилая женщина, жена Чагу, ее сын, парень лет тридцати, его жена с грудным младенцем на руках и двумя малышами, цеплявшимися за ее юбку. Мы поздоровались с хозяевами, а Расим, кивнув в сторону недостроенного дома, сказал:

— Сколько же вы будете его строить? Он уже лет пять стоит в таком виде.

— С моим сумасшедшим мы его никогда не построим, — крикнула жена Чагу, — мы в колхозе заработали девятнадцать тысяч! Мой сумасшедший поехал в Черкезию и купил две лошади. Расим, дорогой, поговори с ним, пристыди его!

— Хорошо, поговорю, — важно сказал Расим, — а где он сам?

— Он по соседству, сейчас придет, — отвечала хозяйка, кажется, довольная обещанием Расима.

Мальчик пригнал рыжую лошадку и загнал ее во двор.

— А ну покажи фотографии, — сказал ему Расим.

Мальчик вбежал в дом и через некоторое время выскочил из него, неся в руке кучу разноформатных фотографий.

— Я же вам альбом купил, почему ты не вклеил их туда? — спросил Расим.

— Не знаю, — сказал мальчик и смущенно пожал плечами.

Это были изломанные и расплывчатые снимки скачек. Видно, он их часто показывал людям. Изображение толпы и бегущих лошадей. Получение приза верхом на лошади. Наездник, проезжающий мимо трибуны и приветствуемый какими-то начальниками.

Тыкая пальцами, мальчик односложно объяснял:

— Я... здесь... Я...

— Я тобой недоволен, — строго сказал Расим. — В каком состоянии у тебя снимки? Я же тебе купил альбом. Почему ты их не вклеил туда?

Мальчик трогательно прижал голову к плечу и с трудом выдавил: «Не знаю...»

Односложность его ответов показалась мне странноватой, и, когда он вошел со снимками в дом, я спросил об этом у Расима.

— Да, — кивнул он, болезненно поморщившись, как бы признавая наличие уцербной царапины в роду, — он однажды неудачно упал с лошади...

Во двор вошел хозяин дома. Это был сухощавый мужчина лет шестидесяти. Маленького роста, жилистый. Одет он был в галифе и черную сатиновую рубашку, перепоясанную кавказским поясом, на котором сбоку болтался в чехле большой пастушеский нож.

Он за руку поздоровался со всеми и, поняв, что Виктор Максимович не абхазец, особенно сердечно с ним поздоровался как с наиболее дальним и потому почетным гостем.

— Долго же вы собирались, — сказал он, взглянув на Расима, — вон уже где солнце... Теперь сами решайте, сначала сядем за стол, а потом объездим лошадь или наоборот?

— Нет, нет, — за всех сказал Расим, — сначала объездим лошадь, а потом спокойно сядем за стол, выпьем, поговорим...

— Вынеси седло, — кивнул отец мальчику. Мальчик побежал на кухню и вынес седло и уздечку.

Чагу осторожно подошел к лошади и надел на нее уздечку. Мальчик поднес седло. Отец так же осторожно, что-то ласково мурлыкая, оседлал лошадь и затянул подпруги. Лошадь вела себя довольно смирно. Дальше произошло неожиданное для меня. Чагу не сел на лошадь, а стал, держась за поводья, гонять ее вокруг себя, нещадно шлепая камчой. Потом он, перехватив поводья у самой лошадиной морды, стал заставлять ее двигаться назад. Лошадь вздрагивала, дергалась в сторону, вздымала морду и долго не могла его понять.

В конце концов он ее заставил пятиться, и она, пятясь, прошла по двору до самой изгороди. Чагу снова привел ее на середину двора.

Теперь он совсем коротко перехватил поводья и стал заставлять ее кружиться вокруг себя. Лошадь всхрапывала, упрямылась, но под ударами камчи все быстрее и быстрее кружилась в полуметре от хозяина. И вдруг то ли она слишком круто повернулась, то ли еще что, я не успел заметить, но она опрокинулась на хозяина. Они оба покатились по косоугору двора. Мне показалось, что теперь ни лошадь, ни хозяин не сумеют сами встать на ноги. Но они оба вскочили, и лошадиник, сделав это на мгновение раньше, на лету цапнул ее за поводья и не дал уйти.

Теперь лошадь так тяжело дышала, что было слышно на весь двор ее хриплое дыхание. Чагу перекинул поводья через шею лошади и вскочил в седло. Лошадь вела себя спокойно. Чагу промчался несколько раз по двору, резко притормаживая у изгороди.

Потом он, видимо, решив, что сопротивление лошади недостаточно красочно, стал подымать ее на дыбы. Но она, бедняга, долго не понимала его, крутила головой, вспрыгивала в сторону и, наконец, все-таки встала на дыбы. Чагу соскочил с нее, подвел к изгороди и накиннул поводья на кол.

— Готова! — крикнул он по-русски и, помахивая камчой, подошел к нам.

Стол накрыли на веранде, и мы уселись. Пока мы пили и ели, я несколько раз оглядывался на привязанную лошадь, и мне показалась странной ее абсолютная неподвижность. Она даже хвостом не шевелила. Я спросил у Чагу, чем это объяснить.

— Обижена, обижена, — сказал он с улыбкой, как о простительном чудачестве еще слишком молодой лошади, — ничего, скоро пройдет.

— Лошадь, как человек! — вдруг вскричал Чагу. — Только не разговаривает. Вот я вам расскажу, что со мной однажды было, а вы переведите нашему гостю.

Он кивнул в сторону Виктора Максимовича.

— Лет пять тому назад, — начал Чагу, — я возвращался со свадьбы в одном селе. Мы пили всю ночь, и я, конечно, был крепко выпивший. Где-то на полпути я заснул, вывалился из седла и упал на землю. Как я потом сообразил по солнцу, я проспал часов семь-восемь. Проснулся я оттого, что лошадь меня толкала мордой: «Вставай, пора домой». Вокруг меня метров на десять траву словно косой выкосило. Никуда не ушла. Паслась поблизости, сторожила меня, чтобы какая-нибудь свинья не осквернила или зверь не подошел. И уже когда времени оставалось ровно столько, чтобы хорошим шагом к вечеру дойти домой, она меня разбудила: «Вставай, пора домой!» Я сел на свою лошадь, и как раз, когда мы входили в ворота нашего двора, солнце приводнялось (пересоздаю слабую копию абхазского глагола). Видите, как она уразумела, когда надо меня будить. Вот что такое лошадь!

Я перевел Виктору Максимовичу слова Чагу. Мы пошались.

— Слушай, — вспомнил Расим, — что это за бандит когда-то к тебе приходил? Это был Уту Берулава или кто другой?

— Он! Он! — вскричал Чагу. — Говорят, его расстреляли и в газете об этом прописали. Я охотился за этой газетой, но не достал. Достань ее мне!

— Зачем тебе газета, — сказал Расим, — ты лучше расскажи, как это было.

— А какой он с виду был? — спросил я у Чагу.

— Большой, — вскричал Чагу, — в эту дверь не пройдет. А глаза — на беременную взглянет — раньше времени выкинет, такие глаза!

— Оставь его глаза, лучше расскажи, что было, — перебил его Расим.

— Для гостя по-русски расскажу, — сказал Чагу, осмелев от выпивки, — а вы не смейтесь над моим русским.

— Это давно было, — сказал Чагу, обращаясь к Виктору Максимовичу, — моя старший сын, вот этот, в армии была. Значит, десять-одиннадцать лет назад. Ночью кто-то стучит. Открываю. Человек стоит.

— Что надо?

— Кушать хочу.

Я ему дал кушать и оставил ночевать. Сразу понял — скрывается от власти. Может, кровник, может, абрек — не знаю. Я не спрашиваю. Он не говорит. Ага! Вот так живет у меня три дня. Все, что мы кушаем, ему кушать даем, все, что мы пьем, он пьет. Днем он ничего не делает, только пистолета свой чистит. Ночью спит, как мы. На четвертая дня садимся обедать, вот эта моя хозяйка подала, что было. А он мне говорит:

— Чагу, пойди и достань у соседей хорошая вино.

Я чуть с ума не сошел! Я крестьянин, у меня простая крестьянская вино. Чем виновата моя вино?! Живет мой дом и посередине моего дома сирет на мой хлеб-соль!

— Моя вино плохая? — говорю.

— Плохая, — говорит.

— Моя отца, — говорю, — у твоего отца тоже батраком работала? Землю пахал, вино приносил, дрова рубил?

— Много не разговаривай, иди, — говорит, — а то узнаешь, кто такой Уту Берулава!

Если человек, как скотина, сирет на твой хлеб-соль в твоём доме, или убей его или убей себя! Зачем жить! Ага, думаю, сейчас я тебе покажу плохая вино. У меня в другой комнате висела хорошая двустволка с медвежьим жакан. Сейчас тоже там висит!

— Хорошо, — говорю, — сейчас принесу.

Он, как зверь, что-то догадал.

— Зачем туда идешь? — На двор показывает. — Туда иди!

— Деньги, — говорю, — надо взять. Кувшин вина бесплатно никто не даст.

— Хорошо, — говорит, — бери.

Ага! Я иду другой комната, снимаю ружье и выхожу. Слово не мог сказать! Смерть любая человек боится!

Я мать его не оставил! Отца его не оставил! Деда не оставил! Никого не забыл!

— Вставай, выходи, — говорю, — свинья в свинарнике надо убивать!

Он встает. Жена кричит: «Не убивай, тебя посадят!» — но я убить не хочу, так пугаю. Хочу сдать его государству в райцентр.

Вышли. Теперь как? До райцентра двадцать километров. Лошадь моя во дворе. Тигра, никого, кроме меня, к себе не допускает. Как оседлать?

Я говорю жене:

— Держи ружье! Рука, нога, голова — чем бы ни двигала — вот это нажимай! Пусть, как мертвая, стоит!

Жена моя кричит, не хочет брать ружье. Заставил! Взяла! Он стоит пять-шесть шагов.

— Чем бы ни двигала — сразу стреляй! — говорю.

Я быстро поймал лошадь, оседлал ее, вынул его пистолета из-под подушки, положил карман, сел на свою лошадь и, как скотину, погнал его впереди себя.

По дороге он просил меня отпустить. Деньг обещал. Большие деньг! Но я его не слушала. Я его (тут Чагу, не найдя соответствующего русского слова, по-абхазски добавил) искамчил! Всего искамчил! Даже рука устала!

Чагу снова перешел на русский.

— И он уже меня ничего не просит. И я успокоил душа. И тут мы проходили, где мелкая ольха растет. Много-много мелкая ольха. И он прыгнул в это мелкая ольха. Я выстрелил — не попал! Лошадь пустил, но лошадь быстро не может. Ветка мешай! Мелкая ольха мешай! Убежал! Я повернул лошадь. Сдал пистолета в сельсовет. И сказал. Три дня жила — не сказал. Сказал — в этот день пришла. Я боялся, что он ночь придет и наш дом пожар сделает. Я достал хороший собака. Но он не пришла. А сейчас все! Сейчас власть его стрелял!

— Лучше бы он сжег наш дом, — неожиданно по-абхазски вставила хозяйка, до этого молча и внимательно слушавшая своего мужа, — тогда уж ты построил бы новый...

Тут наш Расим стал серьезно увещевать старого Чагу, указывая ему на то, что любовь к лошадям — это, конечно, дело хорошее, и он призами на скачках прославляет свой род, но все-таки и дом наконец пора построить. Вон и семья разрослась.

— Успеем, успеем, — сказал Чагу и, с ходу зажигаясь, добавил: — слава богу, над головой не течет! А ты что в лошадях понимаешь? Охромевшую лошадь бросил в лесу! Все равно, что этого несмышлениша в чащобе оставить!

Он ткнул рукой на одного из своих внуков, вместе с братцем стоявшего, прижавшись к материнской юбке. Малыш встрепенулся и еще теснее прижался к матери.

Мы поблагодарили хозяйку за угощение, спустились во двор и прошли к машине. Объезженная лошадь все так же неподвижно с опущенным хвостом стояла на привязи.

— Приезжайте на осенние скачки, — крикнул Чагу напоследок, когда мы уже были в машине, — черкесскую пущу!

Мы поехали по узкой каменистой дороге. Младший сын Чагу, возможно, изображая лошадь, мчался за машиной до самых ворот. Добежав, он открыл их нам, помахал рукой, и мы поехали дальше.

— Единственно, в чем был прав Уту Берулава, — неожиданно без всякого юмора заметил Расим, — это то, что у Чагу вино плоховатое. И оно всегда у него было такое!

Расим был прав. Но Чагу — явно настоящий лошажник, а истинная страсть не терпит соперниц.

Вечер в саду

Однажды из Москвы приехал мой знакомый журналист и сказал, что у него от редакции задание увидеться с Виктором Максимовичем и написать о нем. Я удивился, что об его опытах знают в редакции, и обрадовался за него.

Журналист этот был известен достаточно острыми и горькими статьями по вопросам нашего сельского хозяйства.

Полгода назад его послали на несколько месяцев в Америку, отчасти, как я думаю, чтобы вознаградить за ненапечатанные статьи, отчасти для того, чтобы он поделился с нашим читателем опытом ведения фермерского хозяйства, хотя бы в тех пределах, в каких этот опыт не мешает идеологии.

— Как съездил? — спросил я у него.

— Чудесно, — бодро кивнул он, — пишу книгу.

— А если одним словом сказать, что главное?

— Одним словом ничего не скажешь, — ответил он, — разве что придется повторить слова одного славного фермера.

— А что он сказал?

— Он посмотрел, посмотрел, как мы топчемся на его полях, и сказал: «Вот вернетесь вы к богу, и у вас будет хлеб».

Я призадумался над такой своеобразной рекомендацией ведения сельского хозяйства, и мы тут же договорились поехать к Виктору Максимовичу.

Мы зашли в гастроном, купили две бутылки коньяка, дрянную колбасу, ибо другой не было, и сыр. Взяли такси и поехали в поселок, где жил Виктор Максимович.

Я не совсем точно знал, где расположен его дом, но надеялся сориентироваться. Расплатившись с таксистом, мы свернули с шоссе, прошли по узкой дорожке между двумя приусадебными участками, вышли к железной дороге, прошли под мостом, свернули вправо и, похрустывая пляжной галькой, зашагали вдоль моря.

Был теплый день конца сентября. Солнце клонилось к закату, и оттуда почти до самого берега вода была покрыта трепещущим золотом. Пляж был почти пуст, море едва вздыхало, в воздухе стоял легкий запах водорослей.

Именно отсюда, со стороны моря, где я тогда рыбачил с товарищами, мне когда-то показали домик Виктора Максимовича, и я теперь надеялся вспомнить его месторасположение.

Приусадебные участки в этих местах метра на два возвышаются над пляжем и кое-где в зависимости от доходов хозяев прикрыты от моря деревянной или бетонной дамбой.

Неизвестно, как скоро я узнал бы его участок, если б внезапно не увидел торчащее из зелени виноградной беседки крыло махолета.

Одновременно с крылом махолета я увидел на пляже прямо под участком Виктора Максимовича сидящего на песке милиционера. Он оказался моим знакомым абхазцем. Увидеть его здесь, на пустынном пляже, было так же странно, как увидеть крыло махолета, торчащее из виноградной беседки. Я почувствовал родство этих двух странностей. И так как одна из этих странностей объяснялась Виктором Максимовичем, естественно было предположить, что и вторая странность объясняется им же.

— Что ты здесь делаешь?—спросил я по-абхазски, здороваясь с милиционером.

— Сторожу,—ответил он мне, смущаясь и от смущения склоняя набок голову. Мне показалось, что смущение его усилено тем, что он говорит со мной по-абхазски. Повидимому, он считал, что некоторая нелепость его занятия на языке закона выглядела бы менее нелепой.

— Что сторожишь?—спросил я, хотя уже понял, что он сторожит.

— Аэроплан его сторожу,—кивнул он наверх.

— А зачем его надо сторожить?—спросил я.

— Они боятся,—ответил он,—чтобы на нем кто-нибудь не улетел в Турцию.

— Если они этого так боятся,—сказал я,—они могли бы запретить ему этим заниматься.

— Запретить нельзя,—важно сказал милиционер.

— Почему?

— Потому что они хотят посмотреть,—оживился он, как бы приобщая меня к хитроумному замыслу,—получится у него что-нибудь или нет. Потому следить следим, а мешать не мешаем.

— Ах, вот как,—сказал я и, кивнув ему на прощанье, направился вместе с журналистом к деревянной лесенке, поднимающейся от пляжа на участок.

— Что он тебе говорил?—спросил журналист, когда мы прошли в калитку, и я закрыл ее на щеколду.

Я ему передал нашу беседу, и мы оба рассмеялись. Тропинка к дому проходила между корявыми мандариновыми кустами. Справа от тропинки стоял сарай, возле которого рос большой пекан, североамериканский родственник нашего грецкого ореха. Слева за мандариновыми кустами начинался сад, где росли груши, инжир и гранатовое дерево, усеянное пунцовыми плодами.

Мы подошли к дому, где возле виноградной беседки стоял махолет, как бы молча проповедуя тесноте заросшего сада идею распахнутого пространства. Сад безмолвствовал.

Рядом за большим столом, врытым в землю, сидели трое: девушка в голубом сарафане со светящимся узким марсианским лицом, какой-то юноша и Виктор Максимович.

Юноша и хозяин дома, низко склонившись к ватманскому листу, заполненному чертежами и формулами, что-то обсуждали. Девушка подняла нам навстречу свое светящееся и как бы исключительно в интересах воздухоплавания суженное лицо. Она улыбнулась нам. Двое остальных нас так и не заметили.

— Виктор Максимович, — сказал я, выкладывая на стол нашу небогатую снедь, — оказывается, за вами хвост.

Мы поздоровались.

— А-а-а! — махнул Виктор Максимович голой мускулистой рукой, рукава штормовки у него были закатаны. — Слава богу, я давно привык.

Мы познакомились с его гостями. Девушка, с улыбкой протягивая длинную тонкую руку, как бы сказала: можете немножко подержаться за мою руку, вам это будет приятно.

— Запомните его имя, — кивнул Виктор Максимович на юношу, — будущее светило математики. Он нашел новый случай сохранения двух солитонов после взаимодействия.

Для меня это был язык ирокезов.

— Виктор Максимович, — спросил я, — откуда вы знаете высшую математику?

— Это, — сказал он, усаживая нас за стол, — интересная история. В лагере у меня был учебник высшей математики Лоренца. Каждый день после работы я заваливался спать и спал до отбоя, когда барак затихал. Тут я вставал, брал учебник и шел к параше, потому что это было единственное место, где ночью горел свет и можно было читать. Но чтобы не зачитаться до утра и доспать положенное время, иначе не сохранишь силы для работы, я придумал себе часы. Водяные часы, клепсидра с поправкой на лагерные условия. Лагерники спят беспокойно, кричат во сне, часто встают мочиться. Я приспособился определять время по степени наполнения параша мочой.

Юноша, внимательно выслушав рассказ Виктора Максимовича и дождавшись его конца, почему-то передвинул бутылки с коньяком с края стола на его середину, как на более надежное место.

— Где вы учитесь?—спросил я у него. Если б не слова Виктора Максимовича о его математическом открытии, было бы естественней спросить, в каком он классе, до того он молодо выглядел.

— Я аспирант Московского университета,—сказал он и посмотрел на девушку.

— Это вы его так омолодили?—спросил я у нее.

— Да!—воскликнула она и затряслась от сдвоенного хохота.—Все так находят! Он у нас преподает! Однажды нас встретила знакомая мне девушка и спросила: «Это твой младший брат?» Я так и вырубилась от смеха!

Ее худенькое, почти безгрудое тело под голубым сарафаном сейчас сотрясилось от хохота, одновременно как бы отсылая любоваться обаянием одухотворенности ее неправильного лица.

— Людочка, посуетись!—кивнул аспирант на стол и вдруг плотоядно потер ладони, явно предвкушая выпивку, и теперь стало легче представить его истинный возраст.

— Я сейчас,—сказала девушка и, взяв двумя пальцами развевающийся ватманский лист, унесла его в дом. Через некоторое время она вышла оттуда с тарелками, вилками, рюмками. Поставив все это на стол, она опять исчезла в проеме дверей и появилась, держа в одной руке тарелку с помидорами, а в другой—хлебницу с длинной лепешкой лаваша.

— Я вам фруктов нарву,—сказал Виктор Максимович и, подхватив плетеную корзину, стоявшую в беседке, быстро удалился в глубину сада.

Девушка пошла мыть помидоры под краном. Взаимокасание струи воды и двух голых девичьих рук располагало к созерцанию в духе японцев.

Однако наше молчаливое созерцание прервал некий толстый небритый человек в мятой рубашке навывпуск, появившийся, как и мы, со стороны моря. В руке он держал приемник «Спидола». Кстати, все прибрежные участки этого поселка имеют по два входа: один со стороны моря, а другой со стороны железной дороги и шоссе.

— Здравствуйте,—сказал человек, подойдя к столу и удивленно оглядывая нас,—а где Виктор Максимович?

— Фрукты собирает,—ответил аспирант,—позвать?

— Не надо, я подожду,—ответил толстяк и уселся на скамью. Он некоторое время так сидел, как кошку, держа на коленях приемник, и, надув губы, что-то беззвучно на-свистывал, скорее всего изображая непринужденность. Повидимому, он здесь не ожидал чужих людей и теперь считал, что его затрапезный вид создает неправильное пред-

ставление о его духовной сущности. Чувствовалось, что ему не терпится исправить эту ошибку.

— Извините, — вдруг сказал он, перестав беззвучно свистеть и оглядывая нас, — вы кто будете?

— Мы друзья Виктора Максимовича, — сказал я.

— Аха, друзья, — согласился толстяк и, дав себе время осознать этот факт, добавил, кивнув на махолет: — что-нибудь из него выйдит? Только правду — как мужчины мужчине!

— Уже вышло, — сказал аспирант, — он несколько раз взлетал.

— Взлетал, что такое! — взмахнул толстяк одной рукой, другой продолжая придерживать на коленях приемник. — Отсюда хотя бы до Очемчири может пролететь?!

Девушка, стоявшая у стола и нарезавшая помидоры, замерла и тревожно посмотрела на толстяка, видимо, стараясь представить, как далеко отсюда находится Очемчири.

— Пока нет, но обязательно пролетит, — сказал аспирант.

Девушка благодарно посмотрела на него и взялась за помидоры.

— Двенадцатый номер видите? — сказал толстяк, туго оборачиваясь к махолету и показывая на цифру.

Мы взглянули на цифру, а потом на толстяка.

— Двенадцать «Жигулей» он мог купить на деньги, которые всю жизнь тратил на свои аэропланы! — воскликнул толстяк. — Чтобы я своими руками свою маму похоронил, если неправда!

Мы промолчали.

— Вы не думайте, — через некоторое время, поуспокоившись, добавил он, — я его, как брата, уважаю... Двадцать лет соседи... А там, внизу, кто стоит, знаете?

Он кивнул в сторону моря, явно думая, что мы вошли в калитку со стороны железной дороги.

— Видели, — сказал я.

— Э-э-э, — закачал головой толстяк и добавил: — Политика...

Возможно, он еще что-то хотел сказать, но тут из сада с корзиной в руке вынырнул Виктор Максимович.

— Привет, Виктор! — сказал толстяк.

— Здравствуй, Зураб! — ответил Виктор Максимович и поставил корзину на стол.

— Звук барахлит, — сказал толстяк, приподымая «Спидолу», — вот эти прибалты совсем халтурчики стали. Хуже наших.

— Оставь, посмотрю, — сказал Виктор Максимович не глядя и добавил, отбирая у девушки лаваш, который она взялась нарезать, — лаваш не режут, а рвут.

В саду уже было сумеречно, хотя сквозь виноградные листья еще был виден догорающий над морем закат.

Виктор Максимович стал быстро рвать лаваш, раздвигая его, как гармошку.

— Пока, Виктор! — сказал толстяк и поднялся.

— Оставайся, выпьем по рюмке, — предложил Виктор Максимович, расправившись с лавашем.

— Ради бога, — сказал толстяк, останавливаясь и беспомощно приподымая руки, — гости ждут дома!

— Ладно, — сказал Виктор Максимович, — завтра к вечеру заходи!

Толстяк исчез в уже сгущающихся сумерках.

— Людочка, свет! — сказал Виктор Максимович, вынимая из корзины инжир и груши.

Мы расселись за столом и приступили к еде и выпивке. Мне не понравилось, как аспирант выпил две первые рюмки. Та особая, как ее ни скрывай, хищность, с которой он отсосал их, подсказывала, что огонек там, внутри него, уже горит и требует топлива. Впрочем, может, это мне и показалось.

Кто-то завозился у калитки, обращенной в сторону железной дороги.

— Кого это еще несет, — проговорил Виктор Максимович, взглядываясь в темноту.

Из тьмы появилась какая-то фигура и, осторожно войдя в полосу света, оказалась пожилой женщиной в коричневом платье.

— Извините, — сказала она, подходя к столу, — Виктор Максимович, я за мясорубкой.

Виктор Максимович встал, небрежно сунул в карман протянутые ему деньги и вошел в дом.

Женщина отвернулась от стола и, подперев подбородок ладонью, с такой комической скорбью уставилась на махолет, что я не выдержал и спросил:

— Вам он не нравится?

Женщина обернулась к нам и, улыбаясь милой, виноватой улыбкой, призналась с горестной откровенностью:

— Семьи нет... Если б хоть семья была... Он еще не старый, интересный мужчина, скажите — пусть женится... Деточки будут бегать здесь...

Продолжая улыбаться виноватой улыбкой, она смотрела на нас, словно ожидая нашей поддержки.

Кстати, Виктор Максимович в самом деле выглядел гораздо моложе своих шестидесяти лет. Больше пятидесяти ему никак нельзя было дать. Некоторые считали это результатом его кефирной диеты. Однажды, когда разговор зашел на эту тему, он улыбаясь, сказал:

— Все обстоит очень просто. Мужчину старят женщины и политика. В молодости, когда я был влюблен и увлекался политикой, я выглядел гораздо старше своих лет.

Из дому вышел Виктор Максимович с мясорубкой в руке.

— Ну, как твоя новая курортница? — передавая мясорубку, спросил он у женщины, словно угадав, о чем она здесь говорила, и насмешливо снижая тему.

— Ах, Виктор Максимович, не говорите, — пожаловалась она, — сколько раз я ее предупреждала: «Не лежи так долго на солнце!» Не послушалась, и теперь у нее вся спина сгорела.

— Понятно, — сказал Виктор Максимович усаживаясь и, обращаясь к нам, добавил: — Когда на юг приезжает интеллигентная женщина, она на третий день идет с ворохом писем по улице и спрашивает, где почта. А когда приезжает неинтеллигентная женщина, она на третий день ковыляет по улице и спрашивает, где бы купить простоквашу, чтобы обмазать обгоревшее тело. И таких множество.

Мы посмеялись наблюдению Виктора Максимовича, которое, может быть, отдаленным образом давало ответ на горестное недоумение женщины по поводу его одиночества. И женщина, как бы отчасти это поняв и смирившись, скорее всего временно, скрылась в темноте, держа в руках починенный Виктором Максимовичем маленький символ домашнего очага.

Виктор Максимович стал подробно объяснять журналисту, почему он винтовому аппарату предпочел махолет, а потом постепенно разошелся и выложил свое жизненное кредо.

— Человек должен взлететь сам, без мотора, — сказал он, — вся трагедия мировой истории в том, что человек, пытаясь удовлетворить свою самую коренную жажду, жажду свободы, все больше и больше закабалется. Тысячелетия человеческой истории превратили его психологию в Авгиевы конюшни. Только взлетев, он промоет свою душу и поймет истинную цену земной жизни — идеям, вещам, людям...

Внезапно он прервался, оглядел нас своим кротким и неукротимым взглядом, потом налил полстакана коньяка, поставил его в тарелку, набросал туда несколько кружков колбасы, ломоть лаваша и сказал:

— Людочка, отнеси моему стражу. От тебя ему приятней будет получить угощение... Фонарь лежит на кухонном столе.

Девушка принесла фонарь, зажгла его, взяла в руки тарелку и скрылась в темноте, как светлячок, сама себе освещая дорогу.

— Человек должен взлететь, иначе все мы погибнем, а вместе с нами и вся мировая культура, — продолжал Виктор Максимович, разлив коньяк по рюмкам и кивнув на свой махолет, который, казалось, прислушивается к нему, — это двенадцатый аппарат, который я сконструировал за свою жизнь. Шесть из них вдребезги разбились. Два — на земле, а четыре начали разваливаться в воздухе. Кто

хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе, тот не может не возвратиться на землю обновленным человеком. Он поймет, что это возможно, и будет бесконечно искать во всех формах земной жизни повторения этого счастья распахнутого полета. Он будет искать и добиваться его в книгах, в любви, в дружбе, в работе, во всем! Он приучится чувствовать проявление малейшей пошлости и подлости как омерзительное выражение антиполета, антипарения, как предательство своего собственного испытанного в полете счастья. Человечество ждет великое самовоспитание через полет и парение. Разумеется, это произойдет не в один день. Но когда появятся надежные варианты аппарата и наладится их промышленное производство, они будут ненамного дороже хорошего зонтика.

Сегодня нас, изобретателей подобных аппаратов, никто не поддерживает — ни спортивные организации, ни конструкторские бюро, ни министерства. Но мы должны доказать и докажем свою правоту.

— А много вас? — спросил я и, не вполне уверенный в уместности своего желания, потянулся за грушей.

— Я переписываюсь с двумя, — сказал Виктор Максимович, — один живет в Армавире, другой — в Полтаве. Но, наверное, есть еще.

— Да, есть, — подтвердил журналист, — к нам поступают сведения об этом. Но пока их мало.

Внезапно деревья сада и беседка озарились голубоватым, мертвенным светом и махолет побелел в этом свете, словно оголился. Это далекий пограничный прожектор на несколько мгновений просочился в сад, безмолвно взгляделся в него и унесся дальше шарить по берегу.

— С каждым годом их будет все больше, — сказал Виктор Максимович, — это неизбежно. Человек должен взлететь, и он взлетит. Никакая диктатура не сможет управлять летающими людьми, потому что у летающего человека будет совсем другая психология.

— А разве ваш милиционер не сможет пристрелить летающего человека? — спросил журналист.

Из темноты пришла девушка и поставила на стол тарелку и стакан.

— Нет, не сможет, — без всякой улыбки сказал Виктор Максимович, — потому что он сам тогда будет летающим человеком.

— Ну, как он там? — спросил аспирант у своей девушки.

— Выпил за мое здоровье, — сказала она, просяив, — может, позвать его сюда?

— Это лишнее, — заметил Виктор Максимович, — пусть стоит там, где его поставили.

— Неужели они не знают, что без разгона вы отсюда взлететь не можете? — спросил аспирант.

— Конечно, знают, — сказал Виктор Максимович, — но это и есть безумие нашей жизни. Человек ежедневно совершает тысячи подобных глупостей, и мы все им подчиняемся. Но как только человек взлетит, бессмысленность этих глупостей всем станет очевидной.

— А что, в плохую погоду они тоже дежурят? — спросил я и, встав со стула, потянулся к винограду, свисавшему с края беседки.

— В плохую погоду я их пускаю в сарай, — сказал Виктор Максимович и, проследив за моими действиями, добавил: — с южной стороны зрелей.

Я сорвал несколько кистей винограда, одну из них протянул девушке, а остальные положил на стол.

— А как давно они дежурят? — спросил аспирант.

Он взял со стола гроздь винограда, словно неосознанно обращая обе кисти, и ту, которую он взял, и ту, которую держала его девушка, в наглядный символ их парности. Но в отличие от своей девушки, которая уже отщипывала ягоды, он только жадно внюхался в гроздь, как бы не решаясь разрушить символ.

— Лет двадцать, — ответил ему Виктор Максимович подумав, — с перерывами. После двадцать второго съезда отменили дежурство. Но после чешских событий снова стали дежурить.

С некоторым мистическим трепетом я ощутил всепроникающую неотвратимость идеологических щупальцев. Огромный и как бы неуклюжий аппарат идеологии где-то в Москве делает поворот, и в зависимости от него в непомерной дали, здесь, в поселке под Мухусом, возле участка Виктора Максимовича, появляется или исчезает милиционер.

И снова фантастическим, синим, дрожащим на листьях светом озарился сад. И опять несколько мгновений белел в этом свете словно оголившийся махолет. Потом свеченье погасло, истекло, и луч прожектора унесся дальше высвечивать берег.

Девушка поежилась и, войдя в дом, вышла оттуда с шерстяной кофточкой, накинутой на плечи. Мы выпили по последней рюмке и стали собираться.

— Сейчас дам одеяло моему охламону и провожу вас, — сказал Виктор Максимович и вошел в дом. Через минуту он вышел с одеялом в руках, пошел в сторону берега и потонул в темноте. Видимо, он остановился над краем участка, потому что раздался его голос:

— Где ты там? Держи!

Мы попрощались с аспирантом и его девушкой. Виктор Максимович взял со стола фонарь, и мы, сделав несколько шагов, окунулись в вязкую черноту южной ночи. Виктор Максимович шел сзади, бросая нам под ноги жидкую полоску света. Мы перешли железную дорогу, про-

шли тропинкой, то и дело теснимо зарослями разросшейся ежевики, и вышли на шоссе к автобусной остановке.

— Если материал пройдет, пришлите газету, — сказал Виктор Максимович журналисту и пожал нам обоим руки бодрящим рукопожатием, словно пытаюсь влить в нас часть своей неукротимой веры. Мне подумалось — только мечту и ловить такой сильной и цепкой ладонью. Он ушел в черноту ночи, не зажигая фонаря, потому что хорошо знал дорогу.

Последнее

В ту зиму Виктор Максимович, как обычно, разобрав и сложив свой махолет, уехал вместе с ним в Москву. В начале марта я пил кофе в верхнем ярусе ресторана «Амра». День уже был по-весеннему теплый. Чайки с криками носились возле пристани-кофейни, на лету подхватывая куски хлеба, которые им подбрасывали люди, стоя у поручней ограды.

К столику, стоявшему рядом с моим, подошел толстый человек с брюзгливым выражением лица. Я сразу же узнал в нем того соседа, который приходил к Виктору Максимовичу со «Спидолой».

— Скажите, — обратился я к нему, когда он, хлебнув кофе, рассеянно взглянул в мою сторону, — Виктор Максимович приехал?

Толстяк внимательно посмотрел на меня, и лицо его сделалось еще более брюзгливым и сумрачным. Он явно меня не узнал.

— А кто вы ему будете? — спросил он настороженно. Его настороженный голос вызвал во мне смутное, неприятное чувство.

— Я его друг, — сказал я, — однажды, когда мы сидели у него в гостях, вы к нему заходили со «Спидолой»...

По мере того как я говорил, лицо его мрачнело и мрачнело, и я все сильнее и сильнее чувствовал приход неправедного и фальшь своего многословия. Господи, при чем тут «Спидола»!

— Виктор Максимович умер, — сказал толстяк, и лицо его горестно перекошилось.

— Как?! — вырвалось у меня.

— Да, — кивнул он и, отхлебнув кофе, добавил: — разбился в Москве...

Он замолчал, и сразу же вонзилось в слух скрежещущее визжание чаек, мельтешащих в воздухе, подхватывающих корм на лету и на лету вырывающих его друг у друга.

— Ми, соседи, — продолжал он снова, отхлебнув кофе, — устроили ему сорок дней... Недавно из Мичуринска

приехал его родственник... Прилетел, как ворона... Сейчас живет в его доме... Из Мичуринска... Я раньше даже город такой не слышал...

Странно, подумал я, Виктор Максимович никогда ни об одном живом родственнике мне не рассказывал. Визг часок и возгласы людей, бросающих им хлеб, сделались невыносимыми. Я повернулся и пошел домой. Не знаю, то ли жизнь меня иссушила, то ли еще что, но я не в силах был осознать потерю. Только почему-то все время бессмысленно и тупо в голове вертелись строчки:

Не выбегут борзые с первым снегом
Лизать наследнику и руки и лицо.

* * *

На следующий год в Москве мы встретились с моим знакомым журналистом и выпили за упокой души Виктора Максимовича. Кстати, книга его об американском фермерском ведении хозяйства так и не появилась в печати, ее отвергли все издательства. Однако он не унывает и полон творческих планов. О судьбе аспиранта и его девушки мне ничего не известно, и поэтому хочется думать, что по крайней мере у них там все хорошо.

Прошло с тех пор пять лет. И вот здесь, на альпийских лугах, в пастушеском шалаше, радио приносит весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на махолете, работающем при помощи мускульной силы ног пилота. Он был не один, Бриан Аллен. Морем на катере его полет сопровождали друзья во главе с конструктором Полем Мак-Криди, который плакал от счастья, когда его аппарат достиг берегов Франции.

Весть эта и всколыхнула мои воспоминания о Викторе Максимовиче. Я сижу над глубоким провалом, вечно рождающим сладостную тоску по крыльям, сижу рядом с альпийскими лугами, многоцветными вблизи и нежно золотящимися на дальних холмах от обилия цветущих примул.

Далеко впереди громоздятся цепи горных хребтов, словно с размаху окаменевших в ожесточенных попытках героическими рывками дотянуться до бездонного неба.

А на той стороне, за обрывом зеленеет пихтовый лес, сквозь который желтеет ниточка дороги от Рицы на Псху, куда когда-то летал Виктор Максимович...

Я сижу один над обрывом и глажу добрейшую собаку по кличке Дунай с невероятно забавными в своей ложной свирепости желтыми мужичьими глазами. Серый коршун с растопыренными, шевеливающимися кончиками крыльев пролетел над гребнем горы, на которой я сижу. Поравнявшись со мной, он лениво откачнулся вверх, словно оплыл меня в воздухе, как чужеродный предмет.

Школьный вальс, или Энергия стыда

Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на двадцать позже, чем это было положено по учебному календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни.

Простейшей формой фамильного невезения была учеба моего старшего брата. Мой старший брат, обладая многими более скрытыми достоинствами, имел один откровенный недостаток — он плохо учился. Но сказать, что он плохо учился, — почти ничего не сказать. Он как-то сказочно, феерически плохо учился. Он попадал в каждую историю, которая случалась в школе и ее ближайших окрестностях.

С учителем немецкого языка, антифашистом, в свое время бежавшим из Германии, он (разумеется, не один) проделывал такие штучки, что тот иногда в ближайшем окружении признавался, что хочет бросить все и вернуться на родину, хотя целиком и полностью одобряет политику Советского Союза.

Примерно раз в неделю учителя с выражением сухова-той скорби горевестников на лице входили в наш двор. И хотя в те времена с полдюжины ребят возраста моего брата учились в той же школе, завидев учителя, соседи по дому, а иногда даже и по улице с каким-то тайным сладострастием спешили окликнуть маму: — Опять к тебе!

Так и вижу маму, бледную, выпрямляющуюся с примусной иголкой в руке, при помощи которой она пыталась укротить примус, этого маленького, вечно бунтующего коммунального хулиганчика. Вот она бросает иголку рядом с примусом, вытирает тряпкой руки и обреченно приглашает учителя в дом: — Заходите...

Учитель проходит в дом, а соседи, притихшие было с тем, чтобы послушать, о чем будет говорить учитель, снова берутся за свои дела. Они всегда надеялись, что она как-нибудь забудется и начнет разговаривать с учителем во

Повесть была опубликована в журнале «Знамя» (1987, № 7) под названием «Старый дом под кипарисом».

дворе. Но мама никогда не забывалась и никогда не доставляла им этого удовольствия. Зато в тех редких случаях, когда они ошибались, то есть окликали маму, а учителя просто проходили мимо нашего дома или входили во двор, но шли к родителям другого ученика, мама, обрушиваясь на их скоропалительные выводы, частично утोलала свою душу, жаждущую возмездия.

Один из моих дядей, а именно дядя Самад, опустившийся юрист, который на базаре из столика в кофейне устроил себе конторку для писания прошений крестьянам, и получавший за это свой гонорар в виде непосредственной выпивки, обычно к вечеру возвращался домой, пошаваясь.

Если он задерживался, бабушка посылала меня за угол, квартала за два от нашего дома. Там проходила улица, ведущая с базара, и дядя Самад обычно по ней возвращался домой. Бабушка меня посылала туда подежурить с тем, чтобы он не попал под машину или вовремя перехватить его, если другие пьянчуги попытаются его куда-нибудь увлечь.

Кроме того, а может быть, главным образом потому, ей казалось приличней перед соседями, если дядюшка будет идти по нашей улице не один, а с племянником, что, вероятно, как-то скрадывало не столько его пьяное состояние, сколько облик одинокого, опустившегося человека.

В свое время бабушка изгоняла нескольких женщин, которых он приводил домой в качестве жен, по-видимому, находя их в обозримых из кофейни окрестностях базара. Может быть, в глубине души она чувствовала некоторую вину за суровую расправу с этими женщинами, хотя вслух никогда в этом не признавалась.

Должен сказать, что я с удовольствием шел встречать дядюшку, потому что он приносил мне в кармане горсть конфет, а то и просто деньги дарил, жалкие остатки своего дневного заработка. Разумеется, тогда они мне не казались жалкими.

Обычно, отдавая мне остатки своего дневного заработка, он говорил: — Тот, кто был богатым и обнищал, еще тридцать лет чувствует себя богатым. Тот, кто был нищим и разбогател, еще тридцать лет чувствует себя нищим.

Правда, иногда он меня раздражал совершенно непонятным, бессмысленным бормотаньем, в котором я пытался уловить смысл и никак не мог. Может, именно в те годы я неосознанно полюбил ясность и четкость образа мыслей, то дополнительное удовольствие, которое они доставляют сами по себе, независимо от своего содержания, более того, придают ей, мысли, какую-то аппетитность, как бы она ни была мала, облагораживают ее отсветом божественной гармонии и в конце концов делают ее частью всеобщего стремления человечества к ясности как единственной в ко-

нечном итоге задаче разума. Люди, не стремящиеся к ясности мышления, разумеется, в данных им скромных пределах или тем более стремящиеся к туманностям, могут рассматриваться как генетически поврежденные, увеличивающие мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является прямой обязанностью каждого человека.

...И вот, значит, я шел встречать дядюшку в конце второго квартала от нашего дома. Как раз в этом месте находилась наша школа. Иногда я заставлял своего дядюшку, стоящего перед школой, к счастью, в это время пустующей. Он стоял перед зданием школы и произносил небольшой реваншистский монолог, который ему казался диалогом со всем школьным начальством, а может быть, и с самой судьбой.

— Посмотрим, — говорил он, глядя в разинутые окна пустой школы, — что вы скажете, когда следующего придем... Живы будем, посмотрим...

— А-а, вот он, — добавлял он, увидев меня, — скажи, как называется французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление в первую мировую войну.

— Верден! — говорил я и добавлял: — Дядя, пойдём, бабушка ждет!

— Верден! — повторял дядя и бросал грозный взгляд на школу. — А теперь что скажете?

— Бабушка ждет, — повторял я и тянул его за руку.

— А как называется вторая французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление? — спрашивал он у меня.

— Дуомон! — говорил я, потому что читал книгу под названием «Рассказы о мировой войне» и мог ее в то время пересказать довольно близко к тексту.

— Дуомон! — повторял дядюшка и пальцем грозил школе, как бы обещая повернуть против нее все пушки Вердена и Дуомона.

Его легкая фигура, его удлиненное лицо с артистической копной редких волос почему-то напоминали, особенно сейчас, облик Суворова.

Иногда, прежде чем уйти домой, он заставлял меня ответить еще на несколько вопросов или прочесть стихи Пушкина, или басни Крылова. Среди вопросов, на которые я давал четкие ответы, почему-то чаще всего повторялись два: «На какой остров сослали Наполеона?» и «Какой главный город в Абиссинии?»

Обычно после этого он успокаивался и мы шли домой. Иногда он слегка на меня опирался, и я чувствовал высушенную алкоголем легкую тяжесть его тела. Если я успевал перехватить его еще до того, как он вышел к школе, я его протаскивал мимо нее, не останавливаясь, и он только успевал ей бросить через плечо:

— Посмотрим!

Реваншистские надежды моего дядюшки основывались на двух фактах: во-первых, я уже довольно свободно читал, а во-вторых, я однажды ответил на задачу, которую задавал ребятам нашего двора шапошник Самуил, в то время проявлявший неукротимое стремление к самообразованию и просветительским парадоксам.

Однажды, собрав ребят нашего двора, тех, что были постарше, он задал им один из своих вопросов-ловушек:

— А теперь, ребята, повесьте уши на гвоздь внимания. Сколько будет, если от тысячи отнять девятьсот девяносто девять?

Воцарилась тишина, терпеливо ждущая явление нового Архимеда. Нас, самых маленьких, никто не принимал всерьез, и тем сладостней я, во всяком случае, старался найти ответ на его хитроумный вопрос.

Помню, по самому его голосу было ясно, что ответ должен быть самый неожиданный из всех возможных. Я знал, что тысяча — огромная цифра, хотя смутно представлял границу ее огромности. Кроме того, я был уверен, что девятьсот девяносто девять тоже цифра немалая, хотя, конечно, значительно уступающая тысяче.

Я представил себе обе цифры в виде войска. Я представил, что на несметное войско в тысячу человек напало другое войско числом в девятьсот девяносто девять человек, и хотя нападающих было несколько меньше, но они оказались более храбрыми. Кстати, поэтому-то они и напали.

Так чем же закончилась эта битва? Что осталось от войска в тысячу человек? Конечно, нападающие разгромили несметное войско, но не так, чтобы ничего не оставалось, а так, чтобы остался самый предел, когда меньше уже просто невозможно. Какой же это предел?

— Один, — проговорил я под напором ясновидящей силы вдохновения, глядя на последнего воина из несметной тысячи, с поникшей головой стоящего на поле боя.

Удивленные головы всех ребят повернулись в мою сторону.

— Правильно, — подтвердил мою догадку дядя Самуил и неожиданно добавил, — ленинская голова...

Это был высший взлет моих математических способностей, но об этом тогда никто, разумеется, не мог догадаться.

Кстати, дядя Самуил был владельцем нескольких томов Большой Советской Энциклопедии, которую он читал почти каждый день, приходя с работы. Судя по характеру его чтения, читал он обычно, сидя на деревянных ступеньках своего крыльца, знания сами по себе, независимо от области их применения, давали ему ощущение удовольствия. По-видимому, научные факты радовали его, как некая могучая воспитывающая сила. Так, однажды он сооб-

щил, листая энциклопедию, что, оказывается, Токио — самый большой город в мире.

Он об этом сказал с восхищением, и, конечно, нельзя было не восхититься тем, что Токио — самый большой город в мире. И хотя было ясно, что японский империализм ничем не заслужил иметь самый большой город в мире, по-видимому, японский пролетариат рано или поздно должен был догадаться, что нельзя оставлять в его руках этот рекордный по численности населения город, то есть совершить революцию. По-видимому, и дядя Самуил, и мы именно так понимали воспитательный смысл размеров Токио, иначе как мы могли этому радоваться? Это все равно, что было бы радоваться большому количеству вражеских пушек или танков.

Между прочим, у дяди Самада время от времени происходили споры с дядей Самуилом. Споры эти всегда начинал мой дядя, но удивительно было, с каким терпением и охотой вступал в них дядя Самуил и как твердо, ни разу не дрогнув, он отстаивал свои позиции.

Накал спора обычно зависел от силы похмельного раздражения моего дядюшки. Так и вижу его, как он входит, пошатываясь, во двор, потом подымается по лестнице и где-то на первой лестничной площадке начинает, даже если Самуила не видно на крыльце:

— Нехорошо, Самуил, отрекаться от нации, — начинал дядюшка с горестных интонаций, постепенно переходя на гневное раздражение, — лучше быть падшей женщиной, чем отрекаться от нации!

Если дяди Самуила не было дома, дядя проходил к себе в комнату, бросив еще одну-две фразы в таком же духе. Но если дядя Самуил был дома, то не успевал мой дядя дойти до верхней лестничной площадки, как тот появлялся в дверях своей квартиры и, отбросив марлеву ю занавеску от дверей, принимал бой.

— А я и не отрекаюсь, — спокойно отвечал он ему, — я родился караимом и караимом буду до смерти.

— Нет, дорогой мой, — отвечал дядя с брезгливой горечью, — ты отрекаешься от своей нации, потому что караимы — это крымские евреи, так называемые крымчаки...

— Неправда, — настаивал на своем дядя Самуил, — мы караимы — потомки древних хазар. Так сказано в Большой Советской Энциклопедии.

О том, что это сказано в Большой Советской Энциклопедии, он говорил с таким видом, как если бы, будь то же самое сказано в Малой Советской Энциклопедии, еще кое-как можно было подвергнуть сомнению, но если уж об этом говорится в Большой, то тут уж никто не должен сомневаться.

— Глупая голова! — продолжал дядя, останавливаясь на лестнице и стараясь приноравливать свою речь к таин-

ственному ритму оьянения, — караимы — это остатки вавилонского пленения древних евреев.

— Во-первых, не остатки, а потомки, — спокойно отвечал дядя Самуил, — а во-вторых, не евреев, а хазаров...

— Ну, подумаешь, Самуил, признай, — иногда выглядывая из окна или стирая во дворе, вмешивалась в спор его жена, одесская еврейка. Но он и тут ни на шаг не сдавал своих позиций.

— У нас с вами ничего общего, — твердо отвечал он ей и как бы для полноты правдивой картины добавлял: — кроме некоторых религиозных обрядов...

Он это добавлял с некоторым оттенком раздражения в голосе, по-видимому, имея в виду, что эта ничтожная общность обрядов будет еще долгое время смущать головы недалеких людей.

— Тогда зачем ты на меня женился, Самуил? — спрашивала жена его с выражением какой-то дурацкой тревожности в голосе.

— По глупой молодости, — отвечал дядя Самуил, стараясь отстранить ее от спора.

Интересно, что иногда, когда он начинал ссылаться на Большую Советскую Энциклопедию, спор принимал совершенно неожиданный для меня оборот.

— Энциклопедия, — иронически повторял дядюшка, — а что Ленин про нэп говорил, в энциклопедии не сказано?

— Новая экономическая политика, — твердо разъяснял дядя Самуил, но и после его разъяснения эти слова оставались непонятными. А то, что случалось после его слов, не только не вносило никакой ясности, но окончательно запутывало все.

Дело в том, что как только раздавался голос дядюшки, вступившего в спор с Самуилом, бабушка в сопровождении моего сумасшедшего дяди Коли появлялась на лестничной площадке. Вид дяди Коли говорил, с одной стороны, о желании мирно уладить спор, а с другой стороны — о готовности в случае необходимости прервать его силой. Все-таки сам он склонялся мирно уладить этот спор, разумеется, не имея даже самого отдаленного представления о его содержании. С этой целью он, обращаясь к дяде, говорил, дескать, выпил, дескать, расшумелся, ну и хватит, надо дать людям отдохнуть. Бабушка тоже увещевала дядю; стыдила его и всячески уговаривала его войти в дом. Но он ни на дядю Колю, ни на бабушку ни малейшего внимания не обращал, не удостоивал их даже взгляда, а только иногда отмахивался.

Но как только он заворачивал в сторону нэпа, бабушка мгновенно преображалась и приказывала ему тут же замолчать, разумеется, он от этого не только не умолкал, а как бы еще больше взвизывался.

Тут бабушка прикрикивала на дядю Колю в том смысле, что он не для того сюда приведен, чтобы слушать спор, а для того, чтобы принимать энергичные мужские меры.

Но дядя Коля в таких случаях никогда не мог сразу преобразиться решительным образом, ведь он не понимал, что дядя перешел на нэп, он думал, что идет все еще обыкновенная пьяная болтовня. Но тут, видя, что бабушка требует от него решительных мер, а поведение дяди внешне никак не изменилось, он приходил в большое волнение и уже нарочно раздражал себя, чтобы перейти к решительным мерам. И тут любое действие дяди Самада воспринималось им с каким-то наигранным преувеличением. Так, например, обыкновенную отмашку рукой, мол, отстаньте, он выдавал за попытку дяди ударить бабушку или его и тут же, возбудив себя, легко переходил к карательным мерам. Он его обхватывал руками, подымал и уносил в его комнату.

— Всерьез и надолго, надолго! вот что сказал Ленин! — кричал бедный дядя, барахтаясь в могучих объятиях дяди Коли.

Как только наверху подымался этот в известной мере междоусобный шум, снизу раздавались в виде какого-то физиологического отклика сочувственные голоса. Это одновременно начинали галдеть жена дяди Самуила и Алихан, если он бывал свидетелем спора.

— Потомок хазар! — кричала на дядю Самуила его жена, — знаем мы вас, керченских хазаров!

А дядя Алихан, в это время сидевший на своем стульчике у порога, выбалтывал какую-то совершенно несусветную чушь:

— Кафе-кондитерски мешайт?! — спрашивал он, размахивая руками и приходя во все большее и большее возбуждение и, как мне кажется, стараясь свой монолог произнести под прикрытием шума, идущего сверху. — Алихан — ататюрк?! Гиде Алихан — гиде ататюрк?! Гюзнак мешайт?! Шербет мешайт?! Сирут на голова — не мешайт?!!

Среди этого шума дядя Самуил стоял спокойно со вздувшейся, как плащ полководца, марлевой занавеской за спиной и всем своим видом говорил: как ни шумите, как ни кричите, а я буду до конца отстаивать свое право считать себя караимом. Право, подтвержденное всеми красными томами Большой Советской Энциклопедии.

Интересно, что за этим скандалом из окон трехэтажного дома сумрачно следили старейшины огромного клана грузинских евреев, живших в соседнем дворе.

Эти старцы, чьи мощные бороды не могли скрыть нежного пастушеского румянца их лиц, были вывезены в наш город из центральной Грузии их более предприимчивыми потомками.

Гривастые и кудлатобородые, они следили за этим скандалом с выражением сумрачной обиды на лице, хотя понимали по-русски чуть больше, чем жители древнего Вавилона. И все-таки я уверен, что они интуитивно чувствовали суть спора и, грустно следя за дядей Самадом, уносимым моим сумасшедшим дядюшкой, горько обижались на дядю Самуила.

Слегка шевельнувшись в окне, они обменивались между собой несколькими фразами и снова замирали, надолго сохранив на лице выражение стойкой обиды.

...Но мы отклонились от нашего повествования. Так или иначе, именно дядя Самуил во время одного из своих просветительских опытов выявил мою якобы математическую смекалку, а читать я научился сам. Ко времени, о котором я рассказываю, я уже прочел с дюжину книг, начав сразу с «Гадкого утенка» и «Рассказов о мировой войне». Это была самая толстая и самая интересная из прочитанных мною книг.

Именно по этим причинам я был выделен в нашем вечно взбудораженном, но, в сущности, неопасном семейном рое, как пчелка, готовая приносить в дом чернильный мед школьных премудростей.

И вот в начале учебного года, помешкав примерно дней двадцать, меня бросили в бой. То, что за это взялись с некоторым опозданием, могло быть следствием слабых, впрочем, никем и не обещанных надежд, что в новом учебном году брат мой наконец возьмется за учебу.

В тот прекрасный сентябрьский день мы с мамой бодро направились в школу. Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице на обширную веранду с каменными колоннами и скамьями вдоль стены. Дверь из веранды вела в канцелярию, а из канцелярии — в кабинет директора. Одно из окон директорского кабинета выходило на веранду, так что директор во время перемены мог следить за учителями, гулявшими по веранде. Из своего окна он также мог видеть весь школьный двор и часть улицы, прилегающей к школе.

Именно из окна своего кабинета он однажды заметил маму, идущую на базар, и не поленился выскочить из кабинета, остановить ее и подойти к воротам школы. Узнав, что она идет на базар за продуктами, он выразил крайнее удивление, что она покупает какие-то там продукты, хотя в ее положении было бы гораздо проще купить пару хороших кирпичей и крепкую веревку. Когда мама спросила его, почему она должна покупать вместо продуктов пару кирпичей и веревку, он ей прямо сказал:

— Привяжись вместе с сыном и прыгай с конца причала!

При этом, по словам мамы, он заклокотал горлом, довольно натурально изобразив тот надежный булькающий

звук, который послужит залогом нормальной педагогической работы в школе.

Об этом случае мама, когда у нее бывало хорошее настроение, много раз рассказывала дома. Особенно смешно было то, что, по ее словам, он после этой встречи много раз видел ее, стоя на веранде, а то и прямо из окна своего директорского кабинета, но уже больше не спускался к ней, хотя знаками давал ей знать, что предложение приобрести веревку и два кирпича все еще остается в силе.

И уже совсем смешным нам, детям, казалось то, что она, рассказывая об этом, пыталась восстановить его ужасный мингрельский акцент, с которым он говорил по-русски. А так как мама сама говорила по-русски с ужасным абхазским акцентом, над которым мы довольно часто потешались, и теперь, рассказывая о смешном выговоре директора, исходила из своего выговора, как правильного, тем самым вдвойне искажая достаточно искаженный язык директора, все это получалось довольно весело. Дополнительную порцию юмора мы получали уже в процессе смеха, кивая на брата, который смеялся вместе с нами над всей этой историей, как бы забыв, а может, и в самом деле забыв за путаницей обстоятельств, что он сам и есть первопричина всего этого.

Вся эта история имела еще одну забавную грань, о которой я тогда не подозревал. Дело в том, что, оказываясь, ко всем своим странностям директор школы еще и преподавал русский язык, о чем я узнал где-то в пятом или шестом классе, когда он появился у нас, и, стараясь вдолбить нам правила русской грамматики, года два писал их на доске в зарифмованном виде.

Но тогда я обо всем этом не знал, хотя, конечно, видел директора и знал, что у него смешная внешность и смешное имя Акакий Македонович. Конечно, мне имя могло казаться смешным, потому что я уже воспринимал его как смешного человека, хотя бы из-за маминого рассказа. Но он и в самом деле был смешной человек, и внешность у него была смешная. Он был высокого роста, имел мягкие покатые плечи, а главное, на его бледном лбу лежал совершенно детский, ну прямо как у меня, оваловидный чубчик. Когда я его впервые увидел с этим чубчиком, я был как громом поражен. Это было все равно, что увидеть взрослого человека в коротких штанишках. И потом уже, когда я поступил в школу, я думал, что он долго не продержится со своим чубчиком, что рано или поздно его вызовут в гороно и заставят зачесать куда-нибудь волосы—или вбок, или наверх—как носили взрослые в те времена, а так, с детским чубчиком, не позволяют.

А вот оказалось, что позволили. Он так и ходил с этим чубчиком, и никто ему ничего не говорил, а только чубчик

сам редел и редел, и в конце концов вывелся, и вопрос сам по себе отпал, если, конечно, он вообще возникал где-нибудь в недрах гороно. Донеси он его до нашего времени, когда взрослые, как древние римляне, начали снова носить эти оваловидные чубчики, можно было бы подумать, что он все предвидел, но чубчик его постепенно вывелся сам между двумя эпохами, так что только в нашей памяти он все еще ходит с этим чубчиком стареющего дитяти.

Но оставим в покое чубчик директора. Я думаю, что он был человеком странным помимо своей детской прически. Помнится, уже потом, во время моей учебы, у него долго болела жена, а потом умерла. Когда педагоги стали обращаться к нему с выражением соболезнования, он им нравоучительно отвечал: «Гнилой зуб лучше всего вырвать...»

Так что выражающие сострадание несколько смущались, не вполне понимая смысл его образа. На самом деле он очень любил свою жену и хотел сказать, что, мол, бедняжка отстрадалась, но уж такой он был недотепистый. Впрочем, возможно, он находил утешение, стараясь усмотреть в смерти жены нечто разумное, рациональное, раз уж она не могла выздороветь.

И вот к этому-то директору мы с мамой и пришли. Мы вошли в канцелярию, но дальше нас не пустили. Маленький человек, весь красный, с красными глазами, с выражением лица, какое бывает у измотанных драками, но, однако, всегда готовых к новым дракам петухов, отеснил нас от директорской двери и постепенно вывел на веранду. Это был завуч.

— Одного не хватит? — говорил он маме, глядя на нее красными глазами измотанного, но готового драться петуха, — второго привела?!

— Нет, этот совсем не такой, — отвечала мама, горестно усмехаясь с таким видом, словно завуч не может не знать о моих успехах, но пользуется поводом, чтобы придраться. — Владимир Варламович тоже обещал позвонить.

— Ничего не знаю, — отвечал завуч и, показывая на скамью, добавил: — Там посидите. Надо будет — вызовем... Одного еле держим, уже другого привела, и тем более в середине года.

— Да, но Владимир Варламович...

— Ох! — вдруг вскрикнул он, словно наступил на колючку голый ногой. Он заметил в метрике мой недостаточный возраст. Этого мы больше всего боялись.

— Это что? Это матрикул? — повторял завуч, возмущенно тыча пальцем в мою метрику.

— Владимир Варламович все знает, он должен директору позвонить, — утешала его мать, но завуч все никак не мог успокоиться.

— Ничего не знаю, — наконец сказал он и быстро покинул веранду.

Мы с мамой уселись на скамью и стали ждать. В самом деле Владимир Варламович, работник горно, бывший житель нашего двора, обещал маме позвонить в школу, что считалось достаточным для моего поступления.

Владимир Варламович, а для меня дядя Володя, занимал квартиру рядом с нашей. По-видимому, от бездетности он и жена его меня баловали, и я часто бывал у них дома. Мне нравилась его внушительная атлетическая фигура, а также, когда он, разговаривая со взрослыми, переходил на могучее оперное похохатывание, означавшее смехотворность того или иного утверждения собеседника. Я тогда не знал, что это оперное похохатывание, и думал, что он его сам изобрел.

Так мы жили достаточно дружески и мирно, пока незадолго до их переезда на новую квартиру не случилось событие, заставившее меня сторониться наших соседей.

Однажды на улице я услышал затейливую песенку, зарифмовывающую начало таблицы умножения:

Одиножды один — приехал господин.

Одиножды два — пришла его жена.

Одиножды три — в комнату вошли.

И так дальше. Картина супружеской жизни, совершенно лишенная какого-либо чувственного содержания, двигалась согласно цифровому нарастанию к своему суровому, бессловесному завершению и на счете, кажется, десять должна была завершиться отъездом этого таинственного господина.

Придя домой, я несколько раз в ритме марша и, даже маршируя, пропел эту песенку, ничего не испытывая, кроме абстрактного восторга конструктивными возможностями человечества. Хотя восторг мой был именно конструктивным и я не испытывал ни малейшего удовольствия от этой картины, все-таки я, безусловно, понимал, что взрослые не так ее воспримут, что при них ее никак нельзя исполнять.

Именно поэтому, убедившись, что дома никого нет, я ходил по комнатам и громко повторял эти стихи, как бы убеждаясь в прочности всего сооружения.

К несчастью, увлекшись конструктивными возможностями человечества, я забыл, что наша квартира представляет из себя половину бывшей четырехкомнатной квартиры, теперь разделенной забитыми, но все еще хорошо пропускающими звук дверьми. Много раз повторяя стихи и маршируя под их ритм, я полностью исчерпал к ним любопытство, так и не заподозрив, что за дверьми педагогическая пара слушает меня и корчится от смеха. Несколько дней после этого случая, встречаясь с супру-

жеской парой, я чувствовал, что они владеют какой-то моей тайной, что эта тайна унизительна и постыдна и что он, дядя Володя, порывается мне рассказать о том, что он знает, а жена его останавливает.

Все это сопровождалось подмигиванием, поощрительными кивками и густым оперным похохатыванием. И все это мне страшно не нравилось, я как-то чувствовал, что все это грозит каким-то разоблачением, а каким — я не знал. Интересно, что, перебирая в уме все возможности постыдного разоблачения, я целиком выпустил из виду эти стишки. Конструктивный восторг, не поддержанный живостью поэзии, очень быстро себя исчерпал. На десять оборотов арифметического ключа супружеская пара отвечала десятью механическими движениями. Это было как заводная игрушка, а стадию интереса к заводным игрушкам я все-таки к тому времени прошел. Именно поэтому я совершенно забыл, что они могли подслушать мою песню, когда я ее громко пел, маршируя по комнатам.

И все-таки дядя Володя ухитрился однажды, выбрав удобное мгновение, наклониться ко мне и спросить:

— Что же «одиножды четыре»? Все помню, только это... ха, ха, ха, забыл!

Я вздрогнул от его могучего хохота и отпрянул. Волна стыда плеснула в лицо, как горячий воздух из внезапно распахнутой печки. Я прошел мимо него в ужасе. Я сразу вспомнил, что пел эту песенку у нас в квартире и пел ее очень громко. В то же время какое-то инстинктивное чувство самосохранения выдавило на моем лице (я это чувствовал) выражение идиотской невинности.

С тех пор каждый раз, когда он начинал намекать или шутить по этому поводу, а намекал он почти при каждой встрече до самого своего отъезда, мое лицо само принимало (уже одобренное сознанием) выражение идиотской невинности. Это выражение нужно было расшифровать так: может быть, я что-нибудь такое и пел, хотя сейчас и не помню, но я и тогда не знал и сейчас не знаю, что это означало.

Между тем я прекрасно все понимал, то есть испытывал невероятной силы стыд от того, что он слышал эту песню. Ужас охватывал меня, когда я вспоминал свою идиотскую громогласность и мысленно представлял, как за тонкой перегородкой забитой (и, к сожалению, забытой) двери супруги корчатся от смеха. Мне даже вспомнилось, что я вроде бы слышал тогда в соседней квартире какие-то подозрительные шорохи, но не придавал им значения.

Сложность моего теперешнего положения состояла в том, что, с одной стороны, мне хотелось крикнуть ему: — Ну сколько можно намекать и портить человеку настроение, отстаньте от меня! А с другой стороны, я никак не

мог показать, что меня все это очень волнует, ведь я, выдавив на своем лице выражение идиотской невинности, дал знать, что ни за что не отвечаю и ничего не понимаю по причине своей тупости, по крайней мере, в этом вопросе.

Я стал задумываться над таинственной природой стыда.

Почему мое пение само по себе не внушало мне никакого стыда, а когда я узнал, что его слышали взрослые соседи, оно стало внушать стыд, хотя в нем ничего не изменилось. Почему?..

По-видимому, имелось в виду, что дети не должны знать об этом, а я своим пением нарушил это неписаное правило? Но я-то знал, что все дети в нашем окружении знают об этом, и взрослые не могли не знать, что, по крайней мере, некоторые дети знают об этом. Значит, правило состояло не в том, чтобы дети не знали об этом, а в том, чтобы опрятно делали вид, что этого не знают. В самом деле, до этого я довольно аккуратно делал вид, что этого не знаю, а тут как бы проговорился. Я вдруг поразился, как это я до сих пор удерживался и не выдавал себя.

Я еще не знал, что жизнь полна негласных правил, к которым человек легко привыкает. Я еще не знал, что миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, потому что это так принято. Но удивительно даже не то, что тысячи и миллионы взрослых людей, выполняя условия той или иной принятой игры, делают одни и те же глупости, удивительно то, что они, делая эти заведомые глупости, практически почти не спотыкаются, не проговариваются, хотя естественное чувство должно было заставить, хотя бы какое-то достаточно заметное количество людей, зазеваться и выйти за рамки принятой глупости.

А между тем наш жизнерадостный инспектор гороно не давал мне прохода. Чуть он встречал меня без жены, как сразу же спрашивал одно и то же:

— Так как же «единожды четыре»?

— Забыл, — говорил я, если был приперт к стене нашего коридора или был пойман у выхода из уборной, или убежал, если была возможность, не забыв, выдавить на лице выражение идиотской невинности.

Кстати, в те годы, уже начиная принимать некоторые условия взрослых игр, я еще не понимал, что внутри этих условий могут быть те или иные исключения. Так однажды, будучи с тетушкой в кино на вечернем сеансе, я вдруг увидел на экране целующихся мужчину и женщину. Никакого сомнения в том, что это любовный, а не родственный поцелуй, у меня не возникало.

— Поцеловались! Поцеловались! — заорал я на весь зал, обращая внимание зала на грубое нарушение условий игры, по которому любовный поцелуй должен быть скрыт.

от свидетелей. В ответ на мои возгласы зал разразился, как мне показалось, правильным хохотом в адрес нарушителей, но потом, увь, выяснилось, что люди смеялись надо мной.

Оказывается, хоть и существует правило, по которому любовный поцелуй должен проходить без свидетелей, но это правило делает исключение для произведений искусств. Я тогда этого не знал, как не знал и того, что в некоторых странах, например во Франции, это правило почти отменено и никто не прерывает поцелуя, даже если вдруг появляется свидетель.

А между тем дядя Володя, которого я теперь всеми возможными способами избегал, все-таки ухитрился как-то ловить меня один на один, чтобы в конце концов допытаться, какая картинка соответствует счету «единожды четыре».

И вот в день отъезда на новую квартиру, когда все его вещи были погружены на грузовик и жители нашего двора, прощаясь, подходили и целовались с инспектором и его женой, а я стоял, тайно ликуя, что он наконец уезжает и никто больше не будет меня допекать, и в то же время, суеверно боясь, что обязательно что-нибудь случится, если я выдам чем-нибудь свою радость, я старался делать вид, что и меня печалит их отъезд.

Когда подошла моя очередь прощаться с ним, я бросился в его объятия с немалой силой искренности и он, наклонившись, чтобы поцеловать меня, и в самом деле поцеловав в щеку, шепнул:

— В последний раз умоляю: «единожды четыре»?

— «Свет потушили», — ответил я, тронутый не столько его упорством, сколько его отъездом.

— Точно! Хал Хал Хал — пропел он, поднимаясь в кузов и прощаясь, потряс всем рукой, каким-то образом показывая этой трясущейся рукой, что он не просто переезжает на другую квартиру, а подымается вверх по жизни.

* * *

Завуч ушел с моей метрикой, а мы с мамой остались ждать на веранде. Прошло, как мне показалось, немало времени, как вдруг завуч выскочил на веранду и криками стал прогонять продавщиц семечек, которые уселись перед школой на каменных перилах мосточка. Старушечки со своими мешочками неохотно встали и ушли, но по их походке было видно, что они далеко уходить не собираются. В самом деле, через некоторое время, когда прозвенел звонок на перемену, они снова пришли и стали продавать семечки ученикам.

Когда завуч, прогнав старушек, повернулся, чтобы войти в канцелярию, мама, привстав, обратила его внимание на себя.

— Не звонил, — сказал он бегло, не давая себя острановить, но, поравнявшись с дверью, внезапно остановился сам и повернул к нам лицо, на котором промелькнуло объяснение его внезапной остановки: одно дело, когда ты меня останавливаешь, и совсем другое дело, когда я сам по своей воле останавливаюсь.

— Откуда знаешь Владимира Варламовича? — внезапно спросил он.

— Как откуда? — горестно усмехнулась мать, — шесть лет прожили рядом, как родственники... На его глазах вырос мой мальчик...

Это прозвучало как намек, что на глазах дяди Володи плохой мальчик не мог вырасти.

— Не знаю... Пока не звонил... Середина года, — сказал маленький завуч, мельком взглянув на меня с некоторым брезгливым недоверием к моим наследственным качествам.

Бормоча насчет середины года и того, что один уже учится, он вошел в канцелярию. Прозвенел звонок. Учителя стали входить в канцелярию и выходить оттуда. Некоторые из них прогуливались по веранде. Иногда я слышал обрывки их разговоров и удивлялся, что они совсем обычные, особенно у женщин. Учительницы говорили то же самое, что и женщины нашего двора: базар, стирка, дети.

Некоторые молодые учителя и учительницы стояли возле колонн, облокотившись на балюстраду веранды с таким видом, как будто их собираются фотографировать.

Я раскрыл книгу, которую принес с собой. Это был какой-то хрестоматийный учебник для второго или третьего класса с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал громко читать эти отрывки исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения.

Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь на полуоткрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумной делегацией входят к директору, и меня определяют в первый класс.

Надо сказать честно, что мы с матерью не обсуждали этого замысла. Он возник стихийно. Книгу я взял для того, чтобы в случае необходимости показать, как я хорошо читаю. Я думал, будет все просто. Я думал, директор спросит:

— А что он умеет?

И тут я небрежно раскрою книгу на любой странице и начну читать.

— А, молодец, — думал я, скажет он, — посадим его в первый класс...

Но после того как нас не пустили к директору и наступили довольно нудные минуты ожидания, я от скуки рас-

крыл ее и стал перечитывать знакомые тексты. А когда прозвенел звонок и на веранде появилось много молодых и доброжелательных, как мне показалось, учителей, я решил — дай я им почитаю вслух — не может быть, чтобы они не заметили, как я хорошо читаю. Вот я и начал читать вслух, краем глаза заметив, что мама меня одобряет.

Я это заметил по усилившемуся выражению горестности на ее лице. Это выражение у нее появлялось, когда она говорила про отца или входила в какое-нибудь официальное учреждение, ну, там справку какую-нибудь получить, что-то заверить или что-то подписать.

Сейчас усилившееся выражение горестности должно было служить траурным фоном блеску моего чтения. Выражение это не было в прямом смысле лицемерным, но это было, как я теперь понимаю, входением в привычную колею, рефлекторным сжатием лицевых мускулов, оставляющих на лице гладкую пустыню безнадежности, невольным дорисовыванием пейзажа этой пустыни.

* * *

Вообще, такого рода доигрывание свойственно людям. Помню, однажды я оказался свидетелем, а потом и участником одной сцены. Сначала я за этой сценой наблюдал с острой смесью любопытства к чужой жизни и готовности в любой миг бежать от опасных неожиданностей, заключенных в ней, подобно заблудшей собачонке, которая вдруг с интересом останавливается и смотрит, смотрит, ни на мгновение не забывая, что в этих чужих местах опасность надо ожидать в любой миг и с любой стороны.

Вместе со многими ребятами моего возраста, женщинами и мужчинами я наблюдал, стоя на одной стороне тротуара, за пьяным дебоширом, который на другой стороне тротуара бушевал возле своего дома. И вот мы стоим на достаточно безопасном расстоянии и следим за ним.

У нас, у свидетелей этой сцены, какая-то двойственная роль, и я это смутно чувствую. С одной стороны, мы его безусловно осуждаем, что ясно из отдельных слов и восклицаний, которые издают женщины. С другой стороны, наша реальная сила — мужчины — в основном враждебно молчат, по-видимому, интуитивно чувствуя, что как только они начнут высказывать осуждающие слова, от них немедленно и вполне справедливо потребуют действий, а действовать, то есть связываться с пьяным, они не хотели.

Пьяный время от времени мощным ударом ноги проламывал забор своего дома, ругал своих домочадцев всеми испотребными словами, отчасти эти испотребные слова обрушивались на редких прохожих и на нас, глазеющую толпу.

Время от времени он прерывал поток ругани, чтобы достать из внутреннего кармана пиджака поллитровку хлебной водки, сделать из нее несколько глотков, вертикально вверх подняв бутылку над головой, с какой-то уважительной трезвостью заткнуть ее пробкой, вложить в карман и снова — эх! — с бешеной силой, словно влив в усталый мотор горючее, пачать выламывать ударами ноги штaketник своего забора, захлебываясь всеми вариантами русского мата.

Двойственность нашей роли заключалась в том, что мы, с одной стороны, как я говорил, осуждали его, с другой стороны, служили достаточно внимательными зрителями его выкрутасов и в этом качестве мы безусловно подхлестывали его, как бы говоря: — А ну, давай! А ну, еще что-нибудь разедакое, а то это ты уже показывал...

Вот что мы ему говорили своими присосавшимися взглядами, а главное, каким-то терпеливым ожиданием, что самое интересное, самое неслыханное еще предстоит.

В конце концов, видимо, ему это надоело, и он, схватив камень, свирепо замахнулся на нас, и тут вся толпа ахнула, и некоторые, в том числе и я, отбежали на еще большее расстояние. Женские крики, раздававшиеся при этом, можно было понять так, что вот, наконец, он сделал то ужасное, что все мы от него ожидали, что это ужасное будет повернуто против нас.

Некоторые мужчины, наиболее стойкие, остались на месте, и по комической неестественности позы каждого из них было ясно, что они замерли в тех позах, в каких застал их пьяный, замахнувшийся на них камнем. Вернее, в тех позах, в каких они решили дальше не отпрядывать, осознав это свое решение уже во время замаха.

Они как бы говорили своими позами: вот мы остались стоять так, как стяли, мы ничего не делаем, чтобы укрыться от камня, а также ничего не делаем, чтобы этот камень в нас попал. Как видишь, у нас все честно. Но если уж теперь камень, брошенный тобой, попадет в кого-нибудь из нас, тогда не серчай, тогда мы с тобой расправимся.

Но оказалось, что замах этот был ложным. Замахнувшись, он остановил руку за спиной, несколько секунд любуясь всеобщим переполохом, то есть нами, отбежавшими, а также мужчинами, которые своими замершими позами выражали крайнюю степень истерпанности своего миролюбия.

И тут уж, увидев все это, он никак не мог удержаться, чтобы не кинуть свой камень. Снова раздались женские визги, камень упал возле меня, тяжело отщелкнулся от булыжной мостовой и ударил меня в голову.

Он ударил меня по голове, по-видимому, только-только возвращаясь с высшей точки своего отскока, то есть

успев потерять алкогольную ярость метателя и не успев набрать безответную ярость притяжения земли. Во всяком случае, несмотря на то, что это был камень величиной с хороший бильярдный шар, он ударил меня по голове не очень больно. Во всяком случае, я с удивлением обнаружил, что мне не очень больно, и тут же услышал страшный крик женщин и понял, что для них, посторонних наблюдателей, огромный булыжник, брошенный пьяным, которого они так дружно осуждали, именно ожидая от него чего-нибудь преступного, наконец, совершил свое преступление, и мне теперь почему-то необходимо удовлетворить их драматические ожидания. В какую-то долю секунды все это повернулось в моей слегка сотрясенной тяжестью булыжника голове и я упал.

Мало того, что я упал, хотя совершенно никакой физической необходимости падать у меня не было, я упал с некоторой замедленностью, отчасти имитируя потерю сознания, а главное, подчиняясь чувству необходимости придать всей этой сцене некую ритмическую законченность, хотя никто меня об этом не просил.

— Убили мальчика! — услышал я возгласы женщин и опять же, подчиняясь чувству правдоподобия всей сцены, вернее, принятым представлениям (конечно, через кино) о правдоподобии, слегка поднял голову, что должно было означать похвальность предсмертного поведения, то есть не пренебрег последней попыткой вернуться к жизни.

Подняв голову, я успел увидеть все тех же стойких мужчин, так и не изменивших свою мужественную позу, но в то же время искоса поглядывающих в мою сторону, опять же не решаясь вступить за меня, поскольку камень все-таки упал достаточно далеко от них и от первоначального расположения всей группы.

А ведь позы их с самого начала выражали одну достаточно ясную мысль: вот только попади в нас, и тогда мы тебе покажем. А теперь получалось, что вроде бы он и переступил границы дозволенного, но, если быть до конца честным, он ведь и направил свой камень не в их сторону, а в мою, это явно. (На самом деле так оно и было. Я отбежал дальше всех и от этого стоял как бы в стороне, что, может быть, было замечено им и использовано.) Вот если бы, продолжали стойкие мужчины говорить своими косыми взглядами, он, направив камень в их сторону, просто случайно не попал, ну там, скажем, камень сорвался бы с его руки, тогда можно было бы усмотреть в его действиях попытку выступить против них, а сейчас вроде бы трудно было увидеть в его действиях попытку изувечить именно кого-нибудь из них.

Их взоры, осторожно направленные на меня, выражали позднее сожаление по поводу того, что они с самого

начала не обозначили более широкую площадь запретной зоны для его хулиганских выкрутасов, одновременно эти осторожные взоры одобряли мою попытку поднять голову, подразумевая, что я в дальнейшем, окончательно поднявшись, сведу на нет это неприятное происшествие, и уж тогда они обязательно найдут способ защиты всеобщей, включающей даже таких случайных людей, как я, безопасности.

Все это было написано на их дурашливых лицах. И все-таки, даже поняв это все, я уже было собирался снова опустить голову на мостовую, подчиняясь более мощному, более заразительному стремлению женщин увидеть драму законченной, как вдруг я заметил, что пьяный, которому, видимо, окончательно надоели все эти тонкости, схватил увесистую доску сломанного забора и ринулся через улицу.

Я услышал дружный вопль женщин, меня словно подбросило этим воплем, и я дал стрекача. Я бежал до самого дома с той быстротой и легкостью, которая иногда наяву удается детям и очень редко взрослым в самых счастливых снах.

Теперь, вспоминая этот случай, я думаю, что он с некоторой комической точностью повторил положение Европы тех времен, когда все пытались ублажить Гитлера, одновременно разжигая его своим политическим любопытством к его кровавым делишкам.

* * *

Одним словом, мы с мамой сидим на широкой школьной веранде, и я своим громким чтением с молчаливого одобрения мамы, которое я чувствую по усилению выражения горестности на ее лице, пытаюсь привлечь внимание учителей. Но учителя почему-то никакого внимания на нас не обращают.

Прозвенел звонок, учителя разошлись, и мы опять остались одни. Иногда завуч, выбегая из канцелярии, проносился мимо нас, и тогда я начинал громко читать, но он никакого внимания на меня не обращал, даже, как мне кажется, пробегал от этого несколько быстрее.

— Шесть лет рядом, как родственники прожили! — вздохнув, бросала ему вслед моя мама, но и на это он ничего не отвечал, а пробегал вниз куда-то. Иногда, возвращаясь, он, словно думая вслух, проговаривал: — За старшего спасибо не говорит... Еще младшего привела...

Мама не успевала ему ответить, как он снова исчезал в канцелярии. Однажды он возвратился, слегка подгоняя впереди себя двух мальчиков пионерского возраста и приговаривая: — Посмотрим, как там посмеетесь... Посмотрим...

— Эх, Владимир Варламович! — проговорила мама, сокрушенно вздохнув, когда он проходил мимо.

— А почему не позвонил, если такой близкий человек? — не выдержал завуч, на мгновение остановившись возле нас. Но тут оба мальчика почему-то фыркнули, видно, их распирали смех, и завуч, не дождавшись ответа мамы, втолкнул их в канцелярию и закрыл за собой дверь.

Мама не успела ничего сказать и на всякий случай по-абхазски пожелала ему столько язв в организме, сколько правды в том, что Владимир Варламович не позвонил.

Во время этого урока, пользуясь долгим отсутствием завуча, она мне рассказала притчу о возе сена. Суть ее заключалась в том, что, оказывается, мой отец был когда-то управляющим какого-то сказочного сада, и в том году отец этого завуча, державший в городе корову, попросил у моего отца накосить сена для своей коровы. Отец ему дал накосить сена, и тот впоследствии вывез из сада огромный воз сена, так и не заплатив отцу ни копейки. Почему-то считалось само собой разумеющимся, что деньги за воз сена он должен был заплатить не государству, которому принадлежал сад, а отцу. Притча эта, рассказанная сквозь зубы, с одинаковой силой была направлена и против завуча, и против отца. Мать считала, что отец слишком много времени проводит в кофейнях и слишком мало зарабатывает на семью.

Сейчас я думаю, что брат мой, может быть, держался в школе отчасти за счет этого воза сена, но ко времени моего поступления он использовал его до последней травинки, так что на меня ничего не осталось.

За время нашего ожидания мама несколько раз возвращалась к этому возу сена с затейливым пожеланием в духе наших деревенских заклятий, чтобы этот воз сена клоками повылезал у него изо рта, раз он не помнит сделанное ему добро, словно отец завуча не корову кормил этим сеном, а собственного сына.

Надо сказать, что во время выходов завуча на веранду он оглядывался на директорское окно и посылал туда таинственные и даже раздраженные знаки, означавшие, что Эти все еще сидят и он ничего с Этими не может поделать.

Между прочим, именно мама, несмотря на непроходящее выражение горестности на ее лице, первая обратила внимание на юмор, заключенный в оглядках и недоуменных жестах, которые завуч украдкой бросал в окно директорского кабинета. Возможно, именно эти жесты и оглядки укрепили маму в мысли, что нам надо терпеливо ждать, пока ворота сами не откроются.

— Неужели хоть в уборную не захочет, — сказала она, удивляясь упорству, с которым директор отсиживался у себя в кабинете.

Только она это сказала, как директор вдруг выскочил из канцелярии и, слегка отвернув от нас голову, быстро пересек веранду и исчез на лестнице. Я едва успел поднять книгу и пустить ему вслед небольшой абзац хрестоматийного текста.

Не знаю, шел ли он в уборную или по каким-то другим делам, но теперь мы были начеку. Как только голова его высунулась из-за поворота лестницы, я затараторил дальше. Я хоть и читал, но краем глаза все-таки заметил, что он, проходя по веранде, слегка прикрыл ухо, обращенное в нашу сторону.

Внешне это выглядело как желание не то потерять его, не то почесать, но я-то понял, что это попытка отстраниться от моего чтения. Я почему-то не обиделся на эту попытку. Скорее всего потому и не обиделся, что в этой попытке отстраниться от моего чтения было признание его силы. Кроме признания силы моего чтения, в этом желании отстраниться было, по-видимому, и смутное проявление слабых характеристик директора.

Дети при встрече с незнакомыми людьми почти безошибочно определяют общий настрой того или иного человека. Так, увидев завуча, я сразу подумал: «Злой». Увидев свою будущую учительницу Александру Ивановну, я сразу подумал: «Добрая». Увидев директора, я почувствовал, что маме с ним справиться будет гораздо легче, чем с завучем, хотя ему-то никакого воза сена мы сроду не дарили.

Так оно и оказалось. Минуты через три вдруг выскочил завуч и, не говоря ни слова, жестами показал нам, что надо, и при этом как можно быстрее, входить к директору. Он посмотрел на маму с некоторой обидой, может быть, жалуясь на то, что ему всю жизнь приходится отрабатывать этот воз сена, и этим самым давая знать, что именно ему мы обязаны вызовом директора.

Мы прошли сквозь канцелярию и вошли в кабинет директора. Директор сидел за письменным столом и говорил по телефону. Он бросил на нас болезненный взгляд, и я вдруг услышал, что в трубке дребезжит веселый голос дяди Володи.

— Все-таки в середине года, — проговорил Акакий Македонович, глядя на меня и сквозь меня болезненными глазами. А я смотрю на его детскую челку на широком лбу, и мне как-то неловко, что он может догадаться, что я заметил нелепость его прически.

В трубке дребезжит веселый голос дяди Володи. Я чувствую, что если как следует напрячь слух, то можно разобрать слова. Я в самом деле напрягаю слух, и кажется, директор это замечает. Во всяком случае, он почему-то ковшиком левой ладони прикрывает чашечку трубки, откуда дребезжа выщелкивается голос инспектора.

— Да, но брат уже учится, — говорит директор и теперь, окинув меня болезненным взглядом, переводит его дальше, словно рассеянно припоминая еще один неприятный предмет, с которым ему предстоит иметь дело.

Оказывается, в углу директорского кабинета стоят те два мальчика, которых привел завуч. Стоя в углу кабинета, два румяных пионера медленно приподымали свои опущенные головы и, взглянув друг на друга, начинали корчиться от неудержимых приступов смеха. Иногда струйки этого смеха выбрызгивали в кабинет, как вода из колонки, когда сильный напор ее удерживаешь прижатой к отверстию крана ладонью.

Директор в такие мгновенья качал головой, дескать, смейтесь, посмотрим, кто будет смеяться последним. Одновременно с этим покачиванием головой он еще плотнее прикрыл ковшиком ладони отверстие трубки, откуда доносился голос инспектора, словно боялся, что брызги смеха и в самом деле долетят до инспектора.

Сконфуженные покачиванием директорской головы, пионеры смолкали и опускали головы, но я видел, как их щеки постепенно наливаются кровью, созревая для очередного взрыва смеха.

В трубке весело дребезжит голос дяди Володи. И чем веселее дребезжит голос инспектора, тем болезненнее вглядывается в меня директор, словно пытаюсь определить, каким количеством здоровья я ему обойдусь.

— Хорошо, но старшего тогда переведите, — вдруг говорит директор, как-то слегка заурчав и блудливо посмотрев в сторону мамы.

Выражение горестной безответности на лице у мамы принимает самую невиданную степень. Она даже слегка наклоняется вперед, словно пытаюсь услышать, неужели и дядя Володя, почти родственник, шесть лет проживший рядом с нашей квартирой, ответит согласием на это предательское предложение.

Но, видно, дядя Володя отвечает что-то другое, потому что директор перестает смотреть на маму блудливым взглядом, а смотрит, как бы говоря, ну, подумаешь, я что-то предложил, он что-то отверг, обыкновенный научный разговор.

Выражение горестной безответности на лице у мамы уменьшается, но все еще достаточно заметно. Сама некоторая назойливость его как бы содержит в себе и рецепт, как от него избавиться: вам надоело это выражение? Сделайте так, как я вас прошу, и вы его не увидите.

Вдруг лицо директора оживляется. Он вглядывается в меня с каким-то живым любопытством.

— Песенки поет, говорите, — переспрашивает он, и кровь ударяет мне в голову, — тогда, может, в музыкальную школу?

Выражение горестной безответности на лице моей мамы бдительно доходит до крайней степени и сопровождается саркастической полуулыбкой, означающей: они меня хотя бы провести какой-то музыкальной школой?! Вот уж не ожидала!

— Хорошо, — говорит наконец Акакий Македонович и кладет трубку. Выражение горестной безответности исчезает с лица моей матери и почти полностью переходит на лицо Акакия Македоновича. Я чувствую, что наша взяла. Тут ребята, стоявшие в углу кабинета, снова посмотрели друг на друга и фыркнули.

— Сквозь слезы родителей смеетесь, — говорит Акакий Македонович, небрежно махнув рукой в сторону ребят в том смысле, что их-то судьба ему вполне известна, просто ими сейчас некогда заниматься. — Песни поет, говорит, — повторяет директор с недоумением, — при чем тут песни...

— Нет, он читает хорошо, — тихо проговаривает мама с тем, чтобы, не разрушив победы, достигнутой при помощи инспектора, слегка подправить его, может быть, чисто механическую ошибку.

— Придется взять, — после глубокой задумчивости директор обращается к завучу, — старший половину печенки съел, теперь этого привели... К Александре Ивановне попробуем, — говорит наконец директор завучу. — Да, больше некуда, — отвечает завуч и бодро выпроваживает нас из кабинета.

Мы выходим из кабинета директора и спускаемся вниз. Слегка подталкивая в спину, завуч ведет меня, очевидно, в один из флигельков, окружающих здание школы. Мама едва поспекает за нами.

— Ты иди домой, — говорит ей завуч, не глядя на нее. Но мама упрямо идет за нами.

Вдруг завуч перестал подталкивать меня в спину, весь сжался, присел, поднял камень и, так и не разогнувшись до конца, стал подкрадываться к бродячей собаке, которая, привстав на задние лапы, рылась в урне, стоявшей у глухой стены, с одной стороны отделявшей школьный двор от жилого дома.

Как и у всякого пацана такого возраста, у меня была повышенная любовь к животным и, конечно, особенно к собакам. Поэтому я, замерев от волнения, следил за завучем. Я бы очень хотел спугнуть ее, но боялся, что он меня за это не ответит в класс.

Он довольно близко подкрался к собаке, но его подвел азарт. Вместо того, чтобы кинуть камень, он решил подойти еще ближе, и, уже когда он был от нее шагах в десяти, она вдруг (умница! умница!) оторвала морду от урны и прямо посмотрела на него. Завуч довольно наивно спрятал руку с камнем за спину, но собака в одно мгно-

вение бросилась к забору и быстро прошмыгнула в пролом.

Собака перебежала улицу и с противоположного тротуара, приподняв голову, продолжала смотреть в нашу сторону. Завуч пригрозил ей камнем, но она не изменила позы, как бы давая знать, что на эту сторону тротуара он никаких прав не имеет. Завуч опустил руку, камень выпал из его ладони, словно ладонь бессознательно разжалась из-за ненадобности камня. Он оглянулся и, заметив маму, видимо, устыдился своего неуспеха.

— Ты еще не ушла? — сказал он, и мне показалось, что он жалеет, что выпустил камень.

— Я только до дверей, — сказала мама.

— Или ты, или я! — резко сказал завуч, все еще злой на собаку, и, быстро подойдя ко мне, слегка подтолкнул меня, чтобы я шел быстрее. Я убыстрил шаг и оглянулся. Мама стояла и смотрела на меня немного растерянно. Никакого страха или одиночества я не испытывал от того, что остался один. Ведь школа эта была расположена в двух кварталах от нашего дома, и я, играя возле дома, иногда прихватывал и школьный двор.

Мы вошли в один из флигельков и пошли по коридору. Вдруг завуч, оставив меня, наклонился возле одной из дверей и стал смотреть в замочную скважину. Перестав слышать его шаги, я оглянулся и увидел его маленькую фигурку, хищно склоненную у дверей.

Мне показалось странным, что он это сделал, провожая меня в класс, и главное — не стыдясь моего присутствия. Я вспомнил, что именно так мой сумасшедший дядюшка наблюдал сквозь щелки в кухонной пристройке за одной женщиной из нашего двора, в которую он был влюблен. Но он этого никогда не делал, если знал, что кто-то за ним следит. А этот прямо при мне подглядывает.

Наконец, отделившись от замочной скважины и насколько не стыдясь того, что я это заметил, он подошел ко мне и мы пошли дальше. Мне казалось, что на лице его плавало подобие блаженного выражения, какое бывало у дядюшки после того, как он насмотрится на свою возлюбленную и выходит во двор. Ненормальность дядюшки как бы проявлялась в этой неряшливости, а может быть, доверчивости сознания, которое не спешит или забывает убрать с лица выражение, вызванное чувством, испытанным до этого. Так, выпив воду с сиропом, которую он очень любил, он некоторое время сохранял на лице выражение человека, утоляющего жажду.

Между прочим, мое предположение оправдалось. В этом классе работала юная учительница, очень хорошенькая, может быть, даже красивая. Именно к ней часто приходили расфранченные молодые люди, и она на переменах бегала к ним своей трепещущей походкой, время от

времени вскидывая голову, как бы стараясь высунуться из курчавого кустарника густых золотистых волос.

Интересно, что в детстве, если уж женская красота воспринималась как красота, то это восприятие для меня лично сопровождалось каким-то ощущением стыда за ее обнаженность. Наряду с любопытством и приятностью вида красивого лица было еще какое-то не до конца уловимое ощущение, но оно было. Отчасти это ощущение можно назвать чувством неловкости, неподготовленностью окружающей среды, ее недостаточной праздничной настроенностью для восприятия красоты, словно красивые женщины должны появляться на улицах только в большие праздники — Первого мая, 7 ноября, в Новый год.

Отчасти это было ощущение некоторой ранимости красивого женского лица, словно оно сделано из другого материала, чем обычные лица, и связанное с этим желание как-то прикрыть его, накинуть что-нибудь на него вроде платка (уж не чадролюбивые ли гены моих предков тосковали во мне). Но еще один оттенок, по-видимому, связанный с моими чадролюбивыми стремлениями и, может быть, этот оттенок и был главным, а именно — ощущение того, что красота связана с какой-то великой тайной, которую нельзя обнажать.

Разумеется, все это представлялось тогда совершенно смутно, но я уверен, что сейчас проращиваю зерна именно тех ощущений, а не каких-нибудь других. Точно так же, как я уверен, что завуч подглядывал в замочную скважину именно за этой молодой учительницей, хотя теперь уже не помню, видел ли я ее, выходящей из этого класса или не видел. То, что она в нашем флигеле работала, это я помню точно.

Но вот завуч подвел меня к нужной двери, открыл ее хозяйским жестом и, пропустив меня вперед, вошел сам. Грохнув крышками парт, дети вскочили, что было для меня такой неожиданностью, что я еле удержался от желания броситься за дверь.

— Садитесь, — сказала учительница ребятам, и они с таким же грохотом сели. Она повернула к нам лицо. Это было лицо пожилой женщины в пенсне, блестящем золотистой оправой, с коротко стриженными, местами серебриющимися волосами. Она вопросительно оглядела нас.

— Македонович прислал, — сказала завуч тоном чело- века, который полностью снимает с себя всякую ответственность.

— Но у меня... — начала было она, но, взглянув на меня, вдруг добавила: — Хорошо.

Приподняв голову, она оглядела класс и, показав мне глазами на свободное место, сказала: — Пока вон туда садись...

Завуч закрыл дверь. Ребята радостно вскочили, приветствуя его уход, я, не подозревая, что его уход тоже надо приветствовать, опоздал вскочить, что вызвало у некоторых учеников усмешки, показавшиеся мне обидными. Я чувствовал, что у мальчиков, которые здесь учились, сейчас возникло ко мне любопытство, скорее всего враждебное, какое бывает ко всякому чужаку, который входит в среду привыкших друг к другу людей.

Учительница продолжала урок. Я сейчас не помню, о чем она говорила, зато хорошо помню, что она, говоря то, что она говорила, старалась отвлечь это враждебное любопытство, которое я ощущал у себя на затылке. И в самом деле, я чувствовал, что от ее голоса враждебное любопытство ослабляется и уходит. Возможно, это происходило отчасти за счет усиления моего собственного любопытства к тому, что она говорила.

Во время перемены, когда я выбежал на школьный двор, где встретил несколько ребят с нашей улицы и только начал с ними осваиваться в новой для меня роли школьника, как вдруг прозвенел звонок, призывающий всех в класс. Тогда меня поразила смехотворная несправедливость длины перемены по сравнению с длиной урока.

Потом помню себя после уроков идущим домой. Я часто прислушиваюсь к себе и удивляюсь впечатлению первого дня пребывания в школе, надоело — вот это впечатление.

А ведь до этого у нас дома не только хвастались моей будущей учебой, но я и сам делал вид, что страшно тоскую без школы, что только и мечтаю, как бы поскорее туда попасть, чтобы утолить сжигающую меня жажду познания. Отчасти я в эту роль, видимо, выигрался, чувствуя, что от меня ждут чего-то такого, чтобы я вызвал у моего брата завистливый аппетит к учебе. Мало того, что у брата аппетита к учебе я так и не вызвал, я сам потерял этот свой хваленый аппетит в первый же день учебы.

В то же время я понимал, как взволнованно и празднично дома ждут моего возвращения из школы и как все будут разочарованы, если я им скажу, что в первый же день мне надоело учиться в школе. У меня хватило выдержки (или чего-то похуже, чем выдержки) скрыть свое разочарование школой, но все-таки изъявлять восторги по поводу моего принятия в школу я не мог, просто сил не хватило.

Да и не надо было, потому что в этот день случилось несчастье: на дядю Самада наехал автомобиль, вернее, не наехал, а сбил его с ног. Как раз, когда я возвращался из школы, машина «скорой помощи» остановилась возле нашего дома и санитары вынесли его на носилках и внесли во двор. Весь двор высыпал наружу, а один из санитаров, по-видимому, знакомый моей тети, кричал во

всю глотку, что ничего особенного не случилось, пусть, мол, бабушка не волнуется.

Когда санитары стали подниматься по лестнице и я увидел удлинённую голову дяди, слегка сползшую к углу носилок, и вынужденно, из-за осторожности, торжественный ход санитаров вверх по лестнице, я вдруг подумал, что мой дядя никогда не достигал такого сходства с Суворовым, как сейчас на носилках.

Когда санитары стали поворачиваться на первой лестничной площадке, дядя приоткрыл глаза и, как обычно, посмотрел в сторону дверей Самуила. Но на этот раз из-за марлевой занавески испуганно выглядывала его жена. И вдруг рука дяди поднялась над простыней и вяло опустилась, он прикрыл глаза.

Между прочим, за носилками оставался густой спиртовой запах, словно из дяди вытекал и вытекал многолетний алкогольный дух. Дядя Самад после этого еще месяца два лежал дома со сломанной ногой, и в доме стоял густой спиртовой запах, и в конце концов тетушка, ссылаясь на нестерпимость этого запаха, выселила его на верхнюю площадку парадной лестницы, которой почти никогда не пользовались. Комнату его тетушка сдала квартирантам.

Так как я стал учиться в школе с двухнедельным опозданием, многих вещей, уже освоенных другими учениками, я не понимал, что вызывало у моих товарищей улыбки, а то и откровенный смех класса. Так, например, я не знал, что разговаривать в классе вообще нельзя, а если уж говоришь, то надо стараться говорить потише и как-то сообразовывая свой голос с расстоянием, на котором находится от тебя учительница, с тем, куда она смотрит, и так далее. А между прочим, голос у меня от природы был достаточно громким.

В ответ на неоднократные нарушения правил Александра Ивановна мне несколько раз предлагала выйти из класса, с чем я, оказываясь, соглашался с неприличной поспешностью. Эта неприличная поспешность вызывала тайное веселье Александры Ивановны, я это замечал по ее глазам, скрытым под стеклами пенсне. А между прочим, поспешность моя объяснялась не тем, что я радовался освобождению от занятий, а просто я старался как можно быстрее выполнить то, что мне сказала учительница. Впрочем, может быть, кроме этого, на моем лице было написано еще что-то такое, что вызывало ее тайное веселье.

Но что уж вызывало всеобщее, никем не скрываемое веселье, это то, как я выходил из класса. Как только мне предлагали выйти из класса, я начинал впахивать в портфель свои школьные пожитки.

— Портфель пусть остается—ты выходи!—говорила Александра Ивановна, стараясь не смеяться и руками показывая, чтобы я оставил в покое портфель. Я неохотно оставлял портфель и выходил из класса.

Сейчас я думаю, что в этом маленьком эпизоде сказалось некое коренное свойство моей природы, которое заключается в склонности, уходя уходить целиком. Это очень неудобное и для меня и для окружающих свойство. Зная, что я, уходя, буду стремиться уходить целиком, я в отношении с людьми проявляю слишком большую терпимость, что поощряет некоторых из них вырабатывать свое вкрадчивое хамство в сторону моей терпимости. Нет, чтобы сразу же приостановить вкрадчивое хамство или, во всяком случае, отвернуть его от моей терпимости и дать ему расти в свободном направлении, я долго терплю, что воспринимается хамством как награда за высокое качество своей вкрадчивости.

Но в один прекрасный день, когда вкрадчивое хамство уже успело вырастить на подпорках моей терпимости неплохой урожай баклажанов, помидоров и других не менее полезных огородных культур, я неожиданно для хамства, привыкшего к оседлости (от слова оседлать) возле моих подпорок, я, значит, неожиданно для хамства трогаюсь с места, забирая с собой все свои подпорки, и устраиваюсь в безопасной для этого хамства местности.

— Подожди, объяснись!—кричит мне вслед покинутое хамство, но я не останавливаюсь, а оно не может бросить свое хозяйство, отчасти обрушившееся и осевшее после моего ухода.

— Подожди, объяснись!—кричит хамство, но в tomto и удовольствие—уйти от хамства, не объясняясь. Мне даже кажется, что сама сила моей терпимости долгое время питалась надеждой дать хамству достаточно раскуститься, обвиснуть плодами, а потом неожиданно покинуть его, не объясняясь.

Некоторое время я благодушно наслаждаюсь сиротскими стенаниями покинутого хамства. Но, видно, я слишком затягиваю это наслаждение. Никогда не надо слишком затягивать удовольствие, потому что тот, кто его нам отпускает, тоже следит за этим. И если иногда нам удается продлить его, пользуясь тем, что и тот, кто следит за правилами пользования отпущенного нам удовольствия, тоже иногда зазевывается, доставляя себе непозволительное для следящего удовольствие поротозейничать, то и он за это рано или поздно получает взбучку, потому что и над следящим за нами есть следящий за всеми следящими. Так вот, следящий за нами, получив от него взбучку, в свою очередь, обрушивает свой гнев на нас и прерывает наше неправоммерно затянувшееся удовольствие соответствующим наказанием.

Во всяком случае, я, мысленно наслаждаясь сиротскими стенаниями покинутого хамства, иногда, очнувшись, обнаруживаю, что по посоху моей терпимости уже выются робкие плети нового растения с нежными антеннками усигов, с мохнатенькими листиками, в сущности, так непохожими на позднейшие плоды хамства, как желтенькие звездочки весенней завязи непохожи на осенние, тяжелозадые тыквы. Ну, как отщелкнешь эту робкую плеть! Подождем, посмотрим, а вдруг что-нибудь хорошее получится...

* * *

Конечно, я быстро усвоил все эти гласные и негласные школьные правила. Так что теперь, если приходилось покидать класс, я доверчиво оставлял свой портфель. Надо сказать, что наказание это я испытывал очень редко и всегда тоскливо переносил.

Учился я хорошо. Мне ничего не оставалось. Сокрушить всеобщую семейную уверенность в том, что с моим приходом в школу будет полностью восстановлено не только благонравие семьи, но в виде более отдаленного, но вполне мыслимого будущего достаток и процветание, сокрушить все это было бы дороже и утомительней.

Иногда я бывал отличником, но чаще бывал среди тех, кто близок к тому, чтобы стать отличником. Во всяком случае, в кругах отличников я проходил за своего человека. Но истинные отличники, то есть отличники по призванию, нередко обращаясь ко мне, едва скрывали насмешку в глубине своих умненьких глазок, как бы уверенные, что рано или поздно мое тайное дилетантство должно будет меня подвести. Так оно и случилось.

* * *

Случилось это, видимо, в третьем или четвертом классе, в начале учебного года. В тот удивительный промежуток своей жизни я почти каждый вечер ходил с тетушкой в кино. Я думаю, что началось это хождение по кинотеатрам с лета, а потом незаметно для тетушки (погода-то у нас еще долго в начале осени стоит почти летняя) перекинулось на осень.

У меня такое впечатление, что мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени — моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста.

В ту осень она почему-то особенно часто говорила, что ей тридцать пять лет и что я отличник. Может быть, где-то в первом классе оба эти сведения совпадали, но потом они совпадать никак не могли, с тем более странным упор-

ством она утверждала, что я отличник, а ей тридцать пять лет. После первого класса я иногда и бывал отличником, но ей, конечно, больше никогда не бывало тридцать пять лет. А именно в эту осень я был так же далек от отличника, как она от полюбившегося ей возраста. Но она об этом не знала. То есть я хочу сказать, что она не знала не то, что ей больше тридцати пяти лет, а не знала то, что сведения о моей учебе так же преувеличены, как преуменьшен ее возраст.

И вот тетушка каждый вечер ходит со мной в кино, говорит своим знакомым, что ей тридцать пять лет и что я отличник. Не то, чтобы она прямо так связывала эти два обстоятельства, мол, вот он, мой племянник-отличник, а что, мол, касается меня, то мне тридцать пять лет. Но все-таки какая-то связь была. Каким-то образом, выдавая меня за отличника, она помогала версии о том, что ей всего тридцать пять лет.

Иногда я пытался протестовать, но из этого ничего не получалось или получался еще больший конфуз. Мои протесты она относила к числу как раз тех достоинств, которые делают человека отличником.

— Круглый, — говорила она, махнув на меня рукой, — круглый отличник...

Вот это махание рукой особенно меня выводило из себя. Оно означало, что тут и разговаривать не о чем, тут этого вещества, которое делает человека отличником, столько, что можно было бы и отряхнуть меня слегка, как ветку, чересчур отягченную плодами.

— Одного боюсь, — говаривала она, вздохнув, — слишком много читает...

Тут рассказывался случай, и в самом деле имевший место один раз в жизни, но поданный с таким видом, как будто это обычная картина. Я и в самом деле однажды читал книгу, а именно «Детство» Горького, и вдруг погас свет, что было в те годы обычным явлением. Дело происходило у тетушки на кухне.

Пока все ожидали, не зажжется ли свет, или готовили керосиновую лампу, я прилег на пол тетушкиной кухни и стал читать при свете, любуясь из экрана керосинки.

Свет, конечно, слабый, но по-своему очень уютный и приятный. Читал я так, наверное, с полчаса, не подозревая, что вокруг меня и этой закоптелой керосинки уже слегка миражирует контур легенды о маленьком мученике ученья. К сожалению, в последующие годы, да и до сих пор горячка чтения сменяется долгими промежутками равнодушия к книге.

...Почти каждый раз, когда мы шли с тетушкой в кино, она по дороге заходила на работу к своему мужу дяде Мише. Она заходила в магазин с тем, чтобы забрать его с собою, но это редко удавалось, потому что дядя бывал

занят, и тетушка некоторое время нудно упрекала его в загубленной молодости, а он сидел над грудой накладных, щелкал счетами и что-то молча записывал.

Мне как-то неприятно было слушать эти упреки, как-то неловко было оттого, что не тот, кто работает, упрекает того, кто развлекается, а тот, кто развлекается, наскокивает на того, кто работает.

Обычно мы уходили вдвоем, и тетушка торопилась, как бы стараясь наверстать упущенное за время загубленной молодости, потом успокаивалась и примерно через квартал каблук ее от быстрой сердитой дробы переходила на веселый легкий перестук. Иногда мне кажется, что она этими бесконечными упреками освобождала душу от небольших угрызений совести за наше кинообжорство.

— Ах, так! — как бы говорила она себе после этих попреков. — Вы с нами не желаете пойти погулять! Так мы в таком случае не будем вылезать из кино!

Дядя очень добросовестно относился к своим обязанностям директора гастронома. У нас в доме до сих пор сохранился огромный снимок, где он стоит в окружении своих продавцов под переходящим знаменем торгового двора, которое он держал в течение нескольких лет, покамест во время войны его не забрали в армию. Даже на этом снимке его могучая фигура и сильное, правильное лицо не могут скрыть тайной унылости, которая, видимо, стала к этому времени хроническим состоянием его души. И как бы в противовес дяде один из продавцов на этом снимке, а именно дядя Раф, так и лучится жульническим весельем. Тетушка с большой симпатией относилась к этому продавцу, отчасти потому, что у него был веселый, легкий характер, отчасти потому, что он снабжал тетушку не вполне оплаченными покупками.

Обычно она за продуктами посылала дядю Колю, вручив ему деньги и список того, что ей нужно. Когда дядя Коля возвращался домой, она с каким-то повышенным азартом заглядывала в корзину, после чего или расцветала, или явно гасла. Если лицо ее гасло — это означало, что дядя был на месте и Раф отпустил продуктов ровно столько, на сколько хватило денег.

— Отец был там? — спрашивала она на всякий случай дядю Колю.

— Там, там, — радостно отвечал тот, не подозревая, чем вызван ее вопрос.

— Ну, конечно, — говорила тетушка неизменно, — я так и знала...

Хотя тетушка часто ворчала на мужа, что другие на его месте особняки строят, а он семье отказывает в куске хлеба, все-таки она в этих делах дядю побаивалась и свои симпатии к Рафу объясняла целиком его веселостью и отзывчивостью. Если мы с тетушкой приходили за продук-

тами и заставляли дядю в гастрономе, то он сам отпускал нам продукты и с некоторой комической дотошностью вынимал из кармана деньги и клал их в кассу, пока Раф перемигивался с другими продавцами.

Однажды, не замечая, что я стою поблизости и рассматриваю витрины с конфетами, этот Раф рассказал, видимо, своему близкому другу, стоявшему по эту сторону прилавка, такой случай.

Оказывается, под праздник в гастрономе продавали кулич, и один любитель кулича, купив его и убедившись, еще не доходя до дому, что кулич совершенно невкусный, вернулся в гастроном и устроил скандал. Но так как было совершенно ясно, что продавцы в этом не виноваты, ему пришлось успокоиться и уйти домой с этим невкусным куличом.

— А как же он будет вкусным,— продолжал Рафик, посмеиваясь и плутовато кивая на кондитерскую фабрику, которая была расположена недалеко от гастронома, — если яйца мне принесли, сахар мне принесли, масло тоже...

Тут они оба расхохотались, и взгляд Рафика упал на меня. Я это почувствовал.

— Не дай бог, дядя Миша узнает, убьет,— сказал он своему другу, и они слегка приглушили свой смех.

— Почему невкусный, спрашивает, да? — напоминал время от времени его товарищ.

— Да,— соглашался Рафик, и они снова начинали смеяться.

Я сделал вид, что ничего не понимаю, хотя мне было очень неприятно, что он так обдуривает дядю, которого я считал умным человеком.

Вообще-то я думаю, что в глубине души дядя знал, что его обманывают, но уже сделать ничего не мог. С одной стороны, невозможно было уследить за всеми, с другой стороны, он уже слишком прославился как руководитель образцового коллектива, получающий ежегодно переходящее знамя. Торгу он был выгоден, как надежный чудака, на которого во всех случаях можно положиться, и его гастроном снабжали лучше, чем остальные магазины, что давало ему возможность намного перевыполнять план и получать приличную зарплату.

Сейчас я думаю, что он чувствовал эту липоватость своего образцового положения, но не мог ни привыкнуть к ней, ни набраться сил и уйти от всего этого, а заодно и от тетушки. И это состояние придавало его облику некоторую заторможенность, сумрачную тяжеловатость, которая так не соответствовала щедрому, легкомысленному, эгоистически-ненасытному темпераменту тетушки.

Они довольно часто ссорились, и ссоры эти из-за ее вздорной страстности проходили слишком бурно. Однажды во время ссоры тетушка крикнула, что она больше так

не может, и выбежала из кухни. Все поняли, что она сейчас же покончит жизнь самоубийством, и даже поняли, как именно: бросится со второго этажа внутренней парадной лестницы на цементный пол прихожей нижнего этажа. Все, кто был в кухне, включая бабушку и моего сумасшедшего дядю, бросились ее останавливать. Все, кроме меня и дяди.

Мне почему-то было совершенно ясно, что этого не может быть, что она ни за что этого не сделает.

— А ты чего тут сидишь?! — вдруг заорал дядя, когда погоня слегка замолкла в глубине дома. До этого он на меня никогда не кричал. Сконфуженный, я вышел из кухни. Я был особенно смущен, потому что, оставшись вместе с дядей на кухне, считал, что я его этим подерживаю, как бы своим поведением доказываю вздорность ее угрозы.

Теперь-то я понимаю, что он очень волновался и только из гордости не сдвинулся с места. Моя детская рациональность правильно мне подсказывала, что человек не может покончить самоубийством из-за всякой ерунды. Но взрослый опыт сильно расшатывает чистоту детских представлений о логических соответствиях. Взрослый человек понимает, что хотя все это и так, а все-таки человек может сделать роковой шаг помимо всякого смысла, а может быть, и назло всякому смыслу, особенно если этот человек женщина...

Вот почему дядя тогда так закричал на меня. Видимо, я ему был противен и тем, что, оставшись, как бы напрашивался ему в напарники в слишком личном деле, а моя незаполненная душевной болью выдержанность должна была привести его в бешенство, что и произошло. Разумеется, из всего этого никак не следует, что я был равнодушен к этим стычкам, но, конечно, чувствовать и сотой доли его страданий я не мог.

Интересно, что после больших ссор между ними, по крайней мере на несколько дней, устанавливались изумительные отношения, и тетушка целыми вечерами, когда он приходил с работы, как бы осыпала его кроткими перышками голубиной нежности.

И вот, значит, в тот несколько фантастический период моей жизни мы с тетушкой почти каждый вечер ходим в кино и почти каждый вечер смотрим по две картины. Первую, как правило, смотрим в одном из клубов, а вторую в нашем центральном кинотеатре «Апсны», где директором тогда работала тетушкина давняя приятельница, тетя Медея. Разумеется, у тети Медеи мы ее смотрим бесплатно, и чаще всего на третьем сеансе.

Помню маленькую фанерную пристроечку внутри помещения кинотеатра под лестницей, ведущей на галерку. Убогость этой фанерной пристройки взрывается (чуть откроешь дверь) сокровищами ее внутреннего убранства —

сочетание ярчайшего электрического света и волшебных цветных афиш, которыми оклеено все стенное пространство помещеньца. Одни афиши славны как бы сказочностью невозвратимого прошлого, они говорят о фильмах, которые я уже никогда не увижу, но ребята, те, что постарше лет на пять, знают их и с восхищением рассказывают о них как ветераны: — «Знак Зеро», «Мисс Менд», «Красные дьяволята»!

Другие афиши, снабженные легким, пьянящим словом «Анонс», мягко утешают, улыбаются, как бы говоря, не все счастье в прошлом, кое-что будет и в будущем, например, «Ошибка инженера Кочина», «Граница на замке».

Афиши вообще сами по себе почему-то волнуют, словно несут на себе мгновенный жар пронесшейся кометы праздника, рассматривать их доставляет огромное удовольствие.

Пока тетушка разговаривает с тетей Медеей, сидящей за маленьким столиком, скорее напоминающим туалетный, чем учрежденческий, я впиваю и впиваю в себя аромат этих афиш.

Иногда в кабинетик тети Медеи всовывается голова одной из работниц кинотеатра:

— Звонок давать? — спрашивает она.

— Подожди, я скажу! — отмахивается от нее тетя Медеея и, затягиваясь бесконечной папироской, продолжает свой бесконечный, как тетушкины тридцать пять лет, рассказ о своей жизни. Его нехитрую суть, как мне казалось, я сразу уловил: она была замужем за одним человеком, но потом он ушел к этой Негодяйке. Иногда она его самого тоже называла Негодяем, и тогда мне казалось вполне естественным, что Негодяй ушел к Негодяйке, и я никак не мог понять, о чем тут жалеть и зачем это все переживать тысячу раз.

Тетушка обычно слушала ее, глядя в ее бледное, повидимому, когда-то привлекательное лицо, так же жадно куря и пуская изо рта воинственные струи дыма. Так как расстояние между ними было небольшое, они обе, выдыхая дым, приподымали головы, чтобы не дымить друг другу в лицо, и иногда струи дыма перекрещивались в воздухе, как бы пронзая призрак Негодяйки.

Тетушка слушала ее рассказы, все время давала ей советы, которые сводились к тому, что этой Негодяйке непременно надо отомстить, опозорить, унижить ее.

Рассматривая афиши, я краем уха слушал эту болтовню и прекрасно понимал, что все это вздор, что само предложение отомстить Негодяйке никак не выполнимо, потому что она жила в Тбилиси, а мы жили в Мухусе, так что все это было пустыми словами. Я также чувствовал, что сама энергичность предлагаемых тетушкой мер идет от их невыполнимости, но в то же время они взбадривают тетю

Медею, как бы показывают ей, насколько эта Негодяйка мерзка и каких она достойна кар; даже если эти кары не достигнут ее. В конечном итоге все эти свирепые советы, предлагаемые тетушкой, как-то полностью оправдывали наше бесплатное посещение кино.

Иногда дверь кабинета отворялась каким-нибудь посетителем кино, возмущенным то ли билетом, выданным ему на проданное уже место, то ли еще чем-нибудь. В таких случаях тетя Медея прерывалась с большой неохотой или даже откровенным раздражением в зависимости от общественного положения посетителя и, нередко от возмущения закашлявшись (она и так все время покашливала), начинала стыдить этого жалобщика или, указывая на тетушку, просила его подождать, пока она поговорит с предыдущим посетителем. При этом тетушка неизменно выражала всем своим видом, что вот она в кои веки вошла к директору по важному делу, а ей и пару слов не дают сказать.

Некоторые посетители, у которых вообще никакого билета не было, тут же направлялись в правительственную ложу, и они с важностью следовали туда чаще всего целыми семьями. Интересно, что как только дверь за ними закрывалась, они награждались каким-нибудь презрительным замечанием, как я понимал, за то, что они, не будучи правительством, лезут в правительственную ложу.

Вообще правительства я никогда в кинотеатре не видел, этим, видимо, и пользовались такого рода люди. Судя по всему, они занимали в обществе такое положение, что сидеть на обычных местах они уже не хотели, а до правительственного места не дотягивали, вот им и приходилось просить тетю Медею.

— Подумаешь, в АБСОЮЗе работает, — говорила тетя Медея, или что-нибудь в этом роде, — забыл, как сго отец петрушку на базаре продавал.

— Эта гальская кекелка тоже себя дамой почувствовала, — добавляла тетушка в адрес жены этого работника непонятого АБСОЮЗа.

Если мест в кинозале не было, тетя Медея усаживала нас в распахнутых дверях кинозала, куда мы перетаскивали стулья из кабинета. Обычно она усаживалась рядом с нами, и, если картина была им не очень интересна, они полупшепотом продолжали свои разговоры про эту Негодяйку.

Если мы попадали на последний сеанс, я время от времени засыпал, потом просыпался, силясь понять, что делается на экране, и снова засыпал. Таким образом, именно в дверях переполненного зала мы смотрели картину «Петр Первый», и я все время мучительно старался протереть глаза и понять, чего этот Петр Первый все время кричит, дерется палкой и прыгает, кажется, из окна, во

время наводнения. Помню, он мне не понравился своими кощачьими усами, а главное, чувством опасности этого человека, от которого не знаешь, чего ожидать.

Помню такой длинный киножурнал с речью товарища Сталина, которую он произносил на каком-то собрании. Он стоял на трибуне и, по-видимому, чувствовал себя очень свободно, громко звякал бутылкой о стакан, наливая себе воду, чуть-чуть отпивая и продолжая говорить.

Так как я тогда был слишком мал, чтобы оценить величавость его движений, я их воспринимал как странную замедленность. То, что окружающие меня взрослые его речь понимали не больше меня, было ясно из того, что все они обсуждали одну-единственную фразу из всей речи, которая и мне именно тогда же в кино показалась живой, ясной и мудрой.

— Семья не без уroda, — сказал тогда вождь в своей речи, и я тут же стал мысленно подыскивать в знакомых семьях какого-нибудь уroda, а в некоторых семьях я находил по нескольку уродов.

Интересно, что в семьях, которые мне казались до этого идеальными, я, подумав как следует, начинал находить уroda. При этом меня поражало, как они ловко маскировались, скрывая свое уродство, и именно те вдруг мне представлялись уродами, которые меньше всего до этого казались подозрительными.

Мысленно просматривая их поведение, я вдруг обнаруживал трещинку странности, которая соединялась с другими трещинками странностей, и все это вместе складывалось в картину скрытого и потому еще более уродливого уродства. Полное отсутствие каких-либо странностей воспринималось как особо изощренная странность, так что ни одна семья не могла рассчитывать на исключение. Ведь сказано: «Семья не без уroda». Значит, надо искать и находить.

Из разговоров взрослых по поводу этих мудрых слов я понял, что, оказывается, у великого отца есть сын Вася, который очень плохо учится. И вот, исчерпав все доступные средства, а ему, разумеется, были доступны все существующие в мире средства, и, убедившись, что сын Вася упорно продолжает плохо учиться, он пришел к неотвратимому выводу, что, оказывается, тут ничего нельзя поделать, что, оказывается, — это такой закон природы: в каждой семье должен быть урод.

Интересно, что, узнав про сына Васю, который, несмотря на все старания великого отца, плохо учится, я почувствовал к вождю какое-то теплое чувство. Должен со всей определенностью сказать, что этого теплого чувства у меня к нему никогда не было. Иногда это меня мучило как-то, но я ничего с этим поделать не мог. Несколько позже,

уже будучи подростком, я узнал, что и у некоторых моих сверстников тоже не было этого теплого чувства...

У меня по поводу многих картин, которые я тогда смотрел, были свои недоумения, как я теперь понимаю, довольно здравые. Так, например, бесконечные шпионские картины, которые сами по себе мне очень нравились, были все-таки недостаточно убедительными.

В каждой картине, кишмя кишевшей шпионами, все они к концу оказывались выловленными. То, что наш отважный чекист, в которого многие из них стреляли и вполне могли убить, все-таки оставался живым, в худшем случае раненным в руку, так что он по крайней мере мог обнять и вдумчиво поцеловать свою жену или невесту, пришедшую к нему в больницу, меня не очень смущало. Ну ладно, думал я, хотя это выглядит немного по-детски, все-таки приятно, что такой смелый, симпатичный парень остался живым.

Неубедительным было другое, а именно то, что в каждой картине вылавливали всех до самого последнего шпиончика. Ни одному не удавалось удрать. Я даже часто себя ловил на постоянной мысли, что хотел бы, чтобы хоть один шпион сумел утаиться. Для чего я это хотел? Прежде всего для того, чтобы сделать убедительными остальные картины про шпионов. Уцелел один, стало быть, он завербует растратчиков, доверчивых ротозеев, вызовет по приемнику новых шпионов из-за границы. Ведь будут другие картины про шпионов, и тогда будет ясно, откуда они взялись.

А так после каждой картины получалось, что все шпионы выловлены и любимый город, как поется в песне, может спать спокойно. А потом оказывается, что все равно полным-полно шпионов и незачем было уверять любимый город, чтобы он спал спокойно.

Помню еще одно недоумение. Показ фашистов сопровождался такой страшной музыкой, от их облика исходила такая беспощадная свирепость, что я иногда в ужасе поворачивал голову, чтобы, увидев рядом горбоносый профилек тетушки, кстати, невозмутимый, убедиться, что мне лично ничего не угрожает, что я далеко от всего этого и в полной безопасности.

Хотя это отчасти успокаивало, вернее, успокаивало как-то физически, нравственно я испытывал немалые терзания. Мой трепещущий организм явно отказывался совершать подвиг в таких условиях. Например, в картине про испанского мальчика Педро, который, каким-то образом оказавшись на фашистском корабле, обнаруживает в трюме ящики с бомбами, на которых для маскировки (нет предела их коварству) написано «Шоколад».

И вот этот отважный мальчик решил взорвать корабль и, набрав в кочегарке полное ведро жару, пронесит его в трюм. И вот он идет с этим ведром (ужас!), и каждую се-

кунду его могут обнаружить фашисты, и музыка своей назойливой тревогой подтверждает это. Я смотрю, я слушаю, я чувствую всем телом ледящий душу страх, с унижающим, растаптывающим стыдом чувствую, глядя на Педро, что нет, я этого не мог бы сделать...

Правда, на следующий день среди дневного сияния, вспоминая картину, уже отделенную хотя бы от этой ужасающей музыки, и успокоенный знанием счастливого конца этой истории, я как-то снова начинаю храбриться и верить, что, пожалуй, и я смог бы повторить подвиг республиканского мальчика Педро.

Между тем время шло. Мама ворчала. потому что по утрам ей стоило невероятных трудов поднять меня с постели, но тетушка в нашем доме главенствовала над всеми, тем более я сам с огромным удовольствием окунался в этот киношный разгул.

Иногда тетушка по какой-то неожиданной причине охладевала к своей подруге, и мы прерывали на несколько дней свои кинопоходы или ограничивались просмотром одной картины в каком-нибудь из клубов. Я как-то никогда не мог понять, почему она к ней охладевала, потому что внешне их отношения как будто никак не менялись. Но иногда, возвращаясь после кино домой, она вдруг начинала говорить о муже своей подруги с какой-то предательской теплотой, и получалось, что ему ничего не оставалось делать, как уйти от этой несносной женщины.

— Не давай ей себя целовать, — советовала она мне, хотя я и сам терпеть не мог все эти взрослые поцелуи. А тут при встрече они сами чмокались, и подружки ее меня чмокали, и как-то получалось, что стыдно увертываться от близкого человека, да еще, пользуясь этой близостью, бесплатно смотреть кино.

— Все-таки легочница. — добавляла она, выговаривая последнее слово с каким-то презрительным украинским придыханием, — говори, что родители тебе не разрешают.

Вот глупая, думал я, злясь на тетушку, как же это я скажу, когда ты же всех уверяешь, что ты меня воспитала и поэтому ты и есть истинная родительница.

Но вот однажды вечером наступил час расплаты. Тетушка, поругав брата за плохие отметки, по-видимому, решила показать ему пример хорошей учебы и самой отдохнуть на моих хороших отметках. С этой целью она вдруг попросила меня принести мою домашнюю тетрадь. Обычно она в мои домашние тетради никогда не заглядывала, а только смотрела табель и лично у себя держала мою уже слегка пожелтевшую похвальную грамоту за первый класс, как маленькое знамя наших фамильных побед.

Мне ничего не оставалось, как пойти домой за тетрадь, о плачевном состоянии которой я один знал. На меня нашло какое-то отупение. Я почему-то не пытался ни ули-

нуть от ответственности, ни схитрить, скажем, сказать, что тетрадь у учительницы, а дневников у нас тогда не было.

В общем, в состоянии какого-то отупения я спустился вниз к себе домой, вытащил из портфеля тетрадь и обреченно поцел ее наверх. Не знаю, на что я надеялся. В этой тетради сначала шла отличная отметка, потом две хорошие, а потом уже оценки, выражающие всевозрастающее недоумение учительницы, переходящее в ужас.

Смутно помню, что какая-то надежда была, но на что я надеялся, никак не могу вспомнить. На то, что тетушка посмотрит первые три отметки и захлопнет тетрадь? Нет, зная ее ненасытность, чрезмерность во всем, я никак не надеялся на это.

На что же я все-таки надеялся? Трезвый анализ воспоминаний не оставляет никаких признаков надежды, кроме надежды на чудо.

Да, по-видимому, оставалась слабая надежда на чудо. Разумеется, необязательно какое-то сверхъестественное чудо. Я мог надеяться на вполне реальное чудо. Например, гости нагрянули! А такое бывало частенько. В таком случае, конечно, казнь пришлось бы отменить. То, что в тетушкиной кухне сидели дядя Алихан и дядя Самуил, не принималось в расчет. Они были соседями по двору, и тетушка не постеснялась бы при них опозорить меня.

И вот я снова вхожу в тетушкину кухню, как бы с особой нарочитой силой, чтобы ярче меня опозорить, озаренную электрической лампой. Вижу бабушку, сидящую возле печки, она там всегда сидит независимо от времени года. Рядом с ней мой сумасшедший дядюшка, потому что ей приятно всегда держать его под рукой: ну, там подать что-нибудь, принести, унести. А еще для того, чтобы, если ему кто-нибудь из остальных предложит что-нибудь сделать, ей легче было бы отменить или поддержать эту просьбу.

Дело в том, что бабушка была для дяди высшей властью. Он, конечно, в основном делал все, что ему говорила тетя, но, если это происходило на глазах у бабушки, он всегда оглядывался на нее, и она движением головы или руки подтверждала, что это надо сделать, или, наоборот, не советовала.

Иногда во время уборок, а они происходили очень часто, учитывая яростную чистоплотность тетушки, бабушка, жалая дядю, которому приходилось таскать и сливать грязную воду, давала тайный приказ бастовать или, чтобы смягчить столкновение с тетушкой, притвориться больным. Пожалуй, самое смешное во всем этом была быстрота понимания дядюшкой того, что от него требуется. Намек на то, что ему надо отказаться от работы, он понимал гораздо быстрее, чем самое толковое разъяснение того, что надо сделать.

Впрочем, тогда мне было не до всего этого. И вот я, значит, вхожу в кухню, где за столом сидит тетушка, во главе стола на кушетке, напротив нее дядя Алихан, ждущий моего дядю, чтобы сыграть с ним пару партий в нарды. Рядом с Алиханом мой брат, нисколько не смущенный предстоящей педагогической пыткой. От избытка темперамента он все время ерзает, озирается на дядю Колю, чтобы выбрать момент и подразнить его, но выбрать момент трудно, потому что с одной стороны бабушка, а с другой тетушка перекрестно просматривают его кругозор. И, наконец, рядом с тетушкой дядя Самуил, бдительно подтянутый, в любую минуту готовый отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право считать себя караимом.

Я подаю тетушке тетрадь через стол. Тупость моего поведения еще в том, что я никак не обнаруживаю, что ее надежды на мою блестящую учебу не оправданы. Это, конечно, ухудшит мое положение, как дополнительная ложь. Я это чувствую, но ничего не могу с собой поделать. Единственное, в чем проявляется мое понимание моей будущей судьбы, это то, что я пытаюсь остаться за этой стороной стола, где сидит мой старший брат. Но тетушка, протягивая руку за тетрадь, ясно мне указывает, что мое место рядом с ней.

Ничего не поделаешь, я протискиваюсь мимо дяди Самуила, который, и привстав и пропуская меня, не теряет выражения готовности отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право.

Наконец, я усаживаюсь рядом с тетушкой, она гасит в глазах легкую досаду на мое мешканье, досаду, как бы означающую: нельзя же быть отличником в школе, а дома таким уж недотелой.

Она медленно раскрывает тетрадь, ставит плоскость ее перпендикулярно к электрическому свету, хотя и так прекрасно видит, и на первой же странице замечает отличную оценку.

— Отлично, — читает она, как бы не вполне доверяя глазам и пробуя слово на звук, как пробуют ноту: да, да, та самая нота, которую мы ожидали...

Она многозначительно смотрит на брата, потом на меня, отдаленно, но уже без всякой досады вспоминая, что я при такой учебе мог бы и дома проявлять большую понятливость и не заставляя ее по десять раз предлагать усесться рядом с ней.

— Я это еще до школы знал, — напоминает дядя Самуил о своей давней математической загадке, которую я первым разгадал.

Тетушка листает страницу. На следующем развороте сразу две оценки ниже на балл.

— «Хор», «хор», — несколько разочарованно произносит тетушка, последовательно на обеих страницах прочи-

тав оценки. Она смотрит на меня с легким укором, как бы говоря: конечно, «хор» неплохая оценка, но нельзя же считать себя отличником и получать подряд две хорошие оценки.

Вдруг она переводит взгляд на моего приободрившегося брата и взглядом говорит ему: а ты не радуйся, тебе до этого, знаешь, как далеко?

Я с ужасом жду третьей страницы. Там, на третьей и четвертой страницах, идут две оценки — «посредственно» и «хорошо», именно в такой последовательности.

— «Пос», — читает тетушка и тут подключается в работу, до этого слабо подыгрывавшая, ее артистическая жилка. Она смотрит на меня, потом на брата, потом снова на меня, как бы с тайным содроганием начиная находить между нами черты духовного сродства.

— Дье, — произносит она ненавистное мне междометие, означающее горестное недоумение. Тетушка говорит по-русски совершенно чисто, она еще знает и абхазский, и грузинский, и турецкий, и персидский языки. Так что иногда она вставляет в свою русскую речь какие-то неизвестные мне междометия, которые помогают ей выражаться острей, чем позволяют привычные языковые средства.

— Дье, — повторяет она и беспомощным движением протягивает тетрадь моему соседу, словно внезапно проявившаяся слабость зрения заставила ее увидеть такую невероятную оценку, — Самуил, наверное, я плохо вижу, что здесь написано?

— «Пос», — отчетливо и без каких-либо личных чувств произносит Самуил, на миг заглянув в тетрадь. Он это произносит с той давней своей интонацией человека, который раз и навсегда решил держаться в скромной, но зато всегда чистоплотной близости к фактам.

— Следующая «хор», — добавляет он, сухо вато утешая тетушку, но опять же только за счет возможностей самих фактов.

— «Хор», — горестно повторяет тетушка и смотрит на меня, слегка покачивая головой, в том смысле, что и отличная оценка была бы после такого падения довольно слабым утешением, а что же может сделать это малокровное «хор»?

Слегка послунявив палец, тетушка медленно, увы, якобы не ожидая ничего хорошего, а на самом деле именно ожидая, но только для меня делает вид, что особенно мне сейчас неприятно, потому что я-то знаю, что дальше никакого просвета нет. И вот она наконец печальным движением перелистывает страницу, как книгу горестной судьбы. Что я чувствую? Я чувствую, что заполнен позором, у меня такое ощущение, словно у меня поднялась большая

температура, оупляющая все восприятия, но и сквозь свои притупленные восприятия я все еще почему-то думаю, что хорошо бы все это закончить до прихода дяди с работы. Хотя теперь это не имеет большого значения, мне почему-то хочется выиграть эту маленькую ставку.

Сам я в тетрадь не смотрю. Я смотрю на своего сумасшедшего дядюшку. И так как я смотрю на него довольно пристально, он начинает слегка нервничать. Сначала пожимает плечами в том смысле, что он лично к этой проверке тетрадей никакого отношения не имеет и не понимает, почему моя укоризна направлена на него. Он чувствует, что происходит какая-то проверка моей учебы и что эта проверка для меня неблагоприятна.

Он сидит, положив ладони на колени, и смотрит перед собой немигающим взглядом своих зеленых глаз. Он как бы говорит мне своим взглядом: я в твоих учебных делах не разбираюсь, не разбираюсь и не хочу разбираться... Вот придет время пить чай, я его с удовольствием выпью и пойду с бабушкой спать, а остальные меня мало интересуют...

Но дядюшка ошибается, думая, что я на него смотрю с обычной целью подразнить его. Нет, на этот раз я на него смотрю с тоскливой завистью. Хорошо жить, как он, думаю я, ни за что не отвечать, ничего не стыдиться, не ведать, что делается вокруг.

А между тем эта моя страница в кровотокащих рубцах красных чернил. Это следы гневных ударов пера Александры Ивановны.

— Пло-хо, — читает тетушка по слогам и растерянно оглядывает окружающих, — но вот эти восклицательные знаки для чего?

После оценки Александра Ивановна поставила три восклицательных знака, барабанные палочки, выбивающие тревожную дробь по поводу резкого ухудшения работы моей головы. Наверное, тетушка и в самом деле не может понять, для чего эти восклицательные знаки в таком количестве, но нет, скорее всего ее артистизм доигрывает, дополняет мою катастрофу, она как бы внушает окружающим истолковать эти восклицательные знаки, как признак утроенности моей плохой оценки.

— Подумаешь, большое дело, да?! — говорит дядя Алихан, по доброте своей пытаюсь отвлечь внимание тетушки от моих оценок. — Я кофейни-кондитерские терял и то жив-здоров?!

Он смотрит на тетю своими круглыми глазами, потом на остальных, как бы говоря: ну-ка, напрягите свое воображение и попробуйте представить, что страшнее: временное ухудшение учебы этого мальчика или же полная потеря прекрасной кофейни-кондитерской. Представляете, какая разница?

Но никто не хочет напрягать воображение и сравнивать его кофейню-кондитерскую с моей учебой. Тем более этого не хочет тетушка. Тетушка обращает свой взор, выражающий затравленность доброй женщины бесчувственными племянниками, на дядю Самуила:

— О, помогите несчастной!

— Восклицательный знак означает усиление интонации! — говорит дядя Самуил несколько хмуро. Он показывает своим голосом неизменность своего желания не отходить от фактов и в то же время самой хмуростью своей интонации как бы признает некоторую неуместную поспешность, проявленную им много лет назад, когда он похвалил мои математические способности. Дело в том, что именно эта моя домашняя работа была связана с неправильным решением арифметической задачи.

— Но почему три, Самуил? — умоляет тетушка.

— Усиление интонации! — повторяет дядя Самуил, упрямо давая знать, что расшифровывать усиление интонации не будет.

— С тремя восклицательными знаками даже брат твой не приносил, — говорит тетушка и смотрит на брата.

— Никогда! — подтверждает брат.

Я понимаю, что восклицательные знаки означают степень тревоги Александры Ивановны, а не что-нибудь другое. Но стоит ли сейчас оправдываться? Тем более, что это займет лишнее время и тетушкин разбор может затянуться до прихода дяди.

— Пос! — читает тетушка следующую оценку, и так как спектакль ужаса уже прошел эту степень, уже сцена удивления посредственной оценкой была продемонстрирована, она не знает, что сказать, и листает тетрадь дальше. Но дальше ничего нет.

— Дье, — говорит она, глядя на чистый разворот, как бы осозная еще одну форму обмана, которую я ей неожиданно подсунул. Она несколько растеряна. Она хотела бы еще несколько новых сцен ужасов показать, а тут сама пьеса оборвалась. Она в растерянной задумчивости отворачивает назад последнюю страницу, словно взвешивая, не разыграть ли ее по-новому, но, видно, так и не решив, повторяет с выражением безгловости:

— Пос...

Сейчас в ее произношении эта оценка приобретает оттенок какого-то особого позора, какой-то жалкой бездарности. Словно я и не утонул в болоте, но и не вырвался на чистый берег, а так, все еще барахтаюсь в мерзостной тине возле берега. Уж лучше бы совсем утонул!

Тетушка, подпершись ладонью, сидит в горемычной позе.

— Хватит, отстань от мальчика, — говорит бабушка по-абхазски, чтобы дядя Алихан и дядя Самуил не поняли

ее. Тетушка на ее слова не обращает никакого внимания. Она молча сидит за столом, подпершись ладонью, и голова ее слегка подрагивает, как бы подтверждая бесконечный, как жизнь, список разочарований, и одновременно это подрагивание головы означает старческую слабость.

— И вот на кого сгубила я свои лучшие годы, — говорит она, не меняя позы и только слегка усиливая подрагивание головы. Имеет в виду она меня и моего старшего брата.

— Я не согласен, — твердо возражает дядя Самуил и кивает на меня, — этого еще можно исправить... А старшего надо ремеслу учить...

Я сижу, опустив голову, искоса следя за происходящим. Мне очень стыдно, но и стыдясь, я помню, что будет еще стыдней, если дядя мой все это застанет. Поэтому никакого оправдания, ни одной щепки в этот костер.

— Нет, Самуил, не утешай меня, — говорит тетушка, не меняя позы и меланхолично вглядываясь в свою напрасно прожитую жизнь. — лучше бы я сюда совсем не возвращалась... Лучшие годы сгубила...

Тетушка была замужем за каким-то провинциальным персидским консулом, который в свое время жил в нашем городе, а потом увез ее в Персию. Потом она оттуда приехала без консула, одна. Об этом с детства говорили в нашем доме. И о том, что она, бросив консула, вернулась на родину, тоже говорили как-то естественно, словно консул этот от старости развалился, и ей ничего не оставалось, как приехать домой.

Судя по легенде, похожей на правду, учитывая тетушкин темперамент, на свадьбе моей мамы, которая состоялась после ее приезда из Персии, тетушка танцевала целые сутки. И теперь я, вспоминая рассказы об этом, думаю все с той же рациональностью: как же она могла из-за нас покинуть Персию, когда нас, а среди нас в особенности меня, потому что я младший, когда нас тогда на свете не было?!

— Тетя, — говорю я, подымая голову, — но ведь когда ты возвращалась из Персии, нас не было на свете!

— Дье, — произносит тетушка и, протянув в мою сторону бессильную длань, замирает, как бы удивляясь, что я в моем положении еще смею разговаривать. Но вот она отводит бессильную руку и потухший взгляд в сторону бабушки и дяди Коли.

— А эти инвалиды? — говорит она устало. Получается, что никакой разницы между нами нет, все мы одна цепь, которую она тащит, надрываясь. Все оглядываются на бабушку и дядю Колю, словно впервые их замечая.

Дядюшка приосанивается, как бы подчеркивая правую полноценность своего пребывания на кухне. Он не совсем понимает причину всеобщего внимания к нему и ба-

бушке. Дело в том, что иногда он задерживается, уже выпив вечерний чай, и тогда (как он думает, — с полным основанием) тетушка гонит его в постель.

Но сейчас-то он чаю не пил?! Вот напьюсь чаю, и мы с бабушкой пойдем спать, говорит он всем своим видом, а какого черта вы все на нас устались, я не понимаю...

— Отстань от нас, — говорит бабушка несколько раздраженно. Скорей всего она не слышала, что тетушка сказала, но сам жест ее руки, выражающий, мол, вот они, мои гири, делает понятными ее слова.

— Отстань! — повторяет дядя, видя, что бабушка действует примерно в таком направлении. В то же время он более целенаправленно и сердито начинает смотреть на моего брата, потому что брат, воспользовавшись тем, что все обернулись в сторону бабушки и дяди, успел пригрозить ему, на что дядюшка быстро и охотно откликнулся. Все-таки это общее и расплывчатое внимание всех хотя и неприятно ему, но как-то слишком безадресно. Другое дело — вот этот мальчик пригрозил ему, вот отчетливо выявилась точка зла, и с ней он готов скрестить оружие. Он устался на моего брата, взглядом предлагая вместо скрытой угрозы попробовать какое-нибудь открытое враждебное действие.

Но тут в кухонном окне, выходящем на веранду, мелькнула чья-то тень.

— Гости! — крикнул мой брат и вскочил. Дядя Коля отвел от него глаза.

Дверь в кухню отворилась. В дверях стояла тетя Медея. Тетушка мгновенно преобразилась и расцвела, превратившись из трясущей головой старухи, загубившей свою молодость на двух балбесов, в цветущую тридцатипятилетнюю царевну-лебедь. — Сколько лет, сколько зим! — говорит она, улыбаясь и подходя к тете Медее.

— Золотая моя, — отвечает ей тетя Медея, все еще щурясь от света, а тетушка смачно целует ее в губы.

— Как это ты догадалась, кто тебе подсказал зайти к нам, — говорит тетушка с певучей грузинской растяжкой слов, потому что тетя Медея грузинка. Я знаю, что тетушка это делает не из лести, а опять же из-за артистичности натуры, из наслаждения самой гибкостью своих возможностей. С кубанцами она говорит, незаметно впадая в гаканье, а с грузинскими евреями, очень плохо знающими русский язык, она говорит на такой тарабарщине, что сама запутывается и для простоты переходит на грузинский язык.

— Сейчас почаевничаем, скоро хозяин придет, — говорит тетушка, усаживая гостью на свое место, вытряхивает раковину пепельницы и подставляет ей. Тетя Медея закуривает и, несколько поерзав, усаживается в очень уютной скульптурной позе.

— Самовар, — показывает тетушка дяде Коле на самовар. Тот радостно вскакивает.

— Су, су, — по-турецки объясняет ему тетушка, чтобы он не только вынес на веранду и разжег самовар, но и принес из колодца (напротив через улицу) свежей воды.

— Вода? — перекрестно по-русски переспрашивает он у нее, чтобы не спутать чего-нибудь там.

— Да, да, воду, — кивает тетушка, и дядя хватается за самовар и вытаскивает его на веранду. Потом он со звоном схватывает ведра, стоящие на веранде, и бежит вниз по лестнице.

— Собаки! — раздается его яростный голос с лестницы. Это он гонит нашу собаку Белку.

В сущности говоря, чай у тетушки на кухне с небольшими перерывами пьется с самого обеда. Зайдет кто-нибудь, тетушка его угощает чаем и сама заодно пьет. Но самовар — это большое вечернее чаепитие. Вдруг тетушка, пошарив на кухонной полке, обнаруживает, что в железной коробке для чая нету чая.

— А где же чай? — спрашивает она, растерянно озираясь.

— Я только заварила свежий, — ворчливо замечает бабушка по-абхазски, — хватит на вечер.

— Чтобы я этими помоями поила лучшую из моих подруг?! — отвечает ей тетушка по-русски и потому несколько предательски по отношению к бабушке. Она с размаху выливает в помойное ведро всю заварку.

— Пойду на сон энциклопедию почитаю, — говорит дядя Самуил и непреклонно, словно сейчас все на нем повиснут, встает.

— Хорошо, Самуил, — говорит тетушка, как я думаю, с тайным удовольствием. Дядя Самуил, попросившись, выходит. Мне кажется, что тетушка с таким же удовольствием сейчас рассталась бы и с дядей Алиханом, но тот не собирается читать энциклопедию и продолжает сидеть. Он даже пытается остановить дядю Самуила, но тот непреклонно выходит.

— Сходишь к Мисропу, — говорит мне тетушка и сует деньги, — две пачки цейлонского чая и две пачки папирос «Рица»... Если у Мисропа не будет, сбегаете возле почты, а если там не будет, сбегаете возле аптеки...

— Хорошо, — отвечаю я, стараясь не взбаламутить воспоминаниями о моей учебе ее ясной деятельной радости по поводу прихода тети Медеи.

Тетушка быстро протирает тряпкой стол, на котором все еще лежит моя тетрадь. Я боюсь, как бы она при виде тетради снова не вспомнила обо всем, и с тайным трепетом и явным смирением тихо приподымаю тетрадь, как бы для того, чтобы освободить пространство для ее тряпки,

ерзающей по клеенке. Нет, кажется, она прочно забыла про меня и про мои отметки.

Дядя Алихан подымает руки, чтобы дать ее тряпке поерзать возле него, и по тому, как она яростно действует возле него, я чувствую, что она не прочь была бы и его смести, как крошки со стола, потому что сейчас начинается другая жизнь и нужны совсем другие декорации.

— Если бы ты знала, что мне рассказали об этой Негодяйке, — говорит тетя Медея с каким-то горестным торжеством и, выпустив клуб дыма в потолок, складывает руки на груди, красиво отодвинув ладонь с дымящейся папиросой, зажатой между длинными худыми пальцами.

— Потом расскажешь, — почти воркует тетушка и достает с кухонной полки банку с айвовым вареньем. Тетя Медея любит айвовое варенье.

Я хватаю деньги и тетрадь и бегу вниз. Оставляю тетрадь дома и бегу на улицу.

— Ты куда? — успеваешь окликнуть меня мама.

— За чаем послали, — кричу я, не останавливаясь, и бегу дальше.

На миг, вспомнив одинокую фигуру мамы, сидящей под лампой и штопающей носок, я чувствую укол стыда: мама вечно дома одна, а мы почти каждый вечер собираемся у тетушки на кухне, как в клубе. Но это мгновенное озарение быстро проходит. Я бегу по теплой вечерней улице, с уютно по-южному распахнутыми окнами, с зажженным светом в окнах, с уютными кучками соседей, сидящих на порожках своих домов.

Какая-то сила заставляет меня бежать все быстрее и быстрее, не останавливаясь. Я мечтаю, чтобы у Мисропа, это ближайшая к нам лавка, не оказалось цейлонского чая или папирос «Рица», чтобы мне пришлось обежать весь город, и еще я мечтаю, жарко, сладостно, с завтрашнего дня начать новую жизнь: не засиживаться у тетки, не ходить с ней в кино на поздние сеансы, высыпаться и хорошо делать уроки, чтобы никогда, никогда не повторился этот позорный кошмар.

Встречный ветер выдувает из меня остатки испытанного стыда, промывает меня свежестью. Именно потому, что я твердо решил с завтрашнего дня начать новую жизнь, я с какой-то жадной яркостью представляю, как будет приятно сегодня допоздна засидеться на тетушкиной кухне и вбирать в себя разговоры взрослых, из которых встают странные, соблазнительные, подлинные в своей глуповатости картины взрослой жизни. А потом уже где-то в первом часу, если мать не загонит домой раньше, спуститься вниз, с головой, разгоряченной и опухшей от табачного дыма, и потихоньку лечь спать.

Здесь внизу у мамы — суховатая, необходимая, долг.

Там — сладость излишка, страсть. Моя детская душа бьется между этими двумя полюсами, еще не ведая, что они — полюса. Мать — долг. Тетушка — страсть.

* * *

По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета — относительно алкогольных напитков — нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма.

Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенной кожурой и крапчатыми надрезами. Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мягкость. Я до того ясно представлял себе вкус колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, насколько точно я угадал его фантазией.

Конечно, бывала возможность попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка.

Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свиной, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое недоступное окружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне.

В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослея, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях.

Тетя Соня была пожилой женщиной с коротко стриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать.

Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, недослышав ее последние слова, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа.

Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал ни-

какой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.

По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса в том месте, где она говорила, как среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды.

Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и как-то даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.

Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная, доброкачественная сутулость, какая бывает у хороших старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим.

Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно.

Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.

— А посмотрим, как это не получится, — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса.

Он легко и уверенно повертывал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал в нее с какого-то совсем неожиданного бока.

— А вот так вот и не получится, осрамишься, — отвечала тетя Соня и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат. В конце концов ему удавалось завести часы, в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:

— Ну что? Получилось у нас или нет?

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.

— Ладно, ладно, расхвастался, — говорила тетя Соня. — Убирай со стола, будем чай пить.

Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость, и мне приятно было за дядю Шуру, и я ду-

мал, что он, наверное, не хуже того героя гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня.

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла сестра, и они оставили её пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.

— Вот видишь, — сказал дядя Шура. — Эх ты, монахи! Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала, — вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно.

Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двойную цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно.

Рассказывая, сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращивала глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару.

В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило: сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я

чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте... Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд.

«Жуй, жуй, — думал я, — посмотрим, как ты его проглотишь».

Но, видимо, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок, по-видимому, она даже затолкала им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела.

Наконец она дошла до края бутерброда с самым толстым слоем сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба, чтобы усилить сладость последнего куска.

И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось.

Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили.

Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. Я отказался и от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.

Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.

— Мне надо уроки делать, — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.

Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом паябедничаю, к тому же она боялась одна ночью переходить двор.

Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Станные видения проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются, качают головами: что за мальчик? Я сам себе удивляюсь, но не ем. Убивать убивайте, а съесть не заставьте.

Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.

— Лег спать, — сказала мама, — что-то он скучный пришел. Ничего же случилось?

— Ничего, — ответила она и подошла к моей постели. Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи, но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился. Поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаяние и теперь не знает, как искупить свою вину.

Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полупшепотом рассказывала маме, и они то и дело смеялись, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться.

Было ясно, что она довольна этим вечером. И сало поела, и я ничего не сказал, да еще и маму развеселила. Ну ничего, думал я, придет и наше время.

На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидалась его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачать.

Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.

— Ну конечно, — сказал я, — она вчера так наелась у дяди Шуры...

— А что ты ела? — спросил брат, как всегда, ничего не понимая.

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковницу. Вареный лук — это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня.

— Она любит лук, — сказал я. — Правда, ты любишь лук? — ласково спросил я у сестры.

Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.

— Если ты любишь, возьми и мой, — сказал брат и, поймав ложкой лук из своего супа, стал переключивать в ее тарелку. Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и повернула обратно.

Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пяточками огурца из салата и стал есть, деликатно откусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину позорного падения сестры. Она поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не считая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался.

Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разругались, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей.

Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие глянцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.

Их было всего девять штук, и отец раздал их нам поровну, каждому по три тетради. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью.

В школе брат мой считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял себе его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Вероятно, чтобы догнать его, он с четвертого класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:

«Директору транспортной конторы

Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как я являюсь шофером третьего класса».

Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Вверенная организация дала ему машину. Но ока-

залось, чтобы догнать свой темперамент, он вынужден мчаться с недозволенной скоростью, и в конце концов пришлось менять свою профессию.

И вот меня, почти отличника, приравнивали к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями.

Или к сестре, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок. Я отодвинул от себя тетради и сидел насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унижительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. Ничто не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.

— А у меня две промокашки! — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей.

Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось.

Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:

— Она вчера ела сало...

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями.

Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры, — пояснил я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, потряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.

— Сукин сын! — крикнул отец. — Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверь, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею.

Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал:

— Наш отличник!

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал.

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделавшись от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось.

* * *

Теперь поговорим о времени.

Но прежде чем говорить о времени историческом, я должен сказать, что у меня со временем обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимоотношения. Вернее, не со временем, а с часами.

Как это ни стыдно (в сущности, сейчас это не стыдно, тогда было стыдно), должен признаться, что, научившись читать еще до школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней мере в течение трех лет, полное непонимание того, что происходит на циферблате.

Вернее, было понимание общего направления времени, то есть я догадывался, что если стрелка часов приближается в цифре двенадцать, то она неожиданно назад не пойдет, а будет пересекать эту цифру и идти дальше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизилась к такому-то часу, но точно сказать не мог.

Кроме того, я понимал, что если большая стрелка находится на правой половине циферблата, то будут говорить, что сейчас столько-то минут такого-то, а если на левой половине — то будут говорить без стольких-то минут столько-то. И еще я знал, что если обе стрелки сошлись на двенадцати, то значит так оно и есть — ровно двенадцать часов. В сущности, это последнее знание общей картины жизни циферблата, было непонятно, почему такое исключение для двенадцати часов.

Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Но, во-первых, чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь, а во-вторых, признание в тупости есть все-таки хотя бы частичное ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить время по часам, хотя по возрасту должен был это уметь, и некоторые терзания по этому поводу оставили след в моей памяти, который я теперь и воспроизвожу.

Просто так получилось, что вовремя мне никто не показал, как узнается время по часам, а потом все были уверены, что я это и так знаю, а мне уже было стыдно спросить.

В нашем дворе часов в доме ни у кого не было. Не-

которые мужчины имели часы, но они носили их на руке или в кармане, как мой отец. И те и другие с утра уходили из дому со своими часами. Двор же, насколько я помню, со всеми своими обитателями, то есть женщинами, детьми, моим сумасшедшим дядей (отношение его ко времени так и не удалось установить), собаками, кошками, курами не испытывали ни малейшей нужды иметь при себе свое точное время.

В хорошие дни женщины ориентировались по солнцу, а в остальное время по пароходным гудкам. Пароходы шли из Одессы в Батуми и обратно, попутно заходя в наш порт.

Пароходные гудки почему-то вызывали у Богатого Портного иногда добродушные, иногда ворчливые, иногда насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания.

— Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез, — говорил он с усмешкой, кивая в сторону порта, как бы обращая внимание на глупость самой идеи гудка. Что значит «тоже»? Частица эта казалась особенно бессмысленной и потому смешной.

В сущности говоря, сейчас анализ этой фразы мог бы раскрыть бесконечное богатство ее содержания. Опять же эта частица. Формально получается, что пароход тоже надоел, как надоели ему другие бессмысленно гудящие явления жизни. Но никаких других гудящих явлений жизни поблизости от Богатого Портного явно не было, следовательно, эта частица своей уместной неуместностью отсылает нас к более отдаленному смыслу. И мы его поймем, если снова прислушаемся к фразе в целом.

— Этот пароход, — стало быть, говорил Богатый Портной, — тоже так гудит, как будто бы мне золото привез.

Охватывая фразу в целом, мы нащупываем ее главную тему, а именно: «Я и пароход». Оказывается, эта тема внутри этой фразы в сжатом виде заключает в себе целый сюжет. По-видимому, кем-то было обещано, что однажды пароход, который гудком, чтобы Богатый Портной его услышал в любой точке города, известив о своем приходе, привезет ему золото. Но он уже давно знает, что никакого золота этот гудящий пароход не привезет. Более того, еще до парохода было немало других движущихся сооружений, которые тоже о своем приближении извещали гудками и тоже обещали привезти ему золото. Но оказалось, что все они морочили голову, и у него теперь нет ни малейшего желания слушать эти гудки и ждать это фантастическое золото. И конечный вывод: нечего надеяться на какой-то пароход, который якобы привезет тебе золото, а надо надеяться на самого себя, что он, Богатый Портной, и делает.

Другие его восклицания по поводу пароходного гудка были, можно сказать, дочерними предприятиями той же темы. Так, например, в ответ на гудок он иногда замечал: — Сейчас, сейчас прибегу с чемоданом.

То есть не в том смысле, что он собирается уехать с чемоданом на прибывшем пароходе, а в том, что он якобы поспешит с чемоданом для получения причитающегося ему золота или бриллианта, как он иногда говорил.

С пароходными гудками по-настоящему был связан только дядя Алихан, потому что он продавал жареные каштаны пассажирам пароходов, идущих из Одессы. Они хорошо брали наши каштаны, может быть, потому, что Одесса богата несъедобными конскими каштанами, которые развивают в одесситах тоску по съедобным каштанам. Возможно, они набрасывались на наши каштаны из ревнивой любознательности — вот, мол, тоже каштаны, а дают съедобные плоды, не то что наши дармоеды.

Иногда пароход из-за штормовой погоды опаздывал, и Алихан, принарядившись, с готовой корзиной ждал гудка у своего порога. Ожидание его нередко сопровождалось шутками Богатого Портного в том духе, что, мол, пропал теперь Алихан, что, мол, по радио сообщили, что рейс отменяется, и тому подобное.

Алихан на эти шутки никогда не отвечал, а солидно стоял возле своей корзины, прикрывая ее, чтобы сохранить тепло, мешковиной, а то и старым одеялом. Как только раздавался гудок, он сбрасывал это тряпье и, бодро ухватив корзину, отправлялся в путь.

Женщины нашего двора в то время в основном все-таки ориентировались по солнцу.

— Где солнце, а я еще на базар не ходила! — вдруг спохватывалась какая-нибудь из них. — Где солнце, а где ты?! — раздражалась другая, увидев во дворе свою запаздывающую подругу.

В четвертом классе, когда нас неожиданно перевели во вторую смену, у меня начался разлад со временем. Сначала я приспособился определять его по солнцу. Я заметил, что когда тень от края крыши соседского дома, попавшая на стену, покрытую в верхней своей части двумя рядами листового железа, проходит первый ряд, самое время идти в школу. Так длилось с неделю, а потом с неделю была пасмурная погода, шли дожди и мне приходилось выглядывать из окна на улицу, пытаюсь узнать время у прохожих, что было не всегда удобно. Потом погода опять улучшилась, и я, дождавшись, когда тень от солнца покрыла верхний пояс листового железа, отправился в школу и опоздал.

Я был не только огорчен, но и изумлен этим астрономическим коварством. Разумеется, я понимал, что солнце на небе в зависимости от времени года подымается вы-

ше или ниже и от этого тень может менять свою длину, но я был уверен, что все это происходит в течение нескольких месяцев. А тут всего неделя, ну, от силы дней десять прошло, но никак не больше.

Было впечатление чуда, словно я поймал природу за сменой вывески, словно зеленый летний лист на моих глазах слегка пожелтел по краям. Кстати, в ответ на мой рассказ об этом бабушка сказала, что точно так же она была поражена, когда однажды в девичестве у нее была бессонница и она заметила, что звездочка, светившая в ее окно, за ночь заметно переместилась. До этого она считала, что на небе днем движется солнце, а ночью луна, а то, что и звезды передвигаются, она и понятия не имела, как простая деревенская девушка. Правда, сказала она, это было давно, а то, что сейчас делается на небесах, она не знает. Я из этого ее замечания заключил, что бабушка со времен девичества не знала бессонницы.

Открытие мое (насчет солнца, а не бабушкиных звезд) хотя меня и поразило, но не обескуражило. Я стал приспосабливаться к длине тени, довольно правильно угадывая время, когда надо было идти в школу.

Глядя на этот пояс из листового железа, я мысленно набавлял чуть-чуть тени, и получалось довольно правильно. Кстати говоря, ржавчина на этих железных листах расплзлась в самые причудливые рисунки, напоминающие то географическую карту, то сражения каких-то мифологических существ, то еще что-то.

Однажды на одном из квадратов, как в раме, я отчетливо увидел известный портрет Ленина, читающего газету «Правда». Ну, разумеется, в отличие от подлинника и его репродукции на этом творении природы нельзя было догадаться, что это именно газета «Правда», но в остальном было удивительное сходство, особенно этот лобастый, как бы таранящий наклон головы.

Интересно отметить, что потом с годами многие рисунки, которые я угадывал на этих железных листах, то ли под влиянием погоды, то ли возраста, а скорее всего и того и другого, менялись. Так, однажды, уже кончая школу, на одном из листов я заметил смутный, но совершенно прелестный силуэт уходящей девушки. Особенное удовольствие доставляла живая теплота и необыкновенная точность движения ноги, еще не шагнувшей (нельзя же сказать, задней ноги? или можно?), но уже расслабленно приподнятой, в мгновение отделения ее от земли. Мне кажется, впоследствии произведения живописи редко доставляли мне такое удовольствие. Я думаю, тут дело в сочетании точности с таинственностью, дело во включенности нашего воображения. Из хаоса каких-то цветовых пятен мы извлекли какой-то рисунок, то есть какой-то смысл. Прелесть его еще в том, что он не только вызван

к жизни некоторыми усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения и, главное, дорисовывается за счет того же воображения.

Здесь два главных момента следует отметить, — скажем мы голосом лектора. Первое — это то, что, видимо, в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати, отчасти в этом, вероятно, удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть отчасти как бы создать ее.

Второе — искусство недосказанности. В данном случае недосказанность — это недорисованность той девушки, то есть возможность, нет, благодарная возможность дорисовать ее за счет своего идеала.

Искусство недосказанности — одно из самых неподвластных разуму: интуитивных. Недосказывая, надо недосказать так, чтобы воображение, перепрыгивая с камня на камень, не бултыхнулось в реку. Но и расстояние между камнями должно быть достаточно большим, чтобы прыжок ощущался как истинно захватывающий дух, истинно рискованный, и тогда он по-настоящему встряхнет, взбодрит нас.

Иными словами, можно сказать, что недосказанность в искусстве — это не река, уходящая в песок, а река, впадающая в Лету.

Кстати, что может быть пошлее басни, которая вместо морали в конце предлагает подумать и сделать якобы собственный вывод, то есть предлагает прыжок там, где можно спокойно перешагнуть.

Я вижу, что, взволнованный воспоминаниями о чудном силуэте уходящей девушки, я почти пропел гимн недосказанности в искусстве. Тем не менее должен для полноты своего истинного отношения к предмету сказать, что самые великие произведения искусства, такие, скажем, как «Война и мир» Толстого или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, сильны прежде всего прямой радиацией художественной мощи, хотя и в них есть элементы недосказанности, дополняющие ясную, очевидную, но от этого ничуть не менее потрясающую картину жизни.

И последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. Я могу подолгу любоваться прекрасной картиной Врубеля «Демон», могу и равнодушно пройти мимо. Ну, постоять мгновение и пройти. Зависит от настроения. От совпадения двух настроений, смотрящего и картины. Вероятность попадания велика, потому что и настроение крупное, и передано замечательно. Но, увидев картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», я не могу не остановиться, потому что картина смыкает мое личное настроение и погружает меня в ровный и могучий поток своего настроения. Наверное, в этом разница между талантливym и великим. Из этого не следует, что талантлив

вое должно приспособливаться к моему настроению, это я, если хочу понять его, должен войти в его настроение.

Но о чем я? Прошлым летом я был дома и видел все ту же стену, опоясанную теми же железными листами, но ни одного рисунка я не узнал, кроме — представьте себе! — Ленина, все еще читающего газету. А где же моя милая девушка, я почему-то тогда же нарек ее пионервожатой, хотя в едва намеченных очертаниях одежды никак нельзя было уловить такой малой детали, как пионерский галстук на шее.

Одним словом, в плохую погоду я время узнавал у прохожих. Разумеется, часы бывали не у всех прохожих. Более того, не все прохожие из тех, что явно имели часы, отвечали мне на ясный вопрос:

— Дяденька, который час?

Некоторых пугала неожиданность вопроса или раздражала его оголенная упрощенность: вот так вот прямо и скажи ему!

Я, конечно, старался не вызывать у них раздражения, что иногда, в свою очередь, то есть именно мои старания и вызывали неожиданные взрывы гнева. Так, чтобы не пугать прохожих неожиданностью вопроса, я, прижавшись лицом к оконной решетке, старался еще издали переглянуться с прохожим, с тем чтобы, подготовив его этим переглядыванием, спросить, который час, когда он поравняется со мной.

Но некоторые из них, по-видимому, обладая повышенной телепатической чуткостью, увидев мой вопрошающий взгляд, уже не спуская с меня глаз, с чрезмерно повышенным интересом к моему еще не заданному вопросу подходили к окну и, остановившись в пределах допустимого риска, осторожно спрашивали:

— В чем дело?

— Дяденька, который час? — спрашивал я, чувствуя, что простота моего вопроса оскорбительна, как и то, что я его не остановил, когда он направился в мою сторону.

— Ты смотри, что за нахал! — вскидывался иной из этих прохожих и, ворча на испорченную молодежь, продолжал свой путь. А то еще, остановив другого прохожего, идущего навстречу, рассказывал ему о том, что, мол, он проходил себе по улице, как вдруг этот шкет позвал его, и так далее. Разумеется, я ни одного из них не звал, хотя и бросал на них выразительные взгляды с тем, чтобы они потом не вздрагивали, когда я у них буду спрашивать время.

Обрывки этих жалоб я слышал, стоя у окна, а иногда встречал и укоризненный взгляд того прохожего, которого остановил мой прохожий. Взгляд этот вменял мне в вину не только то, что я остановил на дороге солидного взрослого человека, но и то, что этот человек остановил его,

уже вовсе ни в чем не повинного взрослого человека, не имевшего ни малейшего желания входить в историю взаимоотношений того взрослого человека со мной.

Все-таки, справедливости ради, я должен сказать, что большинство прохожих, даже вздрогнув и выдержав неожиданность вопроса, отвечали мне дружелюбно и нередко даже с улыбкой.

Иногда, ожидая прохожего с часами, я слышал далекий звонок из нашей школы, но доверять ему было опасно: неизвестно было, с какого урока или на какой урок он звонит.

Именно в эту осень к нам во двор переселилась семья, у которой были домашние часы. И какие! Это были не часы, а скорее маленькая часовня из красного дерева, время от времени издающая звон, подобно нашей греческой церкви, и до того грозно показывающая мечами своих стрелок на цифры, что каждое время, на которое они указывали, казалось, в чем-то провинилось.

Часы эти принадлежали семье, которая переехала к нам откуда-то из России. В то время у нас в горах строили новую ГЭС, и глава семьи на этом строительстве был каким-то начальником.

Жена его — подвижная, легкая, довольно остроумная, но почему-то и глуповатая, как я впоследствии заметил, женщина. Звали ее тетя Женя. У них было двое детей — взрослая девушка Лиза с миловидной белокурой головкой, очень близорукими васильковыми глазами и тяжеловато стекающей к ногам фигурой. Сына звали Эрик. Помню тот первый день, когда тетя Женя пришла к моей тетушке вместе с этим незнакомым тогда еще мальчиком. Слушая краем уха болтовню женщин, я наблюдал за ним.

Он стоял возле своей матери, в вельветовой курточке и таких же штанишках, чем-то похожий на изображение дореволюционных мальчиков из зажиточных домов. Но меня поразила не столько его одежда, сколько его военизированной-смирненной позы, в которой он стоял возле своей матери. Такая поза в нашей разгильдяйской семье была возможна только в виде пародии на благонравие, и я все ждал, когда же этот мальчик подмигнет мне или рассмеется.

В ответ на мои взгляды мальчик с комическим спокойствием продолжал сохранять свою военизированной-смирненную позу и смотрел на меня своими большими зелеными глазами с выражением грустной невозмутимости. В конце концов я понял, что он так может стоять до бесконечности, и почему-то представил его с пионерским горном, в который он трубит, уставившись в небо своими грустными, невозмутимыми глазами.

— Мама, носик течет, — вдруг сказал он, не меняя

позы и продолжая смотреть на меня своими грустными, невозмутимыми глазами.

Всех, кто был в кухне, а там, кроме тетки, были и другие женщины, поразил этот спокойный интеллигентный возглас. Тетушка посмотрела на меня с каким-то смешанным чувством упрека (я в его возрасте этого не говорил) и сожаления (примером этим ввиду его опоздания уже невозможно было воспользоваться).

В нашем окружении дети в этом возрасте или утирались рукавом, или второпях втягивали содержимое носа в более безопасные глубины. В лучшем случае, если в руках оказывался платок, пользовались им без всякой консультации с кем-либо. А этот мальчик предпочел поставить в известность свою маму о состоянии своего носа с тем, чтобы ей как более опытному человеку дать полную свободу решать, каким способом справиться с подступившей опасностью.

Все, кто был в кухне, крайне удивились этому. Все, кроме матери и сына. По-видимому, это была обычная фраза в их обиходе. Мать его, не переставая разговаривать с тетушкой, поднесла платок, и мальчик, кстати, не переставая глядеть на меня своими большими грустными глазами, несколько раз вежливо высморкался.

Постепенно мы с ним разговорились. Он сказал, что умеет читать, что у него самый большой из всех конструкторов, которые выпускались в нашей стране, и что он может определять время по часам, а страны света — по компасу. Упоминание о часах вызывало у меня в груди глухую боль, сальерианское сжатие сердечной мышцы. Даже такие дети умеют определять время, думал я, что же я никак не научусь? Я был года на три старше его. Я предложил ему выйти на балкон, как мы называли длинную застекленную тетушкину галерею.

— Мама, можно мы поиграем на этой галерее? — спросил он, не подхватывая, как я заметил, принятого нами слова, а с некоторым, как мне показалось, жестким своеобразием, употребляя свое, более точное слово.

— Только недолго, — ответила его мама, продолжая оживленно разговаривать с тетушкой.

Мы вышли на балкон (именно на балкон!) и только прошли несколько шагов, как он обратил свой оживившийся взор на ремень, висевший на стене. Здесь обычно по утрам дядя правил бритву.

— Это тебе? — спросил он с каким-то радостным любопытством.

— Как мне? — не понял я.

— Ну, тебя колотят ремнем? — спросил он, удивляясь моему непониманию. У нас в самом деле никого не били ремнем.

— Нет, — сказал я. — А тебя?

— Бывает, — вдруг вздохнул он, как-то сразу запутав представление о себе. — Ну, во что мы будем играть? Хочешь в Чапаева?

— Давай, — сказал я, не подумав.

— Я буду Чапаев, а ты будешь чапаевская лошадь, — пояснил он. Из чувства гостеприимства я вынужден был согласиться. Не наоборот же, не садиться же мне на этого чистенького мальчуганчика, да к тому же я был старше, хоть и ненамного крупней.

Я встаю на четвереньки. Он ловко взгромоздился на мою спину и с криком: — «Вперед!» — стал гнать меня на воображаемые позиции врагов. Время от времени он прищипывал меня ударами ног, обутых в крепкие новенькие ботиночки. Я чувствовал, что игра его возбуждает, и он по мере возбуждения все крепче и крепче бьет меня по бокам.

Через десять минут мы уже барахтались на полу, потому что он, неожиданно вжавшись ногами мне в шею, с ненавистью прошипел, что я белый офицер, которому он поклялся отомстить за поруганную жизнь.

Как-то чувствуя, что даже белого офицера надо было бы за мгновение перед тем, как вцепиться в его шею, предупредить, я старался слегка разжать его руки, ослабить закруты его щипков и в то же время делал вид, что охотно принимаю участие в игре. Я почему-то все время помнил, что он — гость и что его обижать нельзя. Во время нашей возни я вдруг почувствовал, что этот мальчик пахнет не так, как наши мальчики. От него исходил какой-то другой, северный запах. Так мне казалось. На самом деле, конечно, это был запах хорошо ухоженного мальчика. И тем более была неприятна жестокость его азарта, переходящего всякие границы.

Обычно ребята во время такой щенячьей возни чувствуют какой-то порог, дальше которого нельзя идти. Этот же, возбуждаясь, пытался как можно глубже проникнуть в мою боль, пытался доковыряться до ее корней, до ее последнего сладостного нерва. Ну я, разумеется, старался не давать ему доковыряться до самых глубоких корней, отвлекая и стараясь подставлять ему более грубые, сравнительно боленепроницаемые участки тела. Наконец мы встали.

— Я сильно покраснел? — спросил он у меня.

— Не очень, — ответил я, глядя на его все еще возбужденную мордочку с пылающими глазами. Он тщательно оглядел себя, поправил чулки, расправил складки на вельветовых штанишках и вдруг стал трясти головой.

— Чтобы кровь отхлынула от головы, — объяснил он свое странное поведение.

Мы вошли в кухню. Он снова стал рядом с матерью,

глядя перед собой большими печальными глазами, и легкий наклон тела говорил о неустанной готовности выполнять любые мамины приказы.

* * *

Вот у них-то время от времени я и стал спрашивать, который час. Чаще всего мне отвечала его мать, иногда сестра, иногда этот маленький разбойник.

— Зайди, посмотри, — говорила мне его мать, если я обращался к ней во дворе.

В таких случаях мне приходилось действовать с огромной осторожностью и хитростью. Я знал, что если Эрик дома, то он меня обязательно поймает, потому что дома ему бывало скучно одному, а гулять его часто не выпускали за тихое бешенство его характера, которое не все соглашались терпеть. Происходили столкновения, после которых он получал порядочную порцию ремня от своей мамы.

— Мапочка, родная, я больше не буду! — раздавался его голос, сопровождаемый дикими взвизгиваниями. Двор, притихнув, прислушивался, жалея его и в то же время проявляя понимание необходимости таких экзекуций.

— Наши дети золотые, — покачивая головой, резюмировала тетушка сверху, — только мы не умеем их ценить...

После такой порки он обычно несколько дней не выпускался из квартиры, подолгу сидел у окна, сооружая там всякие машины из своего конструктора. В эти дни он был особенно опасен, пропитываясь ядом злости, как скорпион в брачный период.

Таким образом, когда я входил к ним в дом, а мамы его там не было, я должен был проявлять особую осторожность и хитрость. Смысл моей тактики заключался в том, чтобы с наименьшим количеством болевых ощущений, но ценой этих ощущений, узнать время и выбраться из квартиры. Поэтому, когда я входил в дом, а он мне предлагал поиграть, у меня не было возможности отказать ему.

Совершенно бессознательно я использовал довольно тонкий психологический прием, при помощи которого заставлял его сообщать мне время. Увидев меня, он бросался ко мне с просьбой поиграть, что в конечном счете означало разрешить ему пощипать меня, покусать или даже слегка придушить.

— Хорошо, — соглашался я, — минут десять поиграем, и я пойду.

И вот я уже нарушитель границы, ползущий на советскую территорию, то есть в комнату, в которой стоят часы,

а он знаменитый пограничник Карацупа и одновременно его собака.

— Фас! — приказывает он самому себе и бросается на меня. Осторожно держа на спине собаку, грызущую мне затылок, я делаю героический переход в комнату с часами. Я ползу, стараясь не думать о боли, а думать о его приятном запахе, что мне почему-то плохо удается. Наконец я проползаю в заветную комнату и тут уже под влиянием боли, а также тактической хитрости вскакиваю:

— Все! Прошло десять минут!

— Нечестно! Нечестно! — кричит он, показывая на часы. — Сейчас только пятнадцать минут первого.

Он кричит что-нибудь вроде этого, с горящими глазами, весь — трепет, весь — возбуждение, весь — праведный гнев. И я знаю, что он не врет, что это правда.

Интересно, используют ли этот прием следователи во время допроса? Слабое знание детективной литературы не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Например, хулигану, избившему человека, может быть, даже убившему его, но не знающему об этом, следователь мог бы предъявить обвинение в убийстве, скажем, оружием, которым этот хулиган явно не пользовался.

Не исключено в таком случае, что в ужасе перед клеветой человек ищет прочной опоры, и оказывается, что нет никакой прочной опоры, кроме правды, которую он схватывает с такой инстинктивной силой, с какой тонуший обнимает внезапно попавшееся ему бревно, и в силу невозможности, во всяком случае сразу, дозировать свою тяжесть, он идет вместе с ним ко дну, тогда как ему надо было только часть своей тяжести отдать этому разбухшему в воде бревну, а остальную часть удерживать за счет работы собственных рук и ног. Возможно, после нескольких погружений тонуший и догадается, как себя вести, но, возможно, и не догадается.

Конечно, все может быть. Может быть, я, по мнению некоторых осторожных людей, и не должен был здесь излагать этот хитроумный прием, чтобы им не воспользовались уголовные элементы. Но ведь я из чего исхожу? Я исхожу из того, что уголовные элементы меня не читают. Ну, а если вдруг прочтет кто-нибудь из них по ошибке, то он в процессе чтения обязательно исправится и, следовательно, ему незачем будет использовать этот прием в преступных целях. Такова нравственная сила нашей литературы, иначе, как говорится, и быть не может.

Но вернуться к нашему жизнеописанию. Кроме этого милого садиста, бросив которому кусок мяса, можно было узнать время, еще одно препятствие стояло на моем почти сказочном пути к познанию времени.

Это была его сестра. Правда, непосредственное препятствие это возникало довольно редко. Но по силе ду-

шевых терзаний оно не уступало физическим страданиям, которые я испытывал от ее брата. Хотя в отличие от брата она была доброй девушкой.

Лиза была студенткой педагогического института и, видимо, впервые попала на Кавказ. Все ее тут приводило в восторг, а особенно ей нравились наши местные молодые люди, а из местных молодых людей те, которые были армянского происхождения.

Сейчас, думая о причине ее влюбчивости и своеобразной избирательности, я нахожу этому такое объяснение. Как я говорил, она была близорука и при этом не носила очков. По-видимому, для такой девушки все мужчины должны проходить как расплывчатые контуры с лицами, покрытыми чадрой, которая как бы распаивается на близком расстоянии. Но среди этих загадочных чадроносителей выгодно выделялись лица с наиболее контрастными чертами: белозубые, чернобровые, черноглазые. А такими лицами, как правило, хотя и не без исключения, в нашем городе обладали армяне.

Вот я и думаю, что сначала она видела эти лица как наименее расплывчатые, вызывающие желание приглядеться, а потом, приглядевшись, влюблялась в них, потому что невидение (как и неведение в области идей) делало каждое (наконец-то!) рассмотренное лицо свежим и оригинальным. Одним словом, она влюблялась в армян. Это было ясно хотя бы по именам ее поклонников. Первым был Аветик, потом Вазген, потом Акоп, потом Мелик.

Короче говоря, она в них влюблялась, а влюбившись, писала о них рассказы. Каждый рассказ вмещался в одну ученическую тетрадь или был на несколько страничек поменьше. Эти рассказы она читала мне, если я попадался на ее пути, но чаще моей старшей сестре и ее подружкам.

За первый год пребывания в нашем дворе она написала около десяти рассказов, где были выведены молодые люди, в которых она влюблялась.

По общему признанию, лучшим рассказом был самый первый, то есть рассказ про Аветика. Время от времени у нас дома сестра моя вместе со своими подругами устраивала громкие чтения ее рассказов, и чаще всего читался рассказ про Аветика. И хотя обычно читали его в другой комнате, все-таки сквозь однообразное журчание то и дело доносилось: «Аветик, Аветик, Аветик...» От частого употребления многие места этого рассказа, особенно его начало, запомнились мне наизусть.

«...Аветик, высокий молодой человек, с мягкими, темными, волнистыми волосами, шел по прибрежной улице. На нем белоснежный костюм, который так шел его спортивной, праздничной фигуре.

— Привет Аветику! — окликнул его кто-то с бульварной скамейки. Аветик посмотрел в ту сторону и уже хо-
328

тел пройти дальше, поприветствовав знакомых студентов, но что-то его остановило и заставило к ним подойти. Среди знакомых студентов он заметил незнакомую девушку, которая поразила его своей оригинальной внешностью.

— Аветик, — просто сказал Аветик, когда их представили друг другу, и он пожал руку девушки крепким спортивным рукопожатием.

— Кажется, я вас где-то видел, — сказал Аветик, обращая внимание на ее волнующую привычку щурить глаза.

— Вполне возможно, — просто сказала девушка и улыбнулась ему той беспомощной улыбкой, которая всегда обезоруживает мужчин, — ведь я была на вашем последнем волейбольном матче... Вы играли бесподобно.

— Если бы я знал, что вы смотрите, — сказал Аветик, и на лице его проступила краска, заметная даже сквозь густой оливковый загар, — поверьте, я бы играл намного лучше...»

Это место меня всегда раздражало своей нелогичностью. Ведь если он подумал, что где-то ее видел, а потом выяснилось, что видел он ее именно на этой игре, то какого черта он несет всю эту чепуху: смотрите, не смотрите?! Кроме того, мне казалось, что фраза насчет волнующей привычки щурить глаза звучит нахально. Я считал, что в этой фразе должно было быть ясно, что привычка щурить глаза волнует именно Аветика, а не всех. Меня, например, ее привычка щурить глаза совсем не волновала. Дальше шло описание встреч, танцев на вечеринке и тому подобная ерунда. Кстати, описание кофточки, в которой героиня пришла на вечеринку, во время первого авторского чтения рассказа сопровождалось бесподобным по своей глупости движением головы в сторону этой же кофточки, сейчас висевшей на спинке кровати. Движение это, якобы незаметное для других, что делало его еще более глупым, предназначалось моей сестре, как посвященной, хотя я сам видел этого Аветика, и никакого там оливкового загара на его лице не было, обыкновенный чернявый парень, каких у нас полным-полно.

Кстати, во всех сценах этого рассказа он неизменно появлялся в своем белоснежном костюме, и так как явно нескольких белоснежных костюмов у него быть не могло, я представлял, что этот Аветик каждую ночь стирал свой костюм, а утром гладил его и выходил на улицу. В последней сцене описывался вечер на берегу моря, завершившийся первым поцелуем. «... — Кажется, для спортсмена я слишком сентиментален, — тихо сказал Аветик и склонился к ней.

— Как странно, — прошептала она и глаза ее закрылись. Из теплохода, стоявшего на пристани, доносилась дивная музыка».

Мать ее, слушавшая вместе с нами этот рассказ и впервые показавшаяся мне идиоткой, почему-то хвалила описание природы, хотя там никакой природы, кроме вздохов волн и пьянящего запаха магнолий, не было.

Я все думал, откуда она взяла этот пьянящий запах магнолий, хотя на всем побережье Абхазии нигде не растет ни одна магнолия. Они растут в парках и во дворах, а на самом берегу не растут.

После этого самого большого рассказа пошли другие рассказы про других армянских парней, потом в середине зимы вдруг снова выскочил Аветик, на этот раз в белоснежном свитере, что соответствовало нашей зимней погоде, но никак не соответствовало другим поклонникам, существование которых делало его появление скандальным. Он появился так, словно надолго уезжал на какие-нибудь соревнования, а она все это время здесь ждала его, хотя и он никуда не уезжал, и поклонники тут же шныряли. Просто они поссорились, а потом, видно, помирились, но ненадолго, и рассказец этот с Аветиком в белоснежном свитере оказался коротким, на полтетрадки.

Так вот слушание этих рассказов тоже было связано с необходимостью узнавать время, иногда прямо. То есть, скажем, я, измученный ее братом, выхожу из другой комнаты, а она в это время, низко-низко склонившись над тетрадью, строчит очередной рассказ.

— Подожди, сейчас кончаю, — говорит она, лежа щекой на тетради, и я вынужден дожидаться ее рассказа, где обязательно откуда-нибудь, если не с парохода, так с катера, если не с катера, так из зелени парка будет доноситься дивная музыка.

Кроме того, я на правах человека, близкого дому, должен был выслушивать их во время коллективных чтений у нас или у нее. Кончилось все это тем, что в тетради с первым рассказом об Аветике, который пользовался наибольшим успехом у подружек моей сестры (им было по тринадцать-четырнадцать лет), так вот, в этой тетради, в том месте, где было написано, что среди знакомых студентов его поразила незнакомая девушка с оригинальной внешностью, кто-то приписал сверху: «и ногами, толстенькими, как бильярдные ножки».

Сестра моя, отдавая ей эту зачитанную ее подружками тетрадь, не заметила приписку, но та ее заметила и обиделась на меня. И напрасно, потому что я никогда не видел настоящего бильярдного стола, кроме детского бильярда, стоявшего в парке, кстати, на тоненьких ножках с металлическими шарами, и все равно недоступного из-за ребят постарше, вечно толпившихся вокруг него.

Скорее всего, эту приписку сделал мой брат, к тому времени уже околавившийся возле городских бильярдных, или кто-нибудь из старших братьев подружек моей

сестры, которые, по всей вероятности, тоже околачивались возле приморских бильярдных.

Таким образом, я продолжал узнавать время по более или менее сходной цене болевых ощущений. Иногда, правда, Эрик вдруг превышал пределы терпимости, но и я иногда делал вид, что испытываю невыносимые страдания, когда страдания были вполне выносимы. Один раз он так сдавил мне горло, что я на мгновение потерял сознание. Помню, тогда меня больше всего поразила легкость, с которой можно лишить человека сознания. Оказывается, для этого достаточно более или менее одновременно сдавить сонные артерии, и ты вдруг так запросто теряешь сознание.

Вообще в детстве я отличался некоторой повышенной терпимостью к боли. Помню, когда я ходил в диспансер, где мне делали хинные (вечный малярик) очень болезненные уколы, я часто, дожидаясь очереди, слышал душевнораздирающие крики детей и иногда даже стоны взрослых. Я же переносил эту боль, не проронив ни звука, что вызывало удовольствие сестер и врачей. Меня ставили в пример.

Сначала мне было стыдно стонать или кричать из сознательных этических соображений, по-видимому, сказывались осколки абхазского воспитания. У абхазцев, как, вероятно, у всех горцев, довольно сильно развит в народном творчестве и в народных обычаях мотив превозмогания боли. Таким образом, этический мотив (стыд), подкрепляясь эстетическим примером (песня, легенда), помогал создавать тот духовный подъем, который отчасти заменял отсутствие наркотических средств в народной медицине. Так «Песня ранения» прямо адресовалась раненому, чтобы помочь ему переносить страдания.

Возможно, в какой-то мере осколки этого сознания во мне жили и мне помогали, а потом меня стали ставить в пример, так что стало еще стыдней проявлять признаки слабости.

Но, видно, всякая боль и терпение имеют свой порог, свои нервные пределы. Помню, однажды, когда я лежал дома после нескольких изнурительных приступов малярии и к нам домой пришла медсестра, чтобы взять у меня из пальца кровь на анализ, я долго и нудно сопротивлялся, никак не мог решиться протянуть ей палец.

Видимо, нервно ослабленный и изнеженный повышенной лаской к больному, я не мог силой стыда преодолеть эту, сравнительно с хинным уколом, маленькую неприятность. Хотя ослабление силы стыда отчасти и было вызвано, как я думаю, общим физическим ослаблением организма, что привело к ослаблению нервной силы, все же главное, я думаю, не в этом. Главное, ослабление силы стыда было вызвано именно повышенным вниманием ко

мне как к больному. Это повышенное внимание ко мне выражалось в желании близких свести на нет мнимые и истинные неудобства, которые испытывает больной. При чем сам больной, то есть я, воспринимал это повышенное внимание как справедливую плату за страдание. Это и снижало силу стыда, но воспринималось не как снижение силы стыда, а как одна из форм платы за страдание.

— Мне и так плохо, — как бы говорил я медсестре (а может, и на самом деле говорил), — так что же вы мне еще больно делаете?

Кстати, насколько я помню, повышенное внимание я не только воспринимал как справедливую плату за страдание, но, помнится, было какое-то ощущение недоплаты за эти страдания, что выражалось в капризах, доставлявших хмурое удовольствие.

Каприз — хромой призрак власти.

Кстати, механизм капризов женщины примерно такой же. Ощущение недоплаты, недооцененности. Это ощущение особенно свойственно замужним женщинам. И если вы хотите добиться у них признания, вам надо сделать следующее: вам надо с важным видом отвести такую женщину в сторону и под тем или иным предлогом сказать, что хотя ее муж вообще человек неглупый, имеет хороший вкус (намек: знал, кого выбрать), но при этом вы удивлены одним его поразительным недостатком.

— Каким? — интересуется заинтригованная женщина.

— Мне кажется, — говорите вы, — он вас недооценивает.

Какой пронизательный человек, думает о вас женщина, уже склонная отблагодарить вашу пронизательность за признание своей недооцененности.

Но шутки в сторону.

Вернемся к нашему, изрядно поднадоевшему сюжету.

В конце концов однажды я попался. В тот день я вышел во двор и увидел тетю Женю, развешивавшую белье. Я дождался, когда она его развесит, и, думая, что она сейчас пойдет домой, спросил, который час.

— А ты зайди и посмотри, — сказала она как-то странно и стала натягивать через двор вторую веревку. Приготовившись получить привычную порцию пыток, я вошел на крыльцо и открыл дверь в их квартиру. Бамбуковая палка, при помощи которой поддерживают сохнувшее белье на веревке, рухнула мне на голову с каким-то надтреснутым звоном. Из приоткрытых дверей следующей комнаты раздался воркующий смех юного экспериментатора. Палка эта, привязанная к шпагату, была подтянута к крюку, вбитому над дверью. Как только я открыл дверь в первую комнату, он, выглядывая из-за приоткрытой двери второй комнаты, вовремя отпустил конец шпагата.

— Эрик, палку! — раздался в это время голос его матери со двора.

— Сейчас, мамочка, — крикнул он ей в ответ и, исполнив передо мной небольшой танец индейца с копьем, сорвал шпагат с палки и убежал вниз.

Контуженный не столько силой удара, сколько мистической точностью коварного расчета, то есть опять проявившимся лучшим умением обращаться со временем (а что если бы его мама чуть раньше попросила бы палку?), я вошел во вторую комнату, тупо посмотрел на часы, мерцающие золотой бляхой маятника, взглянул на грозное в своей непонятности лицо циферблата и вышел из квартиры, стараясь незаметней проскочить двор.

Но не тут-то было. Моя собственная тетушка, высунившись из окна, спросила:

— Сколько?

Я посмотрел на тетушку, а потом вдруг заметил, что и некоторые другие обитательницы нашего двора прислушиваются к моему предстоящему ответу.

— Без двадцати, — крикнул я, нахальством голоса заглушая стыд, и, обрушившись с крыльца во двор, силой инерции взбежал на свое крыльцо, как лыжник с холма на холм.

Схватив портфель, я убежал из дома. Оказалось, что в школу я пришел впритык, и это какой-то занозой застряло у меня в груди. Я-то знал, что добежать от нашего дома до школы можно было за две-три минуты. Так что если Эрик и его мама захотели бы проверить после меня время, стало бы ясно, что я его не умею определять.

В тот день, придя из школы домой, я заметил, что маленький негодяй, несколько раз попадавшийся мне во дворе, как будто затаил какое-то ехидство. Он все знает, уныло думал я, но, может, все-таки он об этом не рассказывал своей маме? Мало того, что я не умею узнавать время, думал я с ужасом, я уже несколько месяцев морочу им голову, делая вид, что умею. Это придавало возможному разоблачению особую гнусность.

На следующее утро, когда я выходил во двор, мне показалось, что тетя Женя, отряхивавшая на крыльце мокрый веник, посмотрела на меня долгим насмешливым взглядом. Я не знал, что думать.

Приближалось время идти в школу, и я решил прибегнуть к старому способу. Я открыл окно и, упершись головой в железные прутья решетки, смотрел на улицу с тем, чтобы не прозевать прохожего с часами. Как назло, ни один прохожий из тех, кто, по моим соображениям, мог иметь часы, на улице не появлялся.

Через некоторое время из нашего двора вышел дядя Алихан с дымящейся корзиной, наполненной вареными каштанами. Для города он обычно продавал вареные каш-

таны. Он поставил корзину почти под моим окном и, не замечая меня, стоял, раздумывая, куда идти — направо или налево. Обычно только к пароходу он шел целенаправленно, а так он и сам не знал, где ему лучше продавать каштаны.

Как раз в это время на улице появилось двое бодрых, уверенных в себе мужчин. Только я подумал, что у них на руках могут быть часы, как один из них окликнул Алихана:

— Что это у тебя?

— Каштаны, — ответил Алихан, радостно вздрагивая и делая движение, выражающее готовность гребануть из корзины порцию каштанов.

— О, каштаны! — воскликнул первый бодрячок, и оба они быстро пошли к Алихану.

— Жареные? — спросил второй бодрячок, и по тону его видно было, что хоть и он бодрячок, а до первого ему в бодрости не дотянуться.

— Вареные, — сказал Алихан. Словно смягчая удар, он откинул марлю, и из корзины дохнуло парным запахом горячих, взбухших от варки и потряскавшихся каштанов.

— Жареные лучше, — важно сказал второй бодрячок и, оттопырив карман пиджака, подставил его Алихану. Алихан гребанул стаканом из корзины и, придерживая переполненный стакан ладонью другой руки, перевернул его в карман.

— А сырые еще лучше, — добавил первый бодрячок еще более уверенно и тоже оттопырил карман пиджака. Казалось, все, что надо знать о каштанах и о жизни вообще, эти двое знают лучше всех, а из двоих — первый.

— Дяденька, который час? — спросил я, стараясь обратиться к первому.

Все трое разом подняли на меня глаза. Первый как раз оттопыривал карман для каштанов и второй поэтому его опередил.

— Без четверти час, — сказал он, вскидывая руку.

— А точнее, без шестнадцати! — добавил первый бодрячок, справившись с каштанами, и теперь большей точностью как бы снова подтверждая свою большую бодрость.

Раздавливая в зубах горячие каштаны, они быстро пошли дальше, и кто-то из них пошутил насчет решетки, из-за которой я с ними говорил и которая напоминала им что-то смешное, но что именно, я не смог ухватить. Они ушли, веселые, бодрые, как бы хозяева жизни и окружающего пейзажа. Они ушли, внушая какое-то странное чувство зависти и снисходительного удивления к своей психической простоте, которую, разумеется, я формулирую сейчас, но почувствовал тогда же. И не только почувствовал, но и с грустью осознал, что все должно было бы быть наоборот,

то есть я, маленький, должен был жить весело, беззаботно, а они, большие, должны были быть озабочены сложными взрослыми делами.

Унылый Алихан посмотрел им вслед всей своей длинной согбенной фигурой и, словно только теперь поняв, куда ему идти, поднял корзину и пошел в противоположную сторону. Тут и я догадался, что мне делать.

Я выскочил во двор, поднялся на крыльцо наших новых жильцов и крикнул:

— Тетя Женя, который час?

— А ты зайди и сам посмотри, — услышал я ответ, который ожидал.

Я вошел в квартиру. В первой комнате у стола стояла тетя Женя и гладила редким тогда в наших краях электрическим утюгом. Сын ее, сидя на полу, создавал из своего конструктора индустриальный пейзаж. Пока я проходил во вторую комнату, Эрик провожал меня спокойным взглядом провокатора. Я зашел в другую комнату, посмотрел на ничего не говорящий мне мавзолей времени и вышел.

— Сколько? — спросила тетя Женя.

— Без пятнадцати, — сказал я небрежно и закрыл за собой дверь. Не удержался и несколько мгновений простоял с бьющимся сердцем. Крепкие ноги мальчугана протопали в другую комнату.

— Ну? — нетерпеливо раздалось из этой комнаты.

— Правильно, — сказал мальчик без всякого чувства. Я услышал, как он шлепнулся на пол.

— Видишь, какой ты, — сказала она, — а ведь он единственный мальчик в нашем дворе, который с тобой ладит...

Он что-то ей ответил, но я дальше не слушал. В тот день после уроков я решил не возвращаться домой, пока не пойму, как определять время.

Рядом с прибрежным бульваром, почти в конце улицы Ленина, высовываясь над тротуаром, висели (и, кажется, еще до сих пор висят) большие старинные часы.

Я знал, что многие взрослые люди, проходя под этими часами, довольно часто сверяют собственные. При этом они обязательно, если проходили не одни, громко называли время и выражали неудовольствие или, наоборот, радость по поводу работы своих часов.

В нескольких шагах от этих часов находилась часовая мастерская, словно для того, чтобы клиент после починки своих часов мог бы тут же сверить их работу с этими общегородскими и независимыми от часового мастера часами.

Тут-то я и стоял, поглядывая на толстого часовщика, который, зажав глазницей увеличительное стекло, пинцетом копошился в шевелящихся внутренностях часов, то вытаскивая оттуда, то снова вкладывая какие-то насекомообразные пружинки, колесики, винтики.

Потом я переводил взгляд на большие часы, ожидая прохожих и стараясь понять закономерность того, что произошло на циферблате после того, как сверяющие часы называют новое время. В ожидании прохожих, сверяющих свои часы с городскими часами, я следил за работой часовщика или просто глядел на его витрину, где были выставлены с одной стороны испорченные часы, а с другой — починенные. Все починенные часы показывали одно время. Стрелки остановившихся часов были вольно, непохоже друг на друга раскинуты по циферблату.

После какого-то прохожего, громко сверившего свои часы, в какое-то мгновение, как-то само собой, вдруг сообразилось, как люди определяют время. Оказывается, я все знал, кроме одного: я не знал, что между цифрами на циферблате пролегал пространством в пять минут. Пораженный догадкой, ее стройностью и простотой, я ожидал все новых прохожих, которые, выкликая вычисленное мной время, уходили, обдав меня волной радости.

Но, видно, живое время двигалось слишком медленно, чтобы полностью поглотить радость моего открытия. Я, не сходя с места, стал определять время на всех испорченных часах, словно на кладбищенских памятниках, читая время смерти каждых часов. Возможно, я увлекался и стал это делать вслух с неприличной громкостью. Часовщик неожиданно поднял голову, и я увидел сквозь увеличительное стекло свирепую выпуклость его циклопического глазного яблока с кончиками паучьих лапок ресниц. Я вздрогнул, словно на меня посмотрело какое-то глубоководное существо с огромным мистическим глазом. Словно владелец всех этих живых и мертвых времен разозлился на меня за то, что я пытаюсь проникнуть в его тайну.

Я отпрянул от витрины и побежал в сторону моря. Чайки, то останавливаясь, то взмахивая живыми стрелками крыльев (словно играя временем: захочу, пушу быстрее, захочу, буду парить, растягивая мгновенья), летали над водой. Со стороны моря в бухту входила громада теплохода «Абхазия», озаренная предзакатным солнцем. Встречающие толпились на пристани, иногда нетерпеливо взмахивая цветами, словно давая знать далекому пароходу, что они тут, а не где-нибудь в другом месте, ждут его.

Я свернул с Портовой улицы и быстрыми шагами пошел в сторону дома. На углу Портовой стояли столики открытой кофейни. Я невольно пошарил глазами по столикам, ища за ними кого-нибудь из близких. Так иногда мы нарочно пальцами нащупываем болевую точку на нашем теле, как бы проявляя предпочтение точного знания того, что боль не исчезла, смутной надежде на то, что она нас покинула.

За одним из столиков, как обычно в подпитии, сидел дядя Самад. Он что-то объяснял своим собеседникам. Ши-

рокие взлеты его жестикулирующих рук говорили о том, что они, эти руки, свободны от приводных ремней власти.

Люди за столиками перебирали четки, пили кофе из маленьких чашечек и червонное золото чая из тонких стаканов, забрасывая в рот голубоватые, величиной с игральную кость, кусочки сахара. Некоторые из них читали газеты, некоторые обсуждали прочитанное, что было видно из того, что они в разговоре стукали пальцем по поверхности сложенной газеты, как бы ссылаясь на нее. Иные, попивая кофе, время от времени смотрели в сторону моря, прикрывшись от солнца сложенной газетой.

Казалось, слегка устав пережевывать газетные новости, они терпеливо обращались к древнему, более медленному, но и олее надежному способу получения новостей: подождем, посмотрим, что скажут те, что плывут к нам морем.

Огненнобородый хиромант, не слезая с ослика, пил кофе возле одного из столиков, и все ближайшие столики были обращены к нему, потому что рассказы его, похожие на пророчества, хотя и не сбывались никогда, иногда утешали.

Казалось, древний пилигрим, достигший оазиса диоскурийской кофейни, сейчас расскажет последние вавилонские новости и двинется дальше на своем ослике, цокая честными копытами по кремнистым руслам исчезнувших царств и выбивая из них единственное, чем они владели и владеют, — скудную пыль веков.

Я уже подходил к дому, когда меня догнал гудок парохода, низкий, благодушно-сдержанный, как силач в застольном кругу друзей.

— ...Этот сукин сын паробход тоже, — услышал я голос Богатого Портного, стоящего на своем балконе и легкими плевками пробующего раскаленность утюга, — так гудит, как будто мне брильянт привез...

Из калитки вышел Алихан. С корзинкой в руке, опрятный и целенаправленный, он шел в сторону моря. Когда он проходил мимо меня, на меня дохнуло вкусным запахом жареных каштанов. Я почувствовал, что здорово проголодался, и поспешил домой. Мне было легко, хорошо — постыдная тайна не отягощала мою душу.

* * *

Александра Ивановна... Может быть, любовь к первой учительнице, если вам на нее повезло, так же необходима и естественна, как и первая любовь вообще?

Вспоминая свои чувства к Александре Ивановне, я думаю, что в моей любви к ней каким-то образом нераздельно слились два чувства — любовь к ней именно, такому человеку, каким она была, и любовь к русской литературе, которую она так умело нам раскрывала.

Она почти каждый день читала нам что-нибудь из русской классики или несколько реже что-нибудь из современной, детской, чаще всего антифашистской литературы. Осталось в памяти чтение «Капитанской дочки» Пушкина, как минуты сладчайших переживаний. Если в области духа есть чувство семейного уюта, то я его впервые испытал во время чтения этой книжки, когда в классе стояла мурлыкающая от удовольствия тишина.

Помню, во время чтения книги Александра Ивановна заболела, и ее три дня заменяла другая учительница. На последнем уроке она пыталась продолжать чтение «Капитанской дочки», но как только мы услышали ее голос, нас охватили ужас и отвращение. Это было совсем, совсем не то! Видно, она и сама это почувствовала, да и ребята в классе расшумелись с какой-то искусственной злой дерзостью. Она закрыла книгу и больше не пыталась нам ее читать.

Сейчас трудно сказать, почему мы с такой силой почувствовали чужеродность ее чтения. Конечно, тут и любовь к нашей учительнице, и привычка слышать именно ее голос сказались. Но было и еще что-то. Этим препятствием была сама временность пребывания этой учительницы с нами. Книга нам рассказывала о вечном, и сама Александра Ивановна воспринималась как наша вечная учительница, хотя, конечно, мы понимали, что через год или два ее у нас не будет. Но мы об этом не задумывались, это было слишком далеко.

Недавно, читая записки Марины Цветаевой «Мой Пушкин», я вспомнил наши чтения «Капитанской дочки» и удивился несходству впечатлений. Мягкую душу будущего поэта поразила в этой книге Пугачев, он показался ей таинственным, заманчивым, прекрасным. Меня же, как сейчас помню, больше всего поражал и радовал в этой книге Савельич. Не только меня, я уверен, и весь класс. Как? — могут удивиться некоторые ценители литературы, — тебе понравился холоп и раб Савельич? Да, именно Савельич мне понравился больше всех, именно появления его я ждал с наибольшей радостью. Более того, решаюсь на дерзость утверждать, что он и самому автору, Александру Сергеевичу, нравился больше всех остальных героев.

Дело в том, что рабство Савельича — это только внешняя оболочка его сущности. Во время чтения «Капитанской дочки» мы это все время чувствовали, и потому его рабская должность, если можно так сказать, нам никак не мешала. Что же в нем было прекрасного, заставлявшего любить его вопреки ненавистному нам рабству и холопству?

Была преданность. Величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в стихах. Ненасытный, видно, так голодал по этому чувству особенно в его материнском проявлении, что, посвятив столько стихов своей

няне Арине Родионовне, он решил и в прозе, уже в облике Савельича, создать еще один образ материнской преданности.

Из этого, разумеется, не следует, что мать поэта вообще никакого материнского чувства к нему не проявляла. Наверное, проявляла, но недостаточно. А для поэта лучше и здоровее, когда его совсем не любят, чем когда ему переппадают крохи любви.

Савельич — это то чувство, которое всю жизнь Пушкин так ценил в людях. И, наоборот, предательство, коварство, измена всегда заставляли его или в ужасе бежать, или корчиться с пристальным отращением. Наверное, страшной казнь для поэта было бы, связав по рукам и ногам, заставить его, бессильного, вмешаться, наблюдать за картиной предательства.

В образе Савельича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог позволить себе в жизни. Тут преданность выступает во всех обличьях. Преданность — готовность отдать жизнь за жизнь барчука. Преданность — готовность каждую вещь его беречь, как собственную жизнь и даже сильнее. Преданность, творящая с робким человеком чудеса храбрости. И, наконец, преданность, доходящая в своем ослеплении до того, что Савельич затевает с Пугачевым разговор о злосчастном зипуне, когда его любимец находится на волоске от виселицы.

Но Пушкину мало и этого. Комендант Белогорской крепости предан царице точно так, как Савельич своему барчуку. Жена коменданта, такая же ворчливая, как Савельич, сама предана до последнего часа своему мужу, как предан своему барину Савельич. То же самое можно сказать о Маше и о юном Гринева. Одним словом, здесь торжество преданности.

И вот эта идея преданности с неожиданной силой погружала нас в свой уют спокойствия и доверия, уют дружеского вечернего лагеря перед последним утренним сражением. Мы ведь тоже преданы своему милому, еще кудрявоволосому барчуку, чей портрет висит на стене нашего класса.

Мы еще дети, но уже, безусловно, думаем (может, именно потому, что дети) об этом грядущем последнем сражении со старым миром. Пусть мы его представляем смутно, но в этом ожидании заложено то организующее, то духовное начало, без которого нет жизни.

То, что мы собираемся делать завтра, делает нас сегодня такими или иными людьми. Идея преданности идее, а следовательно, и друг другу, была самым человечным сегодняшним воплощением нашего завтрашнего дела. Идея преданности самой идее, которая, по-видимому, из-за отсутствия других воплощений высоких человеческих стра-

стей развивалась в нас с трагической (о чем мы не ведали), а иногда и уродливой (о чем мы тем более не ведали) силой.

Может быть, именно поэтому чтение «Капитанской дочки» производило тогда такое сладостное, такое неизгладимое впечатление. И именно поэтому мы оттолкнули (чуть-чуть уродство) попытку другой учительницы продолжать чтение Александры Ивановны.

— Да не коси ты, не коси! — иногда говорила мне на уроке Александра Ивановна. Я никогда ни от кого не слышал, чтобы я косил, и тем более сам не замечал этого. Но, оказывается, она была права. Если меня что-то сильно огорчало, оказывается, я начинал слегка косить.

— И не собираюсь, — отвечал я ей обычно.

— Я же вижу, закосил, закосил, — говорила она улыбаясь, словно похлопывая меня по спине, словно давая знать, что мои неприятности совсем не стоят того, чтобы я придавал им значение.

С одной стороны, меня раздражало то, что сам я никогда не видел своих косящих глаз, и наблюдение Александры Ивановны казалось мне довольно вздорным, а главное, было слишком публичным для той внутренней близости, какую я испытывал к ней, и было как-то неловко перед другими учениками.

Примерно такое же чувство я испытывал на улице во время футбольной или другой игры, когда кто-то из близких кричал, чтобы я шел домой, потому что набегался или слишком вспотел. Меня всегда раздражал этот наивный эгоизм близкого человека, которому и в голову не приходит, что набегался не только ты и слишком вспотел не только ты.

Я больше всего любил наблюдать за Александрой Ивановной, когда она встречалась со своим сыном, учившимся в соседней школе. Это был высокий парень с нежным пушком бороды и усов, которые он долго не сбривал, и об этом говорили в обеих школах — в нашей, где она работала, и в соседней, где он учился.

Он довольно часто заходил в нашу школу, и Александра Ивановна провожала его до ворот, а я всегда с какой-то тайной радостью наблюдал за этими их встречами. Я знал, что его приходы в нашу школу почти всегда связаны с выклянчиванием у Александры Ивановны денег.

Уже в воротах школы он ее начинал уламывать, а на ее лице появлялось выражение повышенной, хотя и вполне бесплодной, бдительности, означавшей, что ни на какие пустые траты она не согласится. В конце концов она доставала откуда-то из жакета кошелечек и с неловкой скрупулезностью вынимала оттуда мелочь или бумажные рубли и отдавала ему.

Взяв деньги, он иногда подшучивал над выражением ее лица, и я каждый раз угадывал, что подшучивает он над

ее якобы огорченным выражением лица, а она, слегка растерянная этим шутливым обвинением, так же искусственно пыталась показать свою беззаботность, как до этого пыталась изобразить на лице выражение строгой отчетности. Иногда он как бы совал ей деньги назад, а она растерянно отбивалась, а однажды, видимо, рассердилась и в самом деле выхватила у него их. Но тут он схватил ее в охапку и слегка закружил на месте, и до меня донеслось: — Карлуша, не дури!

Видимо, для меня была чем-то новым, неизвестным эта нежная, подтрунивающая друг над другом товарищеская любовь старой женщины и почти взрослого сына. Я знал, что у них больше никого нет.

Иногда он появлялся на нашей улице, и все почему-то именно так, смягченно, называли его Карлушей. Однажды, когда я сидел в холодке на ступеньках парадной лестницы с ворохом журналов «Вокруг света», которые я брал у одного из наших соседей, он присел ко мне и стал листать журналы, издавая те теплые улыбающиеся восклицания, которые издают любители книг при виде своих давних знакомых. Оказывается, он в свое время читал эти журналы, и его потрясали те же гангстеровские рассказы, которые сейчас потрясали меня.

— А я у вашей мамы учусь, — сказал я почему-то, не выдержав. Он как-то странно улыбнулся и потрепал меня по голове. Он ничего не ответил. Вернее, я ему как бы признался в родстве, а он мне как бы ответил: — Да ты и так вроде неплохой пацан, стоит ли нам еще родственные отношения выяснять?!

Однажды на моих глазах он заспорил с одним парнем с нашей улицы, известным велосипедистом. Карлуша доказывал, что этот парень плохой наездник. Карлушу я вообще никогда не видел на велосипеде, а этот парень и за водой ездил на велосипеде, и катался лучше всех на нашей улице.

В конце концов Карлуше кто-то дал свой велосипед, и они договорились ехать до моря и обратно, и за это время Карлуша его должен догнать и хлопнуть по спине.

— Давненько я в руки руль не брал, — сказал он, вставая и отряхиваясь от пыльной травы, на которой сидел, подошел к велосипеду, который ему одолжили на этот случай. Он взял велосипед одной рукой за руль, другой за седло, несколько раз, приподымая, ударил его о землю. Так пробуют мяч.

Парень с нашей улицы отъехал шагов на двадцать и все время, вихляя рулем, чтобы не упасть, оглядывался и медленно продвигался дальше, все время спрашивая у Карлуши: «Хватит?»

— Давай! — наконец крикнул Карлуша и сам вскочил

в седло. Через миг они оба исчезли в клубах пыли, и мне показалось, что расстояние между ними ничуть не уменьшилось.

— На подъеме он его схамает, как булочку, — лениво глядя им вслед, сказал старший брат моего друга Юры Ставракиди, считавшийся на нашей улице знатоком международной политики. Улица, по которой они должны были возвращаться от моря, была довольно крутой. И Юрин брат, как всегда, оказался прав.

Минут через двадцать они появились на углу, уже слившись в маленький, быстро приближающийся смерч пыли, в котором, как молнии в далекой туче, время от времени высверкивали спицы.

Как только они поравнялись с нами, Карлуша его догнал и звонко шлепнул рукой по спине. Парень резко затормозил, а Карлуша, проехав еще метров двадцать, неожиданно вздыбил велосипед и, лихо выбросив его из-под себя, прыгнул.

— Слушай, это старый наездник, ты что хочешь от него, — сказал Юрин брат парню с нашей улицы, кивая на Карлушу.

— Только здесь он меня догнал! — нервно крикнул наш парень, кивнув головой в сторону улицы с крутым подъемом.

Все рассмеялись, вспомнив слова Юриноного брата.

— А я что говорил? — сказал Юрин брат, самодовольно улыбаясь.

— На подъеме, как булочку, схамает! — крикнули ребята в несколько голосов.

Помню, тогда меня поразило больше всего, что Карлуша, казалось, уже многое испытал в своей жизни и в том числе уже был когда-то замечательным велосипедистом, а ведь он был еще школьником девятого или десятого класса.

* * *

Время, описываемое мной, совпадает с мирным договором с Германией, то есть с 1939 годом. Мне было десять лет. В нас был рано разбужен интерес к политике, и этот интерес, как зажженный бикфордов шнур, шел к своему логическому взрыву в душе каждого, в ком была душа. Чаще всего это был взрыв внутренний, мало кому заметный из окружающих, но иногда это был и заметный для окружающих трагический взрыв, похожий на взрыв гранаты в неумелой детской руке.

Смутно помню, что, когда в газете появился портрет, кажется, Риббентропа с Молотовым, было как-то чудно, ненормально, неприятно, скорее всего из-за привычки ви-

деть гитлеровцев только в качестве карикатуры. В натуральном виде они воспринимались как нечто ненормальное.

Помню, что сам мирный договор мной и, наверное, многими моими сверстниками воспринимался как некий политический шахматный ход (мы уже играли в шахматы) с некоторой потерей качества для будущей грандиозной комбинации с шахом и матом всему капиталистическому миру.

Мы как бы подмигивали друг другу по поводу этого договора, не замечая, что человек, который от имени всех нас, ну уж по крайней мере от имени всех наших взрослых родственников, заключил этот договор, никакого повода к этому подмигиванию не давал и тем более сам, по крайней мере в этом смысле, никому не подмигивал.

Помню смешную тонкость, которую я тогда заметил в газетах. До мирного договора, судя по нашим газетам, казалось, что в мировой политике более правы противники Германии. То есть газеты, наверное, точно освещали фактический ход событий, но было ощущение спокойного, ровного отношения к двум хищникам.

После мирного договора осторожно стали выступать едва заметные признаки симпатии по отношению к Германии. Признаки симпатии воспринимались как намек на правоту. Намек на правоту, в свою очередь, давал намек на победу, потому что по нашему учению правота в конечном итоге всегда должна была побеждать. Если она побеждала сразу — тем более правота себя утверждала. Правда, судя по газетам, правота немцев была не слишком большой, но и победы их соответственно были не так блестящи, как мы собирались в будущем побеждать врага.

Эта разница между освещением хода мировых событий до мирного договора с Германией и после него воспринималась, помню, с каким-то симпатизирующим комизмом. Это было похоже на возрастающие и угасающие симпатии моей тетушки по отношению к соседям. Да стоят ли они все того, чтобы из-за них вводить в газеты такие тонкие намеки на правоту, которая все равно по сравнению с нашей Правотой смехотворна, на победу, которая все равно рано или поздно обернется полным поражением, когда мы возьмемся за дело?!

Но вот в один прекрасный день для меня лично и произошел тот душевный взрыв, сильнее которого я не знал в жизни.

— Ребята, — сказала в этот день Александра Ивановна, — теперь нельзя говорить «фашисты»...

Это было сказано в классе, но я не помню, по какому поводу это было сказано, и было бы кощунственно сейчас выдумывать повод. То ли кто-то из ребят, разозлившись на товарища, назвал его фашистом, то ли один мальчик у другого громко попросил какую-нибудь книгу, скажем,

про смелого немецкого пионера, обманывающего фашистов. Тогда было довольно много таких книг.

Она об этом сказала просто как об изменении, которое отныне вошло в грамматические правила. Но, видно, что-то заключалось в этих словах такое, чего ни она, ни мы не ожидали. Слова эти в отличие от многих других слов, которые мы слышали от учителей, не прошли мимо ушей и не вошли в сознание. Они остались в воздухе. И, словно оставшись в воздухе, они как бы с каждой секундой твердели, становились все более отчетливыми, все более удобочитаемыми. Это подтверждалось еще и тем, что многие ученики, когда она произносила эти слова, переговаривались или рассеянно думали о чем-то своем, как это бывает в конце последнего урока, когда все ждут звонка. И вот, словно в самом деле слова висели в воздухе, постепенно к их постыдной удобочитаемости подключился весь класс, в классе становилось все тише и тише и, наконец, мертвая тишина в течение пяти—десяти секунд.

Все ждали, что Александра Ивановна как-то пояснит свои слова, но она ничего не говорила. Помню, хорошо помню красные пятна, которые пошли по морщинистым щекам нашей старой учительницы. Она продолжала молчать, и края губ с одной стороны ее рта мелко-мелко вздрагивали.

Тот стыд, который я тогда испытал и который в какой-то мере охватил весь класс, я никогда не забуду.

После этого много раз в жизни мы видели эти повороты на сто восемьдесят градусов, которые никто и не пытался нам как-то объяснить. Казалось, самим отсутствием какого-либо правдоподобного объяснения зигзагов политики тот, кто вершил ее, проверял полноту своей власти над нами.

— Ничего, скамают, как булочку, — казалось, бормотал он в усы, словами брата Юры Ставракиди.

Все-таки я благодарен какой-то детской чуткости, которая ни на мгновение, это я помню хорошо, не дала мне подумать, что предательство это связано с самой Александрой Ивановной. Нет, я почувствовал, что есть какая-то страшная сила, которая с невероятной тяжестью давила на нашу учительницу и вынудила ее, покрываясь красными пятнами, сказать то, что она нам сказала.

* * *

Из всех дядей моих самым любимым был дядя Риза. Он-то и подарил мне когда-то мои первые книги — «Гадкий утенок» и «Рассказы о мировой войне».

Небольшого роста, ладный, красивый. Во всей фигуре какая-то незрелая легкость, стремительность, глаза насмешливые и зоркие-презоркие. Именно эти стремитель-

ность, живость, добродушная зоркость на все смешное и казались мне тогда красотой. Но он и в самом деле был хорош.

Дядя часто водил меня на стадион. Проходили без билетов, потому что он был еще недавно сам известным футболистом, и его все знали.

Было по-праздничному радостно идти с ним за руку, подходить к гудящему стадиону, протискиваться к входу. Я нарочно старался пройти мимо контролерши с независимым видом.

— Мальчик, куда? — спохватывалась она, уже пропустив меня.

Но тут я оборачивался, а дядя, улыбаясь, говорил:

— Он со мной...

Мы усаживались возле раздевалки, откуда доносились голоса футболистов. В окошечко было видно, как они примеряют бутсы, туго натягивают гамаша, разминаются. Дядю встречали друзья, такие же крепкие, франтоватые, возбужденные. Разумеется, все болели за нашу местную команду, но она почти всегда проигрывала.

— Дыхания не хватает, — говорили одни.

— Судья зажимает, судью на мыло! — кричали другие, хотя неизвестно было, зачем судье, местному человеку, зажимать своих.

Мне тогда почему-то казалось, что возглас «Судью на мыло!» связан не только с качеством судейства, но и с нехваткой мыла в магазинах в те времена. Но вот и теперь, когда мыла в магазинах полным-полно, кричат то же самое.

Если во время игры кого-нибудь из наших сшибали с ног, стадион приходил в неистовство.

— Пеналь! Пеналь! — громыхали болельщики. Если же падал кто-нибудь из противников: — Симулянт! С поля! — безжалостно гудел стадион.

Главным врагом нашей местной команды была команда тбилисского «Динамо». Все болельщики Мухуса жили одной мыслью, одной надеждой, одним пламенным желанием увидеть поражение этой команды от нашей. Поистине это была любовь-ненависть, потому что, когда тбилисское «Динамо» играло с какой-нибудь другой командой, все наши болельщики болели за нее. Если наша команда проигрывала какой-нибудь другой команде, это было неприятно, но более или менее терпимо.

Но проигрыш тбилисскому «Динамо» каждый раз воспринимался как чудовищная несправедливость, как результат катастрофического невезения. Надо сказать, что наша команда с величайшим ожесточением играла с тбилисским «Динамо», и нередко первый тайм кончался вничью или даже в нашу пользу, но потом, во втором тайме, они все равно выигрывали.

Бывало, если первый тайм кончался вничью, стадион охватывало предвкушение счастья. И каждый, предвосхищая победу, старался с суеверным страхом сдерживать радостные прогнозы друзей, хотя тут же забывался и сам давал такие же прогнозы. Так что во время перерыва весь стадион сам себя успокаивал, чтобы не сглазить победу.

Иногда кто-нибудь с верхней трибуны, отвечая на вопрос прохожего, говорил: — Пока ничья... Но (тьфу, тьфу, не сглазить!) наши сидят у них на воротах.

Но тут зрители суеверно оборачивались на этого болельщика, потерявшего сдержанность, и с презрительным шиканьем водворяли его на место.

— Если без него жить не можешь, иди и там с ним разговаривай, — стыдили они его. Но некоторые болельщики все равно никак не могли сдержать провидческого зуда.

— Чтоб ты меня похоронил, если три — один не будет!

— Два-один тоже неплохо.

— Чтоб ты меня похоронил, если три — один не будет!

— Чтоб я тебя похоронил, — неожиданно вмешивается совершенно посторонний болельщик, — не надо заранее говорить, сколько раз можно предупредить!

— Но я просто так, — миролюбиво гаснет, оборачиваясь на него любитель счета «три — один», — я просто так, вообще говорю...

— Вообще тоже не надо, — безжалостно отрезает нервный болельщик.

Среди наших футболистов особенно выделялись двое — один из нападающих и защитник.

Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но, пожалуй, бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, делал финты и в конце концов так запутывался, что бил в двух шагах от ворот мимо или неожиданно с какой-то оскорбительной легкостью у него отбирали мяч. Партнер, который все это время прямо-таки вымаливал у него подачу, останавливался как вкопанный, как бы призывая весь стадион в свидетели. Судорожно вытянув руки, он показывал на то место, где стоял и откуда он якобы обязательно забил бы гол.

Нападающий делал вид, что только что его заметил, и покаянно опустив голову, покрытую черными глянцевиными волосами, удалялся к центру. Но как только ему попадал мяч, он мгновенно забывал свое покаяние, и все повторялось сначала. Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удавалось забить мяч! Овеваемый гулом обожания, не глядя ни на кого, ровной рысцей, как цирковая лошадка, он бежал к середине поля.

Про длинного, всегда невозмутимого защитника пацаны рассказывали легенды. Он был левша, но говорили, что правой ногой ему запретили бить после того, как он ударом мяча убил голкипера. Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника. Он и в самом деле сильно бил. Бывало, выбежит навстречу мячу и как саданет! А потом лениво возвращается на место, уверенный, что после его удара мяч не так-то скоро прилетит обратно.

Иногда мяч влетал на трибуну, и, когда кто-нибудь его оттуда выбивал, почему-то все начинали смеяться.

После первого тайма потные, усталые футболисты, тяжело передвигая могучие ноги, возвращались в раздевалку. Некоторые усаживались возле раздевалки на трибунах. К ним подходили знакомые, пожимали руки, разговаривали. Если игра складывалась плохо, особенно желчные болельщики вступали с нашими футболистами в спор и даже иногда рвались в драку, но их тут же оттаскивали окружающие.

Иногда на трибунах усаживались и представители тбилисского «Динамо». Среди них почти всегда было два-три наших бывших игрока. К ним тоже подходили знакомые и разговаривали, с одной стороны, стараясь показать, что они близко знают знаменитых игроков, с другой стороны, независимым видом и сдержанностью показывая, что они не собираются подхалимничать перед ними.

Эту мирную, сдержанную беседу иногда прерывал какой-нибудь не в меру патриотичный болельщик. Подойдя близко к футболисту и беседующим с ним землякам, он враждебно прислушивался к тому, что они говорят, стараясь извлечь пищу для своего гнева из самого содержания их разговора. При этом он, не скрывая презрения, поглядывал на наших людей, которые не стыдятся разговаривать с человеком, покинувшим родную команду.

В конце концов он вмешивался в разговор и начинал спорить с ним, иногда совершенно не имея для этого никакого повода.

— А ты, продажный изменник, молчи! — в конце концов обращался он к бывшему нашему футболисту и уходил с видом человека, исполнившего свой гражданский долг. Иногда такого рода патриоты поступали несколько хитрее. Они нанимали за порцию мороженого какого-нибудь мальчика, чтобы тот крикнул бывшему нашему футболисту то же самое и убежал.

Обычно футболист после этого уходил в раздевалку, а те, что до этого с ними разговаривали, выражали неодобрение на эти оскорбительные выпады.

— Это тоже неправильно, — говорили они, — человек растет, ему надо выдвигаться!

— Мы не против, — говорили другие, — но, пока молодой, мог еще два-три года поиграть, отплатить добром своей команде, которая научила тебя играть...

— Пожалуйста, уходи! — вдруг вмешался человек, как бы озаренный совершенно новым взглядом на эту старую проблему. — Но только при одном условии...

— Каком условии? — с большим любопытством начинали спрашивать остальные, придвигаясь к этому человеку и окружая его кольцом.

— В родном поле не играй! — с огромной силой произносил этот человек и оглядывал окружающих с некоторой патриотической агрессивностью.

— Тоже правильно! — соглашались окружающие, хотя и ясно было, что они ожидали чего-то более оригинального. Но сама эта патриотическая агрессивность, как бы вызванная непомерной любовью к своему городу, мешала им высказать свой взгляд на недостатки этого предложения.

Некоторые футболисты сразу же после перерыва подбегали к ларьку, прилепившемуся к ограде. Ларек одним окошечком открывался внутрь стадиона.

Жаркие, запрокинув голову, не отрывая бутылки от рта, они пили, прислушиваясь к собственному удовольствию, высасывали маленький водоворот прохлады, словно трубили в трубу какую-то вкусную беззвучную мелодию утоления.

Обычно они брали сразу по две бутылки и, допивая одну, уже вторую держали наготове и даже слегка приподымали руку со второй бутылкой, как бы успокаивая свою жажду: мол, не бойся, еще есть.

Насмотревшись на футболистов, пьющих лимонад, я подходил к дощатой изгороди стадиона. Сколько томительных часов провел я здесь, только по ту сторону, когда дядя бывал в командировках, а мне не удавалось прийти зайцем!

В таких случаях вместе с остальными неудачниками мы следили за игрой, прильнув к щелям в заборе. Правда, лучшие щели всегда забирали ребята постарше нас, так что и среди неудачников не было равенства, но все же и на нас хватало.

Теперь я подходил к изгороди по-хозяйски изнутри. Десятки ребячьих глаз жадно глядели на меня. Многие из пацанов были мне знакомы. Я несколько покровительственно рассказывал им кое-какие подробности матча. Они завистливо слушали меня, иногда спрашивали:

— Как проканал?

— Я с дядей, — отвечал я.

— А-а, — вздыхали они.

Возле забора похаживал милиционер. Когда он отходил подальше или отворачивался, я давал им знак, они перелезали через забор и быстро ныряли в толпу. Я воз-

вращался на место, испытывая двойную радость и от собственной добропорядочности, и оттого, что удалось провести милиционера.

Иногда мы с дядей приходили на стадион помыться в душевой. Это тоже было привилегией для своего человека. Дядя быстро раздевался, аккуратно складывал одежду и пускал воду. Я становился под крепкую толкающую струю, пыхтел и отфыркивался, делая вид, что смываю с себя грязь, хотя был уверен, что никакой грязи на мне нет. Дядя мылся с удовольствием. Его мускулистое тело все время двигалось, под мышкой трепыхалась смешная родинка, похожая на маленькую матрешку. Потом он обтирался скрипящим махровым полотенцем, подмигивал мне, посмеиваясь над моей неловкостью:

После купания тело делалось легким и сильным. Мы шли домой. Я вышагивал рядом с ним, с обожанием глядел на его лицо, на блестящие волосы, причесанные на косой пробор, на его улыбающийся рот. Я чувствовал, что моя персона сама по себе доставляет ему какое-то насмешливое удовольствие, и это почему-то радовало, окрыляло. Мы любили друг друга. Это было точно.

Между прочим, я не помню, чтобы он меня когда-нибудь целовал. Может быть, это бывало, но, видимо, так редко, что я не запомнил. В нашей огромной родне и вообще в кругу наших знакомых на детей, и в том числе на меня, обрушивалось неимоверное число поцелуев. Господи, как я ненавидел эти поцелуи! Жестконебритые, винно-водочные, чмокающие, скребущие, сосущие. Особенно женские, противно пахнущие помадой, особенно же среди особенных поцелуи женщин с неудавшимися судьбами, я их сразу отличал по какой-то свойственной им тупиковой силе удара. От поцелуев было трудно увернуться, приходилось терпеть, чтобы не обидеть взрослых.

Дядя был высшим авторитетом не только у нас в семье, но и во дворе, многолюдном, многоязычном и по-южному шумном. Женщины нашего двора, постоянно переругивавшиеся, стараясь перекричать собственные примуса, смолкали, когда он входил во двор, прихорашивались, вспоминали, что они женщины.

Работал он экономистом в каком-то заготовительном учреждении, а тогда я думал, что он занят сказочной работой, смысл которой — делать людей умелыми, веселыми, легкими. В сущности, так оно и было.

По воскресеньям дядя выводил из дому велосипед, и мы ездили купаться на море.

Помню ослепительный день. Дядя в белоснежном костюме, какой-то особенно свежий, бодрый. Сверкают быстро мелькающие спицы, руль, звонок на руле, даже камни мостовой, по которой мы едем. Велосипед дребезжит, вибрирует на туго накачанных шинах. Сидеть на подпрыгива-

ющей раме больно, ноги приходится неудобно подтягивать, чтобы не мешать дяде педалировать. Он то и дело просит меня, чтобы я держал руль посвободней, но какой-то страх заставляет меня сжимать его изо всех сил.

Встречный ветер надувает рубаху, режет глаза, но я каждым нервом и мускулом впиваю счастье езды, нашей с ним дружбы, близости моря. Я замечаю, как встречные мужчины и женщины улыбаются нам, кивают дяде, некоторые успевают спросить:

— Сын?

— Племянник, — бросает дядя, и я чувствую в голосе его улыбку.

«Племянник», — повторял я про себя вкусное, веселое слово, похожее на пряник. Мне казалось, что именно этому сходству слов улыбается он.

Дядя в те времена, когда я его стал помнить, жил с матерью и сестрой в нашем доме. До этого он был женат и жил где-то в другом месте, но я этого времени не застал.

После работы в летнее время он обычно отдыхал в своей кровати под марлевым балдахином от комаров и мух.

Я часто приходил к нему в комнату, садился за письменный стол и листал книги или рисовал, валяясь на старой рогатой шкуре тура, распластанной перед кроватью. Под колониальным балдахином таинственно шелестели страницы Мопассана и Стефана Цвейга.

Приходя к нему, я каждый раз просил листик бумаги, чтобы изобразить очередную баталию с фашистами. Однажды он мне сказал, что у него не осталось ни одного листика.

— Ну, тогда дай веточку, — неизвестно зачем сказал я. Ответ ему так понравился, что он, смеясь, потом часто рассказывал об этом своим друзьям.

Дядя часто мне что-нибудь приносил с работы. Бывало, разденется, позовет меня и говорит, улыбаясь и заранее наслаждаясь моей радостью:

— А ну-ка, посмотри, что у меня там в кармане?

Я бегу к вешалке, роюсь в карманах, в сладкой лихорадке, стараясь догадаться, что бы это могло быть.

И вот однажды исполнилась великая мечта — дядя купил мне настоящий двухколесный велосипед.

Приятно пахнущий резиной и свежей краской, легкий, нарядный, чем-то похожий на самого дядю, он стоял у него в комнате, молодецкато прислоненный к подоконнику.

Что это была за радость — трогать новенький руль, еще туго поворачивающийся, бесконечно звонить в звоночек на руле, нюхать кожаное седло, треугольную сумочку, висящую на раме и чем-то грозно похожую на кобуру пистолета, гладить клейкие шины, как живое тело, чувствуя ладонью их шершавую, рубчатую поверхность!

Теперь каждую свободную минуту я возился возле велосипеда. Выводить его во двор мне еще не разрешали, я был слишком мал, а рос, как назло, медленно. Что было делать! Я влезал на неподвижный велосипед, усаживался на седло и представлял, как лечу по улицам города, звоню, притормаживаю, учусь ездить без рук, иногда даю сделать круг знакомым пацанам. Только один круг, и то не всем, а на выбор, самым лучшим.

Потом я научился ездить по комнате, стоя на одной педали. Я был влюблен в своего нового друга, особенно, помнится, нравился мне малиновый фонарик на заднем крыле, волшебно блестящий в уютном сумраке комнаты: летом ставни были почти всегда прикрыты от жары.

Шли дни томительного и счастливого ожидания, но я так и не вывел ни разу свой велосипед, потому что случилось страшное.

Однажды дядя не пришел с работы, а потом тетя где-то узнала, что его «взяли». Я еще не знал значения, которое придавали этому слову, но чувствовал какую-то жестокую безличную силу, заключенную в нем.

Печальная таинственность окружила нашу семью. Приходили соседи, сочувственно вздыхали, качали головой. Говорили с оглядкой, полупшепотом. Чувствовалось, что люди живут напряженно, в ожидании грозного, как бы стихийного бедствия.

Арест дяди скрывали от бабушки. Но она чуяла что-то недоброе и, страшась правды, делала вид, что верит в его неожиданную командировку. Однажды я увидел, как она перебирает вещи в дядином чемодане и тихо причитает над ними, как над покойником. Мне стало не по себе, я понял, что она все знает.

Приходили дядины друзья, все такие же стройные, рядные, но притисшие. Они без конца курили, грустно шутили, что лучших забирают, и как-то утешающе рассказывали, что «взяли» еще такого-то и такого-то.

Тетушка с неприятной услужливостью подставляла им пепельницу, угощала чаем, сама пила его с каждым из них и рассказывала, рассказывала. Как она ходила к каким-то начальникам, как ее культурно принимали и обещали все выяснить. Я чувствовал, что они ей не очень верят, но им приятно то, что они не побоялись прийти, и то, что сами они все-таки на свободе и могут вот так удобно сидеть на кушетке и слушать тетушку, чувствовать уют человеческой близости перед неумолимой бедой.

В первые дни они заходили часто. Потом все реже и реже. Один, помню, держался дольше других. Но и он вскоре перестал приходить. По слухам, многих из них постигла дядина участь.

Через полгода мы узнали, что дядю перевели в Тбилиси. Тогда-то тетушка продала мой новенький, так и не

обкатанный велосипед, чтобы поехать туда. Купил его Богатый Портной.

— Все равно как остался, — сказал он, намекая на то, что велосипед не ушел из дому. После этого он бесшумно укатил его к себе в квартиру. Надо сказать, что тогда я не почувствовал особой обиды на Богатого Портного: слишком велико было горе, которое обрушилось на нашу семью. Вернее, я почувствовал некоторую обиду на тетушку. Мне казалось, что она могла бы достать деньги на поездку каким-нибудь другим способом. Но я понимал, что сейчас говорить об этом и даже думать стыдно.

И только позже, когда Оник впервые вытащил велосипед на улицу и отец его, одной рукой придерживая руль, а другой держась за седло, прогуливал по улице, я почувствовал нестерпимую ревность. Почему-то особенно постыдным, невыносимым казалось обнаружить, что я к нему неравнодушен. Как назло, ко мне подошли пацаны с нашей улицы и, ничего не понимая, расспрашивали:

— Правда, что Оникин пахан купил твой велосипед?

— Ну и что, — отвечал я как можно суше, — правда.

— А зачем продала твоя тетка?

— Значит, надо было, — отвечал я, сдерживаясь.

— А тебе не жалко?

— Нет, — говорил я, — я буду на дядином кататься...

Тетушка в это время выглядывала из окна на улицу и курила. Соседи, иносказательно переговариваясь с нею, жалели меня. Я чувствовал, что главное сейчас не показать виду, что я думаю о нем. Я был рад, что они переговариваются иносказательно, можно было притворяться, что я ничего не понимаю. Но, видно, тетушке, по ее склонности к мелодраме, нужно было, чтобы я, сидя на лужайке перед домом, поник головой, или каким-нибудь другим способом показал, что безропотно переносу великую несправедливость.

— Вот так разбивается счастье, — сказала она, как бы продолжая говорить иносказательно, и в то же время ожидая от меня каких-нибудь более явных признаков тайного горя. Я изо всех сил держался и спокойно смотрел, как Богатый Портной прогуливает Оника. Этого тетушка не могла простить. Как человек исключительно артистичный, она любила, чтобы ей подыгрывали.

— Но, с другой стороны, черствый, — добавила она через некоторое время, как бы иносказательно, уточняя слова о разбитом счастье. Соседка, с которой она разговаривала, ничего ей не ответила, и тетушка добавила: — Но он не виноват, у них материнская линия такая, — продолжала она, теперь иносказательно перекладывая часть ответственности на маму. Тетушка и мама всю жизнь не любили друг друга.

Через несколько дней Оник уже сам ездил на велосипеде. Он вообще был очень способен к таким вещам. Ребята с нашего двора и улицы быстро забыли, кому принадлежал когда-то велосипед с малиновым фонариком, и это намного облегчило мою задачу скрывать, что я этого не забыл. И я вместе с другими брал у него велосипед сделать круг по нашему кварталу, чтобы никому в голову не приходило, что я все помню.

Вернее, я даже сам надеялся, что это пройдет, но почему-то какая-то заноза в душе навсегда осталась. И позже, через год или два, когда я ездил на дядином велосипеде, сначала под рамой, а потом стоя или садясь на седло после разгона, все равно я не забывал ничего.

Тетушка поехала в Тбилиси и через неделю вернулась. Опять говорила о том, как ее принимало большое начальство, как ее вежливо усаживали, внимательно выслушивали и даже якобы возмущались несправедливостью местных властей, которые, по ее словам, все выскочки, а настоящие люди только там.

Ей удалось передать одежду и деньги, она даже рассказывала, что видела дядю на вокзале, когда их куда-то отправляли эшеленом. Она сказала, что выглядел он прекрасно, только голову ему некрасиво побрили, что он даже улыбнулся ей и крикнул, что скоро увидимся.

Все это было похоже на фантазию, но и время было фантастическое. Газеты были переполнены сообщениями о злодеяниях врагов народа, повсюду искали вредителей.

Достаточно было в городе кому-нибудь отравиться несвежей рыбой, как выполняли слухи, что на консервной фабрике засели вредители. Исчезали самые неожиданные люди. Бывало, еще вчера человек на митинге или по радио призывал к беспощадной классовой борьбе с врагом, а сегодня сам, как бы не договорив речь, летел в пропасть.

Даже мы, школьники первых классов, тоже были вовлечены в эту борьбу. На книжных иллюстрациях, на обложках тетрадей мы находили кабалистические знаки, зловещие письма тех вредителей. Еще вчера напечатанные в учебниках портреты руководителей государства и маршалов сегодня вычеркивались.

Вот одно из забавных наблюдений тех лет. Я заметил, что в те времена на лицах взрослых, главным образом городских людей, появилось что-то новое и очень смешное. Теперь, вспоминая эти лица, самые различные и в самых различных положениях, повторяющие одну и ту же гримасу, я могу сформулировать свое наблюдение так: на лицах людей появилось выражение политической настороженности.

Иногда, казалось бы, у человека совсем другое выражение на лице, но какой-то миг, какая-то быстрая перемена во внешней обстановке, которую он не сумел осознать

и дать ей оценку, — и это выражение настороженности выпархивает на лицо. Точнее сказать, не успев осознать быструю перемену во внешней обстановке, он ее осознает как враждебную вылазку, даже если эта перемена вызвана явлением природы.

Неожиданный порыв ветра попытался сдуть с головы человека шляпу, он хватается за шляпу и всей позой выражает готовность догнать и наказать нарушителя. Неожиданно тронулся поезд или неумело затормозил — вскидывается голова: «Что еще там?» Знакомый сзади хлопнул по плечу, какнула пролетающая птичка на рукав, рука на мгновение застывает в воздухе — сохранить улики преступления! Гаснет в комнате свет и не успел еще погаснуть (быстрее света, что ли?), как появляется на лице выражение настороженности, всеобщей мобилизации бдительности.

Тот, кто устроил все это, хорошо понимал одну важную сторону человеческой психологии. Он знал, что человеку свойственно жгучее любопытство к потустороннему. Человеку доставляет особую усладу мысль, что рядом с обычной, нормальной жизнью идет тайная жизнь, чертовщина. Человек не хочет смириться с мыслью, что мир сиротливо материален. Он как бы говорит судьбе: если уж ты меня лишила бога, то по крайней мере не лишай дьявола.

Без этой могучей встречной волны, без желания гипнотизируемых быть загипнотизированными предприятие не имело бы такого грандиозного успеха.

Разумеется, наряду с этой тайной склонностью природа человека, его разум обладают могучим свойством разоблачать демонов ночи, и одно из испытанных проявлений этого свойства — смех. Больше петушиного крика дьявол боится смеха.

Звук смеха — как сноп света. Может быть, смех — это озвученный свет?

Улыбка — струение света.

Держу пари, если бы у обыкновенного гипнотизера спросить, что ему больше всего мешает во время массовых сеансов, он ответит: смех в зале.

* * *

Помню первое письмо от дяди. Его читали и перечитывали, его воспринимали как начало освобождения.

Он писал из какой-то неслыханной бухты Нагаева. Писал, что работает грузчиком в порту, чувствует себя хорошо. Просил прислать теплых вещей и побольше чеснока, потому что начиналась цинга. И еще просил матери ничего не говорить о своем аресте, так как он кристаллически чист и его, наверное, скоро освободят.

— «Кристаллически чист», — гордо повторяла тетушка. — Я же знала, что мой брат не может быть замешан в грязные дела.

Я писал ему бодрые пионерские письма, хвастался хорошей учебой, раз даже зачем-то обвел ладонь карандашом и таким образом как бы послал ему отпечатки своих пальцев.

Он продолжал писать, но с каждым новым письмом чувствовался как бы нарастающий крик. Он нервничал и даже сердился на нас за то, что мы не можем написать кому следует, что он не знает даже, в чем его обвиняют.

Откуда ему было знать, что письма писались во все концы! Однажды даже поручили мне, чтобы разжалобить, написать самому Берия. По преданиям, он когда-то учился с дядей в реальном училище. В ответ приходили вежливые бумаги, где говорилось, что в деле вашего дяди (вашего брата, вашего сына, вашего мужа) разберутся и о результатах сообщат.

Годы шли, но в деле дяди так никто и не разобрался. Потом переписка заглохла, потом война...

Я рано научился ездить на старом дядином велосипеде. Он двигался судорожными рывками, потому что я изо всех сил нажимал на педали, чтобы они успели перекрутиться, так как я еще плохо доставал до них. Ноги мои были покрыты лиловыми прочными синяками. Машина имела хороший ход, работала долго и терпеливо, как будто дожидалась своего хозяина. Потом тетушка и его ухитрилась продать. Страх перед временем усиливал слабости ее легкой природы — она все продавала.

Дядя так и не вернулся. С годами боль улетучилась, оставив каплю яда в крови и воспоминание о нем, как о далеком солнечном дне. И только бабушка с неутраченной яростью молила своего глуховатого бога вернуть ей сына. Обычно она молилась, стоя лицом к окну, возле дядиного письменного стола. В такие минуты, чтобы не мешать, никто к ней близко не подходил.

Однажды я подошел к стене и посмотрел на нее сбоку — бабушка держала в руке рюмку водки, и это меня потрясло. Оказывается, она прятала бутылку за ставней. Бедная бабушка молилась в день по пять-шесть раз. Молитва, поддержанная рюмкой водки, наверное, утешала, но все же она умерла, так и не дождавшись сына.

Изредка, бывая у своих, я заглядываю в письменный стол дяди, перечитываю письма его друзей и женщин, еще пахучие и нежные. Как ни странно, в городе его еще хорошо помнят. Иногда, назвав себя в каком-нибудь учреждении, я вижу, как светлеет лицо пожилой женщины и она спрашивает с каким-то молодым любопытством:

— Вы не сын?

— Племянник, — отвечаю я, как в давние годы, и вижу, как задумчиво теплеют глаза женщины.

После двадцатьтого съезда¹⁹⁵⁶ пришло письмо о реабилитации дяди. В эти дни я случайно встретился с Онником, теперь работником следственных органов. Я знал, что ему поручена проверка такого рода дел. Он, не дожидаясь моего вопроса, сказал, что видел папку с делом моего дяди.

— Что же в ней было? — спросил я.

— Ничего, — сказал он и развел руками.

Я вспомнил одну горькую подробность нашей переписки. Когда установилась более или менее регулярная переписка с бухтой Нагаева, где он находился в заключении, он в каждом письме спрашивал об отце, удивляясь, что отец ему не пишет. Сначала он спрашивал, не постигла ли отца та же участь или не боится ли он переписки с осужденным братом, но мы никогда не отвечали на этот его вопрос, всегда обходили его. И он перестал спрашивать об отце.

Я еще тогда заметил, что письма оттуда были свободней по духу и по фактам, чем письма туда. Мы не могли ему написать, что отца с нами нет, потому что в тюрьму не принято было сообщать печальных вестей, тюрьма должна была думать, что воля цветет пышным цветом, как бы намекая тем самым на правильность массовых арестов. Может быть, многие заключенные, получая эти оптимистические письма, думали про себя: меня-то, конечно, взяли ошибочно, но в целом это была правильная политика, потому что избавила страну от тысячи вредителей и привела ее к расцвету.

Мы никогда не узнаем, догадался ли дядя, почему отец ему не пишет. До реабилитации оставался слабый лучик надежды, что он все-таки жив, что ему просто запретили переписку. Теперь, разумеется, никакой надежды не оставалось.

* * *

Мой отец был прирожденным неудачником. Можно сказать, что ему иногда везло, но чаще все-таки не везло. Бывало, если в чем-либо повезет, то сейчас же в чем-нибудь другом не повезет, так что становилось хуже, чем до того, как повезло.

Насколько я знаю, только один раз было наоборот, то есть сначала было плохо, а потом хорошо.

В гражданскую войну он каким-то непонятным образом попал в Одессу, и его схватили во время облавы или еще чего-то там. У него уже тогда с документами было не все в порядке, я думаю, что скорее всего у него их вообще не было.

Одним словом, его засадили в камеру смертников вместе с какими-то спекулянтами. Может быть, решили, что он привез в Одессу мандарины или еще что-то? Хотя в те времена у нас цитрусовых не производили, так что и с мандаринами не получается. В те годы он работал на кирпичном заводе, и единственное, что он мог привезти в Одессу, — это кирпич. Но во время революции никто не покупает кирпичей, даже если их и пускают в ход во время баррикадных боев. Одним словом, я не знаю, как он попал в Одессу.

Просидел он двое суток в камере, но долго тогда в тюрьме не держали, потому что заключенных надо кормить, а время было голодное. И вот вывели их на тюремный двор, пересчитали на всякий случай и уже собирались посадить в грузовик, как вдруг появляется тот самый комиссар. Отец когда-то, до революции, спас его. За ним охотились жандармы. Отец спрятал его на чердаке нашего дома, потому что жандармы в те времена чердаки обыскивали. Он там у него просидел больше месяца. В конце концов жандармам надоело его искать, и он с помощью отца ночью сел на турецкую фелюгу и удрал. Тогда отец, конечно, не знал, что этот человек станет красным комиссаром, но, видно, делать добро бывает выгодно — может пригодиться. А может и нет. На этот раз пригодилось. Узнал его комиссар. Не мог не узнать. Отец мой был видный мужчина. Высокий, в папахе, и усы.

— Ибрагимыч! — крикнул ему комиссар. — Видно, ты в рубашке родился!

— Васильич! — крикнул отец. — Чуть не сняли рубашку!

— Что же, — говорит комиссар, — ты, старый подпольщик, без документов гуляешь по Одессе?

— Да и ты, — говорит отец, — гулял у меня по чердаку без документов.

Отец мой был острый на язык и за словом в карман не лез.

— Ну, — говорит комиссар, — езжай домой. Пусть твоя мамаша приготовит индюшку по-абхазски, с перцем. Приеду в гости, как только закончим.

— Кончайте скорей, — говорит ему отец, — а то не только индюшек, кур не будет к тому времени.

Дал ему комиссар буханку хлеба, справку и посадил на пароход.

— Хлеб, — говорит, — можешь съесть, а справку не теряй.

— Если сейчас там меньшевики, — ответил отец, — придется и справку съесть.

— Для меньшевиков у меня одна справка. И ты знаешь, какая?

— Чуть не узнал, — говорит отец.

Он тогда благополучно добрался до Абхазии, правда, я не знаю, пришлось ему справку съесть или нет.

Об этой веселой истории он часто рассказывал, сидя за самоваром, потому что любил пить чай. Самоварный чай собственной заварки.

Однажды к нам неожиданно приехал в гости сам комиссар Васильич. Он был высокий, грузный человек с красным лицом и с орденом Ленина, привинченным к пиджаку. Я впервые видел орден Ленина на живом человеке и почти весь вечер просидел у него на коленях, рассматривая орден и иногда трогая его рукой. Из-под ордена высовывался лоскуток красной материи. Орден лежал на нем, как на флажке. Красный лоскут такого же цвета, как и лицо комиссара, и это почему-то было приятно. Мне казалось: и орден, и комиссар сделаны из того же материала, из которого сделана сама гражданская война и книга об этой войне в красном переплете, которую мы, ребята тех лет, листали с таким интересом.

Весь вечер комиссар и отец пили вино и вспоминали о том, о чем я уже рассказывал. Меня слегка беспокоило, что на столе нет обещанной индюшки, но комиссар не вспоминал, да и закусок было достаточно.

Вдруг отец и комиссар заговорили о чем-то другом. О чем они говорили, я не понимал, но чувствовал, что разговор какой-то тревожный. Я запомнил только два слова, которые теперь все время мелькали, — «диктатура пролетариата».

Что-то грозное и красивое было в этих словах, и вместе с тем, казалось, они в какой-то опасности. Но слова были такие красивые и храбрые, что я был уверен: они расправятся с любой опасностью или, в крайнем случае, вырвутся из нее, как партизаны из окружения.

— Диктатура пролетариата, — начинал Васильич, тяжело склонившись над столом, и огненные мурашки пробегали по моей спине. Дальше я не понимал, да и не мог понять, может быть, потому, что они сразу заполняли в голове все пространство, отпущенное на слова. Для других слов просто не оставалось места.

— Да, но диктатура пролетариата, — отвечал мой отец, и снова огненные мурашки пробегали по моей спине. Так сидели они весь вечер и говорили, а я смотрел на красный орден и слушал.

— Хай живе Украина! — неожиданно воскликнул отец и поднял стакан.

— Хай живе! — подхватил комиссар и ударил кулаком по столу. Может, даже не ударил, а просто опустил на стол, забыв про его тяжесть. Он так опустил его, что некоторые тарелки перевернулись. Но бутылка с вином не перевернулась, потому что отец успел ее подхватить.

Мама выглянула в дверь и плотнее ее прикрыла. Она

думала, что они говорят что-нибудь лишнее, потому что плохо понимала по-русски. (Сейчас я думаю, что она все-таки была права, хоть и плохо понимала по-русски.)

Комиссар прожил у нас несколько дней. Утром он уходил с отцом, а вечером приходил.

— Как зацапаю, — говорил он шутливо, увидев меня, и, огромной ладонью обхватив мои штаны, поднимал меня на воздух и покачивал на руке возле своего лица. Я старался не шевелиться, потому что шевелиться было больно — вместе со штанами он прихватывал и вминал в свою могучую ладонь мои не слишком мясистые ягодички. Потом он осторожно ставил меня на пол и доставал из кармана мои любимые конфеты — «раковые шейки». Примерно через год комиссар переехал жить в наш город, и мы с отцом иногда встречали его на улице. Теперь он уже не был комиссаром, вернее, оставался комиссаром, но уже не работал им, хотя все еще был каким-то начальником. Так по крайней мере я это понимал тогда.

Мама часто приставала к отцу, чтобы он попросил Васильича устроить его на хорошую работу. По этому поводу у них часто бывали ссоры, и отец говорил, что она ничего не понимает в этом деле и что Васильич не может ему помочь.

— Он все может, у него орден, — упрямо отвечала мама.

Дело в том, что мама завидовала семье Богатого Портного и хотела, чтобы отец учился у него жить. Но отец равнодушно отмахивался.

— Нам его не догнать, — говорил он.

— А ты попробуй, — советовала мама. Но отец не пробовал.

У Богатого Портного было много клиентов. Иногда за ним посылали машину, и он уезжал к своим заказчикам. Целыми днями он копошился в своей комнате и только иногда в самую жару выходил во двор, садился на скамеечке и вытягивал одну-две чашки кофе по-турецки, которые приносила ему жена. Маленький, потный, нагловоробкий, он сидел в своей сетчатой майке с небрежно закинутой за шею ленточкой сантиметра и рассказывал о своих клиентах. Глядя на него, я вспоминал слова отца о том, что нам за ним не угнаться. Было похоже, что отец и в самом деле прав, потому что ленточка сантиметра висела у него на шее, как финишная ленточка, он ею время от времени вытирал свое потное лицо, может быть, в знак того, что она оборвана именно им или просто для того, чтобы даром не висела, если уж сам он иногда вынужден отдыхать.

— Люди живут! — говорил он с видом человека, который один знает, что делается в мире. — Запомните мое слово, люди живут...

Увидев маму, он обращался к ней с одними и теми же словами:

— Хозяйка, рубим кипарис, да?

— Зачем? — спрашивала мама, сдерживая ненависть.

— Сырост дает, крыш портит, — перечислял он.

— Не твой отец сажал, не ты срубишь, — безжалостно отвечала мама.

Кипарис рос под нашими окнами и был самым большим и самым красивым деревом на нашей улице. В гуще его хвои вечно копошились и чирикали воробьи, и хотя тень от него была не очень широкая, зато самая густая и прохладная.

Правда, с него сыпалась хвоя и часть ее попадала на крышу, и никому в голову не приходило, что от нее ржавеет крыша, пока Богатый Портной не стал Богатым Портным и не переселился в комнату на верхнем этаже нашего дома, так что он стал хозяином и части захвоенной крыши. А до этого он жил во дворе в довольно жалкой пристройке. А еще раньше, когда нас не было, отец привез его откуда-то, как приблудную собачонку, и поселил в этой пристройке. Мама отчасти не любила его из-за того, что понимала, с чего он начинал. Возможно, она считала, что кривая его благополучия слишком резко пошла вверх. Человек, который богатеет на наших глазах, всегда кажется нахалом.

Правда, и работал он, надо сказать, с непостижимым упорством. До самой поздней ночи верещала его швейная машина. Может, он сам старался догнать тех самых людей, о которых он говорил: «живут»...

Время от времени он покупал к себе в дом какую-нибудь вещь, и мама воспринимала каждую его покупку, как удар по престижу нашей семьи.

— Пока ты сидел в кофейне, он купил шифоньер, — говорила она вечером отцу.

— Ну и что? — отвечал отец с неистребимым равнодушием к чужим успехам, что особенно раздражало маму. Вскоре Богатый Портной начал складывать в нашем подвале свою старую рухлядь, потому что в доме у него собралось слишком много вещей.

В общем-то он был человеком довольно безвредным, только любил хвастаться своей удачливостью. И клиенты у него лучше всех, и вещи, которые он покупает, самые дешевые и при этом самого лучшего качества. Правда, однажды он дал промашку, и об этом в нашем дворе долго помнили и говорили. Он попался на удочку собственного тщеславия. Один шофер как-то привез дрова, остановился у нашего дома и дал сигнал. Богатый Портной вышел на балкон, и они стали торговаться. Должно быть, они так и не сторговались, потому что шофер влез в машину и сказал:

— Я думал, здесь только ты можешь купить столько дров, но, видно, ошибся.

— И ты не ошибся, — сказал Богатый Портной, — въезжай.

И шофер въехал во двор. Потом оказалось, что в машине было не семь кубометров дров, как говорил он, а только пять. Это выяснилось не сразу. Это выяснилось после того, как пильщики распилили ему дрова, получили деньги за семь кубометров и ушли. А потом они расхвстались об этом на базаре. И на следующий день одна из женщин с нашего двора принесла новость с базара вместе со свежими овощами. Двор с удовольствием слушал, как Богатый Портной ругался. Он ругал пильщиков и свою жену, которая их наняла. Про шофера почему-то не вспоминал.

Вот этому портному и его семье мама завидовала и упрекала отца в безалаберности. Теперь-то я думаю, что мы жили не намного хуже его, но у нас не было того поступательного движения, той древней поэзии улучшения гнезда, без которой до конца не может быть счастлива ни одна женщина.

Мама считала, что дело все в хорошей работе, но отец или не мог ее найти, или был доволен своей.

Помню его на угольном складе с руками черными и пропахшими земляной сыростью, тайной нераскрытого клада.

Помню его на каком-то яблочном предприятии. Горы яблок, а я босой хожу по ним, выбираю самое лучшее и никак не могу выбрать. Только найду красное, приходится бросать, потому что вижу другое, еще более румяное, крутое, красивое. Отец стоит рядом и посмеивается.

Бывало, когда мы шли с отцом на море, или на базар, или еще куда-нибудь, нам на улице встречался Васильич. Они приветствовали друг друга, приподняв руку над головой.

— Мое почтенье, Васильич! — говорил отец.

— Привет, Ибрагимыч! — отвечал комиссар, приподымая руку.

Мне нравился этот жест, эта сильная мужская рука, приподнятая над головой. Мне чувствовалось в этом жесте что-то особое, как бы горьковатое приветствие из далеких времен и немного ленивое презрение к чему-то. И теперь, когда я мысленно вспоминаю этот жест, я вижу в нем еще что-то. Может быть, понимание того, что за порядочность так или иначе надо платить.

Иногда они останавливались возле пивной будки и выпивали по кружке пива. Прохожие оглядывались на Васильича, вернее, на его орден. Я старался стоять к нему поближе. Комиссар стоял задумчивый, отяжелевший, с тя-

желой кружкой в руке. Иногда он вспоминал свою шутку и, посмотрев на меня, говорил: — Как зацапаю...

Но больше он меня почему-то не подымал, хотя конфетами все еще угощал. На вид он был какой-то сумрачный, рассеянный, было похоже, что ему некуда спешить, не сейчас некуда спешить, а вообще некуда спешить. Я думал, что в нашем городе нет и не может быть работы, достойной его, и ему здесь просто скучно.

— Что ты думаешь об этом? — как-то спросил он у отца. Они стояли в тени ларька и пили пиво. Васильич стоял спиной к ларьку, облокотившись о прилавок, и смотрел на улицу. Я думал, что на улице что-нибудь случилось, и оглянулся, но ничего не увидел.

— Думаю, что тебе пора ко мне на чердак, — сказал отец и отхлебнул из кружки.

— Подождем, — сказал Васильич и, удобней откинувшись спиной, плотно уперся локтями о прилавок.

— А по-моему, ждать нечего, — сказал отец, — самый раз. Хочешь, проведу электричество?

— А ты смотри, чтобы тебя самого... — сказал Васильич и усмехнулся.

— За что? — спросил отец.

— За связь с бывшим подпольщиком, — ответил Васильич, и они оба рассмеялись. Я понял, что они шутят, что комиссар не собирается к нам на чердак, но с чего они так шутят, я не понимал.

Вспоминаю — громадная очередь у входа в магазин. Очередь топчется, колышется, гудит. У входа, как всегда, давка. Дают сахар и хлеб. Я стою на той стороне тротуара и жду отца. Он уже в магазине.

На стене какого-то здания рядом с очередью висит огромный плакат. Он изображает веселого, танцующего человека, с летящими руками, с развевающимися полами черкески, с головой, повернутой в сторону вытянутых рук. Он смотрит на свои улетающие руки с улыбкой, он как бы говорит им: летите, голуби! Человек показывает свое веселье, и чтобы это всем было ясно, под плакатом надпись крупными буквами: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Мне кажется, что это он говорит, потому что точно так же в немых фильмах то, что люди говорят, писалось на кадрах.

Я долго жду отца. Мне скучно. От нечего делать я раз двадцать перечел эту подпись под плакатом. Я чувствую, как постепенно все сильнее и сильнее меня начинает раздражать этот веселящийся человек с пустующими рукавами черкески. Я чувствую какую-то постыдную неуместность его веселья возле очереди. Я не против его веселья, но мне кажется — лучше бы он веселился где-нибудь возле кино, или в парке, где по вечерам играет музыка, или в крайнем случае у себя дома.

Наконец, показывается высокая фигура отца, выдирающаяся из очереди, как из кустарника. В одной руке у него кулек с сахаром, в другой — буханка хлеба.

— Бегом домой, — говорит он и передает покупки, — я скоро приду.

Он уходит в кофейню. Я знаю, что он не скоро придет, но мне радостно бежать домой с горячим хлебом под мышкой, с плотным кульком сахара. По дороге я отламываю еще теплые куски хлеба, макаю в зернистый сахар и ем. Вкусно, хорошо.

Отец работает в какой-то конторе по заготовке драни. Мы едем на Кубань. До Туапсе парходом. Мама счастлива — кофейни остались позади. Ночь на палубе. Я лежу у самого борта на каких-то мешках. Сладчайшее ощущение уюта, слаженности жизни, какой-то определенности, порядка, чего так не хватало в нашем быту. И все потому, что отец работает в какой-то конторе по заготовке драни и у него командировка на Кубань. Все, как у людей, к чему всю жизнь стремилась мама и чего не могла достигнуть. На палубе табор каких-то незнакомых, крикливых, веселых людей. Рядом со мной сидит мама и отец, притихший, как мне кажется, смущенный своей добропорядочностью.

Я то засыпаю, то, вновь просыпаясь, слышу голоса людей, звук гитары, смех и под этот успокаивающий шум необыкновенно сладко засыпать.

Просыпаясь, я смотрю на небо, полное спелых черноморских звезд. Время от времени мачта прочерчивает дугу в темном небе. Кажется, она хочет сбить с неба звезду... Так у нас в деревнях осенью длинной палкой сбивают с деревьев грецкие орехи. Но мачта все время промахивается. «Левей, правей», — шепчу я, но ничего не получается. Мачта все время промахивается, а звезды иногда падают сами, на миг размазывая по темному небу золотистый след.

Я ощущаю всем телом опускающуюся и задумчиво подымающуюся громаду парохода, слышу обильное шипение забортной воды и вновь засыпаю.

Дешевизна кур в Туапсе потрясла мою маму, она чуть было не приостановила наше путешествие, но мы все-таки доехали до нашей конечной цели — станицы Лабинской.

Здесь мы попали в море дешевого молока, и мама окончательно успокоилась. Это был месяц сытой и медленной жизни. Батареи банок с простоквашей в прохладном углу нашей хаты, пыльные улицы, пыльные деревья, голоногие женщины, лузгающие семечки и вынимающие их прямо из золотых чаш подсолнухов, ленивый скрип колодезных журавлей.

Как-то мама ушла на базар, поставив в прохладный угол комнаты кастрюлю молочной рисовой каши. Это была кастрюля средних размеров. Играя вокруг нее, я незаметно

но съел всю кашу. Несколько позже выяснилось, что я объелся. Это было единственным тревожным событием в нашей кубанской жизни. С месяц мы жили в этом пыльном молочном раю, а потом уехали домой, и, видно, напрасно.

К нашему приезду выяснилось, что контору по заготовке драни слили с какой-то другой конторой. В суматохе про отца как-то забыли, и он остался не у дел.

Мама с удвоенной яростью принялась за отца, и теперь ему ничего не оставалось, как сходить к Васильичу. Но и тут он опоздал.

В этот день отец пришел только вечером, хотя мы его ждали к обеду. Он был выпивши. Отец умел пить, и стакан в его большой руке казался слишком маленьким. Он никогда не шатался, только делался молчаливым и веки у него тяжелели. Таким он и был на этот раз.

— Ну что? — сказала мама, выждав, когда он вошел.

— Васильича взяли, — сказал отец, помедлив и не снимая тужурку, уселся за стол, словно теперь ему незачем было снимать тужурку, словно то, что он сказал, подразумевало, что и ему недолго здесь оставаться, так что даже тужурки снимать, может быть, не стоит. В комнате стало тихо.

— Ну что ж, — сказала мама, — ты все-таки разденся, — и вышла из комнаты подогреть отцу обед.

Было бы преувеличением сказать, что, после того как отец потерял работу, мы впали в нищету. Насколько я помню, почти ничего не изменилось. Нам помогали деревенские родственники, к тому же мы сдали внаем одну из двух наших комнат.

Квартирант заплатил сразу за несколько месяцев вперед. Возможно, он это сделал, чтобы смягчить впечатление от своей болезни, он оказался припадочным. Припадки его нас не особенно беспокоили, потому что у нас у самих был сумасшедший дядя. Можно сказать, что у нас была прочная прививка против суеверного страха перед всякого рода ненормальными явлениями.

У квартиранта был цветущий интеллигентный вид. Детский румянец на его щеках казался мне странным. Я думал, что это у него от припадков, потому что лица взрослых людей с нашей улицы обычно были изможденные, может быть, не только от трудов, сколько от бесплезных страстей и несбыточных надежд.

Когда он по утрам вместе с женой уходил на работу, соседи жалостливо качали головами и говорили: «Кто бы подумал... а на вид такой интеллигентный...»

У нас еще оставалась комната и веранда, которая по нашему теплomu климату вполне могла сойти за вторую комнату.

Правда, в это время (как и во все времена) у нас жи-

ли двоюродные сестры из деревни—приехали учиться. Кроватей на всех не хватало, но места на полу еще оставалось много. Лично мне кровать была ни к чему, потому что в тот беспокойный период своей жизни я все равно скатывался на пол, так что кровать мне даже была вредна. Но мама из какой-то непонятной гордости старалась затолкнуть меня в кровать, даже если при этом приходилось лишний матрас выстилать перед кроватью, чтобы я не слишком стучался головой, скатываясь на пол. Так вот, после того как мы сдали комнату, мама начала расстравлять свою давнишнюю рану, упрекая отца за дом, который у нас, оказывается, когда-то был.

История этого дома такова. Еще до революции или в начале двадцатых годов один грек, приятель отца, потерял казенные деньги, скорее всего даже проиграл в карты или нарды. Отцу ничего не оставалось, как заложить дом и выручить его из беды. Все было хорошо, но в один прекрасный день,—я думаю, скорее всего то была ночь,—этот самый грек, ни с кем не попрощавшись, уехал в Афины. Он сбежал. Наш дом (но нас с мамой тогда еще не было, хотя дом уже был наш) отошел кому-то, а грек время от времени присылал из Афин длинные покаянные письма. Обещал прислать маслины, но так и не прислал. Письма присылал он еще долго. Уже мы, дети, родились, выросли, научились читать, а письма все шли и шли. Отец успокаивал его, писал, что мы живем в новом прекрасном доме, но тот не унимался. С каждым разом понять его было трудней и трудней, потому что он забывал русский язык. В конце концов мы перестали в них что-либо понимать и не знали, что с ними делать, пока я не догадался отлеплять от конвертов марки и обменивать их на самые ценные кинокадры из картины «Чапаев».

В те времена в наших краях жило много турков, греков, персов. Жили они на черноморском побережье с незапамятных времен.

Местное начальство изредка начинало их как бы слегка притеснять, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но они ничего не делали и, может, от этого становились еще более подозрительными.

Порой, наоборот, их начинали обхаживать, даже слегка баловать, как потомков бывших иностранцев. Все зависело от международного положения. Может быть, поэтому они были самыми шумными политическими комментаторами приморских кофеен.

Одним словом, к ним приглядывались и до поры до времени терпели. Но тут терпение лопнуло, и их решили выслать по месту происхождения. Возможно, они слишком вяло встали в социализм.

Отец, конечно, попал в число самых первых, которых выслали по месту происхождения. Он ездил в Москву

хлопотать, чтобы его оставили, но ничего не получилось. Один наш родственник уговаривал его уехать в горы и жить там вместо его брата, потому что брат его умер, а козловая книжка осталась.

Отец тогда не решился, и мы все об этом жалели, потому что через полгода международное положение изменилось и никого не стали никуда отправлять. Ему бы полгода просидеть в горах, и он, может, до сих пор был бы с нами. Да видно не судьба.

Отъезд отца помню смутно. Мы стоим у поезда на перроне. Часть едет, часть провожает. Видно, было еще тепло, потому что рядом с отцом стоит человек в белом костюме и держит за руку быстроглазого, кучерявого мальчика. Зовут этого мальчика Адиль. Он постарше меня, этот мальчик, и все время рвется куда-нибудь—то за тележкой носильщика, то за какой-то собакой, то в сторону лимонадного киоска. Кажется, отпусти его отец—и он разбежится в разные стороны. Но человек в белом крепко его держит за руку. Он пьян и мрачен, этот человек.

— Наши отцы здесь жили с незапамятных времен, — говорит он, — и пусть этот поезд разобьется.

— Тише! — испуганно говорит ему жена, такая же быстроглазая, как и этот мальчик, — помни, что мы остаемся.

Она держит за руку девочку, которая в отличие от брата все время прижимается к матери.

— Дай бог, международное положение! Дай бог, чтобы все живы-здоровы вернулись домой, — говорит старый Алихан, провожая своих друзей.

— Наши отцы с незапамятных времен, — начинает человек в белом костюме. Рядом мальчик, быстроглазый, кучерявый, веселый. Он мотается на его руке, как на привязи.

— Пусть этот поезд не доедет до Баку, пусть разобьется, — говорит человек в белом костюме.

— Эй, гиди, дунья! — печально умиротворяет Алихан.

Потом, помню, мы в вагоне. Провожающие решили проехать до ближайшей станции Келасури. Кроме смутной тревоги и какого-то странного любопытства, я ничего не чувствовал и не понимал.

Но вот поезд стал подходить к станции. Он дал гудок, и неожиданно весь вагон заревел, и этот страшный рев слился с пронзительным гудком паровоза, словно голоса людей с яростью накиннулись на этот гудок, словно они хотели заглушить, заткнуть, затоптать его силой своего отчаяния. И, словно не выдержав, гудок оборвался, и только стало слышно, как мчится и мчится ревуший вагон.

И остались в памяти заплаканные лица женщин, с бессмысленным выражением глаз, с беззвучно кричащими ртами, с растрепанными и отброшенными волосами, словно бил им в лица и запрокидывал головы невидимый ветер.

Не знаю почему, я не заплакал. Мне стало страшно за отца и стыдно за всех. Вся родня плакала, обнимая его и целуя, как покойника. Тогда я этого не мог осознать, но сильнее всего было чувство стыда за этот обнаженный эгоизм горя. «Не смейте! — хотелось крикнуть мне. — Он еще живой, он еще вернется!» Какой-то ком с невероятной силой сдавил мне горло.

— Мама!

— Адила!

И заплаканное лицо проводницы с фонарем — последнее, что я увидел. Поезд ушел, а мы остались на станции Келасури. Интересно, что через много лет я узнал, что этот кучерявый, широкоглазый мальчик стал известным в Иране революционером, его так же преследовали жандармы, как когда-то Васильича. Неисповедимы пути человека!

После отъезда отца маме надо было куда-нибудь устраиваться на работу. Мама была женщиной малограмотной, то есть считать умела лучше, чем читать, и поэтому пошла в торговлю.

Наш припадочный квартирант с отъездом отца впал в обратную крайность, стал месяцами не платить деньги. Потом он неожиданно стал надменным. Он перестал здороваться с намеком, а потом и вовсе перестал платить за квартиру, о чем прямо сказал маме. Мама предложила ему убраться, он не согласился.

Мама подала в суд. Началась эпоха судебных войн, длительной осады, ложных выпадов и обходных маневров. Борьба шла с переменным успехом. От разговоров о защитниках, кассациях, обжалований некуда было деться, и мы волей-неволей следили за развитием дела.

Первый раз он выиграл, сумев доказать, что раз отца выслали, значит, он был человеком подозрительным и, значит, семья такого человека не имеет право отбирать комнату у честного служащего.

Знакомые советовали маме оставить это дело. Они боялись, что нам будет еще хуже! Но не тут-то было!

Бесстрашная кровь абреков текла в жилах моей матери. Ее оскорбленная ярость, как горный поток, хлынула по бесчисленным каналам судопроизводства.

После первого проигрыша к нам в окно неожиданно постучал Богатый Портной.

— Хозяйка, — сказал он, стараясь не смотреть маме в глаза, — кыпарыс рубим, да?

— Только попробуй, — сказала мама.

— А что будет? — любопытно спросил Богатый Портной.

— Твою голову отрублю твоим же топором, — сказала мама просто.

— Хозяйка, чересчур, — сказал Богатый Портной задумчиво и отошел.

На следующий день к нему в гости приехал его давний клиент, начальник автоинспекции. Богатый Портной устроил ему обед и всей семьей провожал его до мотоцикла. Начальник автоинспекции, сидя на заведенном мотоцикле, долго прощался с многочисленной семьей Богатого Портного. Выглядело внушительно. И хотя начальник автоинспекции нам ничего не сказал, возможно, он даже не знал тайной цели своего приглашения, но это была явная демонстрация силы.

Но мама не испугалась. Она ответила контрдемонстрацией. У нас был знакомый абхазец из пожарной команды, и мама его привела. Он осмотрел подвал, где лежали старые вещи Богатого Портного, и предупредил его, что они представляют пожарную опасность для дома.

Богатый Портной притих. Потом он время от времени подымал голову, в зависимости от течения нашего основного дела, которое длилось больше года.

В это время я заметил одну странную вещь. Я был единственный человек в нашей семье, которого квартирант стыдился. Увидев меня, он резко отворачивал голову, тогда как на других он просто не обращал внимания, хотя я был самым младшим. Наверяд ли он подозревал, что я о нем когда-нибудь расскажу. Мне кажется, я смутно, но верно догадывался, в чем дело. Еще до того, как мы вступили в открытую войну, я иногда брал у него читать книжки. У него был огромный шкаф, наполненный разными чудесными книжками. То, что он делал, если и не противоречило тому, что делалось в жизни, противоречило тому, что было написано в этих книгах. Я это чувствовал, и он знал, что я это чувствую, и стыдился меня. Ему казалось, что я один знаю тайну его падения, и он отворачивался от меня. Но он ошибался, тайну его падения знал и весь наш двор, хотя книг почти никто не читал, кроме детей.

К этому времени знакомые научили маму нанять самого удачливого защитника по фамилии Суздаль, и дело пошло на выигрыш. Энергия мамы соединилась со стратегическим мастерством защитника.

Квартирант дрогнул, у него участились припадки, что было нам на руку. По совету защитника мама вызвала из деревни еще двух девушек, так что наш дом теперь напоминал небольшой интернат горянок, рвущихся к свету новой жизни. Запас этих юных горянок был неисчерпаем, как сама жизнь.

— Если надо, сколько хочешь позову, — сказала мама защитнику.

— Пока хватит, — рассчитал он.

Говорят, на суде в своем последнем выступлении он так поставил вопрос, что речь шла не о возвращении нашей комнаты, а о том, имеют ли право эти девушки, задавлен-

ные вековыми предрассудками своих диких предков (задавленные девушки все как на подбор были мощными, цветущими красавицами), теперь, после революции, шагать в ногу со временем и нести свет новой жизни в свои далекие села? А если имеют право, то как это совместить с упорством нашего квартиранта, который пугает их своими припадками, не говоря о тесноте, к которой эти девушки не привыкли и никак не могут привыкнуть, как выросшие на горных просторах нашей родины.

А в конце он спросил у суда, нет ли здесь сознательного желания приостановить или даже затормозить культурную революцию в горах Абхазии?

Говорят, суд ушел на совещание, а потом пришел и объявил, что сознательного желания нет, но комнату освободить он должен.

Назначили срок, к которому он должен был освободить комнату, но квартирант продолжал упорствовать и после истечения срока. И тогда пришел веселый милиционер и вместе с моим сумасшедшим дядей (не менее веселым) выволок на улицу имущество нашего квартиранта.

Наш поверженный противник продолжал грозиться. Нарочно, разбросав стулья и некоторые другие вещи, он стал их фотографировать. Он говорил, что пошлет эти фотографии в газету и тогда нам всем будет плохо. Но мы были спокойны, уже тогда мы знали, что такие фотографии в газету не примут.

Наш двор стоял возле его разбросанных вещей и смотрел, как торжествует справедливость. Я тоже стоял среди них и смотрел, как он, установив треножник и покрыв голову траурным покрывалом, фотографирует вещи. Рядом стояла его жена, худенькая, растерянная. Дети нашего двора, те, что поменьше нас, бегали перед его аппаратом, заелоняя вещи и стараясь, чтобы он их нечаянно щелкнул. Он их отгонял, но они снова налетали, чувствуя молчаливое одобрение своих родителей.

Он продолжал снимать, время от времени приостанавливая свое занятие, и выжидающе смотрел на небо. Погода была пасмурная, и ему хотелось, чтобы пошел дождь, чтобы на снимках было видно, в какую погоду его выгнали на улицу. Но дождь так и не пошел.

— Анатолий, — тихо говорила жена его время от времени, — хватит, ну хватит...

И вдруг я неожиданно почувствовал смущающую душу жалость сначала к ней, а потом к нему. Даже в том, что дождь так и не начался, ему не повезло. Я хотел подавить в себе это постыдное чувство, но оно никуда не уходило, и тогда я сам ушел, чтобы не видеть это торжество на развалинах. В тот же день они уехали и наняли где-то комнату, а я забыл это непонятное, неожиданное чувство.

Но впоследствии много раз я испытывал еретическую

жалость к поверженному врагу. И в студенческих спорах, и в более серьезных вещах я порой замечал в себе и в других эту пляску на развалинах, и в голосах победивших друзей мне слышалось тихое урчание, волчий призыв торжества, и тогда я чувствовал, что победителю дорога не истина, которую он доказал, а это мгновение превосходства, право унижить, растоптать своего противника. Вероятно, в себе я это замечал гораздо реже, чем в других, но иногда, замечая в близких мне людях, я чувствовал, как они становились далекими, а далекие, вопреки смыслу, вызывали тайное сочувствие. И тогда мне доставалось и от близких, которые не могли мне простить этого сочувствия, и от далеких, которым сочувствия было мало.

Вскоре после отъезда отца пришло первое письмо. Адрес был романтичный и странный: город Решт, улица Хиабен-Шах, цветочный магазин Аллаверди. Это был адрес его друга, который прибыл из России, и мы потом всегда писали по этому адресу, потому что у отца не было своего, постоянного. Отец писал, что ищет работу, скучает и надеется на скорое возвращение. А потом переписка заглохла, мы не получали ответа на наши письма и не знали, что думать.

И вдруг во время Отечественной войны снова пришло письмо. Оказывается, многих приехавших из нашей страны заподозрили в шпионаже, арестовали и отправили на какой-то остров на каторжные работы. Условия там были такие, что люди умирали каждый день. И каждый из заключенных, писал отец, вырыл себе могилу, чтобы остающимся в живых не приходилось тратить последние силы на умерших. Но отцу, видно, было не суждено умереть в заключении. В это время наши войска вошли в Иран и оставшихся в живых освободили. Тень комиссара, как когда-то в Одессе, снова склонилась над судьбой отца.

Он писал, что работает десятником на строительстве железной дороги, которую строит какая-то русско-иранская компания. Чувствует себя хорошо, хотя и болеет, хлопочет о выезде на родину, но ему отвечают, что необходима просьба или запрос семьи отсюда, с нашей стороны. Эти просьбы, запросы, заявления писались в разные учреждения, которые вежливо отвечали, что необходимо с той стороны подтверждение его просьбы вернуться на родину.

Каждый раз, получив такую бумагу, мама просила меня лучше перевести ей содержание, она так и не научилась понимать язык государственных учреждений, хотя разговорный язык освоила неплохо. Я переводил ей, как мог.

— Напиши им, что он уже старый, что он не может вреда принести, — говорила она.

— Я уже писал, — отвечал я.

— Напиши еще, — говорила она, и я писал.

Так шли годы. Переписка то возобновлялась, то глохла, в зависимости от международного положения, которое, даже если и улучшалось, то не настолько, чтобы отец мог вернуться.

Когда я был маленький, я думал, что отец вернется к нам еще до того, как я окончу школу. Потом я думал, что он вернется, когда окончится война, — тогда все так думали. Потом я думал, что он вернется после того, как я окончу институт. Но окончилась война, я окончил школу, окончил институт, а он все не возвращался. И я все реже и реже о нем вспоминал. И только мама молчала и упорно ждала его все эти годы и, работая с утра до ночи, находила в себе силы напомнить о нем и тормозить нас с хлопотами.

Уже после войны, когда я учился в Москве, мне посоветовали сходить в МИД и все рассказать. Я пошел. Часовой у входа легко пропустил меня в здание и показал телефон, по которому надо было позвонить. Я позвонил. Кто-то взял трубку и, узнав суть дела, прервал меня и назвал другой телефон, по которому мне посоветовали звонить. Я снова набрал номер и снова позвонил. На этот раз мне назвали третий номер. Я набрал третий номер. Казалось, равномерными толчками я прохожу в глубь учреждения и мой третий звонок улетел в непомерную даль, и я вдруг почувствовал всю несоразмерность, даже наглость моего желания заинтересовать и заняться судьбой одного человека огромное учреждение, призванное заниматься целыми государственными и всемирными проблемами.

Человек, поднявший трубку на этот раз, спокойно выслушал меня и спокойно объяснил, что все это надо изложить в письме и прислать им...

...Однажды почтальонша постучала к нам в окно. Может быть, от неожиданности я вздрогнул, и мне стало не по себе. Я подошел к окну.

— Вам письмо, — сказала она и передала мне конверт. Я сразу заметил, что оно оттуда, но вместо того чтобы обрадоваться, я почувствовал, как у меня ооченела грудь. Я ничего не объясняю, я только хочу сказать, что так было.

Раскрыв конверт, я увидел свое собственное письмо, посланное туда с полгода назад. Ничего не понимая, я перевернул страничку письма и вдруг увидел в конце страницы — она была недописана — приписку крупным, дрожащим, старческим почерком: «Ваш отец умер в 1957 году, царство ему небесное. Аллаверди Ватинабад».

Что-то резануло в груди, как будто кто-то точным движением вырвал не слишком крепкий, но все же упирившийся корень. И теперь холод в груди проходил, и там, где только что резануло, появилась теплая боль.

Я смотрел на этот крупный старческий почерк, почерк человека, забывающего язык, и мне горько стало от того,

что мне нечем было заполнить этот листок письма и в нем осталось место для последнего известия. Я подумал, что смерть его началась с тех пор, как письма наши начали сокращаться, незаметно, произвольно, с годами.

В последних письмах он писал о том, что часто болеет и видит во сне нас, маму, родные места. «Наверное, к добру», — писал он.

Я вспомнил о тех заявлениях, которые по настоянию мамы я писал последние годы, где я старался преувеличить его старость, хотя он уже был на самом деле стар, преувеличить его болезни, хотя он уже был мертв.

Я подумал, что письма его за все эти годы пробивались к нам, как крики тонущего человека, а мы, его дети, постепенно уходили все дальше и дальше — и потому, что убедились, что нельзя помочь, и потому, что у нас начиналась своя жизнь. И только мама продолжала стоять на берегу и ждать. Но он и этого не видел. Нельзя сказать, чтобы он слишком досаждал нам своими криками. Десяток писем за двадцать лет.

И вдруг с необыкновенной ясностью всплыли картины, которые я никогда не вспоминал и не думал, что помню. Мы с отцом где-то за городом на берегу моря, и он мне читает «Тараса Бульбу». Отец в очках, он их надевал только во время чтения. Иногда он их снимает, зажигает папиросу, подставив очки под солнце, как увеличительное стекло. И чем дальше он читает, тем чаще приходится снимать очки и дольше держать их над папиросой, потому что солнце идет к закату, а книга волнует все больше и больше. И когда он доходит до того места, где старый Тарас слезает с коня и ищет свою люльку, я уже чувствую, что будет дальше, мне кажется, и старый Тарас чувствует, что будет дальше, но он все-таки останавливается, и это так страшно, и так прекрасно, и так необходимо.

Потом я вижу отца, как он подходит к дикой шелковице, которая растет в нашем дворе. Пригибает ее еще тонкий молодой ствол и быстрыми, как мне кажется, небрежными движениями в нескольких местах расщепляет его финским ножом и плотно вставляет в эти расщепы несколько кудрявых веточек садовой шелковицы. Мне кажется, что из этого ничего не получится, но чудо состоялось, и в тот же год шелковица стала плодоносить.

Потом я вдруг вспомнил, что через год после его отъезда все дети нашего двора играли в какую-то игру. А потом возле нашего дома остановилась машина, и оттуда вышел отец Эрика. «Папа приехал!» — закричал Эрик и, забыв про игру, бросился к отцу. А моя сестра неожиданно расплакалась и побежала домой.

...Я вложил письмо в конверт и спрятал в карман. Надо было как-то подготовить маму.

Два политических сна я видел в своей жизни, оставивших в моей памяти неизгладимый след. Для нашего поколения политика стала тем кровоточащим жизненным фоном, на котором воспринимаются и видятся почти все события нашей жизни.

Первый сон не стану рассказывать. Может быть, в другой раз.

Другой сон уже через много лет после XX съезда.

Кого-то хоронят. За гробом идут музыканты, толпа. Вдруг тот, кого хоронят, медленно приподымается из гроба и медленными взмахами рук начинает дирижировать оркестром.

Но, как это бывает во сне, оркестранты, несмотря на то, что он прямо перед ними, привстав из гроба, дирижирует ими, не замечают его, хотя и подчиняются медленным взмахам его рук.

И вдруг страшная догадка доходит до меня: он нарочно устроил свои похороны, чтобы посмотреть, кто его будет хоронить. Потом он всем, хоронящим его, отомстит. Особенно музыкантам. Это похороны Сталина.

Я надеюсь, что сон этот ничего не означает, кроме наших тревог о будущем. А если что-то означает, ну что ж, постараемся достойно встретить свою судьбу.

Пирь Валтасара

Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом ЦИКа и определил в знаменитый абхазский ансамбль песен и плясок под руководством Платона Панцудая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способных соперничать с самим Патой Патарая!

Тридцать рублей в месяц как комендант ЦИКа и столько же как участник ансамбля — неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!

Как комендант ЦИКа дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени по почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения.

Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь.

В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение или свадьбу или в крайнем случае собственный приезд.

Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что, раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай хлопывает по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою машину: мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сиденье на обратном пути.

Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом)

на чей-то вопрос насчет «бьюика» с коварной уклончивостью ответил, что хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.

Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили, как следует.

Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «бьюика», чтобы в таком виде провезти по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.

В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.

После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, и при этом лживым святотатством!

Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побегал доносить в соседнее село.

К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и пострадавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.

Дяде Сандро, конечно, кое-что перепало за эти небольшие вольности с «бьюиком». Не то, чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжают николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику...

Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, только не все отплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.

Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже гремел в Москве и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.

В описываемые времена он уже набирал скорость сво-

ей славы, которую в первую очередь ему создали Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене республиканского театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.

После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.

Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.

Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.

Однажды участник ансамбля, танцор и запевала по имени Махаз, сказал, что если нахлобучишь башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену: знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.

Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в голову дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.

На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале ЦИКа при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.

Около трех месяцев тренировался дядя Сандро, и вот наступил день, когда он решил показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.

Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх.

По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал

совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.

По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.

Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта ЦИКа или тем более участника ансамбля.

И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулая оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.

Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще не раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.

И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий ЦИКом делает ему оскорбительное замечание.

— По-моему, у нас крадут дрова, — сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленных и сложенных во дворе ЦИКа еще в начале лета.

— Садятся, — небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.

— Я что-то не слыхал, чтобы дрова садились, — сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.

— А ты не слыхал, что вокруг Чегема леса сгорели? — вкрадчиво спросил дядя Сандро.

Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.

— При чем тут Чегем и его леса? — спросил управляющий.

— Вот я и вожу в горы ЦИКовские дрова, — ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.

«Эшеры уже проехали, — думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице ЦИКовского особняка, — наверное, сейчас приближаются к Афону». Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. «Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился», — думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной

легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.

Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.

На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочери, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.

Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чежемскую природу.

Четверо чежемцев, дальних родственников дяди Сандро, сидели тут же в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще наезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.

Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов (в сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов) они строили социализм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.

Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая невероятные цены, несколько дней горделиво простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чежемцы увозили назад свои продукты, говоря: «Ничего, сами съедим». Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше, деспотия рынка делала свое дело.

К одному никак не могли привыкнуть чежемцы, это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чежемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно, куда смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смотреть на огонь или по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.

Вот почему четверо чежемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.

«Сегодня, — думал дядя Сандро, — наши, может быть, будут танцевать перед самым Сталиным, а я должен си-

деть здесь и слушать молчание чегемцев». Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро и он может обидеться, как «родственник». Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро.

— Слава богу, наш Сандро выбился в присматривающие, — сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.

— Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда, — после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.

— Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров, — провёл историческую параллель третий чегемец.

— Все же не настолько, — после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.

Скупое переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.

И вдруг распахнулась дверь, а в ней — управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.

Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.

— Что легко пришло, то легко уходит, — ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую поговорку.

— Не хотел тебя беспокоить, — сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку, — тебе телеграмма.

— От кого?! — выхватил Сандро свернутый бланк.

— От Лакобы, — сказал управляющий с уважительным удивлением.

«Приезжай если можешь Нестор», — прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.

— «Если можешь»?! — воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. — Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? — уже властно обратился он к управляющему.

— На улице ждет, — ответил управляющий, — не забудь захватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.

— Знаю, — кивнул дядя Сандро и бросил жене: — Приготовь черкеску.

Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:

— Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!

— Откуда знаешь? — оживились чегемцы. Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.

— Чувствую, — сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.

— Именем Нестора не всякому разрешают клясться, — услышал дядя Сандро из-за дверей.

— Таких в Абхазии раз-два и обчелся, — уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.

Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.

...Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.

Вечерело, дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.

— Пропуск, — сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.

Женщина посмотрела в паспорт, сверила его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянула на дядю Сандро, стараясь выявить в его облике чуждые черты.

Каждый раз, когда она взглядывала, дядя Сандро замирал, не давая чуждым чертам проявиться и стараясь сохранить на лице выражение непринужденного сходства с собой.

Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.

С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом — в другой, он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.

— Абхазский ансамбль, — наемкнул дядя Сандро на мирный характер своего визита. Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.

Дядя Сандро радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску,

азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Вынимая каждую вещь, дядя Сандро честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.

Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в царевбийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла в какой-нибудь безумной голове.

Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу.

Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.

— Вы Сандро Чегемба? — спросил он.

— Да, — сказал дядя Сандро и вдруг догадался, — но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!

— Афиши меня не интересуют, — сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.

Дядя Сандро пришел в отчаяние. Он вспомнил о телеграмме, как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.

— Бик, ЦИК, Лакоба, — словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.

И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляку по району. Он отчаянно зажестикულიровал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвевающиеся полы черкески.

— Его спросите, — сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливать-ся кровью.

Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.

Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому, не положенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.

Хотя телефон был новенький, может, только сегодня

поставленный, слышно было плохо, и милиционеру пришлось то и дело переспрашивать.

— Участник ансамбля, известный Сандро Чегемский, — заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.

— Знаю, — просто сказал милиционер, — проходите.

Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, устланной красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.

Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал в этой строгости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.

— Он будет? — спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.

— Почему будет, когда есть, — сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.

Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.

— Сандро приехал! — раздалось несколько радостных голосов.

Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им телеграмму Лакобы.

— Управляющий принес, — говорил он, размахивая телеграммой.

— Быстро переодевайся! — крикнул Панцулая.

Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.

— Главное, — говорил он, — когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но девушку строить из себя тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить — выпей и отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как буд-то ты с ним Зимний дворец штурмовал.

Танцоры, слушая Панцулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог — скок, скок, скок! — делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.

Пата Патарая несколько раз, готовясь к своему знаменитому номеру, разгонялся, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.

Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соизмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе его секретный номер, и это сейчас опалило его душу тревожным ликованием: «Получится ли?»

— Помните, что сцены никакой не будет, — говорил Панцулая, в своей белой череске похаживая среди питомцев, — танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше...

Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Панцулая.

— За мной, по одному, — тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.

За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой — дядя Сандро, а там и остальные, рефлекторно уступая дорогу лучшим.

Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.

Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидели два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.

Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и, молча, отчаянным движением руки: давай! давай! давай! — как бы вмел всех в банкетный зал.

В несколько секунд участники ансамбля впрорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.

Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал

двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулая.

Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжат веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.

Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался Всесоюзным Старостой Калининым.

Аплодисменты продолжались, а Панцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем, как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают, и потому дальнейшее молчание ансамбля становилось нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.

Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви, сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямитя.

С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопывающих друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну.

Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, перегаривались, не поворачиваясь друг к другу.

— Вон товарищ Сталин!

— Где, где?

— С Калининым говорит!

— Оказывается, Ворошилов тоже маленький!

— А это кто?

— Жена Берии!

— Вожди — и маленького роста.

— Маленькие, они более устойчивые...

— Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой...

— Тамада наш Нестор!

— А, может, Берия?

— Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.

— Сталин его всегда выбирает... Он — его любимчик...

Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очаро-

вания эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, и что потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.

Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расплывающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее пусть как маленькое, но вещественное доказательство его правоты.

Двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой — от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.

Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол.

Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломающиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.

Горбились индюшки в коричневой ореховой подливке, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожным. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.

Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.

Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржомом. Бутылки с вином были

без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «Изабелла» из села Лыхны.

Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли — так, жареные перепелки запеклись в собственном жире. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.

За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но не дай бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравнивалась деспотией выпивки.

Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.

Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. На лево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининим по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.

Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.

Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.

Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.

— Любимый вождь и дорогие гости, — начал Панцулая, — наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы...

Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.

— ...исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.

Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избегнуть хотя бы оскорбительной неужи-

данности предстоящей позы (раз уж так или иначе она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он довершил свой многозначный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленными руками белой черкески, и замер на взмахе.

— О-райда, сиуа-райда, эй, — как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.

И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она... Не всем суждено увидеть пламя родного очага... И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.

Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.

Такова воля судьбы и судьба мужчины.
Женщина зреет, чтобы родить мужчину.
Мужчина зреет, чтобы родить мужество.
Виноград зреет, чтобы родить вино.
Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.
А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.

Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке.

Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.

Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать скатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти, и поэтому ее продолжают подогрывать на маленьком огне мелодии.

— О-райда, сиуа-райда! — повторяет хор.

Тац-туц! Тац-туц! — хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.

Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.

Тац-туц! Тац-туц! И тут вырывается Пата Патара! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер!.. Вытягивается, выSTRUнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.

В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину — врезаться, взмыть, прорваться... Но в последний миг вы-

ясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.

— Ах, так?! — словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся.

— Ах, так? Ах, все еще? — И снова.

— Ах, так? Ах, так? Ах, так?

Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.

— О-райда-сиуа-райда! Тащ-тущ! Тащ-тущ!

Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), так вот — ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.

С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.

И вот коронный, свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарая разлетается, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.

Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.

Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Патарая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.

Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновение, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глазами от хорошо начищенных, сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.

Снова рукоплескания.

— Они состязаются! — крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекрыть шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.

И снова Пата Патарая, вскрикнув, как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.

— Чересчур, — покачал головой Берия.

— А по-моему, здорово! — воскликнул Калинин, вглядываясь из-за плеча товарища Сталина.

Шквал рукоплесканий, и Пата Патара я пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу.

Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ног товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.

Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного, танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.

И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прощуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.

Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная незащитность раскинутых рук, и слепота гордо закинутой головы, и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.

В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.

И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.

Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер был проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.

— Кто ты, абрек?—спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.

— Я Сандро из Чегема, — ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.

— Чегем...—задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.

— Какая точность, — услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро.

— Солнце видно сквозь башлык, — важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест он возился с ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатила по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами и бутылками редиску.

Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по двенадцать-тринадцать фужеров.

Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили, с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином не беспредельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает.

...Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть песню о красных партизанах «Кераз». Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться.

— Тебе хорошо, — говорил дяде Сандро земляк по району, — теперь ты обеспечен на всю жизнь...

— Да брось ты, Махаз, — скромничал дядя Сандро.

— Да ты что? — не глядя на него, распаялся Махаз. — Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Такое и немец не придумает!

Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.

Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и за-

крывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал, и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.

А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молельном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кум-хоз...» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калининну, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.

Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.

Нестор Аполлонович что-то шепнул жене, и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.

Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькую, пухлой ладонью воздух:

— Пей, пей, пей...

Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придержать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущения, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.

Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания...

Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть... Вот бы его свести с Колчеруки, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.

Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.

Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.

— Пей, пей, пей, — услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог, с той артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада — не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.

— Пьешь, как танцуешь, — сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом. — Где-то я тебя видел, абрек?

Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась, и в глазах у него появилось выражение грозной настроенности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.

Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махазы, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел, не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.

Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.

— Нас в кино снимали, — неожиданно для себя сказал дядя Сандро, — там могли видеть, товарищ Сталин.

— А-а, кино, — протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: — Держи. Заслужил.

Снова забулькало вино, переливаясь в рог.

— Пей, пей, пей, — раздалось рядом.

Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвлению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас

снимали в кино? Ай да Сандро, подумал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он — Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.

Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.

— Может, пригласим их за стол? — спросил он.

— Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость, — ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.

Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, рядом с вождями, тех, что попроще, рядом с секретарями райкомов Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью.

Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.

— Я подымаю этот бокал, — начал он тихим внушительным голосом, — за эту орденосную республику и ее бессменного руководителя...

Он замер, и долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порожила азарт тревожного любопытства: а вдруг?

— ...моего лучшего друга, Нестора Лакобу, — закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера.

— «Лучшего» сказал, «лучшего», — прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови на каждом из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми.

— ...В республике умеют работать и умеют веселиться...

— Да здравствует товарищ Сталин! — неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги. Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный чело-

век стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза.

— Некоторые товарищи...— продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздражения. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.

Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.

Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него, удивленно приподняв брови, как бы сясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.

Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.

— ...некоторые грамотей, там, в Москве...— продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.

Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул—пронесло!

— ...Бухарина...— услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.

— ...Бухарина, Бухарина, Бухарина...— прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.

В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «наш грамотей». Теперь: «этот грамотей».

— ...думают, что руководить по-ленински,— продолжал Сталин,— это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительных мер...

Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивается к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатнувшись с запасом, а отшатнувшись с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханье.

— ...но руководить по-ленински—это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их, куда надо... Небольшой пример.

Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.

— ...Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием, — продолжал Сталин, — раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи.

— ...Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола, Нестора Лакобу, — закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: — Аллаверды, Лаврентию...

Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.

Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом.

— Не слишком дерет? — спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.

— Нет, — сказал Сталин, мотнув головой, — думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.

Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя в отличие от многих других в самом деле подтвердилось — аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.

Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.

После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.

Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинин и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.

«Значит, он с ними, а не со мной, — подумал Сталин, — как же я его проморгал»... Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а тому, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.

— А что с тобой, конопатым, целоваться, — сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина. — вот если

бы ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело...

Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошлепестел по залу. Нет, не изменило чутье, подумал Сталин.

— Ах, ты, мой, Всесоюзный...—сказал он, обнимая и целуя Калинина, а в сущности обнимая и целуя собственное чутье.

— Ха! Ха! Ха! Ха!—рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.

Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:

— Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует...

— Конечно, товарищ Сталин,—сказал Берия и посмотрел на жену.

— Но я не умею, товарищ Сталин,—сказала она, краснея.

Сталин знал, что она не умеет танцевать.

— Вождь просит,—грозно шепнул Берия.

— Зачем вождь, мы все просим,—сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил,—давайте, ребята.

На ходу хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.

— Я не ломаюсь, я в самом деле не умею,—говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновение, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.

Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать.

— Молодец,—сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.

— Сарью, просим Сарью!—раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.

— Иди же,—сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел.

Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Патарая, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.

Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место.

— Лаврентий, — тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя. — Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается...

Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь — судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. Ох, не надо бы вождю так растревлять Лаврентия, подумал дядя Сандро.

В это время Сарья выскочила из круга и, обняв жену Берии, поцеловала ее в глаза. Все почувствовали в этом ее порыве тайное благородство, желание смягчить ее неудачу, обратить все в шутку. Все радостно захлопали, и женщины, обнявшись, прошли к столу.

— Потом скажешь, что они говорили, — шепнул дяде Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплеваний, и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.

Почти одновременно со словами Лакобы раздалось три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнией трещины.

Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрывала белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:

— Попал пальцем в небо.

Ворошилов густо покраснел и опустил голову.

— Среди нас, — сказал Сталин, — находится настоящий народный снайпер, попросим его.

Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал, в чем дело.

Лакоба понял, о чем его просят, и, склонив голову, смущенно пожал плечами.

— Может, не стоит?—сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.

— Стоит! Стоит!—закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики, мол, глас народа, ничего не поделаешь.

Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.

— Позови,—кивнул Лакоба склонившемуся директору.

— Переодеть?—спросил директор, все еще склоненный.

— Зачем? — сморщился Лакоба.— Проще, проще...

Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.

— Я хочу поднять этот бокал,— начал он своим дребезжащим голосом,— не за вождя, но за скромность вождя.

Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же посылки.

Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он. Глухой не льстит. И деньги выслал с посылки... Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.

Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил: рано или поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль... Так кто умеет заглядывать в будущее: он или эти грамотеи?

— ...Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины?— продолжал Нестор Лакоба.

— Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор,—ткнул Сталин трубкой в его сторону,—народ сажал...

— Народ сажал,—прошелестело по рядам.

Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовалась его великолепная формула «Враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской

революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее вынырчил и пустил в жизнь.

Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.

Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи может быть один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, есть следствие ее высочайшей мудрости.

Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечения людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.

Нет человечности без преодоления подлости, и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор.

Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.

Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шарахнуть, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.

Это был среднего роста, пожилой, полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у повара, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.

Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.

— Нестор Аполлонович, повар здесь, — сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекачиваясь, лежало с полдюжины яиц.

— Хорошо, — сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.

Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцу. Этого он еще не видел.

— Индюшкины яйца? — вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо...

— Куриные, Лаврентий Павлович, — подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.

— Тогда почему такие большие? — спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.

— Сам выбирал, — хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берия на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.

— Может, заменить, Лаврентий Павлович? — спросил он.

— Нет, я просто так говорю, — опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.

— Ревнует к Глухому, — шепнул Сталин Калинину и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.

— В этом углу, по-моему, лучше, — сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.

— Совершенно верно, — подтвердил директор.

— Волнуется? — кивнул Лакоба на повара.

— Немножко, — сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.

— Успокой его, — сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.

Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.

Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.

Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.

— Если б ты только знала, как я ненавижу это, — шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.

Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему непрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попало неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа.

Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо; прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.

Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу, и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.

Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.

Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дядя Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом Сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.

Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.

Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое, и только потом услышал выстрел.

— Bravo, Нестор! — закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.

Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.

— Давай, — кивнул Лакоба. Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.

И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх, и только потом раздался выстрел.

— Bravo! — И взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной, счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.

— Посади его за стол, — бросил Лакоба жене по-абхазски.

Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.

Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немало выгоды.

Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.

Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.

Сарья налила повару фужер коньяка, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливки и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.

Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.

Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен, или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «бьюнке» Лакобы отправили в районную больницу.

Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.

«Мне надоели твои партизанские радости», — говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такому оскорблению. Я думаю, скорее всего человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба как ис-

тый абхазец этого допустить не мог и, вероятно, сам сошел с машины.

...Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.

— Мой Вильгелм Телл,— сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову,— а ты кто такой?

— Я— Ворошилов,— сказал Ворошилов довольно твердо.

— Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок?— спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, думал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.

— Конечно, он лучше стреляет,— сказал Ворошилов примирительно.

— Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок?— спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.

Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.

— Ну хватит, Иосиф,— сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.

— Хватит, Иосиф,— сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова,— говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?

Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.

— Скажи, чтоб начали его любимую,— шепнул Нестор жене. Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.

Махаз затынул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте, мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.

Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.

Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.

Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический цвет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место?

Лети, черная ласточка, лети...

Но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины...

Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в дачную. Поскрипывает арба, прогревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.

На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.

Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, взглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.

Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

— Слушай, кто этот человек?—говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

— Это тот самый Джугашвили,—радостно говорит ему хозяин.

— Неужели тот самый?—удивляется гость из Кахетии.— Я думаю, вроде похож, но не может быть...

— Да,—подтверждает хозяин,—тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.

— Интересно, почему не захотел?—удивляется гость из Кахетии.

— Хлопот, говорит, много,—объясняет хозяин,—и крови, говорит, много придется пролить.

— Хо-хо-хо,—процокивает гость из Кахетии,—я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

— А зачем ему Россия,—поясняет хозяин,—у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети...

— Что за человек!—продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому.—От целой страны отказался...

— Да, отказался,—подтверждает хозяин,—потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина...

— Дай бог ему здоровья!—воскликает всадник.—Но откуда он знает, что будет с крестьянами?

— Такой человек, все предвидит,—говорит хозяин.

— Дай бог ему здоровья,—цокает гость из Кахетии.—Дай бог...

Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.

И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо, приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают... Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?

Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришел, наконец... Добрая...

Лети, черная ласточка, лети...

Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песня смывала с их лиц эти жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.

Лети, черная ласточка, лети...

Они думают, власть—это мед, размышлял Сталин. Нет, власть—это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого

не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть—это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. Да, да, он это знает. И его любили и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно.

Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами дела.

Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Глупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я... Но так ее никто не может чувствовать...

Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом на столе, но он ждал: кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.

Вот так, будешь умирать—стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке.

Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, думал он, не одному мне мучиться.

Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.

— Клим, — сказал он глухим от волнения голосом, — где Царицын, где мы, Клим?

— За что обидел, Иосиф? — поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.

— Прости, Клим, если обидел, — сказал Сталин, раскаиваясь и любясь своим раскаянием, — но они нас с тобой еще хуже обижают...

— Ничего, Иосиф! — воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими. — Ты им еще покажешь, где раки зимуют...

— Думаю, что покажу, — сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.

Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселея и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией, это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.

— Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? — спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходящее время.

Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфуртской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)

Другого человека за такие слова (теперь, когда уже прорвался к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.

— А что он сделал? — спросил Сталин и в упор посмотрел на Берия.

— Болтает лишнее, выжил из ума, — сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется.

— Лаврентий, — сказал Сталин, мрачней, потому что он не находил сейчас нужного решения. — Я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?

— Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел, — быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.

— Болтунов Ленин тоже ненавидел, — сказал Сталин задумчиво.

— Может, выгнать из партии к чертовой матери? — спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.

— Из партии не можем, — сказал Сталин и вразумляюще добавил: — Не мы принимали, Ленин принимал...

— А что делать? — спросил Берия, окончательно сбитый с толку.

— У него, по-моему, был брат, — сказал Сталин. — Интересно, где он сейчас?

— Жив, товарищ Сталин, — сказал Берия, покрываясь холодным потом, — работает в Батуме директором лимонадного завода.

Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против этого видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали, он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.

— Как работает? — спросил Сталин строго.

— Хорошо, — сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода — простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.

— Пусть этот болтун, — ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, — всю жизнь жалеет, что загубил брата.

— Гениально! — воскликнул Берия.

— У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи, — объяснил Сталин ход своей мысли, — пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.

Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкомов стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что осиротил?»

— Век живи, век учись, — сказал Берия и развел руками.

— Но только не за счет моего отпуска, Лаврентий, — строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Сталин сказал, мол, у вас на Кавказе... Значит, он уже чувствует себя русским...

Он знаками показал на другой конец стола, чтобы всем разлили.

— Я хочу поднять этот тост, — сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи, — за нашего старшего брата...

Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили, ели, плясали, и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.

Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.

— Прекрасную Сарью, просим, просим! — кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.

— «Мравалджамие», «Мравалджамие»! — просили на том конце стола и затягивали ее.

— «Многие лета»! — кричали другие и затягивали абхазскую застольную.

— Теперь ты на коне, — кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро, — благодать с низзошла на тебя, благодать!

— У меня волос курчавый, как папоротник, — рассказывал повар одному из секретарей райкомов, давая ему пощупать свои волосы, — яйцо, как в гнездышке, лежит.

— Все же риск, — сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара.

— У людей жены, — бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.

— Но, Лаврик, пойми... Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.

— Дома поговорим...

— Но, Лаврик...

— Я для тебя больше не Лаврик...

— Но, Лаврик...

— У людей жены...

— Какой же риск, мил-человек, у меня один волос на три пальца возвышается, — радостно разуверял повар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.

— А в голову не попадал?

— Конечно, нет, — радуясь его наивности, говорил повар, — риску тут мало, страха много.

— Все же риск, человек выпивший, — угрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.

— Говорит, «у вас на Кавказе», — качал головой другой секретарь, — а что мы ему сделали?

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя, — утешал его товарищ.

— Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит, — отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.

— Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя...

— Везунчик! Везунчик! — кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро. — Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!

Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал этих знаков.

— Не притворяйся, что не в кармане! — кричал он. — Не притворяйся, везунчик!

— Что это он все кричит? — даже Лакоба обратил внимание на Махаза.

— Глупости, — сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».

— Это что! — пытался повар развлечь угрюмистого секретаря. — Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходили. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бивал, но всегда за дело.

— Все же риск, — угрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим, и мысль его застряла на стрельбе по яйцу.

— Это что! — пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями. — Сюда приезжал государь император...

— Зачем выдумываешь? — неохотно отвлекся секретарь.

— Крестом клянусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде... Государь на катере причалили, а государыня не пожелали причалить, чем обидели принца, — рассказывал повар.

— Придворные интриги, — угрюмо перебил его секретарь.

...Рано утром, когда по велению Лакобы директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежно-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столами — кто, откинувшись на стуле, а кто прямо головой на столе.

Одному из них, спавшему, откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумение, потому что поросят, державших в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, и шутливая аналогия была понятна лишь посвященным.

Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски

мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподняв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.

— Марш, — говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядываясь к кускам мяса, к жареным курам и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские паи.

— Все равно все на Сталина спишут, — шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески, — все равно скажут — Сталин все скушал...

Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.

* * *

На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.

Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину.

Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место поживописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело, с песнями. По дороге попадались ребятишки, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар.

— Знали бы, с какого стола, — устало улыбались танцоры.

За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.

— Хейт! Хейт! — кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетению, глухо, с промежутками падали на землю.

И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до этого угадал, что именно этот камень в нее попадет. Когда коза, крикнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.

Да, да, почти так это и было. Мальчик перегонял коз в котловину Сабиды. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах. И он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как и сейчас, когда он попал в нее камнем, она крикнула и выскочила из кустов, а следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.

В нескольких шагах от него по тропе проходил человек. Он гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.

В первое мгновение мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев взглянуть, что перед ним только мальчик и коза, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывая, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернулся, взбрасывая карабин, сползавший с покатого плеча.

Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой.

Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновение — еще шаг — и скроется за кустом — он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:

— Скажешь — вернусь и убью...

Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабиды.

Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой пал-

ки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.

Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.

Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Одессы в Батум. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.

К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое оставшихся в живых увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившимся под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.

Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные — это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.

Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он как нужный человек содержится властями.

Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.

— Не видел кто из ваших, — спросил всадник у отца, — чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?

— Про дело слышал, — ответил отец, — а человека не видел.

«Да не по верхней, а по нижней!» — чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.

Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.

— Кто это, па?—спросил мальчик у отца.

— Старшина,—ответил отец и молча вошел в дом.

И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагружив ослика мешками с каштанами, поднимались из котловины Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнечегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.

— Так вот почему ты перестал сюда коз гонять!—усмехнулся отец.

— Вот и неправда!—вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.

— Что ж ты молчал до сих пор?—спросил отец.

— Ты бы только видел, как он посмотрел,—сознался мальчик,—я все думаю, как бы он не вернулся...

— Теперь его сюда на веревке не затащишь,—сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостинкой,—но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.

— Откуда ты знаешь, па?—спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор, как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.

— Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет,—сказал отец и взмахнул хворостинкой: ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.

— А ты знаешь, как он быстро шел!—сказал мальчик.

— Но никак не быстрее своих лошадей,—возразил отец и, подумав, добавил:—Да он и убил этого последнего, потому что знал—один переход остался.

— Почему, па?—спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.

— Вернее, потому и оставил его в живых,—продолжал отец размышлять вслух,—чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.

— Откуда ты знаешь все это?—спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.

— Знаю я их гяурские обычаи,—сказал отец,—им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.

— Я тоже не хочу,—сказал мальчик,—но почему-то все время вспоминаю про того.

— Это пройдет,—сказал отец.

И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался—случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении па, охода возле Кенгурска.

Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил бога за свою находчивость.

Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после двадцатого съезда и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то видения, не то воспоминания.

— Как сейчас вижу, — говаривал дядя Сандро, — все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает, не глядя. Очень уж у Того покатоое плечо было...

При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.

Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.

Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на мысль, что бог затребовал палку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.

Бармен Адгур

Сейчас, Зиночка, мозги мне пудрить не надо! Ты знаешь, заказ-маказ я не люблю. Принеси все самое лучшее, что у вас есть, чтобы я с хорошими людьми поужинал, немножко выпил и от души провел время. Теперь иди!

Я что хотел сказать? Вот это, кто выдумал, что у меня два сердца, если где-нибудь его найду, клянусь мамой, в живом виде скушаю. Кому-то интересно распространять эти слухи. Но я рано или поздно дойду до этого человека, потому что догадываюсь кто. Среди наших ребят тоже немало карабахских ишаков попадается.

— Как это так, — они говорят, — ты мог выжить, если в тебя попало шесть пуль и тем более одна прошла через сердце? Оказывается, у тебя, Адгурчик, два сердца, зачем ты это от своих ребят скрывал?

— Слушайте, — говорю, — у меня одно сердце, и оно разорвется от горя, если вы так будете говорить. Неужели вы, мои друзья, местные ребята, сколько раз от меня принимали хлеб-соль, и я от вас столько раз принимал хлеб-соль, и вы можете поверить в это дефективное чудо?

Во-первых, я выдержал шесть пуль, потому что наш род вообще отличается жизненностью. Во-вторых, пуля, которая прошла через сердце, прошла во время сжатия сердца и фактически его не тронула. Современная медицинская наука установила, что раз в сто лет такое бывает. Пуля, которая проходит через сердце, раз в сто лет проходит в момент сжатия, понимаете, сжатия, и человек остается живым. Это все равно что на рублевую облигацию выиграть машину «Волга».

Но разве всем объяснишь? Люди приходят в бар, и некоторые по глупости спрашивают:

— Это правда, Адгурчик, что у тебя два сердца?

И мне бывает больно оправдываться за то, что я не умер. Клянусь мамой, если специально не пошел на Маяк, где расположена наша бойня. Там работает наш знаменитый мясник Мисроп. Забойщик. Старику под восемьдесят лет, но нам, молодым, десять очей вперед даст, потому что каждое утро пьет стакан свежешубойной крови.

И вот я ему все рассказываю, как родному отцу. И Мисроп мне говорит:

— Я слышал про твое геройство, Адгурчик. Но от такого человека, как твой отец, учти, я другого сына не ожидал. И твою мать я знаю хорошо. Наша эшерская женщина в прекрасном доме выросла, прекрасная хозяйка, и братья ее все еще там живут, как богатые богатыри.

И теперь я тебе, как старый мясник, откровенно скажу, что за всю свою жизнь я не видел не только парного сердца, но парной селезенки не видел. И только в тысяча девятьсот тридцать шестом году мне попался черный бык с двумя желудками.

— Дорогой Мисроп, — говорю, — черный бык с двумя желудками в тысяча девятьсот тридцать шестом году какое отношение имеет к моему горю? Черный бык с двумя желудками в тысяча девятьсот тридцать шестом году означает другое — будет тридцать седьмой год и Сталин всех сожрет.

— Я это сразу понял, — говорит Мисроп, — и гаданье по бычьей лопатке то же самое показало. Но тогда ничего не мог сказать — время было такое. Так что, дорогой Адгурчик, насчет четвероногих отвечаю всем имуществом своим, а у мясника, сам понимаешь, кое-какое имущество есть. Но насчет людей я ничего не знаю, потому что я старый мясник, имею дело с животными. А насчет людей тебе может сказать хороший доктор или кто-нибудь из бериевских палачей, которые сегодня гуляют по бульвару, как тихие пенсионеры. Одного-двух я тебе сам могу показать, но они, конечно, никогда не признаются, что делали с живыми людьми.

Вы, дорогие друзья, можете подумать, почему я, политически развитый бармен, часто вспоминаю бериевских палачей, когда это сейчас официально не рекомендуется? Потому что эти аферисты принесли столько горя нашей цветущей Абхазии, что мы, патриоты, еще тысячи лет не забудем об этом.

В тридцать седьмом году мой дядя работал председателем сельсовета в селе Адзюбжа. Однажды приезжает туда человек из города и говорит собрать колхозников на доклад. И вот мой дядя вместе с председателем колхоза собирает людей. Человек двести собрали. Слава богу, многие не пришли. И вот этот человек делает доклад о международном положении, а потом в конце говорит:

— Колхозная политика была неправильная. Вы должны выступить против нее, а мы вас поддержим оружием.

Вы чувствуете, какую провокацию бросает? Но крестьяне к этому времени, слава богу, битые, кое-что понимают. Молчат. «Да!» — не говорят. «Нет!» — не говорят. Расходятся. И что же? В течение двух ночей всех, кто был на собрании, вместе с председателем колхоза и сельсовета

забрали. Что им пришили? Попытка вооруженного восстания против колхозного строя.

А моему дяде, потому что он ничего не подписал во время допроса, глаз выбили. Но он о себе не думал. Он, бедный, мучился, потому что своими руками тянул колхозников на собрание. Но разве он знал, что так будет? И что интересно — тех крестьян, которые с прибором положили на колхозное собрание, не тронули. Взяли только тех, которые пришли на собрание. Всем дали по червонцу, и почти никто из них не вернулся из Сибири. Но мой дядя вернулся. Я же говорил, что вообще наш род отличается жизненностью. А кто ответит за выбитый глаз дяди?

Но вот, дай бог ему здоровья, приходит двадцатый съезд. А дядя жил тогда с нами. Помогал нам, как родной отец, потому что папа умер через два года после войны. И когда наступил двадцатый съезд, к нам из Ачандар приезжает мой двоюродный брат, работающий там учителем средней школы.

— Дядя, — говорит, — наше время пришло. Теперь ты мне покажи следователя, который выбил тебе глаз, потому что даже в библии сказано: око за око.

— Нет, — говорит, — сынок, не покажу. Ты слишком горячий, ты на одном глазе не остановишься. Но я плачу не за свой глаз, а за тех крестьян, которых своими руками тащил на собрание.

— Дядя, — сердает мой двоюродный брат, — ты ни в чем не виновен, история виновата, но мы, твои племянники, должны отомстить за тебя.

Но дядя так ему ничего не сказал, и он уехал. Я тогда совсем мальчик был. Но вот приходит двадцать второй съезд, дай бог ему здоровья, а я в это время в армии. И я пишу дяде из армии.

— Дядя, — пишу, — опять наше время пришло. Как советский десантник, как отличник боевой службы, жду встречи с твоим следователем.

Но дядя так мне его и не показал. И вскоре он умер, потому что день и ночь думал о крестьянах, которые, замерзая в Сибири, может быть, говорили между собой:

— Что мы ему такого плохого сделали, что он нас тащил на то собрание?

Разве я это когда-нибудь забуду? Вот так они очистили все наши долинные села. И теперь нам говорят:

— Хватит вспоминать про бериевщину! Сколько можно?

А я говорю:

— Еще тысячу лет будем вспоминать и не хватит!

Но я теперь возвращаюсь к своему личному горю. Правда, мясник Мисроп меня поддержал, но этого мало. Люди продолжают приходить в бар и мучают вопросами за

второе сердце. И я уже решил поехать в Москву, нанять хорошего профессора и получить у него справку, что человек вообще два сердца не может иметь. Тем более некоторые приходят в бар и, пользуясь шуткой, мацают, извините за выражение, как пидара, чтобы послушать второе сердце. Я хотел получить такую справку, снять с нее копию у нотариуса и прилепить в баре к стенке:

— Читай сам, если грамотный!

И тут, как нарочно, ко мне в бар приходит один пожилой человек с женой и пьет коньячок, запивая турецким кофе. Ничего так пьет, симпатично. Я смотрю на него, а у меня глаз охотничий, и думаю: физиономия клиента тянет на профессора.

— Извините меня, — обращаюсь я к нему, — вы случайно не профессор или у вас только видимость?

— Да, — говорит, — я профессор.

Жена тоже улыбается и кивает.

— Извините меня, — говорю, — но по какой отрасли?

— Я, — говорит, — доктор медицинских наук.

— И профессор, — говорю, — медицинских наук?

— Да, — говорит, — а что?

И тут я ему рассказываю про свое горе и прошу ответить на вопрос:

— Бывает у человека два сердца или нет?

— До сих пор, — говорит, — я никогда не встречал в медицинской литературе, но в жизни все может быть.

— Как, — удивляюсь я, — вы доктор медицинских наук, вы профессор этих же наук, неужели вы точно не знаете, может быть у человека два сердца или нет?

— В жизни, — говорит, — все может быть.

— Вот от этого он и пьет, — добавляет жена.

И так я опять остаюсь со своим горем. Теперь я расскажу все, как было, потому что вы товарищи моего земляка и наши отцы дружили, а это для меня все. Тем более вам это могут здесь рассказать в искаженном виде, как будто у меня два сердца.

Клянусь мамой, клянусь моими двумя детьми, если хоть одно слово неправда. В том же баре я тогда работал. В тот день горевестник сообщил, что в Ачандарах умерла моя двоюродная бабушка, то есть моей материной матери сестра, так считается по нашим обычаям.

Ей как раз исполнилось девяносто лет, и она умерла. И мне было ее очень жалко, потому что она была такая добрая старушка и я в детстве часто жил у них дома.

Вообще у меня такой организм — когда умирает старый человек, мне его больше жалко, чем молодого. Молодых тоже жалко, но не так. Такой у меня организм. Я так думаю — когда человек долго живет, он уже привыкает к жизни, и вдруг приходится умирать. А молодой еще не

так привыкает к жизни, и ему легче умирать. Поэтому молодые чаще бывают с душком — рискуют.

Когда я служил в десантных войсках, у меня друг был один. Виктор звали. Русак. Мы с ним жили как братья. Такой здоровый парень был, что ему прозвище дали — Водолаз. Вот это был парень! Что такое бздунеус — вообще не понимал! В самой ужасной ситуации он говорил свое любимое слово: «Нормалевич!» — и любое хулиганье в воздухе таяло.

Бедный Виктор, царство ему небесное, погиб. Стропы запутались, и парашют не раскрылся. В тот раз он шестым прыгал после меня. Только голову поднимаю, вижу, летит, как камень. Клянусь мамой, клянусь моими двумя детьми, если он не крикнул в последний раз:

— Нормалевич, Адгур! — и врезался в землю.

Я тогда чуть от горя с ума не сошел. И тогда меня замполит вызвал и сказал:

— Дорогой Адгур, есть правительственное задание. Отбираем добровольцев на Кубу. Поедешь?

— Конечно, — говорю, — поеду. Что мне здесь делать, когда у меня лучший друг погиб.

Тогда был как раз карибский кризис. Мы пробыли на Кубе около двух месяцев. Ничего там такого особого не увидел, тем более нас никуда не пускали. Только океан, как я заметил, имеет преимущество цвета над нашим морем, но люди нищие. Все же я там немножко развеялся от своего горя и теперь чуть что я говорю себе: «Нормалевич!» — и любой мандраж проходит. Сейчас давайте выпьем, дорогие друзья, за упокой его души, моего Виктора... Вот так...

Так вот, значит, в Ачандарах умерла бабушка. Я сдаю выручку директору и говорю ему за полчаса до закрытия бара, что я сегодня уйду пораньше в связи с нашим домашним горем.

— Пожалуйста, — говорит, — Адгурчик, иди, но я с тобой должен поговорить по одному делу. Давай минуты две посидим, выпьем, а потом пойдешь.

Сейчас какое настроение пить, когда в Ачандарах бабушка лежит мертвая и мы завтра рано утром всей семьей туда собираемся поехать.

Но что поделаешь? Во-первых, директор. Во-вторых, человек намного старше меня. Он разливает коньяк, но я не пью. Просто для приличия две-три капли проглотил. Слушал, что он говорит. А он какую-то ерунду говорит. Вспоминает дело трехлетней давности, которое я уладил. А он так говорит, как будто я его родственника обидел. Но, во-первых, я это дело давно закрыл, а во-вторых, почему ты три года молчал, сейчас вспомнил про своего родственника? В конце концов еле отделался от него, извинился и встал.

— Ну, ладно, — говорит, — иди, раз у вас такое горе, а я потихоньку закрою бар и тоже уйду домой.

И вот, как сейчас помню, иду из бара приблизительно так десять или пятнадцать минут двенадцатого. Как обычно. Прошел три квартала и прохожу мимо парка по темной улице. Вот этого горсовета, извините за выражение, маму тоже имел. Почему фонари не могут поставить? Всю жизнь одно и то же слышу: «Новый ГЭС пустили, новый ГЭС пустили», а в городе электричества все меньше и меньше.

...А-а-а! Вот эти иностранцы, которые сели за тот стол, — немцы из ГДР. Они всегда заказывают только шампанское. Наше шампанское уважают. Больше ничего не уважают. За одной бутылкой могут весь вечер просидеть.

В прошлом году у меня шухарная встреча была с двумя немцами из ГДР. Молодые. Муж и жена. Они проходили мимо нашего дома и вдруг увидели во дворе медвежью шкуру, которую моя жена повесила на солнце. Этого медведя я три года назад убил над Сухумгэсом. И вот жена этого немца, они по-русски немножко говорили, вошла во двор и стала спрашивать:

— Чья это шкура?

И соседи привели их в нашу квартиру. Вижу, этой молодой немочке шкура моего медведя очень понравилась.

— Пожалуйста, — говорю, — по нашим обычаям я ее вам дарю.

Они обрадовались, а муж начал снимать золотые часы, чтобы мне подарить, но я, конечно, отказался.

— Наоборот, — говорю, — раз вы пришли в мой дом, я вас должен угостить.

Жена накрывает на стол. Я вынимаю из холодильника три бутылки шампанского, и мы садимся. А, между прочим, жена, когда узнала, что я подарил эту шкуру, обрадовалась, хотя виду не показала. Она мне уже дырку в голове сделала через эту шкуру.

— Зачем нам, — говорит, — эта шкура. Она пиль собирает, и я не успеваю ее чистить... Лучше купим палас...

Как цыганка, палас любит моя жена... Но я от души подарил им свою шкуру. Между прочим, моя жена «пыль» не может сказать. Она говорит — «пиль», потому что из Очемчирского района, а там никто правильно по-русски не может говорить. А между прочим, у нас, в Гудаутском районе, даже женщины правильно по-русски говорят.

И вот мы сидим, пьем шампанское, закусьываем, разговариваем. Они очень быстро накирялись. И эта молоденькая немочка, видно, я ей тоже понравился, вдруг встает, садится ко мне на колени и начинает меня целовать. Оказывается, у них это принято, а я не знал. Муж ее спокойно смотрит, а моя жена обалдела. С одной стороны, гости — ничего не может сказать. С другой стороны, ее му-

жа целует чужеземная женщина. И вот моя жена смотрит, смотрит и ничего не может сказать. А я от смеха умираю, потому что эта немочка меня целует, а моя жена смотрит, как египетская мумиё.

— Что смотришь, — говорю, — ты тоже его целуй!

Одним словом, хорошо провели время, но они захмелели и, главное, еще выпить хотят, но я не могу поставить на стол новые бутылки. Боюсь, совсем опьянеют. Хоть и ГДР, но все же иностранцы.

В конце концов я эту шуру хорошо упаковал, и они начали уходить. И эта немочка все время спрашивает, что бы вам прислать из Германии. А жена мне тихо по-абхазски подсказывает:

— Попроסי, — говорит, — люстру «Дрезден». Мода.

— Цыц! — говорю, — ничего не надо.

Выхожу с ними на улицу, ловлю такси до гостиницы «Тбилиси», где они жили, и аккуратноненько довожу их до номера.

Но я отошел от своего рассказа, глядя на этих гедэзровцев. О!!! Я же говорил, что они только шампанское уважают! Вот и принесла им официантка одну бутылку. Теперь будут весь вечер сидеть над ней.

И вот, значит, я иду из бара по темной улице мимо парка. Приблизительно так пятнадцать-двадцать минут двенадцатого — не больше. Вдруг меня догоняет какая-то машина, останавливается, и кто-то кричит из нее: «Адгур, садись в машину!»

Я оглядываюсь — белая «Волга», но не могу понять, чья. Думаю, наверное, наши ребята едут кутить куда-то и меня с собой хотят взять. Подхожу сказать, что у нас в семье горе и я кутить не хочу и это даже неприлично, если кто-нибудь узнает. Вижу — совсем незнакомые люди. Вах! Сразу понял — дело пахнет керосином. Но меня тоже на дирхор не возьмешь.

— Садись, — говорит один из них и открывает заднюю дверцу.

— Зачем, — говорю, — я сяду в машину, когда я вас не знаю и знать не хочу.

И быстро отхожу вперед, чтобы посмотреть номер. Смотрю — вах! — машина без номера. Дело, думаю, плохо, но мандража не чувствую, за поясом, что скрывать, мой генеральский парабеллум. Быстро захожу на тротуар, потому что там кусты олеандров прикрытие дают.

Слышу — опять догоняют. Останавливаются. Трое выскакивают на тротуар, и неожиданно все трое стреляют в меня. Семь-восемь выстрелов дают с десяти шагов, и две пули навывлет проходят через мою грудь.

Думают, уложили. Но я на ногах и быстро иду дальше, потому что улица темная, а их трое. Нет, думаю, здесь бой принимать невыгодно, за углом железная теле-

фонная будка. Думаю—там продержусь и милиция близко, прибегут на выстрелы.

Когда я не упал от их выстрелов, они растерялись и дали мне уйти почти до угла. Но тут они пришли в себя.

— Стой! Стой!—кричат и, покамест я за угол завернул, еще один залп дают, и еще две пули пробивают меня. И что интересно—все пули навyleт.

Ну, думаю, суки, подождите, посмотрите, как стреляет советский десантник. Забегаю за угол, подхожу к телефонной будке и выгаскиваю свой парабеллум. Как только увидел, что я достаю свою пушку, все трое легли на тротуар. Я высовываюсь из-за будки и хочу стрелять. Но чтобы ваши враги в вас так стреляли, как я могу стрелять. Оказывается, правую руку мне перебили—не могу поднять пистолет. Клянусь мамой, от обиды чуть не заплакал.

Вот они, аферисты, негодяи, всадившие в меня четыре пули, сейчас лежат передо мной на тротуаре, а я не могу свой генеральский парабеллум поднять. Что делать? Все же три раза стреляю в асфальт, чтобы взять их на бога, и теперь даю драпака. А что делать? Чувствую, что одну пулю, может, выдержу, а дальше не знаю.

Увидев, что я побежал,—они за мной. Решили, что у меня патроны кончились. Бегу. Они за мной. Но скорость у меня, конечно, не та. Все же четыре пули. Дают еще один залп, и еще одна пуля пробивает меня. И что интересно—эта тоже навyleт.

Слава богу, думаю, милиция рядом. Подбегаю, а там уже человек шесть милиционеров выскочили и слушают выстрелы, как любители легкой музыки. Вместо того, чтобы бежать на выстрелы, как положено настоящей советской милиции.

Подбегаю, а они у меня вырывают парабеллум и связывают руки наручниками.

— Что вы мне наручники надеваете,—кричу,—я никуда не убегу. Там за углом белая «Волга» без номера, и из нее вышли трое аферистов, чтобы убить меня.

Только я это сказал—вижу, один из этих троих высывается из-за угла.

— Вот он! Вот он! Держите его!—кричу.

А они окружили меня, а туда ни один человек не идет. И вдруг вижу—он сам выходит из-за угла и нахально приближается. Я ничего не понимаю и сгоряча кричу:

— Он звал меня в машину! Он больше всех стрелял! Держите его!

А меня они еще плотнее окружают, а я уже горячусь и сам не знаю, что кричу. А этот подходит к ним, вынимает из кармана пистолет, как убийца Кеннеди, и, протянувшись через милиционеров, упирается пистолетом мне в подмышку и стреляет, издевательски говоря:

— Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!

И что интересно — именно эта пуля застряла внутри меня, а все остальные навывлет. А моего убийцу никто не хватает. И тут я начинаю кое-что кумекать. У-у-у! думаю, да тут все куплены!

Извините на минутку. Зиночка, видишь, вон там за угловым столиком, где пятеро сидят? Пошли им пять бутылок шампанского, я вижу, они опохмеляются. Не говори, кто послал, пусть сами догадываются. Немножко загуляли, но ничего... Наши, местные ребята...

Значит, на чем я остановился? Да. Я понял, все купленные. Другой бы на моем месте сразу понял. Но я только сейчас это понял. Доверчивый!

И вот вводят меня к дежурному лейтенанту. Слава богу, вижу, знакомый парень, сто раз ко мне заходил и хлеб-соль от меня принимал. Ну, думаю, этот поможет, если они его еще не купили. Но рядом с ним стоит какой-то майор, который сразу же мне не понравился. Я лейтенанту все рассказываю и вижу, что он мнетя в мою пользу. Но этот майор ему мешают.

— Ты врешь! — кричит майор. — Ты устроил вооруженное нападение на работников милиции, и ты за это отвестишь!

И хоть у меня руки в наручниках, я разрываю рубашку, открываю грудь, а там все в крови.

— Интересно, — говорю, — получается, товарищ майор, я устроил нападение и ни разу ни в кого не попал, а в меня вогнали шесть пуль.

А майор нервничает, потому что лейтенант мнетя в мою пользу и тем более видит мою невинную кровь.

— Нечего, — кричит, — здесь представление устраивать! — и с ходу бьет меня ладонью по лицу. Тут, клянусь мамой, я все на свете забыл и, хотя правая рука у меня не действовала, видно, я левой поднял обе руки и от души наручниками в лобяру врезал этому бериевскому майору. Он упал, и тут я потерял сознание. Как они в это время меня не убили — не знаю. Вернее, знаю — были уверены, что сам умру. А может, лейтенант помешал — ничего не могу сказать. Прихожу в себя — чувствую, в машине куда-то везут, а наручники сняли.

— Куда везете? — спрашиваю.

— Спокойно, — говорит какой-то парень в белом халате, — это «скорая помощь», мы тебя везем в больницу.

Но после белой «Волги» с этими аферистами разве я могу поверить белому халату? И тут я себе говорю:

— Нормалевич, Адгур, тут все куплены, больше сознание терять нельзя.

В самом деле привозят в больницу. Врачи крутятся, вертятся возле меня, а кто куплен, кто не куплен — ничего не знаю. Но, как настоящий десантник в тылу врага, уже выработал тактику: делать вид, что не реагирую, а сам

все слышу, все вижу сквозь прищуренные глаза, изучаю обстановку.

Одним словом, рентген-менген, возят меня на коляске туда-сюда, вверх-вниз. Одни врачи удивляются, что я все еще жив, другие говорят: «К утру умрет», а третьи говорят: «Может, выживет...»

А я думаю: «Нормалевич, главное не потерять сознание...»

И тут врачи начали обсуждать, почему я не умер. И я впервые услышал термин — сжатие.

— Видно, во время сжатия сердца прошла, — решили они.

Положили меня на операционный стол, и тут я делаю вид, что пришел в себя.

— Товарищ хирург, — говорю, — извините, но под общим наркозом я не позволю делать операцию.

— А-а-а, — говорит, — пришел в сознание. Я вообще не собираюсь делать наркоз, потому что пуля близко под кожей.

— Тогда, — говорю, — давайте.

Одним словом, пулю вытащили, сделали перевязки и отправляют в палату. Опять делаю вид, что потерял сознание, если купленные врачи надеются, что я умру, пусть надеются.

Привозят меня и кладут в отдельную палатку. Ага, думаю, почему это меня, как министра, кладут в отдельную палатку? Значит, думаю, что-то хотят сделать, когда я усну. Без свидетелей. Продолжаю притворяться.

Через пять минут входит молоденькая сестричка и хочет мне сунуть градусник под мышку. Приходится открыть глаза.

— Девушка, — говорю ей тихо, — мне уже туда сунули пистолет. Может, хватит?

— Ах, извините, — говорит девушка, — я ошиблась подмышкой.

— Ничего, — говорю, — девушка, только сначала поставьте этот градусник себе.

— Зачем? — говорит и смотрит на меня как будто чистыми глазами. Но я тоже не виноват, потому что не могу понять: куплена она или не куплена?

— Потому что, — говорю, — милая девушка, если этот градусник взорвется у меня под мышкой, мои родственники тоже люди и ваша молодая жизнь попадет под сокращение.

— Что вы, что вы, — говорит девушка, — я этот градусник хорошо знаю, я его вынула из своего ящика.

— Могли подсунуть, — говорю.

— Хорошо, — говорит, — я его поставлю себе.

— Поставьте, — говорю, — но учтите, если подорветесь, я не отвечаю.

И она ставит себе градусник, и мы потихоньку продолжаем разговаривать.

— Бедненький, бедненький, — говорит девушка, — что они с вами сделали, что вы стали такой подозрительный.

— Еще бы, — говорю, — девушка... Если к тебе подъезжает белая «Волга» без номера и оттуда выскакивают три человека и стреляют в тебя, как в перепелку, а ты бежишь от них в руки милиции, и когда ты в руках милиции, к тебе подходит убийца, сует под мышку пистолет и, сказав издевательские слова: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!» — стреляет в тебя, а милиция его не хватает, потому что он работник милиции, поневоле станешь подозрительным.

Так мы поговорили минут пятнадцать. Я нарочно не спешу, потому что, думаю, если у них все плохо работает, взрывное устройство тоже может опоздать. Но уже понимаю, что девушка не куплена. Наверное, они решили: «Подумаешь, медсестра, зачем ее покупать!»

Девушка меряет мне температуру и очень удивляется: тридцать шесть и шесть. Но я так и знал. И я ей говорю:

— Я вижу, вы чистая, честная девушка. Объясните мне, почему меня, как министра, положили в отдельной палатке? Я хочу скромно лежать в общей палате.

— Ой, — говорит девушка, — у нас все палаты переполнены, люди даже в коридорах лежат.

— Тем более, — говорю, — за что мне такая честь? Я простой бармен, а не какой-нибудь там инструктор горкома или инспектор горторга.

— В этой палатке, — отвечает мне девушка, — лежал один человек, но два часа тому назад умер, и сюда никого не успели перевести.

Ага, думаю, девушка, сама того не зная, выдает тайну фирмы.

— А что, — говорю, — девушка, в этой маленькой палатке все умирают?

— Нет, — отвечает девушка, — изредка.

Изредка! Но изредка мне тоже не нравится.

— Знаете что, девушка, — говорю, — попросите дежурного врача, чтобы меня перевели в общую палату.

— Хорошо, — говорит девушка, — я попрошу, но вряд ли он разрешит. Сейчас три часа ночи — больных нельзя беспокоить.

Но я ее очень прошу и при этом даю ей свой домашний адрес написать, чтобы утром забежала к жене и все рассказала. Тем более, если что-нибудь со мной случится.

— Ничего, — говорит девушка, — с вами не случится. У вас даже удивительный организм, чтобы после таких ран выдерживать нормальную температуру. Когда вас привезли, многие врачи считали, что вы умрете.

— Некоторые купленные в белых халатах все еще

этого ждут, — говорю, — но с вашей помощью, сестричка, они этого не дождутся.

Она выходит, а я думаю, если дежурного врача уже купили, он, конечно, не разрешит перевести меня в общую палату. Зачем им свидетели?

Но все же гора с плеч упала, потому что я больше всего волнуюсь за похороны бабушки. Если дома не узнают, что со мной, на похороны никто не поедет. А если моя мать, жена, сестры, дети на похороны не поедут — это будет позор по нашим обычаям. Бабушку, конечно, похоронят и без нас, но это будет позор перед родственниками и односельчанами.

Девушка приходит и говорит, что не разрешил. Я так и знал. Ладно, думаю, теперь надо делать вид, что ничего не подозреваю.

— Хорошо, — говорю, — милая девушка. Только утром не забудьте забежать ко мне домой.

— Вы об этом не беспокойтесь, — говорит она, — я обязательно забегу. Я близко от вас живу.

— Тогда я засну, — говорю, — так и передайте — уснул.

— Спокойной ночи, — говорит девушка и уходит.

Какой спокойной ночи — сейчас главное не заснуть. И что же? Через полчаса, слышу, дверь приоткрывается и входит в палатку человек в белом. Тихо-тихо подходит к моей кровати и смотрит, смотрит, смотрит. Я замер и жду, а правая нога под одеялом на изготовке. Чуть что — прием «карате» и человек инвалид первой группы. Все-таки десантник — кое-чему обучили.

Но вот вижу, отходит от меня и возле окна садится на стул. Видно, решил — пусть как следует уснет, а потом укол или порошок — не знаю, как у них сейчас там принято. Вижу, через полчаса он опять повернулся ко мне и смотрит, смотрит, смотрит, а я совсем замер. И вдруг встает и прямо идет на меня. Нервы мои не выдержали, и я делаю вид, что внезапно проснулся.

— Стой! Кто идет?! — кричу.

— Тише, тише, — говорит, — больных разбудите. Мне показалось, что вы перестали дышать.

— Нет, — говорю, — пока живой и с одним человеком справиться могу.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает.

— Почему-то очень спать хочется, — говорю.

— Спите, спите, — говорит, — это всегда бывает при большой потере крови.

С этими словами он куда-то уходит. Видно, кому-то докладывает, пока, мол, ничего сделать не могу, пациент контролирует обстановку.

Не знаю, что ему там сказали, но он снова приходит и снова смотрит на меня, но я замер, как будто сплю.

Он снова садится на свой стул, кладет голову на подоконник и фантазирует храп. Ну, думаю, такие номера мы не кушаем. Я держу себя в руках, а он храпит, чтобы я бдительность потерял. И так до самого утра.

Рано утром вдруг под окном больницы слышу голос жены. Я вскакиваю с постели, а этот убийца в белом халате тоже вскакивает и наперерез.

— Сейчас же ложитесь! — кричит.

Я ударом левой отбрасываю его в угол, распахиваю окно и кричу:

— Я жив-здоров! Езжайте на похороны бабушки! От моего имени тоже поплачьте над гробом! Друзьям моим передайте, где я лежу! Подробности после похорон!

Жена плачет.

— Мы, — говорит, — всю ночь тебя ищем, все морги, все милиции обзвонили.

— Нашли, — говорю, — куда звонить. Езжайте, только друзей предупредите!

А этот в белом халате уже очухался и тащит меня от окна. Но теперь не сопротивляюсь. Сам ложусь.

— Как вам не стыдно, — говорит, — вы меня ударили, а я всю ночь здесь над вами глаз не смыкаю.

— Извините, — говорю, — но я первый раз слышу, чтобы человек храпел с открытыми глазами.

Часа через два приходят друзья. Приносят цветы, хачапури, курицы, как будто дело в кушанье. Мои друзья, наши, местные ребята, быстро нашли общий язык и с главврачом и с лечащим врачом. Теперь уже уверен — никто не тронет.

Еще два дня лежу, чувствую себя прекрасно, и что интересно — температура все время тридцать шесть и шесть. Приезжает жена, рассказывает, что бабушку похоронили с почетом, все как положено по нашим обычаям.

Через день приходит один из моих близких друзей и говорит:

— Адгур, я все узнал. Тебе шьют вооруженное нападение на работников милиции — хотят тебе вышку дать. Но ты не мандражь — друзья от Мухуса до Москвы на ноги поставлены. Первым делом надо выиграть время, чтобы ты как можно дольше лежал в больнице. Отсюда тебя не возьмут. И хватит всем трепаться про свою нормальную температуру. С сегодняшнего дня у тебя тяжелые осложнения. Лечащего я уже купил. На сорок пять дней оставляют тебя в больнице. А там посмотрим. В Москве уже наняли тебе крепкого адвоката. Местного нельзя, потому что все куплены.

Вскоре приезжает московский адвокат, приходит с моим другом в больницу, и я ему все, как было, рассказываю.

— Не бойся, — говорит, — Адгур, я еще не таких ки-

тов гарпунил, как ваша милиция. Но и ты за ношение оружия получишь полтора года.

— А это нельзя, — говорю, — провести как национальный обычай?

— Нет, — говорит, — нельзя. Я всегда заранее говорю, что могу сделать, потому мне платят такой большой гонорар.

— Что ты торгуешься, — говорит мой товарищ, — тебе вышка грозит, а полтора года что такое?

— Тем более, — говорит адвокат, — фактически просидишь год, если будешь хорошо вести. И это на нас работает, что ты был на Кубе во время карибского кризиса, как отличник боевой подготовки.

И вот проходит время. Я выхожу из больницы. Через неделю должен быть мой суд. И вдруг приходит мой товарищ, связанный с Верховным судом. У меня там тоже своя разведка.

— Адгур, — говорит, — дело плохо. Они хотят завтра в два часа дня провести внезапный суд и дать тебе местного адвоката.

— Как местного адвоката? — говорю. — Я дам отвод такому суду!

— Нет, — говорит товарищ, — они как раз этого ждут. Если ты дашь отвод, тебя возьмут под стражу, как особо опасного преступника. Чтобы отсечь тебя от друзей. Поэтому отвод давать нельзя, а надо срочно за эту ночь вызвать твоего адвоката из Москвы. Но позвони сначала в Аэрофлот, кажется, вечерние рейсы самолетов из Москвы отменили.

— Они что, — говорю, — уже Аэрофлот тоже купили?

— Точно не знаю, — говорит, — может, купили, а может, рейсы отменили, потому что не сезон, пассажиров мало.

В самом деле, звоню в наш Аэрофлот. Вечерние рейсы отменены. Ладно, думаю, попробуем через Адлер. Звоню в Адлер и спрашиваю насчет вечерних рейсов.

— Пожалуйста, — говорят, — сколько хотите.

Звоню своему адвокату в Москву. Но телефон заказываю не я. Товарищ заказывает, а я уже потом беру трубку. На телефонной станции тоже все куплены.

— Вы, — говорит мой адвокат, — правильное решение приняли. Срочно вылетаю, встречайте в Адлере.

Одним словом, здесь мы их обштопали. Когда мой судья на следующий день узнал, что мой адвокат на месте, — чуть-чуть челюсть не потерял. А в это время мое дело уже передали местному адвокату, и он его читает. Мне ребята доложили. Я прихожу в адвокатуру и вижу: этот чмур сидит в очках и читает мое дело, как писарь из довоенной картины «Дарико».

— Брысь! — говорю, — чтобы твоего духа не было. Виднейший московский адвокат, окончивший три института, два месяца занимается моим делом, а ты со своим купленным дипломом хочешь за одно утро изучить!

Одним словом, вместе с друзьями ждем суда, который на два часа назначен. А в это время мой адвокат почему-то крутится по городу, а в чем дело не пойму. Его один из друзей обслуживает на машине. То в Верховный суд едет, то в Прокуратуру едет, то в горком едет. Чувствую — что-то делается, а что — понять не могу. Неужели, думаю, эти аферисты и моего адвоката покупают? И вот перед самым судом он подходит ко мне и говорит:

— Адгур, я тебя как обещал — спасу. Но их обвинить мы не можем, потому что слишком могучие силы заинтересованы в этом деле. Тайная дипломатия. Придется перестроить защиту. Ты не знаешь людей, которые в тебя стреляли. И так судья против тебя настроен, но я ему сломаю хребет.

Значит, человеку, который на глазах у милиционеров в упор выстрелил в меня, при этом издевательски говоря: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!» — как будто я не человек, а движущая мишень кабана?! Значит, ему ничего не будет?! Я психанул, но ребята меня кое-как успокоили и довели до суда. Что делать! Взял себя в руки и говорю все, как научил адвокат.

Суд идет, уже видно, что вышку мне не дадут, но этот сволочь-судья хочет дать мне лет восемь под предлогом хулиганской перестрелки в пьяном виде.

А народные заседатели кто? Мужчина и женщина. Мужчина, по-моему, глухой из артели «Напрасный труд». А женщина — передовица швейной фабрики, по-русски два слова сказать не может. Сколько я судов ни видел в нашем городе, всегда кто-нибудь из заседателей со швейной фабрики. Почему им так швейная фабрика нравится — не пойму. Там воруют так же, как и везде.

Одна надежда на моего адвоката. Ну, он им дал чесу! Во-первых, он высмеял следствие, как бесчестное и безграмотное. Таких аферистов, как наши следователи, Техас не знает. Оказывается, следователь мой генеральский парабеллум вообще изъясил из дела. Какому-то начальнику подарил. Мой генеральский парабеллум заменили каким-то дряхлым вшивым «Вальтером». Перед людьми, которые меня не знают, стыдно было. Такой «Вальтер» у нас хороший деревенский сторож в руки не возьмет. При этом выставили шесть гильз, якобы найденные на месте перестрелки. Техас по сравнению с нашими следователями — новоафонский монастырь до его закрытия.

Значит, уже скрыть нельзя, что в меня шесть раз попали. Делают так, как будто я шесть раз стрелял и в меня шесть раз стреляли. Мой защитник это тоже высмеял.

— Это что, — говорит, — перестрелка или дуэль Пушкин — Дантес?!

Он сказал, что я вообще в преступников не стрелял, а стрелял в воздух, чтобы позвать милицию.

— Посмотрите на этого парня, — сказал он, — в недалеком прошлом десантник, отличник боевой подготовки, добровольцем уехавший на Кубу во время карибского кризиса... Неужели он ни разу из шести выстрелов не мог попасть в этих разбушевавшихся хулиганов, чьи личности, вероятно, будут установлены в дальнейшем более объективным следствием?

Значит, намек дает на наш первый вариант защиты.

— Выходит, — говорит, — по словам уважаемого судьи, наши десантники не умеют стрелять! Это клевета на нашу замечательную армию, призванную защищать мирный труд!

Тут его прокурор останавливает и говорит, что в словах судьи нету клеветы на нашу армию, но есть кавказский акцент, который московский товарищ принял за клевету.

Но мой адвокат с места ему отвечает:

— Есть клевета, и я прошу занести это в протокол!

Одним словом, он их раздраконил. Как он говорил, так и вышло. Мне дали полтора, и я из них просидел год.

И вот привозят меня в драндскую тюрьму, и там я вижу надзирателя, который оказался дядей моего хорошего товарища.

— Я слышал, — говорит, — Адгурчик, про твое дело. Знаю — ты не виноват. Но что я могу сделать, я маленький человек.

— Спасибо, — говорю, — дядя Тенгиз, мне ничего не надо. Но в моем положении доброе слово душу греет.

— Одно, — говорит, — могу сделать. Сколько хочешь внеочередные передачи.

— Спасибо, — говорю, — дядя Тенгиз, я это никогда не забуду.

И он вводит меня в камеру и сам уходит.

И вдруг я вижу, такой здоровый парень смотрит на меня с нары и кричит:

— Привет, Урюк! Я тебя давно ожидал, Урюк!

Я смотрю — личность незнакомая.

— Ты, — говорю, — дружок, обознался. Меня зовут Адгур.

И я так прохожу мимо него и сажусь на свое место.

— Нет, — кричит, — ты Урюк! Как дела на воле, Урюк?

Я ничего не могу понять: оскорбить он меня хочет или обознался? И тут человек, который рядом сидел на нарах, наклоняется ко мне и тихо говорит:

— Не обращай внимания— он псих. Он всех называет по-своему.

— Если псих,— говорю,— почему он здесь, а не в сумасшедшем доме?

— Он,— говорит,— и псих и уголовник сразу. Не обращай внимания, он всем нам дал клички.

А я тогда не знал, что такое урюк.

— А что такое урюк?— говорю.

— Это,— говорит,— сушеный персик. В Средней Азии делают.

Теперь я думаю, где сушеный персик, где я? Если бы я худой был, тогда другое дело. Видно, в самом деле псих. Черт с ним, думаю, если я шесть пуль выдержал, Урюк тоже выдержу.

И вот так мы живем в камере дней десять. А там еще сидел один такой молодой парень, с виду худенький, как оказалось, бывший работник железнодорожной милиции.

У него было такое дело. Он поймал двух проводников, которые везли около тонны мандарин в город Горький. И он конфисковал эти мандарины, чтобы составить акт на проводников и отправить его в Батуми по месту их работы. Но он еще совсем молодой работник, а проводники битые, ничего не бояся.

— Ладно,— говорят,— мандарины ты конфисковал, но акт не надо писать. Мы оставляем две тысячи рублей у такого-то человека. Возьмешь и разделишь со своим начальником.

— Нет,— говорит,— мне ничего не надо, я буду составлять акт.

Они думают— он просто ломается, а он молодой, честный. Составил акт и послал по месту работы.

Проходит время, и вдруг приезжают эти проводники, оба пьяные в доску, и устраняют ему скандал.

— Ты негодяй,— говорят,— ты взял деньги, а дело не сделал! Но мы на тебя в суд подадим.

И в самом деле подали. Оказывается, что получилось. Они тогда после него зашли к начальнику и ему тоже все сказали, и он обещал. И начальник его на следующий день вызвал и спросил насчет акта, а этот парень сказал, что акт составил и уже послал по месту работы. И начальник промолчал. И на этом заглохло. Оказывается, начальник что решил. Он решил связаться с их начальником по месту работы, они все друг друга поддерживают, и сказать ему, чтобы он этот акт порвал. А деньги, которые оставили проводники, забрал себе. Может, с тем начальником собирается делиться, может, нет, не знаю.

И он, ничего не говоря, забрал эти деньги. Но тот начальник или от этого ничего не получил, или решил еще заработать. Он показал акт проводникам и, скорее всего,

потребовал от них деньги. И они, скорее всего, ему дали. И от этого они психанули.

Потому что они решили — в Мухусе дело не выгорело, и приехали за своими деньгами и узнали, что деньги уже взяты. И начальник им сказал, что этот парень самовольно послал акт. И потому они психанули и подали в суд.

Начальник, конечно, уладил бы это дело — но в это время Шеварднадзе проводил кампанию против взяток. И от этого все судьи и прокуроры перебздели, потому что боялись за свои старые грехи и всем совали большие сроки, чтобы показать свою честность.

И начальника забрали, и этого парня забрали, и обоим дали по восемь лет. И начальник, дурак, думая, что ему меньше срока дадут, или от стыда сказал, что поделился с ним деньгами. Но разве судьи и прокуроры, люди с высшим образованием, не могли понять, что психологически даже невозможно, чтобы человек и деньги взял и акту дал ход? До того они перебздели за свои старые грехи.

И вот этот несчастный, вроде меня, сидит со мной в камере, хотя и бывший милиционер. И этот псих к нему цепляется за то, что он бывший милиционер. Он его называл Сапог.

И мне жалко этого парня, он через свою честность пострадал, и дома молодая жена с годовалым ребенком. А этот уголовник к нему цепляется, но я терплю, хотя нервы не выдерживают. И я понял, что шестью пулями меня убить не смогли, но нервы испортили.

И вдруг однажды утром, я даже не заметил, с чего началось, псих схватил за горло этого несчастного парня, и я думал, как обычно, тряхнет и пустит. Но вижу — не отпускает. А тот уже начинает синеть, как баклажан.

— Что ты делаешь, — кричу и пытаюсь его оторвать, — ты задушишь человека.

А он здоровый — не отрывается. Тем более — раздухарился. И я ему несколько раз так кричал и пытался оторвать, но он всосался в него, как клещ. Вижу — задушит парня на глазах. Нервы мои взорвались! Врезаю от души прямой в челюсть!

Он упал. Я сел на пары — чувствую, нервы никуда не годятся. А этот, как упал, так и лежит. И я начал беспокоиться: вдруг убил? Представляете, как мой судья обрадуется, если этот умрет. Нет, думаю, не может быть — глупой нокаут.

Правильно — минут через пятнадцать он поднял голову и молча на четвереньках дополз до своих нар, заполз туда и лежит, к стенке повернулся. Не шевелится.

И так весь день пролежал — обед не тронул, ужин не тронул. К стенке повернутый лежит, не шевелится, правда, дышит. Опять беспокоюсь, может, думаю, падая, сотрясение черепа получил?

И мне тот самый человек, который сказал, что он псих, опять наклоняется и тихо говорит:

— Надо в санчасть сообщить.

— Нет, — говорю, — подождем, может, очухается.

В санчасть сообщать опасно. Потому что, если он там все расскажет и если об этом узнают мои враги, они обещают ему свободу, лишь бы он меня убил. Конечно, свободу не дадут, но он псих, поверит.

И я уже этого начинаю бояться. И еще я боюсь, что он притворяется оглушенным, а ночью встанет и чем-нибудь долбанет. И теперь я всю ночь должен не спать, как тогда в больнице. Что за судьба, думаю. И так до утра лежу и не сплю. Иногда голову подымаю, смотрю — как повернулся к стенке, так и лежит.

Утром только я сел на нары, вижу, он встает и медленно идет ко мне. Сейчас не знаю, что буду делать. В открытой драке я, конечно, его не боюсь. Но мне скандал не нужен. Не дай бог, мои враги узнают. Подходит ко мне, наклоняет свою большую голову котяры и говорит:

— Ты, Урюк, слишком сильно меня ударил.

— Слушай, — говорю, — ты же чуть не задушил парня. Я же тебя спас от вышки.

— Ты, Урюк, чокнутый (это он мне говорит!), тебя мусора чуть не угробили, а ты их защищаешь.

— Слушай, — говорю, — мы же не судьи. Надо же отличать купленных аферистов от честных людей. Он за свою честность восемь лет получил, а ты его душишь.

Он стоит так, наклонив голову котяры, и думает. Потом говорит:

— Все же, Урюк, ты меня слишком сильно ударил.

— Ну, прости, браток, — говорю, — нервы... Погорячился...

И так мы примирились. Вообще они уважают силу, больше ничего не уважают. Стал тише себя вести. А в тот день он лежал повернувшись к стенке не от удара, от обиды.

И вот меня уже отправляют в лагерь, и я снова вижу с этим надзирателем дядей Тенгизом. Он прощается со мной, и я ему говорю:

— Дядя Тенгиз, тут в камере этот парень из милиции, несчастный, вроде меня. Боюсь, убьет его этот уголовник. Переводи его куда-нибудь.

— Хорошо, — говорит, — Адгурчик, выброси из головы, я его сегодня же переведу... Это наша ошибка, что мы его туда посадили...

И так я попадаю в лагерь. Да, потом, когда меня выпустили, я нашел семью этого парня, и они мне показали ответ из Прокуратуры СССР на их жалобу. Там была ре-

золюция одного из помощников Генерального прокурора. Я ее на всю жизнь запомнил. Вот она: «В связи с кампанией по борьбе с злоупотреблениями в Грузии пересмотр дела считаю нецелесообразным». Вот так, дорогие мои, у нас еще делается!

Человек ни за что пострадал. А по закону ему могли дать год или два, и то условно. За недоносительство. Он должен был, как работник милиции, сказать куда надо, что такие-то люди через такого-то человека пытаются дать взятку. Но он не сказал по неопытности. А теперь куда ему жаловаться, господу богу?

И вот, значит, я в лагере. И жена мне написала, что на моем месте работает такой-то человек. И тут я понял, чьих рук мое дело. Этот человек несколько раз заходил к моему директору, и они о чем-то шушукались. Но я не поинтересовался. Я вообще не имею привычки лезть в чужие дела. Теперь я все понял.

Тогда, сгоряча, я не обратил внимания, что мой директор ни разу не посетил меня в больнице и на суде не был. У нас это не принято! И я вспомнил, что хотел уйти с работы на полчаса раньше, а он меня не отпустил, подняв дело трехлетней давности. А как он мог меня отпустить, когда уже договорился с этими. Может, они еще номера снимают со своей белой «Волги», а я уже домой пошел?!

Теперь я все понял, но терплю. Зуб имею только на двоих. На директора, который продал мою жизнь за мое место, и на того, который последний раз выстрелил, издевательски крича:

— Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!

Одну минуту, друзья. Зиночка, вот тот стол, третий от конца. Что пьют, отсюда не вижу. Потихоньку подойди и посмотри. Если коньяк — бутылку армянского, если вино — четыре бутылки. Той же марки. А то некоторые, когда вот так посылаешь, несут вино, которое никто не покупает. Но ты не такая, я знаю. И не надо жалеть мои деньги! Не надо! Для друзей живем, для гостей живем, больше я не знаю для чего жить.

Но когда я в баре работаю, капли не выпью и даром спичку не дам. Такая у меня привычка. Строгий! Но когда гуляю — гуляю!

Есть у нас такие, которые мебель меняют каждые три года. Китайцы тоже кое в чем правы: зажирили! Однажды один мой сосед говорит:

— Зайди, Адгурчик, посмотри, какая у меня обстановка!

Захожу. В самой большой комнате справа книжные полки до потолка. Слева книжные полки до потолка. Слева все книги красные, справа все книги зеленые.

— Это что, — говорю, — кремлевский кабинет Ленина?

— Нет, — говорит, — это зала. Сейчас мода.

— Слушай, — говорю, — зачем тебе столько книг, когда ты такой малограмотный, что повестку от военкомата не можешь отличить от повестки в суд?

Обиделся. Правду не любят. Жена моя тоже десять лет пристаёт: давай менять мебель, давай менять мебель!

— Цыц! — говорю, — трехкомнатная секция есть? Есть. Дети сыты, аккуратненько в школу ходят? Ходят. Если сегодня пять человек придет в дом, не выходя, есть чем накормить, напоить? Есть. У тебя под кроватью пять-шесть пар туфель, как уточки, стоят? Стоят. А моя мама во время войны, когда отец родину защищал, имела единственные туфли. И когда отдала их в починку, в галошах пошла на работу, чтобы моих сестер кормить. Разве я это когда-нибудь забуду? А теперь ты подумай своими куриными мозгами, кто моя мать и кто ты?

Нет, я не против нового, где надо. И у нас все есть. Газовая плита, ванная, то, се, что нужно для современной жизненности. А что нужно для показухи, я ненавижу. Не надо! Не надо мне! Отцовская мебель, как стояла, пускай стоит! Где висел при отце персидский ковер, пускай висит! Где портреты родственников висели, пускай висят! Кушать не просят! А показухи мне не надо!

Один тут дурак, не буду имя называть, купил жене шубу за четыре тысячи. мех толще, чем моя нога. спрашивается, зачем в нашем солнечном краю такая шуба? В марте месяце, чтобы людям показаться, пошла в этой шубе на похороны. Солнечный удар, и свалилась, как свинья. спрашивается, чем теперь хозяевам заниматься — этой кекелкой или своим покойником? Не надо! Китайцы тоже кое в чем правы: зажирели!

Эти показушники меня опять отвлекли. И вот, значит, выхожу из тюрьмы, неделю гуляю с друзьями, потом сажусь с товарищами в такси и подъезжаю к бару. Прошу товарища зайти в бар и позвать директора.

И вот директор нехотя подходит к машине. В глаза не смотрит.

— Поздравляю, — говорит, — слава богу, вышел.

— Спасибо, — говорю, — но у меня к тебе дело.

— Какое дело?

— Вот ждет такси, — говорю, — поедем на Чернявскую гору, я тебе там все расскажу.

Ломается, как кекелка.

— Сам знаешь, — говорю, — на что я способен, если не поедешь.

Приехали мы на Чернявскую гору, я отвел его в кусты мимозы и все сказал. Он, конечно, отрицает, но что интересно — в глаза не смотрит.

— Я тебя трогать не буду, — говорю, — потому что мать жалко, сестер жалко, детей жалко. По этой причине ты вместе с человеком, которому за мою кровь продал мое место, тихо-тихо напишете заявление об уходе с работы в связи с нервами. А я бескровно, в отличие от некоторых, продам твое место, как ты продал мое. Вот мои условия, если хочешь жить.

Одним словом, с директором расправился как мужчина. Выбросил его из бара вместе с его шестеркой. А на его место по рекомендации моих друзей взяли хорошего, солидного, партийного человека.

И вот я снова работаю на своем месте. Ребята приходят, целуют, поздравляют меня. Говорят — без меня в этот бар даже ходить отвыкли.

Все хорошо, но как быть с тем, который организовал за мной охоту, который вот сюда в подмышку выстрелил, издевательски говоря:

— Да замолчишь ты когда-нибудь или нет?!

Душа у меня горит, а что делать? Город маленький, и три-четыре раза в году сталкиваемся на улице. Он, как только меня увидит, переходит на другую сторону. Он делает вид, что не узнает, а я через стыд вынужден делать такой же вид. Но сколько можно терпеть? А мне родных жалко, потому что не могу убить его и уйти в лес, как наши предки. И я горю между двух огней, но до конца не сгораю.

А время идет и этому аферисту чины кладет на плечи. Был старший лейтенант, а теперь майор. И я уверен, что слух о том, что у меня два сердца, он пустил. Чтобы перед кем-то оправдать себя за неудачное покушение. Но мне не надо это дефективное чудо! У меня нормальное сердце болит.

Потому что мой дядя с неотомщенным глазом лежит в земле и плачет за погубленных крестьян, потому что мой дорогой Виктор свою цветущую молодость, как нераскрытый парашют, унес в могилу, а мой враг ходит по земле и чины получает.

Поэтому я так, в свободное от работы время, люблю посидеть с хорошими людьми, поговорить от души, забыть свое горе, послать две-три бутылки своим ребятам, выпить за друзей.

Потому что в этом мире, где все куплено еще до нашего рождения, я ничего такого особого не видел, чтобы добровольцем второй раз пришел сюда. Но я видел одно прекрасное в этом зачуханном мире — это мужское товарищество, и за это мы выпьем. Потому что человеку желательно, чтобы в жизни было одно такое маленькое вещество, которое никто не может ни купить, ни продать! И за это вещество мы выпьем!

Чик идет на оплакивание

Чик, — крикнула тетушка сверху, — подымись, ты мне нужен! — Чик повернул голову. Тетушка сидела на обычном своем месте у окна веранды. Но сейчас она не попивала чай, хозяйственно озирая двор, как это бывало всегда, а глядя в зеркало, старательно выщипывала брови. Чик понял, что она собирается идти в гости. Она выщипывала брови, когда собиралась идти в гости или в кино. Бедные тетушкины брови! Редкая огородница с такой тщательностью выпалывала грядки с кинзой и петрушкой, как тетушка свои брови.

Чик в это время обкатывал и оббивал новенький футбольный мяч, подаренный Онику отцом. Одновременно с этим он отработывал хитрейший прием обмана вратаря во время исполнения пенальти. Оник стоял в воротах, обозначенных двумя кирпичами.

Вот что придумал Чик. Он много раз замечал, что взрослые футболисты, собираясь бить пенальти, порой по несколько раз подходят к мячу и капризно подправляют его, чтобы он удобней стоял. И Чик догадался, что это можно использовать.

Надо пару раз подойти к мячу, подправить его, потом отойти, изобразить на лице неудовольствие (опять не так стоит!), снова подойти якобы для перекладывания мяча и тут неожиданно пнуть его без разгона. Вратарь не успевает и глазом моргнуть: мяч в воротах!

Чик считал, что в этом нет никакой подлости — спортивная хитрость! Вратарь после свистка обязан ждать мяч в любую секунду. Никто не оговаривал, сколько раз можно подходить и переустанавливать мяч после свистка.

Услышав голос тетушки, Чик тут же подключил его к маневрам, отвлекающим вратаря от неожиданного удара. Он изобразил на лице крайнее раздражение: тут никак не можешь установить мяч, а тут еще тетушка кричит! С этим выражением он снова подошел к мячу и, даже вытянув руки, слегка наклонился к нему и... удар! Мяч влетел в левый угол и отскочил от забора, возле которого были расположены ворота.

— Нечестно! — завопил Оник. — Тёханша твоя кричала!

— А я тебя как учил? — строго перебил его Чик. — Был свисток — жди удара! Я сейчас приду!

Перескакивая через ступеньки, Чик побежал наверх. Белочка ринулась за ним, думая, что тетушка учудила второй завтрак, что с ней иногда случалось. Бывало, завтрак давно прошел, до обеда еще далеко, а тетушка сидит, попивая чай, и вдруг ее озаряет:

— А что если я пирожки поджарю, Чик? Горсовет на нас не обидится?

— Не обидится! — радостно подхватывал Чик эту вкусную шутку.

Ох и легка была тетушка на подъем! Она никогда не ленилась доставить себе удовольствие. А если при этом сидели рядом с ней соседка, или подруга, или Чик, она со всеми щедро делилась удовольствием. Чик любил ее за размах. Она доставляла себе удовольствие с таким размахом, что и окружающим кое-что перепало. Что, денег нет? Не беда! Размахнется персидским ковром и продаст! Опять завеселеет!

— Чик, — сказала тетушка, когда он к ней подошел. Не глядя на него, она продолжала требовательно всматриваться в свое горбоносое лицо и выщипывать сверкающими щипчиками брови, — умерла моя дорогая Циала... Мы с тобой должны пойти на оплакивание. Надень свежую рубашку и новые брюки...

Чик никогда не ходил на оплакивание умерших. Это было то счастливое время, когда еще никто из близких и даже знакомых не умирал. Умирили чужие. И Чик иногда видел похоронные процессии,двигающиеся по улицам, и вместе с другими ребятами забирался на забор и вскарабкивался на деревья, чтобы заглянуть в лицо покойнику. Это было любопытно и грустно, но и в голову не приходило плакать.

Тетя Циала была приятельницей тетушки. Чик ее слегка недолюбливал, и было за что. Нет, конечно, он ничуть не обрадовался, узнав, что она умерла. Ему даже было ее жалко, но не сильно. Он вслушался в свою жалость и подумал, что со слезами, пожалуй, тут будет туговато.

— Я тоже должен плакать? — спросил он у тетушки.

Тетушка продолжала выщипывать брови, требовательно вглядываясь в свое лицо. Она всегда так вглядывалась в свое лицо, когда смотрела в зеркало. Вглядываясь в свое лицо, она как бы сурово выговаривала ему: да, от природы ты красивое. Но ты само не стараешься. Вечно тебе приходится помогать!

— Ты должен постоять у гроба, как мальчик из приличной семьи, — сказала тетушка, продолжая глядеть в зеркало, — а плакать тебя никто не обязывает... Если при ви-

де моей дорогой подруги, лежащей в гробу, у тебя не польются слезы, значит, ты не в нас, а в тех, кого я сейчас не хочу называть.

Начинается, подумал Чик. Ему было неприятно выслушивать это. Тетушка имела в виду его маму. Они не любили друг друга. Это началось еще до Чика, и уже ничего невозможно было исправить.

Мама считала, что тетушка слишком занята собой и недостаточно любит ее брата. А тетушка считала, что чегемцы вообще люди черствые и довольно дикие. Мама и ее брат были родом из села Чегем. Чик любил своих чегемских родственников, и он точно знал, что они совсем не черствые и не дикие, хотя у них нет электричества. Просто они сдержанные. У них не принято сюсюкать или, скажем, нацеловывать детей. Но они добрые, только они стыдятся говорить об этом. Почему тетушка этого не понимает? Странно? Может, вообще жители долин не могут понимать жителей гор? Но ведь Чик сам родился в городе, почему же он хорошо понимает чегемцев? Чегемцы тоже посмеивались над жителями Мухуса, но, пожалуй, добродушно.

— Когда они к нам приезжают, — говаривали чегемцы, кивая на городских, — мы режем козу или курицу. Ставим на стол вино. А когда мы к ним приезжаем, они нас чаем угощают. Да что мы большие, что ли, чтобы чай хлестать?

Тут, конечно, тоже было некоторое недопонимание. Но ничего особенного. Просто смешно. Чик часто спорил с тетушкой, стараясь ей внушить, что чегемцы не черствые и не дикие. Они другие. Они горцы! Но тетушка с ним никогда не соглашалась.

И сейчас Чик не на шутку встревожился. Он решил, что, если он не расплатится над гробом тети Циалы, тетушка окончательно уверится, что чегемцы жестокие и дикие люди. Он не за себя боялся, ему было обидно за чегемцев.

Чик пошел домой переодеваться. Спускаясь по лестнице, он взглянул на Оника. Тот, дожидаясь его, бил по мячу, отскакивавшему от забора.

— Я пошел на оплакивание, — бросил Чик в сторону Оника.

— Куда? Куда? — переспросил Оник, поймав мяч в руки и поворачиваясь к Чику.

— На оплакивание тети Циалы, — пояснил Чик с выражением превосходства в житейском опыте, — она умерла. Мы с тетей идем на оплакивание.

Оник явно старался понять, как это происходит. Но не мог. У него тоже никто из близких и знакомых не умирал.

— А это интересно? — спросил он, как всегда уверенный, что Чик все знает лучше него.

— Это... это, — начал Чик, стараясь соединить все, что

он слышал о таких делах. Он смутно припомнил, что взрослые в разговорах о похоронах огромное значение придают погоде. — Это как с погодой повезет. Бывает, повезет покойнику с погодой, а бывает, не повезет, и тут уж ничего не поделаешь...

— Как так?! — воскликнул Оник, выронив мяч от удивления. — А разве мертвые разбираются в погоде?

— Будь спок, — сказал Чик неожиданно даже для себя, — что-то, а погоду они чувят!

Оник так и замер, задумавшись. Чик пошел домой переодеваться. Минутное удовольствие с розыгрышем Оника испарилось, и Чик снова почувствовал тревогу: а вдруг не заплачется?

Чик стал вспоминать об умершей. Тетя Циала была крупная, полная, пожилая женщина. Несмотря на полноту, она быстро и легко двигалась. Тетушка говорила, что она настоящая аристократка. Чик верил этому. Он считал, что крупные, полные аристократки должны двигаться легко, быстро, иначе кто же поверит, что они аристократки.

Чик знал, что ее муж был абхазским князем. Он его никогда не видел, но тетя Циала порой упоминала его в разговорах. Если уж никак нельзя было обойтись без него, она, как бы махнув рукой, упоминала его. Получалось, что ее муж был деревенским князем. Так себе князьком. Иногда тетюшка злилась на тетю Циалу и тогда говорила:

— У нее, видите ли, муж — князь! В Абхазии, если у человека три буйвола, он уже князь! Начхала я на таких князей!

Тетушка так говорила, потому что ее первый муж был персидским консулом и она с ним некоторое время жила в Тегеране. Чик вообще не представлял, чем занимаются консулы. Он знал, чем занимались древнеримские консулы, а чем занимаются современные консулы, не знал.

Он знал, что консул был иностранной шишкой и тетушка им вертела как хотела. Вот он и красил волосы, чтобы понравиться тетушке. А у тетушки, известное дело, настроение меняется, как погода. В какой цвет прикрасит тетушка, в такой цвет и выкрасит волосы консул. А чекисты, по рассказам тетушки, бывало, сбивались с ног: куда девался этот черноволосый консул и откуда взялся этот рыжий персидский мулла?

У тетушки раньше был консул, а у подруги ее — капитан парохода «Цесаревич Георгий». Вот они и сдружились. У кого карта старше? Консул бьет капитана или капитан консула? Консул был старенький, а капитан молодой. Очко за Циалой! Но консул был настоящим мужем тетушки, а капитан был только возлюбленным тети Циалы. Она мечтала стать женой капитана, но не вышло. Очко за тетушкой!

Теперь у тетушки муж сын простого крестьянина, и Чик любил своего дядю, но тут, по их понятиям, тетушка проигрывала. Там князь, хоть и деревенский. Общий счет 2:1 в пользу тети Циалы.

А не многовато ли вообще князей для нашего маленького города, вдруг подумал Чик. Он иногда проникался чувством социальной хозяйственности, хотя его никто об этом не просил.

Чик читал множество современных русских книжек, и там иногда упоминались случайно уцелевшие на просторах нашей Родины князья, графы, офицеры. Но они почти всегда прятались в подвалах, в заброшенных избушках, а то и в стогах с сеном. Выйдут из укрытия, повредят-повредят и снова — юрк в подвал или нырнут в стог.

Но это там, за Кавказским хребтом. А у нас князья живут себе под теплым солнышком и не скрывают, что они князья. Правда, по наблюдениям Чика, они и не вредят. Может, потому, что они ленивые? Чик слышал, что абхазские князья самые ленивые в мире. Чик читал книжку о самом ленивом русском барине Обломове.

Интересно, если высадить на необитаемом острове абхазского князя и Обломова, кто из них первым возьмется за труд? Головоломная задача! Обломов, пожалуй, подобрей и попроще. Он в конце концов, несмотря на лень, согласился бы первым вскарабкаться на кокосовую пальму, но Чик понимал — не сможет. Мускулы слабые. У наших князей, конечно, с мускулами получше. Они ездят верхом, платочки там всякие подымают зубами во время танцев, но они ужасные гордецы. Попробуй загнать его на кокосовую пальму — умрет от голода под пальмой, но не влезет. А чего заноситься? Глупо!

Чик всю жизнь слышал о великой любви тети Циалы и капитана парохода «Цесаревич Георгий», но он мало что знал о конце этой истории. Он только знал, что однажды пароход в море ограбили какие-то пираты и после этого у тети Циалы с капитаном все пошло кувырком.

Она об этом иногда говорила с тетушкой, но, как только появлялся Чик, они или закруглялись, или тетушка его просто прогоняла. Там была какая-то страшная тайна. Там был какой-то желтоглазый человек (несколько раз Чик успевал ухватить эти слова), который помешал любви тети Циалы и капитана.

А до желтоглазого была великая любовь. Когда пароход входил в мухусский порт, капитан приглашал на палубу свою возлюбленную и бесплатно катал ее в роскошной каюте до Батума и обратно. А в Одессу тетя Циала никак не могла прорваться. Капитан ее туда не брал. Нет, нет, у него не было жены. Видно, она еще была слишком молоденькая, и капитан все ждал, чтобы она остепенилась и он смог бы привести ее к своим стареньким родителям.

Нет, там не было жены капитана. Чик это точно знал. Если б там была жена, до Чика обязательно дошли бы разговоры, что эта негодяйка, недостойная целовать пятки тете Циале, при помощи цыганки приворожила бедного капитана.

Чик долго не любил тетю Циалу, и вот за что. Однажды, когда Чик был совсем маленький и лежал больной, она вдруг его навестила. Он лежал внизу у мамы, и поэтому было удивительно, что она его навестила. До этого она к маме почти никогда не ходила. А тут вдруг зашла. Но у Чика была большая температура, и он не обратил внимания на это. Он все видел как в тумане. И вдруг она к нему пристала с самым ненавистным ему вопросом:

— Кого ты больше любишь, маму или тетю?

С этим вопросом раньше к нему приставала только тетушка.

— Одинаково, — отвечал Чик, что стоило ему немалого самообладания. Тетушка ждала другого ответа, но никогда не могла добиться. И тут вдруг эта чужая тетя пристала к нему с этим же вопросом. И он, оскорбленный самим вопросом, и чтобы скорее от нее избавиться, и оттого, что был больной, и оттого, что мама была рядом, выдохнул:

— Маму! — И вдруг из-за спины грузной тети Циалы, как бесенок, выскочила тетушка и закричала: — Ах, так! — И Чик разрыдался! Никогда, никогда в жизни он так долго и горестно не плакал!

— Я ослаб, — говорил он сквозь рыдания, чтобы они поняли, что он не двуличный, что это он от болезни. Тетушка, конечно, бросилась его целовать, обнимать, успокаивать и всякое такое. По лицу бедной мамы, Чик это видел даже сквозь слезы, пошли красные пятна, но она им ни слова не сказала! Они сейчас гости — вот что такое чегемка! Но зато, когда они ушли, тетя Циала получила столько проклятий вслед, что этого хватило бы на всю мировую аристократию.

Чик выздоровел и потом с месяц не мог простить тетушке этот глупый и жестокий розыгрыш. Но потом простил. Все-таки он любил тетушку, и она его, конечно, любила. А вот тете Циале он этого не мог простить еще целых два года. А потом простил. А куда денешься? Ходит и ходит к тетушке. Пришлось простить.

Все это Чик мельком вспоминал, пока переодевался, и вдруг осознал, что тетя Циала умерла и то, что он сейчас так вспоминает о ней, нехорошо. Его опять охватила тревога: сумеет ли он заплакать, да еще с такими мыслями?

Но вот они вышли с тетушкой на улицу и повернули налево. День был теплый, солнечный, ласковый. Тетушкины каблучки легко и даже бодро стучали по тротуару. На углу несколько мальчигов играли в деньги, а другие

толпились возле играющих и наслаждались звоном монет, которые долбили тяжелые царские пятаки.

Среди зевак стоял Анести. Когда они приблизились, он поднял голову и посмотрел на Чика. Чик вдруг подумал, что Анести ему предложит играть в деньги. Этого еще не хватало! Тетушка была уверена, что Чик никогда не играет в деньги. Поэтому Чик, глядя на Анести, сделал ему страшную гримасу и отрицательно покачал головой. Но Анести его не понял, а может быть, понял наоборот:

— Чик, сыгранем?—спросил он, когда они поравнялись, и, хлопнув по карману, звякнул мелочью.

— Нет,—сухо бросил Чик и уже хотел пройти мимо, но тетушка остановилась.

— Что ты, мальчик,—сказала она,—Чик никогда не играет в деньги!

— Пацаны,—расхохотался Анести,—Чик никогда не играет в пети-мети!

Ребята рассмеялись, но тетушка ничуть не смутилась.

— Да,—сказала тетушка,—Чик никогда не играет в азартные игры! Куда только смотрят ваши родители?! Правильно говорят по-русски: не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала.

Чик у это было неприятно слышать. Это был камушек в огороде мамы. Бывало, если Чик проявлял сообразительность или приносил хорошие отметки, тетушка говорила, что это результат ее воспитания. А когда Чик попадал в какую-нибудь неприятную историю, она говорила:

— Яблоко недалеко от яблони падает.

Это был намек на его чегемское происхождение. Но если она имела в виду яблоню во дворе дедушкиного дома (Чик обожал эту яблоню), то можно сказать, что он далеко, до самого Мухуса укатился от этой яблони.

Но вот ребята остались позади, и Чик снова заволновался: а вдруг ему не заплачется у гроба? И вообще как это происходит? Может, дети плачут вместе? Тогда можно, как в школьном хоре, только слегка раскрывать рот.

— Тё,—спросил Чик,—а дети плачут со взрослыми или отдельно?

— Ну, какой ты, Чик,—сказала тетушка не глядя, а каблочки ее продолжали бодро стучать по мостовой,—мы подойдем с тобой к гробу моей дорогой подруги. Постоим. Поплачем. Потом я еще пособлезную близким, а ты выйдешь во двор и подождешь меня там.

Чик задумался. Тетушкины слова его ничуть не успокоили. По бодрому, невозмутимому стуку ее каблочков Чик был уверен, что сама она ничуть не сомневается в том, что слезы у нее польются, когда это будет надо. И Чика стали раздражать эти ее каблочки, и он решил смутить ее уверенность.

— Тё,—сказал он,—а вдруг тебе не заплачется?

— Как это мне не заплачется? — удивилась тетушка, не сбавляя бодрости каблучков. — Что ты выдумываешь, Чик? У гроба своей лучшей подруги могут не заплакать только люди, о которых я сейчас не хочу говорить! И ты знаешь, кто эти люди, Чик! Знаешь, Чик, не притворяйся!

Чик опять тревожно задумался: а вдруг не заплачется? Что тетушка тогда будет говорить о чегемцах? Будет ужасно, если она тут же у гроба станет объяснять другим людям, что Чик не плачет, потому что пошел в своих родственников по материнской линии. Надо во что бы то ни стало заплакать!

Он с новой силой почувствовал груз долга на своих плечах. И сразу же, как это бывало и раньше, позавидовал тем губошлепистым мальчикам, которые этого никогда не чувствуют. Оник, например, никогда этого не чувствует. Хорошо ему живется, черт бы его подрал!

Они шли и шли, и тетушка встречала многих своих знакомых женщин и заговаривала с ними о смерти своей подруги. То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а то и по-турецки. Мелькала одна и та же фраза на всех языках:

- Бедная Циала!
- Циала рыцха!
- Сацкали Циала!
- Языг Циала!

И почти все они обязательно заговаривали о погоде.

— Слава богу, хоть с погодой повезло, — утешала одна.

— Если погода продержится, обязательно приду на похороны, — обещала другая.

— Счастливая, жила как хотела и после смерти получила такую погоду!

— Отчего она умерла?

— Сердечница, — то и дело отвечала тетушка, — она всю жизнь была сердечницей!

Чику казалось, что тетя Циала стала сердечницей после того, как рассталась с любимым капитаном. Любовь навсегда ранила ее сердце, и она с тех пор стала сердечницей.

— Ах, как ей повезло с погодой!

Почти все разговоры сводились к этому. Чик удивлялся такому вниманию к погоде. Можно было подумать, что после смерти некоторых людей начинается наводнение.

И вот они, наконец, подошли к дому князя. Ворота в зеленый двор были широко распахнуты. Во дворец вели кусты поздних роз и георгинов. С внутренней стороны двора несколько лошадей было привязано к штaketнику. Чик понял, что прибыли деревенские родственники князя.

Под длинной виноградской беседкой, густо лиловеющей спелыми гроздьями, были расставлены столы, на которых виднелись бутылки с вином и лимонадом, блюда с солень-

ями и лобии. Людей за столами было не очень много, и они сидели не большими группками, как это бывает, когда в застолье много мест, а люди малознакомы. Чик понял, что это поминки.

Они вошли во двор. У низкого столика перед входом в дом отдельно от всех стоял невысокий человек в черном костюме со скорбным лицом. Он повернулся к тетушке, явно ожидая, что она к нему подойдет, но тетушка, ускорив шаг, прошла мимо.

— Бедный князь, я еще к вам подойду, — бросила она ему мимоходом совсем новым для Чика голосом, показывая, что ее уже душат слезы и ей бы только донести их до той, кому они предназначены.

Когда же она успела, удивился Чик и с ужасом подумал, что тетушка уже ко всему готова, а он, дурак, только глazel, оглядывая двор, и теперь ни к чему не готов. Из широко распахнутых дверей одноэтажного дома раздались призывные рыдания, и Чик еще больше запаниковал, чувствуя, что сейчас на виду у всех опозорится.

Надо бежать, бежать, пока не поздно! Но в это мгновение тетушка, словно догадавшись об этом, крепко схватила его за руку и с какой-то хищной торопливостью ринулась к распахнутым дверям.

Гроб стоял посреди большой комнаты. Вдоль стен на стульях сидели женщины в черном и несколько мужчин, одетых в черкески с кинжалами на боку. Чик догадался, что это деревенские родственники.

В сторонке у окна толпились музыканты с восточными инструментами в руках и с восточным выражением в глазах. У изголовья гроба, засыпанного цветами, стояло несколько женщин, по-видимому, самых близких родственниц. Глядя на покойницу, они всхлипывали и рыдали.

Остановив, наконец, взгляд на гробе, засыпанном цветами, Чик оцепенел. Его вдруг осенила леденящая догадка, что именно потому столько цветов набросано сверху, чтобы скрыть то страшное и непонятное, притаившееся под цветами и именуемое смертью. И он, цепenea, подумал: как можно жить, если это страшное и непонятное есть в жизни?

А тетушка, уже не в силах додержать слезы, зарыдала навстречу рыданиям и, бросив замешкавшегося Чика, пошла к гробу. Однако перед тем как его бросить, она строгим тычком в спину показала, куда ему надо двигаться.

И эти ее неутешные рыдания, и почти одновременный маленький, хитренький тычок в спину, как бы знак из милой, повседневной жизни тетушки, да и самого Чика, вывели его из оцепенения, словно подсказали, что можно, можно жить, если люди делают такие смешные вещи даже здесь, возле ужаса, заброшенного цветами.

Тетушка вдруг замолкла и упала щекой на усыпанное цветами тело покойницы. Она немного полежала так, а потом с рыданиями выпрямилась, как бы потеряв последнюю каплю надежды, что жизнь еще теплится под цветами. И теперь, взглянув на стоящих у гроба, она стала рыдать вместе с ними. Рыдающие, глядя друг на друга, возбуждались взаимной чувствительностью, и каждая, как бы в благодарность за неутешные рыдания другой, сама начинала рыдать с новой силой.

Чик все это видел, стоя у гроба рядом с тетушкой, и, глядя на сурово постранневшее лицо тети Циалы, ощущал, что комок рыдания подкатывает к его горлу, но никак не может протолкнуться сквозь него и потому он не может заплакать.

Ему много раз казалось, что комок вот-вот прорвется и тогда польются слезы. Но проклятый комок не прорывался, и горло у него начало саднить от напряжения.

А тетушка вместе с другими женщинами продолжала рыдать, иногда наклоняясь к гробу и растолковывая подруге, как ее здесь любят, а суровое лицо мертвой выражало досадливое неудовольствие всей этой шумихой.

Женщины продолжали рыдать, а у Чика все сдавливало горло, но комок ни туда ни сюда. А между тем Чик чувствовал, что сюжеты из книги, которые тетушка излагала, рыдая, начинают повторяться («звезда моей цветущей юности», «таких преданных теперь нет», «ради нее я бросила персидского консула и вернулась на родину») и она через мгновение обратится к Чику и подключит его к своему плачу.

И Чик, чувствуя, что это вот-вот может случиться, а тетушка, увидев, что он все еще не плачет, преувеличенно ужаснется и вдруг такого наговорит о жестоких чегемцах...

И он в отчаянии приложил кулаки к глазам и стал их тереть изо всех сил, чтобы выжать слезы. Но слезы никак не выжимались, а глазные яблоки, наоборот, ссыхались от боли. И тогда Чик (была не была!) незаметно ослюнявил обе ладони и потом так же незаметно, продолжая как бы утирать глаза, обмазал их слюной. Правда, от волнения слюна куда-то подевалась, но хоть слегка удалось увлажнить подглазья.

Только он это сделал и еще продолжал кулаками прикрывать глаза, как понял по голосу тетушки, что она вернулась к нему:

— Чик, где наша любимая Циала? Кто тебя осиротил, Чик? Кто теперь будет угощать тебя конфетами, Чик?

Когда тетушка плачущим голосом произнесла свои первые слова, обращенные к Чику, что-то в груди у него дрогнуло, комок в горле стал мягко раздуваться и Чик понял: сейчас пойдут слезы. Сами пойдут, только не надо им мешать.

И он перестал кулаками тереть глаза, и слезы поднялись сами, увлажнив его замученные глаза, как вдруг тетушка своим дурацким упоминанием дурацких конфет все испортила.

Никогда в жизни, ни разу тетя Циала не угощала его конфетами. Нет, она не была жадной. Она, как и тетушка, была щедрой. Просто она вспоминала о существовании Чика только тогда, когда видела его. В конце концов, Чик не такой уж маленький, чтобы рыдать над умершей только потому, что она его угощала конфетами. И тут комок в горле Чика стал сжиматься, сморщиваться и куда-то исчез.

— Открой глаза, Чик! Не стыдись слез, — рыдала тетушка, — есть минуты, когда мужчина не должен стыдиться слез!

Чикуну стало очень стыдно, и он никак не мог оторвать кулаки от глаз, тем более что жалкая влага слюны, которой он их смочил, успела подсохнуть.

И вдруг ударила музыка и сразу перекрыла все, о чем Чик сейчас думал. Музыка была до того печальной, что Чика мгновенно заполнила острая, сладостная жалость. Ему стало жалко сумасшедшего дядю Колю с его безнадежной любовью к матери Соньки, ему стало жалко тетушку неизвестно за что, мимоходом он пожалел и неведомого персидского консула, бедного старикашку, который все красил и перекрашивал волосы и никак не мог угодить тетушке, ему стало жалко Белочку, которую собаковод мог поймать в любую минуту и отдать живодемам, ему стало жалко тетю Циалу, и в самом деле по гроб жизни любившую своего капитана, ему стало жалко хромого Лесика, который всю, всю свою жизнь так и будет подволакивать ногу, ему стало жалко испанских республиканцев, он предчувствовал, что герои обречены, ему стало жалко отца Ники, невинно арестованного, и Нику, все еще думающую, что отец в дальней командировке. Ему вдруг припомнилось и стало жалко котенка, который когда-то давно тонул в канаве, а мальчишки вдобавок кидали в него камнями, а Чик стоял рядом и ничего не решался сделать не потому, что боялся мальчишек, а потому, что боялся прослыть слюнтяем... Ему стало жалко всех, всех и себя стало жалко за то, что он так глупо, так глупо боялся прослыть слюнтяем...

И удивительней всего было то, что, как только он начинал жалеть кого-нибудь, музыка мгновенно устремлялась к месту жалости и омывала именно эту жалость. И каждый раз Чик чувствовал, что она жалеет именно того человека, это животное, а не кого-то вообще. Но откуда музыка знает обо всех его жалостях, и как она успевает мгновенно вместе с Чиком переходить от одной жалости к другой?

И Чик чувствовал, что по лицу его текут и текут невыдуманные слезы и откуда-то издалека доносится голос тетушки. Наконец музыка смолкла, и Чик очнулся, но слезы продолжали течь. И он стал глядеть на тетушку, чтобы она как следует разглядела эти слезы и больше никогда плохо не думала о чегемцах.

И Чик теперь не сводил с тетушки своих плачущих глаз, и тетушка, кажется, начала что-то понимать и даже слегка кивнула Чику головой. Но Чик продолжал глядеть на нее плачущими глазами, требуя более ясных признаков покаяния, и она наконец наклонилась к Чику и шепнула ему на ухо:

— Я горжусь тобой, Чик! Я всегда знала, что ты пошел в нас, а не в этих бессердечных людей!

Ну что ты ей скажешь? Сколько же упрямства в этой маленькой горбоносой голове! И вдруг тетушка обратилась к мертвой и сказала ей, что Чик просит разрешения в последний раз поцеловать ее и навек попрощаться.

Все подхватили ее рыдания, и заплаканные взоры обратились к Чику, как бы пораженные его не по годам мудрой чувствительностью. Чику было страшно целовать мертвую, он даже не знал, куда правильной всего ее поцеловать, и все-таки, стараясь не выдать, как это ему неприятно, наклонился и поцеловал ее в лоб.

Он почувствовал губами не принимающую его поцелуй, какую-то потустороннюю твердость прохладного лба и, стараясь не выдавать облегчения и затаенного дыхания, распрямился и стал проходить к дверям. А уже там в последний раз услышал тетушку:

— Подруга юности, скажи, где «Цесаревич Георгий», где мы?

Чик вдохнул всей грудью свежий, золотой воздух ясного дня, и было глазам так вкусно смотреть на зеленую траву, кусты роз и георгинов, на рыжие крупы лошадок, привязанных к штакетнику и лениво помахивающих хвостами.

Но губами он еще чувствовал ту враждебную, потустороннюю твердость прохладного лба, и ему очень хотелось вытереть губы, но он стыдился это сделать. Ему казалось, что все сразу догадаются, что он стирает следы поцелуя. Вдруг кто-то ласково положил ему руку на плечо. Чик обернулся. Это был распорядитель поминального застолья.

— Мальчик, — сказал он, — можешь пойти перекусить и выпить лимонад. Лимонад любишь?

— Да, — сказал Чик и пошел к виноградной беседке. За сдвинутыми полупустыми поминальными столами сидели не только взрослые, но и дети, дожидавшиеся своих родителей. Подходя к беседке, Чик вдруг увидел рыженькую девочку с лицом как подсолнух. И этот сияющий подсолнух сейчас был повернут к нему и явно призывал подойти. Чик подошел и сел напротив девочки. Он все время

помнил губами потустороннюю враждебную твердость лба покойницы, но слизнуть этот налет смерти мешала брезгливость, а утереть рукавом было стыдно: подумают — двуличный — сам целует, а потом утирается.

Поэтому Чик сделал озабоченное лицо, посмотрел на свои ноги, пробормотал что-то насчет проклятых шнурков и, склонившись под стол, изо всех сил, до хруста стал вытирать губы концом скатерти.

Вдруг он заметил, что под столом с противоположной стороны торчит наблюдающая за ним головка девочки. Приподняв свой край скатерти, она следила за ним.

Чик стало неприятно, что она его видит, и он на всякий случай стал жевать край скатерти, сначала думая намеркнуть на то, что он сумасшедший и потому так странно обращается под столом со скатертью, но потом решил, что это слишком громоздко и потребует новых соответствующих выдумок, и стал щупать скатерть, как бы пробуя ее на эластичность. А потом, растопырив ее двумя руками, изо всех сил подул на нее, смутно намекая, что изучает свойства ткани для неких, может быть, парусных надобностей. Но девочка продолжала следить за ним смеющимися глазами из сумрака подстолья. Сейчас было особенно заметно, что на ее мордочке полным-полно веснушек.

Чик выпрямился над столом. Девочка тоже разогнулась.

— А я знаю, почему ты вытер губы, — сказала она, отменяя все его версии, — я тоже не люблю целовать покойниц, но мама заставляет.

— Не в этом дело, — сказал Чик, — ты откуда?

Чик взял бутылку лимонада, налил в стакан и, некоторое время подержав губы в колючей сладости, выпил стакан и поставил на стол.

— Я в седьмой школе учусь, — сказала девочка, приятно гримасничая, — а ты?

— Я в первой, — сказал Чик и кивнул головой в сторону своей школы.

— Знаю, — сказала девочка, — там Славик учится.

Девочка взяла из тарелки с соленьями большой помидор и, обливаясь соком и шумно чмокая, надкусила его. Чик не любил, когда девочки едят слишком жадно. Он считал, что девочки должны есть как бы нехотя. Ну, фрукты еще так-сяк. Но только не соленые помидоры.

— Обожаю соленые помидоры, — сказала девочка, — я уже третий ем. А ты любишь соленые помидоры?

— Я вообще не люблю помидоры, — сказал Чик и добавил: — Вытри подбородок.

Девочка быстро нагнула голову и, ничуть не стесняясь окружающих, с разбойничьей лихостью вытерла краем скатерти подбородок. Бросив скатерть, она посмотрела на Чика и сделала на своем лице еще одну ужимочку, кото-

рая опять понравилась Чику. Как это она угадывает делать на своем лице именно такие ужимочки, которые должны мне понравиться, подумал Чик с благодарностью.

Чику нравились далеко не всякие ужимочки, которые делали девочки на своем лице. Уж на что Ника была мастерицей по таким ужимочкам, и то однажды она сделала такую гримасу, что Чик после этого минут десять не мог на нее смотреть.

Тогда у нее был день рождения. Девочки и мальчики сидели за столом, уплетая вкусные салаты и весело болтая. И Чик тайно любовался нарядной оживленной Никой. И вдруг ее хорошенькое лицо, как в страшном сне, исказилось отвратительным выражением свирепости пещерной женщины, которая собирается броситься на другую пещерную женщину.

— Мошь! — закричала она в следующее мгновение и стала бегать по комнате, стараясь прихлопнуть ее ладонями. Грубо и некрасиво. Нельзя же при виде моли делать такое пещерное выражение лица. Мошь — это все-таки не муха цеце!

— Откуда ты знаешь Славика? — спросил Чик и, потянувшись за бутылкой, опрокинул ее над стаканом. На столе еще было полным-полно бутылок с лимонадом.

— Кто же его не знает, — сказала девочка с задумчивой нежностью, — первая школа — это Славик и Чик.

Чик замер, с научной строгостью прислушиваясь к действию славы на себя. Действие было приятное. После этого он с мимолетной беглостью пробежал по клавиатуре своих подвигов: донырнул почти до флажка, нашел крупнейший самородок мастичной смолы, победил Бочо в драке на чужой территории, попал стрелой в дикого голубя, научил Белку есть любые фрукты... Да мало ли?

— А что ты знаешь о Чике? — спросил Чик, проследив за опрятностью интонации, чтобы ничем не выдать себя.

— Все! — сказала девочка. — На городской олимпиаде ваша школа давала представление «Сказка о попе и его работнике Балде»... Так вот он там играл задние ноги лошади...

Девочка захлебнулась от хохота. А потом, отхохотавшись, посмотрела на Чика и, сделав новую гримаску, спросила:

— Неужели ты не слыхал? Он же в вашей школе учится!

Гримаска на этот раз показалась Чику глуповатой.

— Слышал, — сказал Чик, — но что тут смешного? Смешного что?

— Так ведь он всем объявил, что играет главную роль, роль Балды, — сказала девочка, склонившись над столом и снизив голос, чтобы Чик сильнее заинтересовался. —

А тут вдруг задние ноги лошади! Он что думал? Думал, они сыграют и уйдут со сцены, и никто не узнает, что Балду играл не он. Потому что Балда что Балда был в гриме и с бородой. Ну, а мальчиков, игравших задние и передние ноги лошади, и вовсе не было видно. Они были покрыты картонной фигурой лошади. Мне все подружка рассказала. Она там была. А тут раздались аплодисменты, аплодисменты после того, как они сыграли, и режиссер на сцену вывел за гриву лошадь и снял с мальчиков картонное туловище лошади. И тут-то весь театр и увидел, что Чик выступает под видом задних ног. Смехота! Он всех обманул и свою тетушку, которая затащила в театр всех родственников и знакомых, чтобы похвастаться Чиком. Тетушка его, говорят, упала в обморок, а дядя прямо там, не сходя с места, сошел с ума и до сих пор сумасшедший. Чуть где увидит лошадь, начинает бормотать: «Чик! Чик! Чик!»

— Все это вранье, — сказал Чик, смутно чувствуя, что нагромождение глупостей — необходимая плата за славу. — У Чика дядя всегда был сумасшедший.

— Вот и попался, — сказала девочка, — кто бы сумасшедшего пустил в театр? А если человек уже в театре сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Думали, что он отойдет. А он так и не отошел до сих пор. Как увидит лошадь, тычет на задние ноги и бубнит: «Чик! Чик! Чик!»

— Глупо, — сказал Чик, — глупо.

Пока Чик разговаривал с девочкой, с улицы во двор входили мужчины и женщины. Некоторые шли, держа в руках букеты цветов. Мужчины останавливались возле князя, жали ему руку, а потом, сняв шляпу или кепку и положив ее на столик, входили в дом. Когда они выходили во двор, распорядитель всех приглашал к поминальным столам. Одни садились за столы, а другие уходили.

Справа от Чика на некотором расстоянии от него уселась шумная компания местных мужчин. Их было человек восемь. Обсев стол с двух сторон, они наложили себе в тарелки лобно, разлили по стаканам вино, сказали по несколько слов за упокой души умершей, по обычаю отлили чуть-чуть из стаканов, кто ~~на~~ лаваш, а кто просто в тарелку, и выпили. Принялись есть, макая лаваш в лобно и громко захрустывая еду красной квашеной капустой.

— Слушайте меня, — сказал один из них. Он сидел напротив, наискосок от Чика.

— Учтите, — продолжал он, — я точно знаю, как это было. Помнится, это случилось двадцатого сентября 1906 года по тогдашнему стилю. Они тремя группами вошли на пароход «Цесаревич Георгий». Первая группа вошла в Новороссийске, вторая в Гаграх, а третья здесь, у нас...

Чик прямо почувствовал, что уши у него стали торчком. Девочка продолжала что-то говорить, но звук ее го-

лоса выключился. Теперь Чик заметил, что один из друзей рассказчика, сидевший со стороны Чика, был его старый знакомый. Это был тот самый глуповатый рыбак, с которым Чик когда-то рыбачил. Он сидел к нему ближе всех, и Чик сразу узнал его. Он его узнал по большим усам и какой-то забавной важности выражения лица.

Рядом с рассказчиком сидел красивый курчавый человек. Чик и его узнал. Однажды, когда Чик был с дядей в кофейне, этот красивый курчавый гуляка веселился со своими друзьями рядом за столиком. Тогда он время от времени выкрикивал:

— Среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!

И все смеялись, когда он так выкрикивал. И Чик смеялся. Ясно же, что Розенталь не может быть абхазцем, потому и смешно. Чик любил понять, почему смешное смешно.

Но сейчас он не спускал глаз с рассказчика. Это был довольно старый человек с небритым, морщинистым лицом, хриплым уверенным голосом и выпуклыми бараньими глазами. Он был вроде тех старичков, которые вечно сидят в кофейнях. Только Чик подумал, что у него бараньи глаза, как тот сказал:

— ...Тогда возле пристани была кофейня, где можно было покушать харчо из бараньих мошонок. Для здоровья лучше ничего нет! Где сейчас такое харчо найдешь?!

Чик поразился, что рассказчик перешел на баранье харчо именно в тот миг, когда Чик подумал, что у того выпуклые, бараньи глаза. Такие странные, таинственные совпадения у Чика случались много раз. Только подумаешь о ком-нибудь, что он, оказывается, всю жизнь был похож на какое-то животное, а ты этого не замечал, как вдруг этот человек делает что-то такое, что точно подтверждает твою мысль. Может, Чик немножко гипнотизер и внушает мысли на расстоянии?

Однажды Чик вместе с другими мальчиками отдыхал на траве после футбола. Вдруг Чик заметил, что один из пацанов до смешного похож на загнанного верблюжонка. А до этого не замечал. А тут заметил. И в тот же миг этот мальчик вдруг сказал: «Пацаны, пить охота, умираю!»

Но почему он это не сказал ни секундой раньше, ни секундой позже? В другой раз Чик на уроке заметил, что у одной девочки прямо-таки кошачья мордочка. Чик, пораженный этим сходством, смотрел, смотрел, смотрел на нее, стараясь на расстоянии внушить ей, чтобы она мяукнула. И вдруг, нет, она не мяукнула, она сделала хуже. она ощерилась по-кошачьи! У Чика прямо мурашки пробежали по спине: так и блеснули кошачьи зубки!

И сейчас случилось то же самое! Потому что позже, когда Чик множество раз вспоминал рассказ этого челове-

на, он убеждался, что баранье харчо совсем никакой роли не играет в том, что он говорил. Почему же он его вспомнил? Чик ему это внушил, подумав, что у рассказчика бараньи глаза.

— ...И вот, значит, — продолжал тот, — все они были в бурках, потому что под бурками прятали оружие. Желтоглазый сам разработал эту операцию и сам в бурке находился на борту. Но тогда никто его не знал, кто кровник, кто революционер, кто абрек. Их было двадцать пять человек. И вот, значит, в час ночи, когда пароход проходил мимо Очемчири, они одновременно захватили вахтенного офицера и рулевого и заставили его остановить пароход, перекрыв все ходы и выходы. Желтоглазый сам вошел в каюту капитана и приставил маузер к его голове: «Почту!»

Бедный капитан что мог сделать? Капитан вместе с ним спустился в почтовую камеру, разбудил почтового чиновника и приказал ему отдать деньги и ценные бумаги. Всего двадцать тысяч. Пассажиров не грабили. Чего не было, того не было! Зачем выдумывать?

После этого желтоглазый что делает? Приказывает капитану спустить шлюпку, посадить в нее четверых матросов для гребли и двух помощников капитана для заложников. После этого он со своими товарищами спустился в шлюпку, оттолкнулся от трапа и вдруг...

— Девочка упала в море! — неожиданно вставил знакомый Чик усаый рыбак. Все разом взглянули на него. Теперь Чик вспомнил, что тот, слушая рассказчика, то и дело шевелил губами, может быть, про себя вспоминая эту историю. А теперь не выдержал и вставился, потому что рассказчик позабыл про девочку.

— Какая девочка? — растерялся рассказчик и посмотрел на рыбака своими выпуклыми глазами. — Я про это ничего не знаю.

— Уфувовская девочка, — смачно произнес рыбак, довольный, что мог встаться, — она упала в море, потому что высунулась из поручней, чтобы посмотреть в лодку. А мать в этот момент забыла про дочку, и она выпала. А он спрыгнул с лодки и спас девочку! А через пятнадцать лет — такое в мильон лет один раз бывает! — она стала его женой. Но тогда он не знал об этом! Тем более девочка — ей тогда было пять лет. Гиде ребенок, гиде абрек?

— Хо! Хо! Хо! Хо! — удивленно заохали слушатели и с удовольствием переместили свое внимание на рыбака, что ужасно не понравилось рассказчику.

— Какая девочка?! — крикнул он возмущенно. — Откуда ты взял?! Тифлиссские, петербургские, наши местные газеты — все тогда писали об этом случае. Никто не вспомнил никакую девочку! Тем более она же была на пароходе, она же рассказала бы нам, если б девочка упала за борт?

— Кто она? — спросил один из слушателей.

— Она, — повторил рассказчик и многозначительно кивнул на распахнутые двери дома, куда то и дело входили и выходили соболезнующие. Все поняли, о ком идет речь, и с таким видом взглянули на дверь, как будто ожидали, что тетя Циала вот-вот появится в дверях и подтвердит слова рассказчика. Не дождавшись, снова перевели взгляд на него.

— Сейчас громко не будем говорить, — продолжал тот, снижая голос, — тем более князь во дворе... Учтите, князь — прекрасный бухгалтер! Лучшего бухгалтера в Абсоюзе нет. Учтите!

Он оглядел своих друзей, словно проверяя, учитывают они это или нет. Те закивали головами. Чик ужасно удивился, что князь может быть бухгалтером.

— Да, — продолжил рассказчик, — она любила капитана... Об этом все старые мухусчане знают... И вот, значит, шлюпка отходит от «Цесаревича Георгия», и вдруг...

— Девочка падает в море, — быстро вставился рыбак, — а желтоглазый сбрасывает бурку, ниряет пирямо на дно, достает девочку, и пароход делает овация, несмотря что ограбил почту!

— Хо! Хо! Хо! — снова заудивлялись слушатели, а рассказчик так и застыл с раскрытым ртом. Он думал, что окончательно победил рыбака, а тот, раздувая усы, снова выплыл с девочкой на руках.

— Слушай, — грозно обратился к нему рассказчик, — если ты будешь фантазировать, я уйду! То, что я говорю, — история! А то, что ты говоришь, — воздух-трест!

— У нас в Бакю так рассказывали, — миролюбиво пожав плечами, проговорил рыбак, очень довольный, что сумел еще раз встаться.

— У вас в Бакю, — передразнил его рассказчик, — кушают плов и запивают нефтью. От этого у тебя такие фантазии. Я старый мухусчанин, я знаю все, как было на самом деле... Одним словом, только шлюпка отошла от «Цесаревича», и вдруг...

Рассказчик бросил свирепый взгляд на бывшего бакинца. Но тот, сложив руки на столе и изобразив на лице покорную прилежность, слушал его, как отличник.

— ...И вдруг сверху с палубы раздается выстрел...

— Я же всегда говорил, — неожиданно вставился красивый и чернявый гуляка, — среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!

Все, кроме рассказчика и усатого рыбака, рассмеялись.

— При чем тут абхазцы? — рассказчик раздраженно посмотрел на него, — ты же сам абхазец?

Гуляка, подмигнув компании, стал разливать в стаканы вино.

— Розенталь шапошник будет? — спросил усатый рыбак. Чик заметил, что большие усы придавали его словам глупый смысл.

Все подняли стаканы.

— Какой там шапошник! Такой же пьяница, как и он! — кивнул рассказчик на своего соседа и, уже ворча в стакан, выпил и успокоился.

— Вообще неизвестно, кто стрелял, — продолжил он свой рассказ, — абхазец, грузин, русский. История этого не знает. История говорит, что он ни в кого не попал. Но желтоглазый рассерчал и хотел снова пришвартоваться, чтобы наказать стрелявшего. Но капитан сверху упросил его не делать этого, потому что он сам найдет и накажет стрелявшего. Желтоглазый махнул рукой, и шлюпка ушла к берегу...

И вот проходит полгода, я сижу в той же кофейне и кушаю жирный харчо из бараньих мошонок. Такое харчо сейчас наркомы не подадут — нету! И вдруг ко мне подходит молодой полицейский Барамия.

— Из Одессы, — говорит, — пришла совершенно секретная инструкция от полковника Левдикова насчет ограбления парохода «Цесаревич Георгий».

— Садись, — говорю, — дорогой друг. Все что хочешь закажу — выпьем, покушаем, поговорим. Мы тоже люди, мы тоже носом воду не пьем, мы тоже хотим знать, что пишет полковник Левдиков!

И он присаживается и говорит:

— Только никому ни слова! Голову с меня снимут!

— Что ты, что ты! — говорю. — Неужели мы, местные ребята, будем друг друга продавать! Никогда!

Я заказываю все что надо, и мы потихоньку сидим, кушаем, пьем, разговариваем. И вот, дай бог ему здоровья, полицейский Барамия все рассказывает мне, чем дышит департамент полиции, чем дышит лично полковник Левдиков. Оказывается, по сведениям полковника Левдикова, в ограблении парохода «Цесаревич Георгий» принимал участие некий молодой революционер — маленького роста, рыжий, веснушчатый, веснушки даже на руках. И он просил все полицейские участки Закавказья искать его по этим приметам.

Когда рассказчик сказал о веснушчатости, Чик рассеянно вспомнил о веснушках девочки, сидевшей напротив, и посмотрел на нее. И она вдруг с какой-то испуганной быстротой спрятала от него руки. Видно, у нее тоже были веснушчатые руки. Глупышка, мимоходом подумал Чик, если б она знала, чьи веснушки сравнивает со своими жалкими веснушонками!

— Все понимаю, — сказал один из слушателей, — но что означает слово «некий», не понимаю.

Рассказчик кивнул головой в знак того, что это недоумение уже не раз возникало и он его всегда легко рассеивал.

— Некий, — сказал он, — по-русски означает странный.

— Хо! Хо! Хо! Хо! — удивленно заохали слушатели. Отохав, один из них спросил: — Неужели полковник Левдиков уже тогда знал, что он странный?

— Полковник Левдиков — это полковник Левдиков, — важно кивнул рассказчик, — учтите, когда он в фаэтоне проезжал по Одессе, генерал-губернатор дрожал. А теперь слушайте, что дальше происходит!

Через год наша мухусская полиция задерживает молодого человека, похожего по приметам. Начальник полиции, уже зная, что наша землячка во время ограбления парохода была на борту, вызывает ее и устраивает очную ставку.

— Кого ее? — спросил один из слушателей. — Как кого? — удивился рассказчик и повернулся к распахнутым дверям дома.

Все повернулись к распахнутым дверям. И Чик повернулся к распахнутым дверям, хотя понимал, что это глупо. Оттуда сейчас вышли музыканты и стали приближаться к поминальным столам. Один из них вытряхнул слюну из мундштука неведомого Чику инструмента и снова винтил его. Чик вспомнил то чудесное, грустное, удивительное, что он испытал, когда у гроба заиграла музыка, и ему было неприятно осознавать, что музыкант вытряхнул именно слюну, но, увы, он точно знал, что это была слюна.

В это время два фаэтона, отцокав по мостовой, остановились возле дома. Из одного фаэтона вышла женщина с двумя детьми, а из другого вышел плотный мужчина средних лет в белом чесучовом кителе, в темных брюках-галифе и в маслянисто сверкающих сапогах.

Фаэтончик осторожно снял с сиденья венки, обвитый лентой, и поднес женщине. Женщина, подправив на венке ленту, подставила его мальчику и девочке, подтолкнув их к обеим сторонам венка. Женщина стала сзади, мужчина присоединился к ней, дети приподняли венки, и маленькая процессия стала торжественно входить во двор.

— Арутюн приехал, — зашелестели многие сидящие за поминальными столами и обернули головы в сторону вошедших во двор.

Чик сразу узнал мальчика. Это был тот самый велосипедист, который недавно обыграл его в пух и прах. Маленькая процессия поравнялась с местом, где стоял одинокий князь. Мужчина что-то сказал своим, и они остановились. Мужчина крепко пожал руку князю. Потом дети приподняли венки, и семья медленно двинулась в сторону распахнутых дверей дома. Заметив музыкантов, сидящих за столом, мужчина небрежным движением руки дал им знать, чтобы они следовали за ним.

Музыканты суетливо повскакали и стали подбирать инструменты.

— Дайте перекусить, — сказал один из них, продолжая сидеть.

— Ты что, не видел, кто зовет? — обернулся к нему другой. — Давай, давай!

Музыканты быстро собрались и вошли в дом. Вскоре оттуда стали доноситься приглушенные звуки музыки.

— Повезло ребятам, — восторженно кивнул рассказчик в сторону музыки.

— Чем? — спросил рыбак.

— Дай бог мне столько здоровья, сколько он им отвалит, — пояснил рассказчик и добавил: — Он десять лет работает приемщиком скота на бойне и за это время ни разу не взял зарплаты. Расписывается и — бухгалтерам на чай! Учтите, в наше время скот золотом хезает — только подбирай!

— Хо! Хо! Хо! Хо!

— И вот, значит, — продолжил рассказчик, — начальник полиции вызывает ее для опознания. Так у них это называется. Она мне потом все рассказала. Мы же с ней выросли на Первой Подгорной. С детства были как брат и сестра. «Как только я вошла в кабинет, — говорит она мне потом, — я его сразу узнала». «А он?» — говорю. «А он, — отвечает она, — я думаю, еще за дверью меня узнал. Ты бы только видел взгляд его желтых глаз!» — «Какой взгляд?» — говорю. «Ну, как тебе сказать, — говорит и немного так задумалась. — Начальник полиции у меня спрашивает, как тот вошел в каюту капитана, как они вышли вскрывать почту, как садились в шлюпку, как раздался выстрел. Все спрашивает. Около часу расспрашивал. А этот стоит возле начальника и, не поворачивая головы, — то на меня, то на него. И ни разу не шевельнул головой!» — «Неужели ни разу?» — спрашиваю. «В том-то и дело, что ни разу!» — говорит. — Знаешь, — говорит, — как смотрит овчарка, когда двое разговаривают в комнате?» — «Как смотрит?» — удивляюсь я. — Что я, овчарку не видел!» — «А вот так смотрит, — говорит, — овчарка лежит, положив голову на лапы, и, если в это время двое разговаривают в комнате, она своими желтыми глазами то на голос одного, то на голос другого, а голова как лежала на лапах, так и лежит. Вот так и этот целый час то на меня, то на начальника своими желтыми глазами, а головой ни разу не шевельнул». — «А-а-а, — говорю, — теперь дошло. Вот почему ты не призналась!» — «Еще бы, — говорит, — я его не признала, и полиция его отпустила». — «А чего же они не дождались капитана?» — говорю. Когда она мне это рассказывала, с капитаном у нее уже все было кончено. И вот она тяжело так вздохнула и говорит: «Не знаю... Может, начальник полиции его еще больше испугался... Он ведь и на него смотрел, не поворачивая головы».

Вот как это было! Но дальше слушайте, дальше! Через полгода капитан узнал, что начальник полиции вызывал ее по этому делу. Он сам пошел в участок и убедился, что задержанный и отпущенный был тот самый человек. Наверное, фотокарточку показали. Но он в полиции ничего не сказал, а с ней порвал!

Он же все-таки был мужчина. А желтоглазый его унизил. Я забыл сказать, что, когда он с маузером вошел в каюту, он сперва отнял у капитана пистолет. При любимой женщине отбирает оружие! Настоящий мужчина такое не забывает! И теперь, конечно, она, сделав вид, что не узнала его, фактически предала капитана. Так получается, если со стороны капитана посмотреть. И он с ней порвал!

В следующий заход «Цесаревича Георгия» капитан не вышел на берег, а вахтенный матрос не пустил ее на борт. Бедная, бедная, чуть с ума не сошла! Когда пароход отошел, она бросилась в море, и боцман пристани вытащил ее еле живую! Откачали!

Тут рассказчик взглянул на рыбака и, что-то вспомнив, сказал:

— Ах, вот откуда ты взял, что девочка упала в море! У вас все перепугали. Ограбление парохода, женщина в море, странный абрек!

— Клянусь детьми, как слышал, так и рассказал! — ответил рыбак и положил обе руки на сердце.

Компания выпила еще по стакану вина и закусила. Человек в белом чесучовом кителе и маслянисто сверкающих сапогах благодушно и важно приближался к столам. Отвечая на приветствие, он кивал во все стороны. Он выбрал пустое пространство возле Чика. Расселись. Рядом с Чиком хлопнулся сын, дальше скрипнул стулом глава семьи, дальше его жена и дочка. В Чике шевельнулось и ожило его старое любопытство к богатым.

— Арутюн-джан, хорошо выглядываешь! — крикнул какой-то человек и восторженными глазами посмотрел на белый китель.

— Тьфу, тьфу, не сглазить, — ответил тот и, приподняв скатерть, постучал по деревяшке стола, — еще один пятнадцать лет вот так хочу. Больше не надо!

Растопырив руки, он погладил себя ладонями по широкой груди и посмотрел во все стороны, давая всем оглядеть свою ладную, плотную фигуру, которую он хочет сохранить в таком виде ровно пятнадцать лет.

— Еще пятьдесят лет, Арутюн-джан! — щедро выбросив вперед руку, предложил ему тот, как бы в благодарность за внимание к его словам.

— Не, не, не... Еще один пятнадцать лет! — повторил свои условия белый китель и, похлопывая себя по широкой груди, дал всем оглядеть свою ладность. — Больше не хочу!

После этого он плеснул себе в тарелку лобио, налил вина и выпил за упокой души умершей.

— Бедный князь, — вздохнула его жена, оглядываясь на князя, — как он ее любил! Говорят, он ее перед смертью носил на руках по этому двору. Она прощалась с жизнью... Ты минэ никогда не носил на руках!

— Ты начни умирать, — спокойно предложил человек в белом кителе, окуная лаваш в лобио и отправляя его в рот, — я тебя от Мухуса до Еревана на руках пронесу!

Ты посмотри, подумал Чик, оказывается, богатые мясники иногда бывают остроумными. Чик всегда проверял остроты, которые слышал или вычитывал из книг. Как сливки в молоке, так и смешное в человеческом языке самое вкусное. Так считал Чик.

Он оглянулся на маленького, одинокого князя, жалея его и радуясь его силе. Он представил, как маленький князь носит на руках статную тетю Циалу, иногда пригибаясь, чтобы дать ей понюхать цветы. Наверное, у него железные мускулы, подумал Чик, только не видно под одеждой.

Девочка, сидевшая напротив него, сейчас уставилась на нового мальчика. Тот, еще садясь за стол, окинул глазами Чика, явно вспомнил, что недавно обыграл Чика, но его равнодушные глаза ничего не выразили, кроме скуки. Чик считал, что в таких случаях тот, кому повезло, должен хотя бы взглядом выразить некоторое сочувствие. Мол, игра есть игра, мол, сегодня я у тебя выиграл, а завтра, может, ты у меня выиграешь. Нет, смотрит, как будто ничего не случилось!

А девочка вся сияла подсолнухом своего лица и ерзала, пытаясь обратить на себя внимание этого мальчика. Конечно, Чик сам ее первый забросил, до того ему было интересно узнать историю «Цесаревича Георгия». Но теперь ему стало немного грустно. Ну, отвернулся от нее во время рассказа, ну и что? Лопай себе соленые помидоры, пей лимонад! Кто тебе мешает? Глупая! Из всего рассказа только и поняла, что веснушки на руках! Но чьи, чьи веснушки, если б ты знала!

Чик всегда считал, что жизнь прекрасна, но с верными людьми и раньше бывало туговато. Сейчас эта девочка те же самые гримаски, которые дарила Чику, стала направлять на этого мальчика. А он попивал лимонад, даже не глядя на нее.

— Вы и обратно на фаэтонах поедете? — наконец спросила она.

— Ага, — буркнул мальчик. — На обоих? — Ага, — буркнул мальчик.

Ужимочки, ужимочки, ужимочки. И так, словно Чика здесь нет. Чик поразился такому прямо-таки мошенническому использованию ужимочек. Ну, ладно, тебе теперь

интересно приманивать другого мальчика. Так давай, для другого мальчика выдумывай другие ужимочки! Нет, на глазах у Чика нахально пускает в ход те же самые!

— А я знаю тебя, — сказала девочка.

— Откуда? — холодно спросил мальчик.

— Ты лучший велосипедист третьей школы, — улыбнулась девочка, — разве нет?

— Не только третьей, — немного смягчившись, ответил он и повернулся к Чику: — Сыгранем?

— А разве здесь можно играть? — удивился Чик.

— Да не здесь, балда, а на улице, — проговорил мальчик вполголоса и, оглядывая Чика холодными, бесстрашными к проигрышу глазами, добавил: — Сразу кинем по рубчику?

Чик отрицательно покачал головой. Ему неохота было играть, да и рубля у него не было. И вдруг он услышал над собой голос тетушки:

— Чик, ты здесь? Нам пора! Твой дядя придет обедать, а нас нет! Нельзя, нехорошо огорчать дядю! Пойдем, Чик, пойдем!

Чик и не собирался оставаться. По голосу тетушки Чик понял, что смерть подруги освежила в ней любовь к своему мужу. По разным причинам такое случалось и раньше. Теперь она несколько дней будет ласково жужжать, жужжать, жужжать вокруг него, а потом соскучится и ужужжит в сторону новых развлечений.

Чик встал и кинул беглый взгляд на девочку. Подсолнух замер, словно не понимая, где тут солнце, а где луна. Чик пошел.

— Разве это Чик? — услышал он сзади ее голос.

— Ну, Чик, ну и что? — сказал мальчик. — Я его недавно, как фраера, обчесал.

Больше Чик ничего не услышал. Они с тетушкой вышли на улицу.

— Бедная Циала, — вздохнула тетушка и добавила знакомым Чику по раздольным чаепитиям голосом: — Ох и наплакалась я вдосталь!

Каблучки ее бодро застучали по тротуару. Чик задумался.

Утраты

На следующий день после сороковин в квартире оставались: муж умершей, его сын, его старенькая мать, родственница Зенона, приехавшая из деревни и помогавшая по дому, и сам Зенон, брат умершей.

Большое число людей, пришедших и приехавших на сороковины и как бы временно самим своим огромным числом и любовью к сестре заполнивших дом, теперь, отхлынув, еще сильнее подчеркнули зияние невосполнимой пустоты.

Сестры нет, и никогда ее больше не будет. С такой поразительной трезвостью Зенон до сих пор не осознавал эту мысль. Похороны прошли в каком-то почти нереальном полусне...

Перед смертью сестры Зенон был в Москве у себя дома. После многомесячного перерыва на него навалилась работа, и он уже несколько дней часов по двенадцать не отрывался от машинки, как вдруг раздался междугородный телефонный звонок.

— Твоя сестра умерла час назад! — резко прокричал зять и положил трубку.

И хотя смерть сестры ожидали, Зенон не думал, что это будет так скоро. Грубая краткость сообщения мгновенно ввинтилась в мозг, но Зенон тогда не пытался анализировать ее причины.

Позже, когда он приехал, родственники, слышавшие, что сказал ему в трубку зять, и переживающие, что тот без всякой подготовки разом выложил ему всю правду, как бы извинялись за него перед Зеноном. И только тут он сам понял, в чем дело.

Зять Зенона голосом своим бессознательно перебрал на него часть раздавливавшей его непомерной тяжести случившегося. Сбросить часть этой тяжести только и можно было на Зенона, брата умершей, зная, что только он ее и может принять всей полнотой горя.

Но обо всем этом Зенон подумал гораздо позже. А тогда он взял билет на самолет вечернего рейса, вернулся домой и снова сел за работу. Работа шла, и он не понимал, почему бы не работать. Работа шла, но сердце его впервые

за всю взрослую жизнь по-настоящему болело. Видимо, там тоже шла какая-то работа.

И Зенон впервые в жизни работал, посасывая холодящий рот валидол. Вкус его напоминал какие-то конфеты детства, но он не мог и не пытался вспомнить, что это за конфеты, да и не уверен был, что именно холодящий рот валидол напоминает детство, а не боль в сердце.

В детстве иногда что-то резко сдавливало сердце, и, как теперь понимал Зенон, это было следствием непомерного запаса доверия к миру, и когда какое-нибудь событие протыкало это доверие — возникала боль.

Но в детстве запасы этого доверия были так велики, что отверстие боли почти мгновенно замыкалось и нередко детские слезы сглатывались уже улыбающимся, любящим ртом. Теперешняя боль была другая. Это было началом общей усталости: доверять, проверять, жить...

Он продолжал работать, и товарищ, позвонивший ему, чтобы выразить сочувствие, услышав стук машинки в телефонной трубке, удивленно спросил у жены Зенона:

— Он работает?

— Да, — сказала жена, видимо сама не зная, как это оценить.

Потом был долгий ночной кошмар ожидания вылета в здании аэропорта. Время вылета все время отодвигалось. Да и другие рейсы отодвигались. Люди слонялись по залам ожидания, стояли в очереди, проталкиваясь к справочной и к буфетным стойкам. Все скамейки были заняты, и Зенон безостановочно ходил, почти не замечая вокруг никого, а работа продолжала гудеть в голове.

Иногда она выплескивалась, как рыба из воды, готовой, осмысленной фразой, иногда возвращала сознание, а точнее, слух к какому-то уже написанному месту и через неприятно настойчивое звучание этого места показывала, что там есть какая-то неточность или фальшь. Зенон вслушивался в звучание этого места и, уже разумом или слухом одновременно обнимая вещь целиком, сознавал, что именно и почему звучит неточно и фальшиво.

Предстоящие похороны никак не отражались на характере того, над чем он мысленно продолжал работать. Мелодия повествования была поймана раньше постигшего его горя и уже двигалась по своим законам, только изредка, в собственных грустных местах, слегка углубляясь.

Подобно тому, как человек, видящий кошмарный, фантастический сон, не перестает лежать в своей постели, в своей собственной безопасной квартире, Зенон одновременно находился в безопасной, нормальной реальности работы своего воображения, а жизнь с реальностью смерти сестры и этой бесконечной ночью в аэропорту была кошмарным сном, который, по каким-то законам кошмарного

сна почему-то нельзя было прервать, а надо было смотреть и смотреть.

Пока был открыт ресторан, он несколько раз заходил туда и выпивал коньяк — и тогда кошмар окружающей реальности немного смягчался, а работа продолжала идти своим чередом.

Но после закрытия ресторана уже нечем было смягчить этот кошмар, а тут время от времени стал попадаться на глаза земляк, еще более жуткий, чем эта ночь.

Много лет тому назад, во времена молодости Зенона, этот его земляк был большим человеком в масштабах Абхазии. Он тогда знал Зенона как начинающего писателя и недолюбливал его за некоторую сатирическую направленность его творчества, каковую считал плачевным результатом отсутствия в авторе сынолюбия по отношению к отчужденному краю.

Но с тех пор как он был снят со своей работы, а потом уже через некоторое время и вовсе был вынужден уйти на пенсию, он стал проявлять к Зенону пристальный интерес, стараясь в часы случайных встреч на бульваре или в кофейнях привлечь его внимание именно к теневым сторонам жизни отчего края.

И хотя он давно был по ту сторону власти, но упрямо продолжал с таким апломбом рассуждать о мероприятиях местного начальства, как будто с его мнением кто-то где-то продолжает считаться.

Вообще от облика его исходило ощущение нечистоплотного трепыхания между жизнью и смертью, одновременное оскорбление и той и другой. Для живого он слишком явно смердил, для мертвого он был непристойно суетлив, как бы постоянно и глумливо подмигивая из гроба.

Зенону не всегда удавалось быстро отделаться от этого несносного пенсионера, и потому что он не любил всякую грубость, и потому что этот жалкий старикашка был потоптан самой жизнью, и какая-то естественная брезгливость заставляла Зенона осторожничать с ним, чтобы случайно не дотоптать.

Кроме всего этого, Зенон чувствовал, что все-таки испытывает еще и любопытство к самому веществу пошлости, заключенному в этом человеке. Он хотел понять, при помощи какого мотора действует человек, отказавшийся от мотора нравственности. Ведь должен все-таки находиться какой-то двигатель и внутри пошлости?

Увы, с годами Зенон убедился, что двигатель пошлости — сама пошлость. Но тогда, пытаясь кое-что выведать у этого старикашки, он направлял беседу с ним на времена, когда тот еще не был такой развалиной, а, напротив, был новенькой, черноморской крепостцой усатого кумира, новенькой, хотя и халтурно сколоченной, как потом выяснилось.

Но выведать ничего не удавалось, старикашка увиливал от острых вопросов. Правда, он упрямо придерживался той мысли, что порядок тогда был отменным, хотя, конечно, правопорядок и прихрамывал.

Однажды он все-таки как бы раскололся.

— Хорошо, я тебе открою один секрет, — прошепелявил он, слегка озираясь, — а ты его используй, как хочешь... Я тебе документы тоже достану...

Зенон замер, как охотничья собака.

... — Этот товарищ, — старикашка кивнул наверх и назвал работника, который сейчас занимал его бывшее место, — в тысяча девятьсот тридцать четвертом году убил человека... Я тебе документы представлю...

Зенон тогда не мог удержаться от хохота. В тридцать четвертом году работнику, у которого шла речь, едва ли было четыре года, если он вообще тогда был. Комплекс возмездия создал в голове старикашки миф, но подвела склеротическая неряшливость чувства времени.

Сейчас он сидел на скамейке, старчески розоватый, с водянистым студнем голубых глаз, которые, казалось, уже мало что видят, однако он первым узнал Зенона и закивал ему в том смысле, что есть, есть о чем поговорить!

Зенон кивнул в ответ, но не двинулся в его сторону. Поняв, что Зенон не собирается с ним разговаривать, старикашка многозначительно покачал головой, показывая, что такая задержка с вылетом никак не могла произойти во времена его общественной деятельности, и при этом он каким-то особенно противным подмигиванием студенистых глаз дал знать Зенону, что поощряет его сатирические возможности для наказания виновных в задержке вылета.

Зенон уже прошел мимо своего земляка, когда осознал, что тот сжимал в одной руке в нескольких местах перевязанный пучок из четырех или, по крайней мере, из трех новеньких палок. Это были обыкновенные палки, которыми пользуются старики.

Зенон прекрасно знал, что провинция вывозит из Москвы всевозможные продукты, но чтобы в Москву ехали за палками или, случайно наткнувшись на них в продаже, покупали про запас, этого он не мог представить. И зачем ему столько палок? Неужели он надеется их пережить? Само отсутствие понимания собственной смертности порождает пошлость, думал Зенон, или благодаря отсутствию этого чувства уже существующая пошлость накурдючивается жиром?

За ночь Зенон, забывая о нем, снова несколько раз проходил мимо него, и тот каждый раз гримасами, жестами, а также подмигиванием своих водянистых глаз настаивал на абсолютной необходимости со стороны Зенона покарать сатирическим пером виновников задержки вылета.

При этом он почему-то совершенно не стеснялся того, что Зенон на его жесты не реагирует.

К утру всех ожидающих самолет, на котором должен был лететь Зенон, загнали в какой-то отсек, откуда после проверки билетов и просвечивания на предмет пронесения оружия вывели из здания аэропорта, но автобус почему-то долго не подходил, и в конце концов всех снова отогнали в помещение.

Через некоторое время их опять вывели наружу, и пассажиры на этот раз мужественно приготовились к ожиданию автобуса, но мужество как-то не понадобилось, потому что автобус подошел почти сразу и подвез их к самолету.

Самолет загрузили, и пассажиры, ожидавшие всю ночь вылета и наконец рассевшиеся по своим местам, пришли в необыкновенное возбуждение, не только прощая и судьбу и Аэрофлот за эту бессонную ночь, но как бы благодаря их за сиюминутную остроту удовольствия, эйфорию, вызванную чувством преодоления всех трудностей и потому заслуженной достигнутой предвзлетного состояния. Но тут опять произошла какая-то осечка. Самолет еще около часу простоял на аэродроме.

Зенон случайно обернулся и поймал терпеливо ждущий взгляд старика, умоляющий его включить в список потерь и это долгое, незаконное ожидание вылета уже внутри издевательски неподвижного самолета. Зенон резко отвернулся, отсекая от общего кошмара этого кошмарного старикашку.

Вообще лица людей, пока он слонялся по зданию аэропорта, хотя он их видел краем глаза, внушали Зенону отвращение. Казалось, они все время, хотя и неизвестно перед кем, на всякий случай, отстаивают право на несущественность своего существования. А когда-то он так любил рассматривать на вокзалах и в аэропортах лица людей. Какая это была тайная обжираловка любви и любопытства!

А сейчас только лица детей и стариков (кроме этого поганого старикашки!) были все еще приятны Зенону. Может быть, мимоходом подумал он, дело в том, что дети это люди, еще не научившиеся лгать, а старики это люди, которым уже незачем лгать.

На заре самолет приземлился. Перед выходом на трап Зенон опять встретился взглядом с этим старикашкой, и тот не только своими подрагивающими студнями глаз напомнил ему о необходимости разоблачения виновников задержки вылета, но и жестом руки, сжимавшей пучок связанных палок, посоветовал ему быть тверже, не смягчать общую картину безобразия ложным благополучием приземления, потому что другого выхода у них просто не было, и взлетевший самолет им надо было, так или иначе, посадить.

...Хотя таксистам, толпящимся у здания аэропорта, яв-

но нечего было делать, но на вопрос Зенона: «Поедем в город?» — почему-то никто не ответил, и только через несколько долгих секунд, так как Зенон продолжал стоять перед ними, сиротливо взгрустнувшими с выражением: «Обижаешь, земляк!» — один из таксистов, словно исправляя неловкость, созданную неуместным вопросом Зенона, вышел из толпы и очень неохотно отправился к своей машине. Зенон подсел, и они поехали.

Сколько он ни прилетал сюда, таксисты всегда неохотно брали его в город, словно все они ждали какого-то более ценного груза, чем человек, или более дальнего рейса, чем город, хотя и толпились здесь часами без дела.

...Зенон поймал себя на мысли, что и сам хотел бы сейчас ехать более дальним, более нескончаемым рейсом...

Машина подъехала к дому, где жила сестра... Где еще вчера жила сестра. Он расплатился с таксистом и впервые безошибочно поднялся по лестнице до нужного этажа. А раньше, бывало, в день приезда почему-то всегда путал этажи: то ли пятый, то ли шестой, а то и седьмой...

Счастливая беспечность памяти никогда не удерживала этаж, на котором жила сестра. Обычно, после годичной разлуки, даже было приятно поплутать по этажам, прежде чем распахнется ее дверь и она, сияя, бросится его целовать!

Смерть сестры отсекла уже эту маленькую вольность — теперь ошибиться было нельзя, и он не ошибся. Жизнь близких, мельком подумал он, обеспечивала безопасность и даже роскошь его вечной рассеянности к мелочам быта.

Он позвонил в дверь. Несмотря на ранний час, зять не спал. Высокий, с диковато ввалившимися глазами, он открыл ему дверь и ввел в квартиру.

Прикрытая покрывалом, сестра лежала в самой большой из трех комнат. Зять подвел его к ней, и Зенон, преодолевая неестественность этой яви, ступал за ним, не понимая, почему таким высоким над тканью покрывала кажется тело сестры, словно вздыбленное ужасом последней борьбы жизни со смертью, последним взрывом непримиримости с концом.

Зять приподнял и отодвинул покрывало, и Зенон поцеловал холодный лоб сестры. Зять издал странный, горловой звук заглотанного рыдания. Зенон вспомнил абхазский обычай: муж не плачет над трупом жены. По-видимому — часть общего горского культа сдержанности.

Потом они зашли на кухню. Зять приготовил кофе по-турецки. Зенон немного освежился этим кофе после бессонной ночи.

...Остальные дни до похорон и сами похороны остались в голове в виде тяжелого, притупленного в болевых ощущениях самым своим обилием, горя. И только резкой болью

время от времени всплывала перед глазами большая фигура сына сестры, неуклюже сотрясающаяся в неумелых рыданиях. Поздний, единственный, ласковый, заласканный сын, и, может быть, потому эти разрывающие душу неумелые рыдания.

И были бесконечные процессии учителей, учеников, бывших учеников, соседей, родственников. Нет, это была не только дань кавказской традиции похорон, сестру и в самом деле любили. Она была такой доброжелательной, такой улыбчивой, такой контактной, как сейчас говорят. Вечно у нее на кухне щебетали соседки. Теперь кончилось все.

Сестра болела, уже не вставая, восемь месяцев. У нее была редчайшая для южан и смертельная для всех болезнь — рассеянный склероз. Конец был предсказан врачами, но Зенон надеялся, что где-нибудь в мире, может быть, только что появилось новое лекарство. Он связался с друзьями, живущими на Западе, и те быстро купили все новейшие лекарства и столь же быстро с оказией переслали их в Москву.

Зенон достал телефон московского профессора, по слухам лучшего специалиста по рассеянному склерозу, и прочел ему названия лекарств. Профессор ошарашил его ответом на незаданный вопрос:

— Знаю... Барахло все это...

Странное дело быть специалистом или лучшим специалистом по заведомо неизлечимой болезни. Но ведь есть специалисты и по неизлечимым формам рака. На каких-то стадиях, каким-то большим они, наверное, помогают. Конечно, старик профессор оказался прав: лекарства ничего не дали. Но он сделал все, что мог. Он послал с Зеноном в Абхазию своего лучшего помощника. Тот, осмотрев сестру, подтвердил диагноз. Правда, он обещал, что возможна ремиссия, то есть временное улучшение, но ремиссии не последовало.

Восемь месяцев сестра, конечно, не зная правды о своей болезни, упорно держалась за жизнь. За это время Зенон несколько раз приезжал к сестре и каждый раз бывал растроган необыкновенным добросердечием соседей, подруг, которые ежедневно все это время готовили еду, кормили больную, ухаживали за ней и присматривали за домом.

И каждый вечер приходила женщина-врач, до этого едва знакомая. Просто сын ее год или два учился в классе, где преподавала сестра. Эта женщина, разумеется, совершенно бесплатно, часами делала массажи и другие процедуры в попытке вернуть жизнь угасающим мышцам.

Что объединяло всех этих людей, думал Зенон, людей разных профессий и разных национальностей, в едином многомесячном порыве любви и милосердия?

Конечно, свет души его сестры, на который, сами благодарно светясь, слетались ее подруги, соседи, знакомые. Люди стремятся друг к другу, видимо, по признаку душевной близости, где нету разницы в нациях, в профессиях и даже в уровне благосостояния. А когда нет у людей душевной общности, они объединяются по национально-видовому признаку, как стая. И опасны, как стая.

Да, сестра стойко переносила все процедуры, терпеливо пила лекарства и не теряла надежды на выздоровление. И только однажды она сказала фразу, перевернувшую душу Зенона. Глубоко вздохнув, она сказала:

— Мы не должны были покидать нашу деревню... Это было ошибкой...

Она имела в виду горную деревушку, где родилась их мама. Но разве у них кто-нибудь спрашивал, где жить? Мама вышла замуж за отца, который жил в городе и привез ее к себе. Сестра, конечно, все это помнила, но то, что она говорила, было более глубокой правдой. Да, они жили в городе, но то ли слишком много времени в детстве проводили в горах, то ли материнские гены оказались столь сильны, но Зенон и сам так думал уже много лет.

Он думал об этом мучительно. Да, мы не должны были спускаться в долину, а я, думал Зенон, не должен был переезжать в долину долин — в Москву. Но ему и в голову никогда не приходило, что его добродушная, веселая даже, можно сказать, хохотушка-сестра могла хотя бы на минуту задуматься над этой горькой проблемой.

Зенону казалось, что сам он только через свою профессию понял это, но как его сестра пришла к такой же мысли? Неужели болезнь? Нет, она была умницей от природы! Как плохо мы знаем своих близких! Уметь так прожить свою жизнь, чтобы все или почти все окружающие тебя любили, — это и есть высшая доблесть ума! Ум, подчинившийся душе, это и есть высший ум. Цель человеческая — хороший человек, и никакой другой цели нет и не может быть.

Сколько раз наблюдал Зенон в той среде, где он жил, людей, которые в свой мозг, растянутый, как мочевого пузыря кавказского тамады, впихивали сотни и тысячи книг и умели неплохо о них говорить, но своей ничтожной, неразвитой душонкой не могли понять смысла человеческого благородства, доброты, темнели от зависти, подло злословили, если их товарищ добивался большего, чем они.

Эти странные люди беспрерывно говорили о лучшем будущем страны, но, заметив лучшее настоящее ближнего, бледнели от обиды.

А сестра жила легко, хотя нелегкой жизнью. Имея свою зарплату учительницы и зарплату мужа, инженера-физика, она все-таки вечно держала учеников — денег не хватало, жизнь в курортном городе особенно дорога. Почти

все соседи по дому были более состоятельны, но она никогда не испытывала к ним никакой зависти.

— Каждому свое, — смеялась она, — зато нам воры не страшны.

...Обо всем этом Зенон вспоминал на следующий день после сороковин, когда схлынули гости и он сидел вместе с зятем, его матерью и собственной родственницей в той комнате, где сорок дней тому назад стоял гроб сестры.

Странно, но сейчас находиться в доме сестры было больней, чем тогда, когда она мертвая здесь лежала. Слово мертвая в своем доме она еще чуть-чуть принадлежала своему дому, своему мужу, своему сыну, ну и ему, Зенону, конечно.

А может, дело в том, что теперь, когда он сам уже внутренне не работал, потому что иссякло вдохновение, его духовное зрение полностью совпадало с действительностью, которую он видел, как четкий пейзаж в хорошо отрегулированном бинокле. И этот пейзаж означал: в доме сестры нет и никогда не будет сестры.

Уже был вечер. Мерцал экран телевизора, но за картиной следили только женщины — родственница Зенона и мать зятя.

Зенон временами поглядывал на свою родственницу, о которой он когда-то писал, и как ему казалось, это были хорошие страницы. Поглядывая на модель своего образа и сравнивая их, он чувствовал странное удовлетворение сходством модели с образом, а не наоборот.

В его сознании давно уже оригиналом стал написанный им портрет, но сейчас, глядя на модель, он испытывал поощрительное удовлетворение моделью за то, что она похожа на свой образ, словно она, родственница, кстати, абсолютно не подозревавшая о существовании своего словесного портрета, тем не менее старается быть на него похожим и, несмотря на время, все еще преуспевает в этом.

Однако пора бы ей выглядеть старухой, думал Зенон, глядя на нее. В горной деревушке, еще совсем пацаном, он помнил ее уже цветущей женщиной, непрерывно, почти ежегодно рожавшей детей, а сейчас у нее уже были правнуки, но она еще была мало похожа на старуху.

Зато идеальной кавказской старухой выглядела девяностолетняя мать мужа сестры. В черной одежде, с черным платком на голове, она сидела на стуле и неподвижным взглядом смотрела на экран.

Она все еще жила в своем доме в горной деревушке, а два ее сына жили здесь в городе. Как они ни уговаривали ее переехать в город, она упорно отказывалась, хотя иногда приезжала погостить на день — на два или ее привозили, если она всерьез заболела.

Почти одинокая жизнь старенькой матери в горной деревушке тревожила сыновей, но мать не выносила город-

ской жизни и наотрез отказалась переехать. Она еще была в силе подоить корову, приготовить себе еду, но на большее ее уже не хватало.

Каждую весну муж сестры ездил в деревню к матери, вспахивал приусадебный участок, засеивал его кукурузой, летом мотыжил, осенью собирал урожай кукурузы и винограда, из которого выдавливал вино. Все это было неудобно, хлопотно, но переупрямить старенькую мать уже и не пытались.

В доме с ней жил приبلудный алкаш из России. Она с ним кое-как объяснялась по-русски. Когда она прибаливала, он за ней ухаживал, когда он запивал, она за ним приглядывала.

Так они жили уже много лет, но сыновьям было страшновато, что внезапная болезнь матери совпадет с запойным состоянием ее постояльца, и было бы горестно и позорно, если бы мать умерла в одиночестве. Правда, там неподалеку жили еще родственники, и они время от времени приходили проведать старушку, но здесь, в городе, сыновьям было тревожно за нее.

Сейчас старушка внимательно следила за тем, что происходит на экране телевизора. Зенон знал, что она никак не совладает с мыслью, что все происходящее на экране это некий мираж и люди, действующие и говорящие там, не имеют никакого соприкосновения с квартирой ее сына.

Не подготовленная привычкой смотреть кино, она уже в глубокой старости, приезжая в город из своей деревушки, увлеклась телевизором, то и дело забывая о физической условности жизни на экране.

Иногда, по логике своего восприятия, она делала забавные замечания по поводу происходящего, а когда ей объясняли, что все это не имеет отношения к ним, глядящим в телевизор, она пристыженно оправдывалась, говоря, что и сама знает об этом.

Сестра как-то рассказывала Зенону, что однажды, когда бабка больная лежала в этой комнате, а она хотела переодеть ее в свежую рубашку, бабка, кивнув на телевизор, сказала:

— Неужто я при таком котоголовом начальнике буду переодеваться?!

— Пришлось выключить! — смеясь, закончила сестра свой рассказ. Они оба тогда хорошо посмеялись, потому что старушка довольно точно нарисовала портрет известного диктора телевидения.

Лет десять тому назад местный фотокор, очутившись в ее горной деревушке то ли ко Дню Победы, то ли по вдохновению, сделал с нее снимок, на котором она изображена с фотографией сына, убитого во время войны под Севастополем. Снимок получился на редкость удачным и

позже был перепечатан московской газетой, и, если верить фотокору, даже за рубежом его перепечатали.

Благородное, удлинненное, морщинистое лицо старушки, скорбно склоненное над фотографией бравого бойца, в самом деле производило сильное впечатление. Оно пронзало чувством длительности, непрерывности, беспредельности материнской боли. Казалось, в день известия о смерти сына мать взяла в руки эту фотографию и, не выпуская ее из рук, постарела.

Старушка, разумеется, о своем прославленном снимке ничего не знала, а если что-то когда-то и слышала, то давно забыла. Но о сыне, погибшем в войну, она говорила всегда. И, словно извиняясь за безутешность свою, она обычно объясняла:

— Если б он хоть кровиночку свою оставил... Мальчиком убили его немцы...

Зять, видно что-то вспомнив, обернулся к Зенону и, кивнув на мать посветлевшим лицом, сказал:

— Маму молодой я почему-то всегда вспоминаю в связи с черной оспой, которая примерно в тридцать третьем году вспыхнула в нашей деревне. Хотя, зная ее возраст, я понимаю, что мама тогда уже была не так молода, но видится она мне из того времени почему-то очень молодой. Может быть, потому что мне самому тогда было лет десять. Черную оспу абхазцы именуют Царским Гонцом. Непонятно, когда и откуда пришло это название. Ясно одно — оно из глубокой древности.

Однажды из дома нашего соседа Альяса, жившего выше нас метров на двести, раздался чей-то голос:

«Эй, слушайте! Царский Гонец пришел в наш дом, Царский Гонец! Передайте людям!»

У нас в доме все взрослые выскочили во двор. Отец, мать, братья отца. И мы, детвора, ничего не понимая, побегали следом. По лицам взрослых я чувствовал, что случилось что-то необыкновенное, а что именно, не знал. Слова «Царский Гонец» для меня звучали нелепо. Что-то вроде слов из детской сказки. Лица взрослых окаменели, выражая ужас, тревогу, внимание. Они вслушивались в голос оттуда.

«Что случилось, мама, что?!» — приставал я к матери, дергая ее за рукав.

«Тише! — отмахивалась она. — Дай послушать!»

Оказалось, что сам хозяин Альяс заболел черной оспой. Отец закричал в ответ на голос оттуда, что сейчас же оседлает свою лошадь, чтобы известить о случившемся в соседнем селе.

«Кого, кого он должен известить, — спросил я, проникаясь непонятым волнением взрослых, — родственников?»

Я чувствовал волнение взрослых, отчасти сам проникался им, но, конечно, не понимал, что наступает великая

стихия зла, а не просто болезнь, постигшая хозяина соседнего дома.

«Нет, — сказала мама, — Царский Гонец — это страшная болезнь. Но человек, переболевший ею, если выживет, уже не может заразиться этой болезнью. Поэтому переболевшие Царским Гонцом приходят ухаживать за больным, чтобы домашние к нему не подходили и не заражались... Скоро они начнут прибывать...»

Тут раздался голос соседей, живших пониже нас. Они почувствовали какую-то особую тревогу в нашей переключке с домом Альяса и спрашивали, что случилось. Отец ответил им и, назвав село, в которое он едет, посоветовал ехать с этой черной вестью в другое село.

Потом он поймал свою лошадь, она случайно паслась возле самого дома, и, надев на нее уздечку, ввел во двор...

Тут рассказ зятя был прерван появлением сына. Он пришел из кухни, где сидел и читал книгу. Он был такой же большой, как отец, но разрез глаз и разлет бровей — материнские. Отец взглянул на сына и с какой-то странной озабоченностью вдруг спросил:

— Мама пришла с работы?

Сын пожал плечами и, посмотрев на отца с грустным недоумением, молча придвинул себе стул, уселся на него верхом и, опершись подбородком на спинку, уставился в телевизор.

— Ха! — смущенно хмыкнул отец и, взглянув на Зенону, сказал: — Никак не могу привыкнуть... Уже несколько раз так спрашивал. Обычно она в это время приходила с работы... Да-а... Ну, так вот... На следующий день отец вернулся из соседней деревни, где рассказал о случившемся в доме Альяса. Я понял, что вот так по цепочке весть о том, что у нас появился Царский Гонец, будет передаваться из деревни в деревню.

Мать строго-настрого запретила мне подходить к дому Альяса без сопровождения взрослых, но я не выдержал и через два дня украдкой подошел к его усадьбе. Человек десять незнакомых мне людей, с лицами рябыми, как я догадался, от оспы, ходили по двору и почему-то очень громко, словно сквозь бурю случившегося, переговаривались. Двое или трое, стоя посреди двора, сжигали какую-то ветошь и домашнюю рухлядь. Мне показалось, что языки пламени, то захлебываясь от бессилия, то яростно вздымаясь, пожирают зараженные вещи. Остальные тащили из ближайшего леса заостренные колья и вязанки свежих, очищенных от листьев ветвей рододендрона.

«Для чего это они?» — спросил я у охотника Щаадата, который, как и я, стоял возле усадьбы и следил за тем, что происходит во дворе.

«Они хотят новым плетнем обнести усадьбу», — сказал Щаадат.

«Почему новым,—спросил я,—а старый что, будут сносить?»

«Не в этом дело,—сказал охотник Щаадат,—новый плетень должен быть такой густой, чтобы даже мышка из усадьбы в деревню не могла пронести Царского Гонца... А старый плетень трогать незачем... Вон видишь дом Эсна?»

Дом Эсна стоял прямо над домом Альяса выше по горе. Я хорошо знал этот дом, бывал там.

«Конечно,—говорю,—я там бывал много раз».

«Так вот,—сказал охотник Щаадат,—сейчас там никто не живет».

«Перемерли от Царского Гонца?!» — ужаснулся я, одновременно удивляясь, что нас об этом не известили.

«Нет,—сказал Щаадат,—им велели переселиться к родственникам. Они могут заразиться, потому что на их дом ветер задувает со стороны дома Альяса».

«Они навсегда переселились?» — спросил я.

«Нет,—сказал Щаадат,—если Альяс умрет и больше никто не заразится в доме или если он выздоровеет, они вернутся в свой дом. А всех домашних Альяса и тех, что пришли навещать его, когда бывалый человек распознал его болезнь, не выпустят из дому, пока не убедятся, что они не заразились от Альяса».

Этот охотник Щаадат был удивительным человеком. Он обладал сверхъестественным чутьем на добычу. Он во сне видел место, где пасется его будущий охотничий трофей. И он по древнему абхазскому обычаю, который теперь уже почти никто не знает, никогда во время охоты не убивал больше одного травоядного животного, даже если набредал на стадо. У него...

На этом месте сын неожиданно прервал рассказ отца. Он, видно, слушал его, хотя и не отрывался от телевизора.

— Папа, что у тебя за привычка,—раздраженно обернулся он на отца,—вечно ты начинаешь рассказывать про одно, а потом тебя заносит совсем в другую сторону?!

— Да! — кивнул отец и с некоторым смущением взглянул на Зенона, сидевшего рядом на диване.— Его мать тоже за это часто меня ругала. Я как-то увлекаюсь подробностями и захожу в какие-то никому не нужные дебри... Его мать тоже меня часто упрекала в этом...

Было похоже, что он с удовольствием повторил эти слова. На самом деле, по мнению Зенона, упрекать его было не в чем. Он был природным рассказчиком, и ветвистость его рассказов только подчеркивала подлинность самого древа жизни, которое он описывал.

Раньше Зенон, слушая его рассказы и оценивая их внутренний талант, пытался, как, впрочем, и всех рассказчиков подобного рода, уговорить его писать самому. Не чувство приоритета двигало им, ему было плевать на этот

приоритет, а чувство долга перед искусством толкало его на это. Он считал аморальным упускать хотя бы один шанс из ста, если этот рассказчик потенциально способен сам описать свои впечатления лучше него.

Впрочем, никогда из этого ничего путного не получалось. Те, что умели хорошо рассказывать, так и не попытались записать свои рассказы, несмотря на его уговоры. А те, что сами что-то писали и приходили к нему со своими писаниями, никогда не были хорошими рассказчиками. По-видимому, дар устного рассказчика самоосуществляется в устном рассказе и у нормального носителя этого дара просто не возникает потребности повторяться на бумаге.

— Так что же все-таки случилось с охотником Щаадатом?— спросил Зенон. Он кое-что и раньше слышал об этом прославленном охотнике и хотел знать о нем больше.

— Несчастный случай после войны,— неуверенно начал зять, видимо все еще смущаясь замечанием сына, но постепенно (дар!) голос его становился уверенней,— Щаадат, видимо, обладал необычайно хрупкой душевной организацией... Его охотничье ясновиденье, вероятно, тоже как-то было связано с этой хрупкой душевной организацией.

Я уже говорил, что он, в согласии с древнейшими нашими охотничьими обычаями, никогда не убивал больше одной косули, серны или тура, даже если набредал на стадо.

И вот после войны, когда он со своими товарищами— пастухами— жил на альпийских лугах, к ним погостить и поохотиться приехал то ли родственник, то ли знакомый... Уж не помню кто... Да это и неважно...

Важно, что он был негодяем. И вот этот негодяй во время охотничьей вылазки набрел на стадо косуль в девять голов. Они паслись в таком месте, где с одной стороны была пропасть, а с другой стороны он перегордил единственный выход. Одну за другой, спокойно перезаряжая винтовку, он убил все девять косуль, заметавшихся, обезумев от страха, на узкой лужайке.

Мало этого. Видимо решив, по своему разумению, подшутить над старым охотником и его правилами охоты, он, не предупредив о содеянном, привел Щаадата на место своего палачества.

«Что ты наделал?!»— говорят, вскричал старый охотник, увидев груды наваленных друг на друга косуль, и упал без сознания.

Охотник-убийца, испугавшись случившегося, побежал за остальными пастухами. Через пару часов те пришли и привели Щаадата в чувство. То ли от долгого лежания на мокрой альпийской траве, то ли еще от чего, но Щаадата всю ночь колотил озноб и он никак не мог согреться у ко-

стра. А потом через некоторое время он заболел чахоткой — скоротечной — и умер. Вот так, брат...

Он замолк, о чем-то задумавшись и рассеянно поглядывая на телевизор. Потом взглянул на мать и, отключившись от своих мыслей, усмешливо кивнул Зенону. Старушка, глядя на экран, что-то вполголоса бормотала. На экране по ходу сюжета герои мутузили друг друга.

— Идите, идите, отсюда, — бормотала старушка по-абхазски, — пришли в дом моего сына и свалку тут устраивают... Бесстыжие... Если ты пришел в гости, так и держись, как гость...

— Да нет их здесь! — вскричала родственница Зенона. — Это только кажется, что они здесь! На самом деле они в Москве! В Москве!

Она теперь жила не в горной деревушке, а в долинном селе, где давно приспособилась к телевизору.

— Знаю, знаю, — вздрогнула старушка от ее зычного голоса.

— ...Так вот, — взглянув на Зенона и взглядом напоминая, что он возвращается к основному руслу рассказа, зять продолжал, — через два дня после моего подхода к дому Альяса отец сказал: «Сегодня наша очередь кормить гостей».

Оказывается, соседи по очереди каждый день приносили еду в дом Альяса. Мама зарезала четырех кур, поджарила их, напекла десяток хачапури, уложила все это в корзину, и мы пошли к дому Альяса. Мне почему-то особенно ярко видится этот солнечный день. Мы с мамой поднимаемся по каменистой горной тропке. Движения мамы легкие, гибкие, она явно взволнована, может быть, самой своей миссией милосердия, может быть, потому, что должна там встретиться и говорить с чужими, незнакомыми людьми. И я, мальчишка, чувствуя ее смущение, а сам этого смущения не чувствуя, потому что уже был там, кажусь самому себе старше, а мама мне кажется моложе, чем она есть.

И вдруг чудо! Новенький плетень метров на десять снаружи от старого плетня окружает большой приусадебный участок Альяса. Он был почти готов. С противоположной стороны оставалось еще небольшое неогороженное пространство, и там возилось несколько человек, всаживая в землю колья и плотно оплетая их свежими ветвями рододендрона. Ограда плетня сходилась к новеньким воротцам с длинной выдвижной кормушкой.

Когда мы поднялись к воротцам, вслед за нами по другой тропе подошли три человека с лицами, истыканными оспой. Сколько же их в Абхазии, удивляясь, подумал я тогда. До этого я не видел ни одного человека с лицом, подпорченным оспой.

«Хватит, хватит людей!» — крикнул один из возившихся возле плетня и направился к нам.

Мама аккуратно выложила из корзины в кормушку свои приношения.

«Как больной?» — спросила она, когда человек, приближавшийся к нам, подошел к воротам.

«Пока плохо, — сказал он громко и, потянув на себя кормушку, взял в руки выложенных мамой кур и хачапури, — день и ночь елозит! Волдыри пошли по телу! Сегодня выкупали его в кислом молоке... Может, полегчает...»

«Выходит, мы не нужны?» — спросил один из тех, что стоял рядом с нами. Я заметил, что у него лицо особенно подпорчено оспой. Мне подумалось, что он от этого считает себя самым большим знатоком болезни. Но стоящий по ту сторону ворот не обратил на это внимания.

«Спасибо, уважаемые, от имени родственников! Спасибо, уважаемые, от имени нашего народа! — вдруг закричал он, придерживая руками хачапури и кур. — Спокойно идите по домам! Людей хватает!»

Он повернулся и несколько неуклюже, боясь, что наши приношения свалятся у него с рук, двинулся к дому. Мы с мамой тоже пошли к себе.

В течение месяца или чуть дольше мы еще несколько раз приносили еду, и, когда больной наконец выздоровел и никто из домашних не заразился, бригада помощников разъехалась по домам. Так, вспышка черной оспы была раздавлена в своем очаге. Народная санитария победила.

Зенон, слушая рассказ зятя, тоже очень ясно представил себе тот далекий, солнечный день, когда эта вот старенькая старушка была еще молодой, крепкой женщиной, а зять был мальчонкой (или это был сам Зенон?) и они легко и быстро подымались по горной тропе, чтобы накормить народных санитаров, ухаживавших за больным и защищавших деревушку, а может, и всю Абхазию от нашествия Царского Гонца.

Далекий, могучий поток народной жизни остужающим дуновением коснулся одинокой, болящей души Зенона. Недаром, думал он, люди веками хранили и воспитывали в своих детях мистическое уважение и любовь к этому понятию — народ.

Народ — это вечно живой храм личности, думал Зенон, это единственное море, куда мы можем бросить бутылку с запиской о нашей жизни и она рано или поздно дойдет до адресата. Другого моря у нас не было, нет и не будет.

...Через некоторое время все перешли на кухню ужинать. Во время ужина родственница Зенона вдруг посмотрела на него обиженными глазами и сказала:

— Купил бы мне сапоги... Смотри, в каких туфлях я хожу... Подошва тонкая, а у меня ревматизма...

— Ох, тетушка,— ответил Зенон,— я так не люблю этими делами заниматься...

— А зачем тебе заниматься?— удивилась она.— Ты дай мне денег, я сама и куплю.

В той среде, где он жил, Зенон краем уха слышал, что женские сапоги стоят полтора ста рублей. Или сто? Сто он мог дать ей, но больше не мог, потому что на обратный билет не хватило бы.

— А сколько они стоят?— спросил он у нее.

— Так тридцать!— воскликнула она, как бы удивляясь его неосведомленности или наивности способа, каким он хочет отделаться от нее.

Зенон дал ей денег, и она, удовлетворенно, но и без особой суеты благодарности, положила их к себе в кошелек. Точнее говоря, вообще никакой суеты благодарности не было.

Когда пришло время ложиться, матери зятя и Зенону постелили в большой комнате, где стоял телевизор. Его выключили, потом погасили свет, и в полумгле бледнела стеклянная дверь, ведущая в лоджию. Из соседней квартиры доносилось погромыхивание телевизора.

— Отсюда их прогнали,— пробормотала старушка укладываясь,— так они на балконе беснуются... Сердятся, что их прогнали... Пожалей нас, господи! Сохрани детей моих и внуков!

Старушка притихла. Балконная дверь светилась бледным, печальным светом. Вот и все, подумал Зенон, завтра надо лететь обратно и заниматься своим делом. И вдруг он подумал: всю жизнь, всю жизнь положил на это дело, пытаясь делать его хорошо, и, может, от этого матери недодано, сестре недодано и теперь их нет и никогда не будет и нечем отблагодарить за их чистую, самоотверженную жизнь.

Проклятый год! Он унес брата, маму, сестру. Зенон вдруг заплакал обильными, беззвучными, сладким отчаяньем утоляющими душу слезами. Зенон почти никогда в жизни не плакал, а так— только в раннем детстве. Он никогда не думал, что жесткую корку жизни можно смягчить слезами. И теперь он плакал за все те времена, когда удерживался от слез, плакал за всех близких сразу, но волнами набегали отдельные слезы брату, отдельные слезы маме, отдельные слезы сестре и отдельные слезы собственной жизни.

И когда слезы стали иссякать, как камни на дне обмелевшего ручья, высунулись мысли. Ну что ж, подумал Зенон, чем больше любимых там, тем смелей мы обращаемся со своей жизнью здесь. Он подумал: скорбь есть самое успокоительное гнездо человека в этом мире, потому что это гнездо никто не может разорить.

Мысли одна за другой легкой вереницей проходили в

голове. Оказывается, слезы, подумал Зенон, лучшая оросительная система для выращивания мыслей. Но мысль становится мыслью только тогда, когда что-то отсекает. И потому на самой прекрасной мысли можно нащупать уродский след отсекования и в конечном итоге неполноты. В слезах нет этой неполноты, и потому слезы выше мыслей, честнее мыслей. Слезы и есть знак полноты, они идут от переполненности, а переполненность и есть лучшее доказательство полноты... С этой мыслью Зенон уснул. На следующий день приятель, приехавший, чтобы увезти его в аэропорт, сказал, что у школьного товарища Зенона внезапно в больнице умер отец.

Это был солнечный старик с ясной, веселой головой. Уже после окончания института, живя в родном городе, Зенон часто заезжал к школьному другу, старик охотно проводил с ними вечера за выпивкой, спорами, шутками и даже шутливыми ухаживаниями за их девушками. Зенон вдруг отчетливо, словно все это происходило вчера, вспомнил слова старика на одной вечеринке у школьного товарища.

— Крепче прижми ее! — азартно крикнул старик под общий смех, обращаясь к Зенону, танцевавшему с любимой девушкой.

Странно, подумал Зенон, что я в Москве почти никогда о ней не вспоминал. Слово все, что было тогда, осталось на том берегу жизни. И сейчас Зенон, вспомнив, вернее, услышав тот давний возглас старика, подумал, что возглас его был провидческим.

Как будто Зенон не танцевал со своей девушкой, а входил с ней в реку, а старик, перекрикивая шум потока, предупреждал, что ее может смыть течением. Впрочем, никто ничего не знает. Школьный товарищ жил на улице, где проходило детство Зенона, и многие там все еще его помнили. Ему всегда как-то стыдно было, приезжая в родной город, заходить на улицу детства. Он как-то никогда не мог взбодрить ее обитателей не только общим выражением счастья на лице, но даже хотя бы выражением частных удач. И хотя удачи были и успехи были, но как-то сама личность Зенона, его лицо и одежда не хранили следов этих успехов и удач. Улица, хотя и доброжелательно здоровалась с ним, улыбалась ему, но все-таки провожая его взглядом, как бы говорила:

— А стоило ли так далеко уезжать, чтобы приехать с таким лицом?

Вероятно, думал Зенон, каждый, кто всерьез берется за перо, осознанно или неосознанно обещает сделать людей счастливыми. И вот человек пишет и пишет, проходят годы, он приезжает в родные места и тут-то спохватывается, что никого не осчастливил. В родных местах это хорошо видно. И хотя люди, которых он хотел осчастливить

своим творчеством, ничего такого и не ожидали от него, но, глядя на его лицо, с явными следами смущенной неплатежеспособности, смутно догадываются, что им чего-то было обещано, но обещание оказалось шарлатански несбыточным.

В общем, тут была какая-то хроническая неловкость. Поэтому, когда машина остановилась возле дома школьного товарища, Зенон выскочил из нее и, кивая соседям, быстро, не давая им как следует взглянуть в свое лицо, даже как бы зачадлив его траурной целеустремленностью, вошел в дом школьного товарища, чтобы перед отлетом выразить ему соболезнование.

Увидев его, товарищ разрыдался, явно вспоминая их далекие, милые, совместные с отцом вечера. Зенон обнял его, трясущегося от рыданий, прижал к себе и постарался успокоить. Через несколько минут тот несколько успокоился, достал платок, тщательно вытер им глаза и вдруг, приосанившись, сказал Зенону с интонацией собственной выгоды.

— У тебя трое умерло, а у меня все-таки один...

Как он был хорош, подумал Зенон, когда рыдал у меня на груди, и как стал жалок и беден, когда пытался при помощи логики себя утешить. Не чувствуя никакой личной обиды, Зенон попрощался с этим несчастным человеком и уехал в аэропорт.

СОДЕРЖАНИЕ

Созвездие Козлотура. Повесть	5
Стоянка человека. Повесть	104
Школьный вальс, или Энергия стыда. Повесть .	261
Пирь Валтасара. Рассказ	372
Бармен Адгур. Рассказ	414
Чик идет на оплакивание. Рассказ	436
Утраты. Рассказ	460

Искандер Ф.

И 86 Стоянка человека. Повести и рассказы. — М.:
Правда, 1991. — 480 с.

ISBN 5-253-00229-4

Фазиль Искандер родился в Сухуми в 1929 году. После окончания средней школы учился в Московском библиотечном институте, окончил Литературный институт им. А. Горького. Работал корреспондентом в газетах. Член СП СССР с 1957 года.

В книгу вошли произведения писателя, написанные им в последние годы и впервые опубликованные в журнале «Знамя». В их числе повесть «Стоянка человека», «Школьный вальс, или Энергия стыда», давно полюбившаяся читателю повесть «Созвездие Козлотура», а также несколько новелл.

И $\frac{4702010200 - 2323}{080(02) - 91}$ 2323—91

84 P 7

Литературно-художественное
издание

ИСКАНДЕР Фазиль

СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

Повести и рассказы

Редактор «Библиотеки»

В. Ф. Кравченко

Оформление художника

С. И. Мухина

Художественный редактор

В. В. Масленников

Технический редактор

Т. Б. Слизув

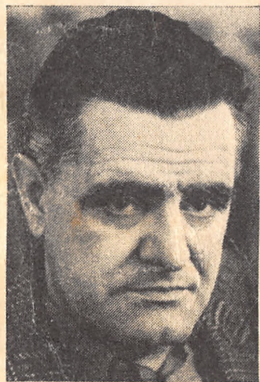
И 2323

Сдано в набор 15.03.90. Подписано к печати 08.01.91,
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Новогазетная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 30,98,
Тираж 800 000 экз. (4-й завод: 600 001—800 000 экз.).
Заказ № 84. Цена 2 руб.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125866 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Советская Сибирь». 630048, г. Новосибирск, 48,
ул. Немировича-Данченко, 104,

Х62
Хруб.



Фазиль Искандер родился в Сухуми в 1929 году. После окончания средней школы учился в Московском библиотечном институте, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал корреспондентом в газетах. Член СП СССР с 1957 года. В книгу вошли произведения писателя, написанные им в последние годы и впервые опубликованные в журнале «Знамя». В их числе повести «Стоянка человека», «Школьный вальс, или Энергия стыда», давно полюбившаяся читателю повесть «Созвездие Козлотура», а также несколько новелл.